

и (англ)
с 44

Вальтер Скотт



Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двадцати томах

Под общей редакцией

Б. Г. РЕИЗОВА, Р. М. САМАРИНА,

Б. Б. ТОМАШЕВСКОГО



*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960 Ленинград*

Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том второй

ГАЙ МЭННЕРИНГ

*Перевод с английского
А. М. ШАДРИНА*



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960 Ленинград

WALTER SCOTT

GUY MANNERING,
OR THE ASTROLOGER

Редакция перевода

Е. И. Клименко

Комментарии

М. Б. Рабиновича

ГАЙ МЭННЕРИНГ,
или
АСТРОЛОГ

Итак, по словам старого Мак-Кинли, некий почтенный пожилой господин во время своего путешествия по глухим местам Гэллоуэя был однажды застигнут на дороге наступившей темнотой. Он с трудом добрался до какой-то усадьбы, где его приняли со всем радушием, свойственным Шотландии того времени.

На хозяина дома, богатого помещика, произвела сильное впечатление почтенная внешность гостя, и он просил извинить его за царивший в доме беспорядок, которого приезжий не мог не заметить. Лэрд сообщил ему, что супруга его лежит в постели и вот-вот должна родить, добавив, что, хотя женаты они уже целых десять лет, это ее первые роды. Одновременно он выразил сожаление, что это обстоятельство помешает принять гостя так, как надлежало бы.

— Что вы, помилуйте, — ответил незнакомец, — мне ничего особенного не надо, и я думаю даже, что сумею воспользоваться предстоящим событием, чтобы отблагодарить вас за гостеприимство. Скажите мне точно час и минуту, когда родится ребенок, и я надеюсь, что смогу кое-что сообщить вам о том, что его ждет в нашем суетном и полном превратностей мире. Не скрою от вас, что я владею искусством читать и толковать движения небесных светил, влияющих на судьбы людей. В отличие от так называемых астрологов, я занимался этой наукой не ради денег или другого вознаграждения. Я человек вполне обеспеченный и употребляю все знания, которыми владею, на благо тем, к кому я расположен.

Лэрд поклонился в знак уважения и благодарности, и путешественнику была предоставлена комната, откуда можно было хорошо видеть все звездное небо.

Гость провел часть ночи, созерцая расположение небесных тел и исчисляя их возможные влияния на судьбу ребенка, пока наконец результат этих наблюдений не заставил его послать за лэрдом; он принялся самым настойчивым образом упрасивать его, чтобы повитуха как-нибудь задержала наступление родов, хотя бы на пять минут. Ему сообщили, что это

невозможно, и не успел слуга вернуться с ответом, как отца и его гостя известили о том, что леди родила мальчика.

На следующее утро за завтраком у астролога был такой сосредоточенный и мрачный вид, что отец новорожденного, который перед этим радовался при мысли о том, что у родового владения есть теперь наследник и оно после его смерти не перейдет к дальней родне, встревожился не на шутку. Он поспешно увел гостя в комнату, где они могли остаться наедине.

— Я вижу по вашему лицу, — сказал он, — что вы должны сообщить мне что-то недоброе о моем мальютке. Может быть, господа угодно будет лишить нас этой радости прежде, чем дитя подрастет и достигнет совершеннолетия? Или, может быть, сыну моему суждено стать недостойным той любви, которую мы ему готовим?

— Ни то, ни другое, — ответил незнакомец. — Если только мои знания не обманывают меня, ребенок переживет и младенческий и детский возраст и своим характером и способностями оправдает все надежды родителей. Но, несмотря на то, что многое в его гороскопе сулит ему счастье, все же значительный перевес приобретает какое-то злое влияние, которое грозит ему нечестивым и несчастным для него искусом, когда он достигнет возраста двадцати одного года. Год этот, как явствует из расположения созвездий, будет для него критическим. Но вся моя наука бессильна сказать, в каком виде явится ему испытание, и какого оно будет характера — я не знаю.

— Так выходит, что ваши знания не могут защитить его от беды, которая ему угрожает? — спросил охваченный беспокойством отец.

— Нет, это не так, — сказал незнакомец, — они могут дать ему защиту. Влияние созвездий могущественно, но тот, кто создал небо и звезды, могущественнее всего, надо только обратиться к нему с верою и любовью. Вам следует посвятить вашего сына всецело служению создателю, приложив к этому такое же рвение, как родители Самуила, которые посвятили

своего сына служению храму. Вы должны относиться к нему как к существу, занимающему особое место в мире. В его детские и отроческие годы вы должны окружить его людьми набожными и добродетельными и, елико возможно, следить за тем, чтобы он не знал никакого зла, задуманного или совершенного, чтобы он не видел его и даже не слышал о нем. Он должен воспитываться в самых строгих правилах нравственности и религии. Пусть он растет в стороне от мирской жизни, чтобы его не коснулись людские заблуждения или пороки. Короче говоря, уберегите его, насколько это возможно, от всяческого греха, не считая, разумеется, греха первородного, доставшегося всем нам, жалким смертным, от Адама. Перед тем как ему исполнится двадцать один год, в жизни его должен наступить критический момент. Если только он переживет его — он будет счастлив и благополучен в своей земной жизни и станет избранником неба. Но если случится иначе... — Тут астролог замолчал и глубоко вздохнул.

— Сэр, — сказал еще более встревожившийся отец, — ваши слова исполнены такой доброты, ваш совет так много для меня значит, что я отнесусь с величайшим вниманием ко всему, что вы говорите. Но не можете ли вы оказывать мне помощь и в дальнейшем? Поверьте, я сумею отблагодарить вас.

— Я не могу требовать, да и не заслуживаю никакой благодарности за доброе дело, — сказал незнакомец, — а тем более за то, что приложу все мои силы к спасению от страшной судьбы невинного младенца, который родился этой ночью при столь удивительных сочетаниях планет. Я укажу вам, где меня найти: вы можете время от времени писать мне о том, как мальчик преуспевает в христианской вере. Если вы воспитаете его так, как я советую вам, я хотел бы, чтобы он явился ко мне, когда будет приближаться этот роковой и критический момент его жизни, то есть перед тем как ему минет двадцать один год. Если вы исполните все, как я вам говорю, то я смею надеяться, что господь защитит своего верного слугу во

время самого страшного из испытаний, которые готовит ему судьба.

Таинственный незнакомец уехал, но слова его оставили глубокий след в памяти лэрда. Жена его умерла, когда ребенок был еще совсем маленьким. Смерть ее, кажется, тоже была предсказана астрологом, и, таким образом, доверие, с которым лэрд относился к этой науке, столь распространенной в его время, еще больше укрепилось. В силу этого были приняты все меры, чтобы осуществить тот строгий, почти даже аскетический план воспитания, который был предписан мудрым звездочетом. Воспитание мальчика было поручено наставнику, человеку весьма строгих правил, слуг ему выбрали из числа самых преданных людей, и сам отец неустанно следил за его развитием.

Годы младенчества, детства и отрочества прошли так, как только мог желать отец. Даже юного назарянина и то вряд ли воспитывали в большей строгости. Все дурное устранялось от его взоров. Он повсюду слышал одни только возвышенные истины и видел одни только достойные примеры.

Однако, когда он стал старше, отца, который неуспинно за ним следил, охватил страх. Какая-то тайная грусть владела юношей, и с годами он становился все мрачней и мрачней. Слезы, которые появлялись у него без всякой причины, бессонница, задумчивые прогулки при лунном свете и тоска, причины которой не удавалось узнать, — все это расшатывало его здоровье и даже угрожало рассудку. Отец написал обо всем астрологу, и тот ответил, что это нарушившееся душевное равновесие — знак того, что испытание уже началось и что несчастному юноше придется не раз вступать в поединок со злом, причем борьба эта будет принимать все более ожесточенный характер. Единственное, что ему остается сделать, чтобы спасти себя, — это упорно изучать священное писание. «Он страдает, — писал мудрец, — от пробудившихся чудовищ — страстей, они дремали в нем до известного периода жизни, как дремлют они и в других людях. Теперь этот период наступил, и лучше, гораздо лучше, если он будет мучиться сейчас в борьбе со своими

страстями, чем впоследствии — от раскаяния в том, что позволил себе грешить, безрассудно их удовлетворяя».

От природы юноша был наделен таким благородством, что разум и религия помогли ему одолеть приступы тоски, которая по временам им овладевала. И только на двадцать первом году жизни приступы эти приняли такой характер, что отец стал страшиться за сына. Казалось, что неотвязная и жестокая душевная болезнь доводила его до отчаяния и лишала веры. Но юноша был по-прежнему вежливым, обходительным и кротким; он покорно выполнял все желания отца и, как только мог, боролся с мрачными мыслями, которые, казалось, внушал ему злой дух, призывая его, как нечестивую жену Иова, проклясть бога и умереть.

Наконец настало время, когда он должен был совершить представлявшееся тогда длинным и даже опасным путешествие, чтобы повидать своего покровителя — человека, некогда составившего его гороскоп. Путь его проходил по местам, где ему интересно было побывать, и путешествие это доставило ему больше радости, чем он ожидал. Поэтому он прибыл в назначенное место только в самый канун дня своего рождения, около полудня. Казалось, что поток новых и приятных впечатлений с такою силою захватил его, что он едва не позабыл того, что отец говорил ему о цели его поездки. Наконец он остановился перед большим, но уединенно расположенным старинным домом, где и жил друг его отца.

Слуга, вышедший, чтобы принять лошадь, сказал, что его ждут уже целых два дня. Юношу провели в кабинет, и там его встретил тот самый человек, который был некогда гостем его отца, ныне уже почтенный старец. Он посмотрел на него серьезным, но вместе с тем недовольным взглядом.

— Послушай, юноша, — сказал он, — зачем было так медлить в столь важном путешествии?

— Я думал, — ответил его гость, краснея и потупив глаза, — что нет никакой беды, если я еду медленно и дорогой уделяю внимание тому, что мне

интересно; все равно ведь я прибыл к вам сегодня, а это как раз тот срок, который мне назначил отец.

— Ты заслуживаешь порицания за эту медлительность, — ответил мудрец, — ведь это враг рода человеческого направлял твои шаги в сторону. Но вот ты наконец явился, и будем надеяться, что все кончится благополучно, хоть поединок, в который тебе надлежит вступить, будет тем страшнее, чем больше ты его будешь откладывать. Но прежде всего тебе надо подкрепиться. Пищу надо вкушать согласно велениям природы: утолять голод, но не разжигать аппетит.

С этими словами старец повел гостя в столовую, где его ожидал скромный завтрак. Вместе с ними за стол села девушка лет восемнадцати, которая была так хороша собой, что едва только она вошла в комнату, как наш юноша позабыл о своей странной, таинственной судьбе и все внимание устремил на нее. Говорила она мало и в разговоре касалась только предметов самых серьезных. По просьбе отца она села за клавикорды и стала петь, но пела она только гимны. Потом, по знаку старца, она вышла из комнаты и, уходя, взглянула на юношу с каким-то невыразимым участием и беспокойством.

Тогда старик пригласил гостя к себе в кабинет и там стал говорить с ним о важнейших догматах религии, чтобы удостовериться в том, что молодой человек может объяснить, почему и как он верит. Во время этой беседы юноша чувствовал, как, помимо воли, мысли его отвлекаются от предмета разговора и перед глазами встает образ красавицы, которая только что разделяла их трапезу.

Астролог каждый раз замечал его рассеянность и укоризненно покачивал головой. Но в целом ответы юноши его удовлетворили.

Вечером, после омовения, гостю велели облечься в широкую одежду без рукавов и с открытой шеей, вроде той, какую носят армяне. Затем расчесали его длинные до плеч волосы и босым провели его в дальнюю комнату; там ничего не было, кроме лампы, стула и стола, на котором лежала библия.

— Здесь, — сказал астролог, — я должен оставить

тебя одного в самые критические минуты твоей жизни. Если ты сумеешь, вспоминая те великие истины, о которых мы с тобой говорили, отразить сейчас все соблазны, которые грозят твоему мужеству и твоей вере, ты потом не будешь знать страха ни перед чем. Но испытание будет суровым и трудным. — Глаза старца наполнились слезами. — Дорогое дитя, — сказал он торжественно, прерывающимся от волнения голосом, — еще в минуту твоего рождения я предвидел это страшное испытание. Дай бог, чтобы ты с твердостью его перенес.

Юноша остался один. И сразу же, подобно сонму дьяволов, на него ринулись воспоминания о его былых грехах, вольных и невольных. Эти угрызения были тем страшнее, что воспитание приучило его судить себя строго. Они кидались на него словно фурии, стегали его своими огненными бичами и, казалось, стремились довести его до полного отчаяния. В то время, когда он боролся с этими ужасными воспоминаниями, чувства его пришли в смятение, но воля была тверда. Вдруг он услышал, что кто-то отвечает софизмами на все его доводы и что в споре участвуют не только его собственные мысли. Злой дух пробрался к нему в комнату и принял телесное обличие. Пользуясь своей властью над скорбящими душами, он убеждал юношу в безнадежности его положения; он подстрекал его к самоубийству, как к самому действенному средству избавиться от грехов. Среди других грехов в самых мрачных красках изображалась его медлительность во время пути и то внимание, которое он уделял утром красавице дочери, вместо того чтобы сосредоточиться на религиозных поучениях ее отца. Ему доказывали, что, согрешив перед источником света, он теперь неминуемо должен подчиниться князю тьмы.

Чем ближе становилась роковая минута, тем неистовее и тем страшнее присутствие злого духа смущало несчастную жертву; узел нечестивых софизмов завязывался все туже и туже; так, во всяком случае, казалось юноше, которого эти тенета оплетали со всех сторон. У него не хватало сил найти слова про-

щения или произнести всемогущее имя того, на кого он возлагал все надежды. Но вера не покидала его, хотя он в течение какого-то времени был не в силах выразить ее словами.

— Что бы ты ни говорил, — ответил он искусителю, — я знаю, что в этой книге заключено и прощение грехов моих и спасение души.

Как раз в это мгновение раздался бой часов, возвещавший о том, что страшному испытанию настал конец. К юноше сразу же вернулись и речь и способность мыслить; он погрузился в молитву и в пламенных словах ее выразил свою веру в истину и творца. Сраженный дьявол удалился с дикими стенаниями. Старец вошел в комнату и со слезами на глазах поздравил своего гостя с победой в роковом поединке.

Впоследствии юноша женился на красавице, которая так пленила его с первого взгляда, и они жили тихо и счастливо. На этом кончается легенда, рассказанная Джоном Мак-Кинли.

Автору «Уэверли» представилось, что можно написать интересную и, может быть, в некотором роде поучительную повесть из жизни человека, судьба которого предопределена. Вмешательство некоего злого духа разбивает все его усилия стать нравственным и добрым, но в конце концов он выходит победителем из этой страшной борьбы. Словом, задумано было нечто похожее на «Сказку о Синтраме и его товарищах» барона Ламотт Фуке. Впрочем, даже если это произведение и было в то время уже написано, автор «Уэверли» его не знал.

План этот ясно виден в первых трех-четырёх главах романа, но, обдумывая дальнейший ход событий, автор вынужден был отказаться от своего первоначального замысла. Здравое размышление убедило его, что астрология, хотя ее значение признавал некогда даже Бэкон, в настоящее время уже не пользуется прежним влиянием на умы людей, и на ее выкладках никак нельзя построить романа. Помимо этого, стало ясно, что для развития подобного сюжета не только потребовалось бы больше таланта, чем автор чувствовал в себе, но и пришлось бы вда-

ваться в обсуждение теорий и доктрин, слишком серьезных для рамок повести, ставящей себе совсем иные задачи.

План был изменен в то время, когда роман уже печатался, и первые листы сохранили поэтому следы первоначального замысла. Но теперь они стали в нем только ненужным привеском. Причина этого несоответствия уже объяснена и должны извинения принесены.

Здесь стоит упомянуть о том, что, хотя астрология и стала вызывать всеобщее презрение и была вытеснена более грубыми и лишенными всякой прелести суевериями, у нее есть отдельные приверженцы даже в наши дни.

Одним из самых примечательных адептов этой забытой и всеми презираемой науки был известный фокусник, ныне уже умерший, большой мастер своего искусства. Естественно было предположить, что, зная в силу особенностей своей профессии тысячу разных способов обманывать человеческий глаз, он меньше, чем кто-либо другой, мог поддаваться влиянию вымыслов, порожденных суеверием. Впрочем, как раз привычка к запутанным вычислениям, которые какими-то неисповедимыми даже для самого престижителя путями помогают показывать карточные фокусы и т. п., и привела, быть может, этого джентльмена к изучению комбинаций планет и звезд в небе, с тем чтобы таким путем предсказывать будущее.

Он составил свой собственный гороскоп, сделав все выкладки по правилам, которые он изучил, читая лучшие сочинения по астрологии. В этих вычислениях все относившееся к прошлому совпало с тем, что действительно имело место в его жизни. Но в том, что касалось будущего, он столкнулся с неожиданными трудностями. Оказалось, что в гороскопе имеются какие-то два года, относительно которых никак нельзя с точностью установить, будет ли данное лицо в это время в живых или нет. Встревоженный столь удивительным обстоятельством, фокусник показал гороскоп одному из своих собратьев по астрологии, которого эти данные точно так же привели в смущение. Выхо-

дило, что в такой-то момент человек, на которого составлен гороскоп, будет еще жив, а к такому-то сроку, вне всякого сомнения, уже умрет. Между этими датами оказывался промежуток в два года, и нельзя было с уверенностью сказать, что он означает — жизнь или смерть.

Астролог записал это удивительное обстоятельство в свой дневник и после этого по-прежнему выступал перед зрителями в разных частях Англии и ее владений. Так продолжалось, пока не истек период, в течение которого, согласно гороскопу, он должен был, вне всякого сомнения, оставаться в живых. И вот наконец, в минуту, когда он занимал собравшуюся в зале многочисленную публику, руки, которые могли ввести в заблуждение даже самого зоркого наблюдателя, вдруг беспомощно повисли; он выронил карты и упал: его разбил паралич. В таком состоянии он прожил еще два года, после чего наступила смерть. Я слышал, что дневник этого астролога скоро будет издан.

Приведенный мною факт, если только он верен, являет собой одно из тех необыкновенных совпадений, которые иногда имеют место в жизни. Такого рода вещи не укладываются ни в какие расчеты, но без них, однако, будущее перестало бы быть для смертных, заглядывающих в него, той темной бездной, какой господа угодно было его сотворить. Если бы все совершалось всегда только обычным порядком, будущую судьбу можно было бы рассчитать по правилам арифметики, как рассчитывают комбинации в карточной игре. Но разные необыкновенные события и удивительные случайности как бы бросают вызов всем человеческим расчетам и окутывают грядущее непрогнозируемым мраком.

К только что рассказанной истории можно добавить еще одну, относящуюся к сравнительно недавнему времени. Автор получил письмо от некоего человека, весьма сведущего в тайных науках. Господин этот был столь любезен, что предложил составить гороскоп автора «Гая Мэннеринга», полагая, что тот сам сочувственно относится к таинственной науке, назы-

ваемой астрологией. Но даже если бы автор этого пожелал, составить его гороскоп оказалось бы невозможным, так как всех тех, кто мог бы с точностью указать час и минуту его рождения, давно уже нет на свете.

Таким образом, после того как автор познакомил читателя с первоначальным замыслом или с общим наброском романа, от которого он вскоре отказался, ему остается еще сказать несколько слов о прототипах основных персонажей «Гая Мэннеринга» в соответствии с планом настоящего издания.

Некоторые обстоятельства личной жизни, связанные с особенностями тех мест, где жил автор, дали ему возможность много услышать об этих падших людях, которых мы называем цыганами; кое-что он даже видел сам. В большинстве случаев цыгане — смешанное племя, состоящее из выходцев из Египта, появившихся в Европе приблизительно в начале пятнадцатого века, и разных бродяг европейского происхождения.

Цыганка, послужившая прототипом Мег Меррилиз, была хорошо известна в середине прошлого столетия под именем Джин Гордон; жила она в деревне Керк Иетхолм, в Чевнотских горах, неподалеку от английской границы. Автор сообщал уже кой-какие сведения об этой замечательной личности в одном из ранних номеров «Блэквудз мэгэзин». Вот они.

«Отец мой помнил старую Джин Гордон из Иетхолма, которая пользовалась большой властью среди своих соотечественников. Она была очень похожа на Мег Меррилиз и в той же мере была наделена беззаветной преданностью — этой добродетелью дикарей. Она часто пользовалась гостеприимством на ферме Лохсайд, близ Иетхолма, и в силу этого старательно воздерживалась от воровства во владениях фермера. Но зато сыновья ее (а у нее их было девять) не отличались такой щепетильностью и преспокойным образом украли у своего доброго покровителя супоросую свинью. Джин была огорчена их неблагодарностью, и стыд заставил ее покинуть Лохсайд на несколько лет.

Однажды у лохсайдского фермера не оказалось денег, чтобы внести арендную плату, и он отправился занять их в Ньюкасл. Это ему удалось, но, когда он возвращался обратно по Чевиотским горам, его там застала ночь, и он сбился с дороги.

Огонек, мерцавший в окне большого пустого амбара, оставшегося от не существующей уже фермы, подал ему надежду найти ночлег. В ответ на его стук дверь отворилась, и он увидел перед собой Джин Гордон. Ее весьма заметная фигура (в ней было почти шесть фугов роста) и столь же удивительная одежда не оставляли ни малейшего сомнения, что это была она, хотя и прошло уже немало лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. Встреча с этой особой в столь уединенном месте, да еще, по-видимому, неподалеку от стоянки табора, была для бедного фермера неприятной неожиданностью: все его деньги были при нем, и потеря их означала для него полное разорение.

— Э, да это почтенный лохсайдский фермер! — радостно воскликнула Джин. — Слезайте же, слезайте; для чего это вам ночью ехать, коли рядом друг живет.

Фермеру ничего не оставалось, как сойти с лошади и принять предложенный цыганкой ужин и ночлег.

В амбаре лежали большие куски мяса, неизвестно где раздобытого, и шли приготовления к обильному ужину, который, как заметил еще больше встревожившийся фермер, готовился на десять или двенадцать человек, по-видимому таких же отпетых, как и сама хозяйка.

Джин подтвердила его подозрения. Она напомнила ему о краже свиньи и рассказала, как она терзалась потом этим поступком. Подобно другим философам, она утверждала, что мир с каждым днем становится хуже, и, подобно другим матерям, говорила, что дети совсем отбились от рук и нарушают старинный цыганский закон — не посягать на собственность их благодетелей.

В конце концов она осведомилась о том, сколько у него с собой денег, и настоятельно попросила, или

даже приказала, отдать их ей на хранение, так как ребята, как она называла своих сыновей, скоро вернутся. Фермер, у которого другого выхода не было, рассказал Джин о своей поездке и передал ей деньги на сохранение. Несколько шиллингов она велела ему оставить в кармане, сказав, что если у него совершенно не найдут денег, то это покажется подозрительным.

После этого она постелила фермеру постель на соломе, и он прилег, но, разумеется, ему было не до сна.

Около полуночи разбойники вернулись, нагруженные разной добычей, и принялись обсуждать свои похождения в таких выражениях, от которых нашего фермера бросило в дрожь. Вскоре они обнаружили непрошеного гостя и спросили Джин, кого это она у себя приютила.

— Да это наш славный лохсайдский фермер, — ответила Джин. — Он, бедный, в Ньюкасл ездил денег достать, чтобы аренду уплатить, и ни один черт там не захотел раскошелиться, так что теперь вот он едет назад с пустым кошельком и с тяжелым сердцем.

— Что ж, может быть это и так, — ответил один из разбойников, — но все же надо сначала пошарить у него в карманах, чтобы узнать, правду ли он говорит.

Джин стала громко возражать, говоря, что с гостями так не поступают, но переубедить их она не смогла. Вскоре фермер услышал сдавленный шепот и шаги около своей постели и понял, что разбойники обыскивают его платье. Когда они нашли деньги, которые, вняв благоразумному совету Джин, фермер оставил при себе, бандиты стали совещаться, забрать их или нет. Но Джин стала отчаянно протестовать, и они этих денег не тронули. После этого они поужинали и легли спать.

Едва только рассвело, как Джин разбудила гостя, привела его лошадь, которая ночь простояла под навесом, и сама еще проводила его несколько миль, пока он наконец не выехал на дорогу в Лохсайд. Там она отдала ему все деньги, и никакие просьбы не могли заставить ее принять даже гинеи.

Старики в Джеббурге рассказывали мне, что все сыновья Джин были приговорены к смерти в один и тот же день. Говорят, что мнения судей на их счет разделились, но что один из ревнителей правосудия, который во время этого спора тихо спал, вдруг проснулся и громко вскрикнул: «Повесить их всех!» Единогласного решения шотландские законы не требуют, и, таким образом, приговор был вынесен. Джин присутствовала при этом. Она только сказала: «Господи, защити невинные души!» Ее собственная казнь сопровождалась дикими надругательствами, которых она вовсе не заслуживала. Одним из ее недостатков, а может быть, впрочем, одним из достоинств, пусть это уже решит сам читатель, была ее верность якобитам. Случилось так, что она была в Карлайле, то ли в дни ярмарки, то ли просто в один из базарных дней, — это было вскоре после 1746 года; там она громко высказала свои политические симпатии, которые разъярили толпу местных жителей. Ревностные в своих верно-подданнических чувствах, когда проявление их не грозило никакой опасностью, и не в меру кроткие, когда им пришлось покориться гордым шотландцам в 1745 году, жители города приняли решение утопить Джин Гордон в Идене. Это было, кстати сказать, не таким простым делом, потому что Джин была женщиной недюжинной силы. Борясь со своими убийцами, она не раз высовывала голову из воды и, пока только могла, продолжала выкрикивать: «Карл еще вернется, Карл вернется!» В детстве в тех местах, где она когда-то жила, мне не раз приходилось слышать рассказы о ее смерти, и я горько плакал от жалости к бедной Джин Гордон.

Перед тем как расстаться с пограничными цыганами, скажу еще, что однажды мой дед, проезжая через Чартерхаузские болота, которые тогда еще занимали большие пространства, неожиданно очутился среди большой компании цыган, лировавших в кустах. Они тут же схватили под уздцы его лошадь и стали громко кричать (а большинство их хорошо знало деда), что ему не раз случалось угощать их, а теперь вот он должен остаться и отведать их угоще-

ния. Дед мой сначала встревожился, потому что, как и у лохсайдского фермера, у него была при себе порядочная сумма денег и ему не хотелось ею рисковать. Тем не менее, будучи человеком веселым и бесстрашным, он принял их приглашение и разделил с ними ужин, состоявший из разной дичи, свинины, домашней птицы и т. п. Очевидно, все это было добыто фамым откровенным грабежом. Обед прошел очень весело, но потом кто-то из старых цыган стал делать ему знаки, чтобы он уезжал, пока

Кипит еще веселый, шумный пир;

и тогда он сел на коня и уехал, правда не простившись со своими радушными хозяевами, но зато и не обидев их. В пирушке этой, по-видимому, принимала участие и Джин Гордон» («Блэквудз мэгэзин», т. I),

После того как всех сыновей Джин постигло несчастье и они

Не избежали виселицы злой,

у нее оставалась еще внучка, которая ее пережила, и мне случалось не раз ее видеть. Точно так же как у доктора Джонсона сохранилось смутное воспоминание о королеве Анне, величественной женщине в черном платье и в бриллиантах, так и в моей памяти, как что-то очень для меня значительное, остался образ женщины необычайно высокого роста, одетой в длинный красный плащ. Помнится, когда я встретил ее в первый раз, она дала мне яблоко, но, несмотря на это, я взирал на нее с не меньшим почтением и даже страхом, чем будущий доктор, сторонник партии тори и Высокой церкви, смотрел на королеву. По-моему, эта женщина была именно та самая Мэдж Гордон, о которой говорится в статье, где есть упоминание о ее матери Джин. Но статья эта написана не мною, а другим автором.

«Покойная Мэдж Гордон была в то время признанной королевой иетхолмских кланов. Она была, если не ошибаюсь, внучкой знаменитой Джин Гордон

и, по-видимому, была на нее очень похожа. Вот сведения о ней, почерпнутые из письма одного нашего приятеля, который в течение многих лет имел возможность наблюдать жизнь иетхолмских цыган:

Мэдж Гордон происходила по материнской линии от семьи Фаа, а замужем была за неким Янгом. Это была женщина примечательная — высокого роста и очень властного вида. У нее был большой орлиный нос, пронзительные, даже и в старости, глаза, густые волосы, которые падали ей на плечи из-под соломенной цыганской шапочки, короткий, какого-то особенного покроя плащ; ходила она всегда с палкой, такой же длинной, как и она сама. Я хорошо ее помню: когда я был еще ребенком, она каждую неделю приходила к моему отцу просить милостыню, и я всегда глядел на Мэдж с тайным трепетом. Говорила она очень возбужденно (обычно она громко на что-нибудь жаловалась). При этом она стучала палкой по полу и так грозно выпрямлялась, что заставляла присутствующих насторожиться. Она утверждала, что может привести из самых глухих уголков страны каких-то друзей, которые отомстят за нее, в то время как она сама будет спокойно сидеть в своей хижине. Часто она хвасталась тем, что было время, когда ее гораздо больше слушались, чем теперь, что, когда она выходила замуж, одних только оседланных ослов у нее было пятьдесят, а неоседланных и не сосчитать. Если Джин Гордон явилась прототипом характера Мег Меррилиз, то внешний облик ее неизвестный автор, по всей вероятности, списал с Мэдж» («Блэквудз мэгэзин», т. I).

Насколько прав в своем предположении остроумный блэквудский корреспондент и насколько он ошибается, читателю уже известно.

Перейдем теперь к персонажу совершенно иного рода, к Домини Сэмсону. Читатель, конечно, согласится, что бедный, скромный и смиренный учитель, проложивший себе дорогу сквозь дебри классической филологии, но в жизни не сумевший найти себе пути, — довольно частое явление в Шотландии, где есть

люди, способные переносить и голод и жажду, лишь бы утолить жажду знаний, заставляющую их изучать греческий язык и латынь. Но есть и вполне определенный прототип нашего доброго Домини, хотя по некоторым причинам мне приходится говорить о нем только в самых общих чертах.

Человек, на которого походил Сэмсон, действительно был наставником в семействе одного богатого джентльмена. Воспитанники его уже успели вырасти и найти себе место в свете, а их бывший учитель все еще продолжал жить в семье, что вообще нередко случалось в прежнее время в Шотландии, где охотно предоставляли кров и стол людям смиренным и бедным.

Предки лэрда жили безрассудно и расточительно. Сам же он был человеком бездейственным и к тому же неудачником. Смерть похитила его сыновей, которые своими успехами, может быть, сумели бы в какой-то мере уравновесить жизненные неудачи своего бездарного отца. Долги его все росли, а состояние уменьшалось, пока наконец не наступило полного разорения. Имение было продано, и старику предстояло покинуть дом, где жили его предки, чтобы переселиться неизвестно куда. И вот, подобно какому-нибудь старому шкафу, который еще долго мог бы стоять в своем углу, но который распадается вдруг на куски, едва только его начнут передвигать на новое место, старик упал и умер от паралича на пороге своего дома.

Наш ученый в эту минуту как бы пробудился от сна. Он увидел, что покровитель его умер и что единственная дочь старика, женщина уже не очень молодая, утратившая всякое обаяние и красоту, если они у нее вообще когда-нибудь были, осталась бездомною сиротою без всяких средств к жизни. Он обратился к ней приблизительно в тех же выражениях, в которых Сэмсон обращается к мисс Бертрам, и высказал ей свою решимость не покидать ее. Все случившееся как бы пробудило дремавшие в нем таланты; он открыл небольшую школу и поддерживал дочь своего покровителя до конца ее жизни, причем отно-

сился к ней с той же почтительностью и благоговейным вниманием, как и в дни ее бывшего благополучия.

Такова в общих чертах истинная история Домини Сэмсона. Хотя он и не знал ни романтических увлечений, ни страстей, прямота и простодушие этого человека могут взволновать сердце читателя и заставить его прослезиться совершенно так же, как и переживания более возвышенной и более утонченной души.

Эти предварительные заметки о романе «Гай Мэннеринг» и о некоторых его персонажах избавят автора от необходимости писать длинные примечания, а читателя — следить за ними.

Эбботсфорд, 1 августа 1829 года.

Глава I

Когда, окидывая взглядом эту безлюдную местность, он видел вокруг одни только пустынные поля, голые деревья, окутанные туманом холмы и затопленные водою низины, он должен был признать, что ему не справиться с чувством грусти и что его тянет домой.

*«Путешествие Уильяма Марвела»
(«Бездельник», № 49)*

В начале ноября 17.. года молодой англичанин, только что окончивший Оксфордский университет, воспользовался свободным временем, чтобы побывать в северных областях Англии; любопытство заставило его заглянуть и в граничившую с ними страну. В тот день, с которого мы начинаем наш рассказ, он посетил развалины монастыря в графстве Дамфриз и провел почти весь день, зарисовывая их с разных точек. Когда он вскочил на лошадь, чтобы ехать обратно, наступили уже короткие и унылые осенние сумерки. Путь его лежал через темные болотистые пространства, расстилавшиеся на много миль вокруг. Над всей этой низиной, словно островки, тут и там поднимались пригорки с клочками ржаных полей, которые даже и в эту осеннюю пору были зелены,

а по временам появлялась какая-нибудь хижина или ферма, укрытая тенью одинокой ивы и обсаженная кустами бузины. Эти удаленные друг от друга строения сообщались между собой извилистыми тропинками, терявшимися в болоте, пробираться по которому было под силу только местным жителям. Проезжая дорога, правда, была довольно хорошей и безопасной, и на ней не приходилось бояться наступления темноты. Но все-таки не слишком приятно путешествовать одному, да еще в ночное время, по незнакомой стране, и ничто, пожалуй, не могло дать такую богатую пищу для воображения, как та обстановка, которая в эти часы окружала Мэннеринга.

По мере того как свет становился все более тусклым, а болотистая низина вокруг все чернее и чернее, путешественник наш все настойчивее расспрашивал каждого случайного встречного о том, какое расстояние отделяет его от деревни Кипплтринган, где он предполагал остановиться на ночлег. Люди, в свою очередь, задавали ему вопросы, касающиеся тех мест, откуда он ехал. Пока еще было достаточно светло для того, чтобы по одежде и по всему облику узнать в нем дворянина, эти перекрестные вопросы задавались обычно в форме предположения, вроде того как: «Вы изволили ездить в старое аббатство Холикрос, сэр?» или: «Ваша честь, верно, следует из замка Пудерлупат?» Но когда стало так темно, что ничего не было видно и встречные слышали один только его голос, ему говорили: «И чего это тебя занесло так далеко в эту темь?» или: «Эй, друг, ты что, не здешний, что ли?» Ответы, которые он получал, не только никак не вязались один с другим, но и сами по себе были далеки от точности. Вначале до Кипплтрингана оставалось «порядком», потом это «порядком» уже более точно определялось как «три мили», потом от «трех миль» оставалось «чуть побольше мили», но вдруг эта миля снова превращалась в «четыре мили с лихвой». Под конец женский голос, только что унимавший плачущего ребенка, которого женщина

несла на руках, уверил Гая Мэннеринга, что «дорога до Кипплтрингана еще длинная-преддлинная, да и тяжелая для пешеходов». Бедная лошадь Мэннеринга считала, должно быть, что и для нее дорога столь же неудобна, как и для этой женщины; едва только боков ее касались шпоры, она начинала тяжело дышать и спотыкалась о каждый камень, а их на дороге было немало.

Мэннеринг потерял терпение. Вдалеке по временам мелькали какие-то огоньки, вселяя в него обманчивую надежду, что путь его приходит к концу. Но, как только он подъезжал к ним, он с разочарованием убеждался, что это мерцали огни тех домиков, которые время от времени скрашивали однообразие огромного болота. И наконец, в довершение всех его невзгод, дорога вдруг раздвоилась. И если бы даже было достаточно светло, чтобы разглядеть остатки столба, когда-то поставленного на перекрестке, то и это не помогло бы, так как, по существующему в Северной Англии похвальному обычаю, как только на столбе бывала сделана надпись, ее кто-нибудь всегда умудрялся стереть. Поэтому путник наш был вынужден, подобно странствующим рыцарям былых времен, довериться чутью своего коня, который без всяких колебаний выбрал дорогу, ведущую влево, и прибавил ходу, позволяя своему седоку надеяться, что до места ночлега остается уже недалеко. Но надежда эта не слишком быстро сбывалась, и Мэннеринг, которому от нетерпения каждый кусок пути казался чуть ли не втрое длиннее, начал уже думать, что Кипплтринган и на самом деле удаляется от него по мере того, как он едет вперед.

Небо было теперь почти сплошь затянуто тучами, и только кое-где слабым колеблющимся светом светились звезды. До сих пор ничто не нарушало тишины, царившей вокруг, если не считать глубокого буханья птицы бугая, разновидности большой выпи, и вздохов ветра, гулявшего по унылым низинам. Теперь к этому присоединился еще отдаленный рев океана, к которому наш путешественник, по-видимому,

быстро приближался. Впрочем, это обстоятельство никак не могло его успокоить. В этих местах дороги часто тянутся вдоль морского берега и легко затопляются приливами, которые достигают большой высоты и надвигаются очень стремительно; иные дороги даже пересекаются заливами и маленькими бухточками, переход через которые бывает безопасен только в часы отлива. И, во всяком случае, не следовало делать таких переходов темной ночью на усталой лошади, да еще в незнакомом краю. Поэтому Мэннеринг твердо решил, что, если только не найдется проводника, который поможет ему разыскать эту злополучную деревню Кипплтринган, он заночует где угодно, как только доберется до первого жилья, пусть даже самого бедного.

Жалкая лачуга, оказавшаяся на его пути, как будто давала возможность осуществить это намерение. Он отыскал дверь, что было не так легко, и стал стучать. В ответ послышался женский голос и твяканье дворняжки, причем последняя просто надрывалась от лая, в то время как женщина ей визгливо вторила. Постепенно звуки человеческого голоса заглушили все остальное, и так как лай в это время сменился жалобным воем, то можно было думать, что здесь в дело вмешался не только голос.

— Долго ты еще будешь глотку драть, — это были первые слова, которые донеслись из дома, — дашь ты мне наконец поговорить с человеком?

— Скажите, хозяйка, далеко ли отсюда до Кипплтрингана?

— До Кипплтрингана!!! — последовал ответ, причем в голосе слышалось такое удивление, которое нам трудно передать даже тремя восклицательными знаками. — Эх вы! До Кипплтрингана надо было взять левее, а теперь придется ехать назад до ложбины, а потом прямо по ложбине до самой Беленлоун, а там...

— Хозяйшкa, это просто невысказимо! Моя лошадь совсем выбилась из сил, пустите меня переночевать.

— Ей-богу, никак нельзя. Я осталась совсем одна. Джеймс уехал на ярмарку в Драмсхурлох ба-ранов продавать, а где это видано, чтобы женщина к себе в дом разных бродяг пускала.

— Но что же мне тогда делать, хозяйшюка, не могу же я оставаться ночевать на дороге.

— А уж этого я не знаю, разве вот вы съедете с пригорка да попроситесь на ночлег в замок. Это дело верное, вас там примут, будь вы хоть знатный, хоть простак какой.

«Да уж другого такого простака не сыскать, чтобы стал блуждать тут в потемках», — подумал Мэннеринг, который плохо ее понял. — Но как же мне все-таки добраться до *замка*, как вы его называете?

— Держитесь правой стороны до самого конца дороги. Осторожнее только, не попадите в помойку.

— Ну, если опять начнутся разные *налево* и *направо*, я совсем пропал. Неужели никто не может проводить меня до *замка*? Я хорошо заплачú.

Слово *заплачú* возымело магическое действие.

— Джок, остолоп ты этакий, — крикнул тот же голос из глубины дома, — ты что, будешь тут дрыхнуть, а молодому господину придется одному искать дорогу в замок? Вставай, лодырь несчастный, и выведи господина на большую дорогу. Он проводит вас туда, сэр, и уж поверьте, что вас там хорошо примут. Они никому не отказывают, а вы приедете, по-моему, как раз вовремя, потому что лакей лэрда, не тот, что у него в камердинерах, а попроще, только что ездил за бабкой; так вот он и завернул к нам пару кружек двухпенсового пива распить и сказал, что у леди начались уже схватки.

— Может быть, являться в такое время в незнакомый дом не совсем удобно? — сказал Мэннеринг.

— Ну, об этом нечего заботиться, дом у них большой, а когда ждут приплода, у всех на душе весело.

К тому времени Джок разобрался уже во всех прорехах своей рваной куртки и еще более рваных

штанов и высунулся из двери; это был белоголовый босой, неуклюжий мальчуган лет двенадцати; таким он, во всяком случае, казался при свете свечи, которую его полуодетая мать старалась направить на незнакомца, оставаясь сама в темноте. Джок пошел налево задами, взяв под уздцы лошадь Мэннеринга, и довольно ловко повел ее по тропинке, окаймлявшей огромную помойную яму, близость которой уже всячески давала себя чувствовать. Потом юный проводник потянул обессиленную лошадь по узкой неровной дороге, а там проломал, как он выразился, *лазейку* в старой, сложенной из камня ограде и протащил послушное животное сквозь пролом, с грохотом обваливая камни на пути. Наконец через эти ворота он вышел на какую-то дорогу, похожую на аллею, хотя деревья были кое-где вырублены. Рев океана слышался теперь совсем близко и во всей своей силе, и только что взошедшая луна тусклым светом озаряла башни большого разрушенного замка. Мэннеринг с безотрадным чувством посмотрел на эти развалины.

— Послушай, мальчуган, — сказал он, — какой же это дом?

— Так ведь здесь когда-то, давным-давно, лэрды жили — это старый замок Элленгауэн, здесь водятся привидения, но вам их нечего бояться; что до меня, я их и вообще-то никогда не видел. А вот мы и пришли к новому замку.

И действительно, оставив развалины по правую руку и сделав еще несколько шагов, путешественник наш очутился у дверей не очень большого дома. Мальчик принялся громко стучать. Мэннеринг объяснил слуге, кто он такой, и в это время хозяин дома, услышав из гостиной его голос, вышел к нему и радужно пригласил его быть гостем Элленгауэна. Мальчика, который получил полкроны и весь сиял от радости, отпустили домой. Усталую лошадь отвели в конюшню, а Мэннеринг через несколько минут сидел уже в теплой комнате за ужином, который с дороги казался ему особенно вкусным.

Глава II

...врежется сюда,
Отхватит от земель моих отборных
Изрядный кус, огромный полукруг.

«Генрих IV», ч. I

Общество, собравшееся в гостиной Элленгауэна, состояло из лэрда и еще одного человека, которого можно было принять за сельского учителя или за причетника; вряд ли это мог быть священник, приехавший в гости к лэрду, — он был для этого слишком плохо одет.

Сам лэрд был одной из тех ничем не замечательных личностей, которых часто можно встретить в сельских местностях. Такого рода людей Филдинг называл *feras consumere pati*;¹ но страсть к охоте свидетельствует уже о наличии некоторой энергии, а Бертрам, даже если эта энергия у него когда-то и была, теперь, во всяком случае, ее лишился. Единственной чертой характера, которая выражалась на его довольно красивом лице, было какое-то добродушное безразличие ко всему окружающему. И действительно, физиономия его запечатлела ту внутреннюю пустоту, которая сопровождала всю его жизнь. Покамест наш лэрд занимается длинными разглагольствованиями о том, как удобно и полезно обертывать стремяна пучком соломы, когда случится ехать в холодный вечер, я попытаюсь дать читателю представление о нем самом и о стиле его речей.

У Годфри Бертрама Элленгауэна, как и у некоторых других лэрдов его времени, было много прославленных предков, но мало денег. Род его уходил своими корнями так далеко в глубь времен, что самые первые представители его терялись где-то в варварских веках независимости Гэллоуэя. На родословном древе его, кроме христианских и рыцарских имен Годфри, Гилбертов, Деннисов и Роландов, которым конца не было, были и языческие, относившиеся

¹ Рожденными для того, чтобы истреблять дичь (*лат.*).

к еще более отдаленным временам, — Арты, Кнарты, Донагилды и Хэнлоны. Действительно, когда-то все они были людьми буйного нрава, повелителями обширных незаселенных земель и вождями большого племени Мак-Дингауэв и лишь значительно позднее приняли норманское имя Бертрамов. Они воевали, поднимали восстания, терпели поражения; потом их покоряли, им отрубали головы, их вешали — словом, с ними на протяжении многих столетий происходило все то, что приличествует каждому знаменитому роду. Но постепенно они потеряли свое высокое положение, и прежние главари государственных заговоров и крамол, Бертрамы, Мак-Дингауэи и Элленгауэны, снизились до роли их простых соучастников. Наиболее роковым в этом смысле для них явилось семнадцатое столетие, когда, казалось, сам враг рода человеческого вселил в них дух протеста, неизменно ставивший их в оппозицию к существующему порядку. Они вели себя как раз наперекор правилам известного пастора Брея и с таким же упорством вставляли на защиту слабых, с каким этот почтенный служитель церкви тяготел к сильным мира сего. И, подобно ему, они получили за все должную награду.

Аллан Бертрам Элленгауэн, который процветал *tempore Caroli Primi*,¹ был, как утверждает самое авторитетное для меня лицо, сэр Роберт Дуглас, в своей родословной шотландских баронетов (см. это сочинение на имя «Элленгауэн») непоколебимым роялистом, исполненным решимости защищать священную особу короля. Он действовал заодно со знаменитым маркизом Монтрозом и другими ревностными и благородными патриотами, причем в борьбе этой понес большие потери. Милостью священной особы его величества он был возведен в рыцарское достоинство, а парламентом осужден в 1642 году как злонамеренный и потом вторично как резолюционист — в 1648 году. Эти два взаимоисключающих эпитета «злонамеренный» и «резолюционист»

¹ Во времена Карла I (лат.).

стоили бедному сэру Аллану половины его родовых владений. Его сын Деннис Бертрам женился на дочери одного из видных фанатиков тех времен, заседавших в Государственном совете, и союзом этим спас остаток отцовского состояния. Но коварной судьбе угодно было, чтобы он увлекся не только красотой, но и политическими идеями своей жены, и вот какими словами характеризует его Роберт Дуглас:

«Это был человек выдающихся способностей и к тому же очень решительный, и это побудило западные графства избрать его одним из представителей дворянства, которым было поручено представить тайному совету Карла II их жалобу на вторжение северошотландских горцев в 1678 году. За выполнение этого патриотического долга на него, однако, был наложен штраф, для уплаты которого он должен был заложить половину доставшегося ему от отца поместья. Может быть, путем строгой экономии он и возместил бы эту потерю, но, как только вспыхнуло восстание Аргайла, Деннис Бертрам снова попал в немилость; к нему начали относиться недоверчиво, сослали его в замок Даннотар на берегу Мернса, и там он погиб при попытке бежать из подземелья, называвшегося Пещерой вигов, где он находился в заключении вместе с восемьюдесятью своими сподвижниками. Заимодавец его вступил тогда во владение его землей, выражаясь словами Хотспера — «врезался» к нему и отнял у Бертрама еще один огромный участок оставшегося поместья.

Донохо Бертрам, у которого и в имени и в характере было что-то ирландское, унаследовал уже урезанные земли Элленгауэнов. Он выгнал из дома преподобного Аарона Мак-Брайера, капеллана своей матери (рассказывают, что они не поделили между собой прелестей молоденькой молочницы), ежедневно напивался пьяным, провозглашая здоровье короля, совета и епископов, устраивал оргии с лэрдом Лэггом, Теофилом Оглторпом и сэром Джеймсом Тернером и наконец, сев на своего серого мерина, присо-

единился к Клайверсу в Киллиенкрэнки. В схватке при Данкелде в 1689 году какой-то камеронец застрелил его серебряной пуговицей (считалось, что дьявол делал его неуязвимым для свинца и железа), и место, где он погребен, поныне еще зовется «Могилой нечестивого лэрда».

Сын его Льюис проявил больше благоразумия, чем можно было ждать, зная его предков. Он всячески старался сохранить доставшуюся ему часть поместий, разоренных как разгульной жизнью Донохо, так и различными штрафами и конфискациями. И хотя он тоже не избежал роковой судьбы, которая втягивала всех Элленгауэнов в политику, у него все-таки хватило благоразумия, перед тем как выступить вместе с лордом Кенмором в 1715 году, поручить свое состояние доверенным лицам, для того чтобы избежать расплаты в случае, если бы графу Мару не удалось свергнуть протестантскую династию. Но когда он очутился, как говорится, между Сциллой и Харибдой, ему удалось спасти свое состояние, только прибегнув к новой тяжбе, результатом которой явился еще один дележ родовых владений. Но все же это был человек решительный. Он продал часть земель и расстался со старым замком, где род его в период упадка ютился, говоря словами одного фермера, «как мышь в щели»; он снес тогда часть этих древних развалин и построил из старого камня небольшой трехэтажный дом с фасадом, походившим на гренадерскую шапку, со слуховым окном в середине, напоминавшим единственный глаз циклопа, еще двумя окнами по бокам и дверью между ними, которая вела в зал и гостиную, освещенную со всех четырех сторон.

Таков был новый замок Элленгауэн, где мы оставили нашего героя, которому, может быть, тогда было не так скучно, как сейчас читателю. В этот-то дом и переселился Льюис Бертрам, полный твердой решимости восстановить материальное благополучие своей семьи. Он захватил в свои руки часть земли, часть взял в аренду у соседних помещиков, покупал и продавал в Северной Шотландии крупный рогатый скот и чевиотских овец, ездил по рынкам и ярмаркам,

торговался там, как только мог, и всеми силами одолевал нужду. Но, приобретая себе состояние, он одновременно проигрывал в общественном мнении; его собратья лэрды смотрели косо на эти его коммерческие операции и сельскохозяйственные затеи; сами они больше всего на свете интересовались петушиными боями, охотой и скачками, лишь изредка разнообразя эти развлечения какой-нибудь безрассудной дуэлью. В глазах этих соседей образ жизни Элленгауэна унижал его дворянское достоинство; он же, в свою очередь, почел за благо постепенно избавляться от их общества, снизойдя до того, чтобы стать обыкновенным помещиком-фермером, — положение по тому времени незавидное. Но в самом разгаре его замыслов смерть оборвала их, и все скудные остатки большого поместья перешли к единственному его сыну Годфри Бертраму, который теперь и являлся их владельцем.

Опасность спекуляций, которыми занимался его отец, скоро дала себя знать. Без самоличного и неусыпного надзора лэрда Льюиса все начатые им предприятия пришли в упадок; они не только перестали давать доход, но даже стали убыточными. Годфри, у которого не было ни малейшей энергии, чтобы предотвратить эти беды или достойно их встретить, во всем положился на другого человека. Он не заводил ни конюшен, ни псарни, ни всего того, с чего в этих местах люди обычно начинают разоряться, но, как и многие его соседи, он завел себе управляющего, и это оказалось разорительнее, чем все остальное. Под мудрым руководством этого управляющего маленькие долги превратились в большие от выросших процентов, временные обязательства перешли в наследственные, и ко всему присоединились еще немалые судебные издержки. По своей натуре Элленгауэн не имел ни малейшей склонности к сутяжничеству, но тем не менее ему пришлось оплачивать расходы по тяжбам, о существовании которых он даже и не знал. Соседи предрекали ему полное разорение. Высшие сословия не без злорадства считали его уже кончен-

ным человеком, а низшие, видя, в какое зависимое положение он попал, относились к нему скорее сочувственно. Простые люди даже любили и при разделе общинного выгона, а также в тех случаях, когда ловили браконьера или заставляли кого-то за незаконной порубкой леса — словом, всегда, когда помещики так или иначе ущемляли их интересы, они говорили друг другу: «Ах, если бы у нашего доброго Элленгауэна были такие владения, как у его деда, он не потерпел бы, чтобы обижали бедных». Однако это хорошее мнение о нем никогда не мешало им при всяком удобном случае извлекать из его доброты какую-то пользу для себя: они пасли скот на его пастбищах, воровали у него лес, охотились за дичью на его угодьях и так далее, — «наш добрый лэрд этого и не увидит, никогда ведь он в наши дела мешаться не станет». Разносчики, цыгане, медники и бродяги всех мастей постоянно толпились в людских Элленгауэна и находили себе приют на кухне, а лэрд, «славный человек», большой охотник поболтать, как и вообще все слабохарактерные люди, любил в награду за свое гостеприимство выслушивать разные новости, которые они ему рассказывали.

Одно только обстоятельство помогло Элленгауэну избежать полнейшего разорения. Это был его брак с женщиной, которая принесла ему около четырех тысяч фунтов стерлингов приданого. Никто из соседей не мог понять, что, собственно, заставило ее выйти за него замуж и отдать ему все свое состояние, — не иначе как это был его высокий рост, статная фигура, красота, хорошее воспитание и отменное добродушие. Могло иметь значение и то, что сама она уже достигла критического возраста двадцати восьми лет и у нее не было близких родных, которые могли бы повлиять на ее решение.

Ради этой-то дамы (рожавшей в первый раз) и был так стремительно послан в Кипплтринган тот нарочный, о котором рассказывала вечером Мэннерингу старуха.

Мы уже много всего сказали о самом лэрде, но нам остается еще познакомить читателя с его собеседником. Это был Эйбл Сэмсон, которого по случаю того, что он был учителем, называли Домини Сэмсон. Он был родом из простых, но удивительная серьезность его, проявившаяся у него с младенческих лет, вселила в его родителей надежду, что их дитяtko «пробьет», как они говорили, себе дорогу к церковной кафедре. Во имя этой честолюбивой цели они всячески ограничивали и урезывали себя, вставали раньше, ложились позднее, сидели на одном черством хлебе и холодной воде — все это для того, чтобы предоставить Эйблу возможность учиться. А тем временем долговязая нескладная фигура Сэмсона, его молчаливая важность и какая-то несуразная привычка шевелить руками и ногами и кривить лицо в то время, как он отвечал урок, сделали бедного Сэмсона посмешищем в глазах всех его школьных товарищей. Те же самые свойства стяжали ему не менее печальную известность и в колледже в Глазго. Добрая половина уличных мальчишек собиралась всегда в одни и те же часы поглядеть, как Домини Сэмсон (он уже достиг этого почетного звания), окончив урок греческого языка, сходил вниз по лестнице с лексиконом под мышкой, широко расставляя свои длинные неуклюжие ноги и странно двигая огромными плечами, то поднимавшими, то опускавшими мешковатый и поношенный черный кафтан, его неизменную и к тому же единственную одежду. Когда он начинал говорить, все старания учителей (даже если это был учитель богословия) сдержат неукротимый смех студентов, а порой даже и свой собственный, ни к чему не приводили. Вытянутое бледное лицо Сэмсона, выпученные глаза, необъятная нижняя челюсть, которая, казалось, открывалась и закрывалась не усилием воли, а помещенным где-то внутри сложным механизмом, резкий и пронзительный голос, переходивший в совиные крики, когда его просили произнести что-нибудь отчетливее, — все это было новым источником веселья в дополнение к дырявому

кафтану и рваным башмакам, которые служили законным поводом для насмешек над бедными школярами еще со времен Ювенала. Никто, однако, не видел, чтобы Сэмсон когда-нибудь вышел из себя или сделал хоть малейшую попытку отплатить своим мучителям. Он ускользал из колледжа самыми потаенными ходами и прятался в своем жалком жилище, где за восемнадцать пенсов в неделю ему было позволено возлежать на соломенном тюфяке и, если хозяйка была в хорошем настроении, готовиться к занятиям у топившегося камина. И, невзирая на все эти неблагоприятные условия, он все же изучил и греческий и латинский языки и постиг кое-какие науки.

По истечении некоторого времени Эйбл Сэмсон, кандидат богословия, получил право читать проповеди, но, увы, то ли из-за собственной застенчивости, то ли из-за сильной и непреодолимой смешливости, которая овладела слушателями при первой же его попытке заговорить, он так и не смог произнести ни единого звука из тех слов, которые приготовил для своей будущей паствы. Он только вздохнул, лицо его безобразно перекосилось, глаза выкатились, так что слушатели думали, что они вот-вот выскочат из глазниц; потом он захлопнул библию, кинулся вниз по лестнице, чуть было не передавил сидевших на ступеньках старух и получил за все это прозвище «немного проповедника». Так он и вернулся в родные места с поверженными во прах надеждами и чаяниями, чтобы разделить с родителями их нищету. У него не было ни друга, ни близкого человека, почти никаких знакомых, и никто не мог сказать с уверенностью, как Домини Сэмсон перенес свой провал, которым в течение недели развлекался весь город. Невозможно даже и перечислить всех шуток, сочиненных по случаю этого происшествия, начиная от баллады под названием «Загадка Сэмсона», написанной по этому поводу молодым самодовольным студентом словесности, и кончая колкой остротой самого ректора, заявившего, что хорошо еще, что беглец не уподобился

своему тезке-силачу и не унес с собою ворот колледжа.

Однако, по всей видимости, душевное равновесие Сэмсона было непоколебимо. Он хотел помочь родителям и для этого устроил у себя школу. Скоро у него появилось много учеников, но доходы его были не очень-то велики. Действительно, он обучал детей фермеров, не назначая никакой определенной платы, а бедных — и просто даром, и, к стыду фермеров, надо заметить, что заработок учителя при таких обстоятельствах не мог сравниться с тем, что мог зарабатывать хороший пахарь. Но у Сэмсона был отличный почерк, и он еще прирабатывал, переписывая счета и составляя письма для Элленгауэна. Отдалившийся от светского общества лэрд постепенно привык проводить время с Домини Сэмсоном. О настоящих разговорах между ними, конечно, не могло быть и речи, но Домини был внимательным слушателем и, кроме того, умел довольно ловко мешать угли в камине. Он пробовал даже снимать нагар со свеч, но потерпел неудачу и, дважды погрузив гостиную в полную темноту, вынужден был сложить с себя эту почетную обязанность. Таким образом, за все гостеприимство лэрда он отплачивал единственно тем, что одновременно со своим хозяином аккуратно наливал себе в стакан столько же пива, сколько и тот, и издавал какие-то неясные звуки в знак одобрения длинных и бессвязных рассказов Элленгауэна.

В одну из таких минут Мэннеринг и увидел впервые его высокую, неуклюжую и костлявую фигуру в поношенном черном кафтане, с не слишком чистым цветным платком на худой и жилистой шее, в серых штанах, темно-синих чулках и подбитых гвоздями башмаках с узкими медными пряжками.

Вот вкратце описание жизни и судеб тех двух людей, в приятном обществе которых Мэннеринг проводил теперь время.

Глава III

История давно знавала
Пророчеств памятных немало.
Судеб, событий повороты
Предсказывали звездочеты,
Астрологи, жрецы, халдеи
И всех столетий чародеи.

«Гудибрас»

Хозяин дома сразу же сообщил Мэннерингу, какие обстоятельства заставляют жену его лежать в постели, прося извинить ее за то, что она не приветствует его сама и не может заняться устройством его ночлега. Эти же особые обстоятельства послужили предлогом, чтобы распить с гостем лишнюю бутылку хорошего вина.

— Я не могу спокойно уснуть, — сказал лэрд, и в голосе его слышались уже нотки пробуждающегося отцовского чувства, — пока не узнаю, что все обошлось благополучно, и, если вам не слишком хочется спать, сэр, и вы соизволите оказать мне и Домини честь посидеть с нами, я уверен, что ждать нам придется не очень долго. Старуха Хауэтсон — баба толковая, тут как-то вот с одной девицей беда приключилась... Недалеко отсюда она жила... Нечего качать головой, Домини, ручаюсь вам, что церковь все свое сполна получила, чего же ей еще надо?.. А брюхатой эта девица еще до венца стала, и, представьте, тот, кто на ней женился, и любил ее и уважал ничуть не меньше... Вот какие дела, мистер Мэннеринг, а живут они сейчас в Эннене и друг в друге души не чают, — шестеро таких ребятшек у них, что просто не наглядеться; кудрявенький Годфри — самый старший, их желанное дитя, если хотите, так он сейчас уже на таможенной яхте... У меня, знаете, есть родственник, он тоже в таможне служит, комиссар Бертрам. А должность эту он получил, когда в графстве шла великая борьба; вы, наверно, об этом слышали, ведь жалобу тогда подавали в Палату общин... Что до меня, то я голосовал за лэрда Бэлраддери, но, знаете, отец мой был якобитом и участвовал

в восстании Кенмора, поэтому он никогда не принимал присяги... Словом, я хорошенько не знаю, как все это получилось, но, что я ни говорил и что ни делал, они исключили меня из списков, хотя в то же время управляющему моему отличным образом разрешили подать свой голос за старого сэра Томаса Киттл-корта. Так вот, я хотел вам сказать, что бабушка Хауетсон очень проворна, и как только эта девица...

На этом месте отрывочный и бессвязный рассказ лэрда был прерван: на лестнице, которая вела на кухню, кто-то вдруг запел во весь голос. Верхние ноты были слишком уж высоки для мужчины, нижние чересчур низки для женщины. До слуха Мэннеринга долетели следующие слова:

В доме ладятся дела,
Коль хозяйка родила.
Пусть малышка, пусть малыш, —
Бога ты благодаришь.

— Это Мег Меррилиз, цыганка, клянусь самим богом, — сказал мистер Бертрам. Домини, который сидел, положив ногу на ногу, издал какой-то неопределенный звук, похожий на стон, а потом, пустив густые клубы табачного дыма, растопырил свои длинные ноги и, переставив их, снова скрестил.

— Чем вы недовольны, Домини? Поверьте, что в песнях Мег нет ничего худого.

— Ну, и хорошего тоже нет, — ответил Домини Сэмсон голосом, ни с чем не сообразная пронзительность которого была под стать всей его неуклюжей фигуре. Это были первые его слова, услышанные Мэннерингом, а так как последний не без любопытства ожидал, когда этому умевшему пить, есть, курить и двигаться автомату настанет черед заговорить, то резкие и скрипучие звуки, которые он сейчас услышал, немало его позабавили. Но в это мгновение дверь отворилась, и в комнату вошла Мег Меррилиз.

Вид ее поразил Мэннеринга. Это была женщина шести футов ростом; поверх платья на ней был надет мужской плащ, в руках она держала здоровенную

терновую дубину, и вся ее одежда, если не считать юбок, более походила на мужскую, чем на женскую. Ее черные волосы выбивались из-под старомодной шапочки, извиваясь точно змеи Горгоны и еще более усиливая необычайную суровость ее загорелого лица, на которое падали их тени, в то время как в блуждающих глазах горел какой-то дикий огонек то ли подлинного, то ли напускного безумия.

— Вот это хорошо, Элленгауэн, — сказала она, — леди уже слегла, а я тем временем на ярмарке в Драмсхурлохе. Кто же стал бы отгонять от нее злых духов? А если, помилуй бог, на младенца напали бы эльфы и ведьмы? Кто бы тогда прочел над бедняжкой заклинание святого Кольма? — И, не дожидаясь ответа, она запела:

Клевер, папорота цвет
Отгоняет ведьм навет,
Кто в Андреев день постится,
С тем беда не приключится,

Мать божия с ребенком
Или Кольм святой с котенком,
Михаил с копьём придет:
Нечисть в дом не попадет.

Она пропела это дикое заклинание высоким резким голосом и, подпрыгнув три раза вверх так высоко, что едва не стукнулась о потолок, в заключение сказала:

— А теперь, лэрд, не угостите ли вы меня стаканчиком водки?

— Сейчас тебе подадут, Мег; садись там у двери и расскажи нам, что нового на ярмарке в Драмсхурлохе.

— Верите, лэрд, очень там не хватало вас и таких, как вы. Уж больно девочки там хорошие были, не считая меня, и ни один черт ничего им не подарил.

— Скажи-ка, Мег, а много ли цыган в тюрьму посадили?

— Ей-богу же, только трех, лэрд, потому что на ярмарке больше их и не было, кроме меня, как я вам

уже сказала, и я даже удрала оттуда, потому что не к чему мне в разные ссоры ввязываться. А тут еще Данбог прогнал Реда Роттена и Джона Янга со своей земли — будь он проклят! Какой он дворянин, ни капли в нем нет дворянской крови! Места ему, что ли, не хватало в пустом доме, что он и двоих бедняков не мог у себя приютить! Испугался он, должно быть, что они репы у него с дороги оберут или из гнилой березовой коры кашу себе сварят. Но есть и повыше его, кто все видит, — так вот, не запел бы еще как-нибудь на зорьке у него в амбарах красный петух.

— Тише! Тсс, Мег! Не дело говоришь!

— Что это все значит? — тихо спросил Мэннеринг Сэмсона.

— Пожаром грозит, — отвечал немногословный Домини.

— Скажите же, ради всего святого, кто она такая?

— Потаскуха, воровка, ведьма и цыганка, — ответил Сэмсон.

— Вот уж истинно говорю вам, лэрд, — продолжала Мег, пока они перешептывались между собой, — только такому человеку, как вы, можно всю правду выложить; говорят, что этот Данбог — такой же дворянин, как тот нищий, который там вон внизу себе лапшу сколотил. А вы ведь, лэрд, действительно настоящий дворянин, и не первая сотня лет идет уже вашему дворянству, и вы никогда не будете бедняков со своей земли гнать, как бездомных собак. И знайте, что никто из нас на ваше добро руки не поднимет, будь у вас одних каплунов столько, сколько листьев на дубе. А теперь взгляните кто-нибудь на часы да скажите мне точно час и минуту, когда дитя родится, а я скажу вам, что его ждет.

— Ладно, Мег, мы и без тебя все узнаем, у нас тут есть студент из Оксфорда; он лучше тебя его судьбу предскажет — он ее по звездам прочтет.

— Ну, конечно, сэр, — сказал Мэннеринг в тон простодушному хозяину, — я составлю его гороскоп по закону тройственности, как учат Пифагор, Гиппократ, Диоклес и Авиценна. Или я начну *ab hoc* que-

stionis,¹ как учат Хейли, Мессагала, Ганвехис и Гвидо Бонат.

Одной из черт характера Сэмсона, особенно расположивших к нему Бертрама, было то, что он не догадывался, когда над ним подтрунивали, так что лэрду, чье не слишком удачное остроумие не шло дальше самых плоских шуток, было особенно легко потешаться над простодушным Домини. Сам же Домини вообще никогда не смеялся и не принимал участия в смехе, поводом к которому служила его собственная простота; говорят, что он рассмеялся всего только один раз в жизни, и в эту достопамятную минуту у хозяйки его квартиры сделался выкидыш, то ли от удивления по поводу столь неожиданного события, то ли от того, что она испугалась ужасных конвульсий, которыми сопровождалось это разразившееся вдруг громохание. Когда он в конце концов понимал, что с ним пошутили, то единственным, что изрекал этот мрачный человек, были слова: «Удивительно!» или: «Очень занятно», которые он произносил по слогам, не дрогнув при этом ни одним мускулом лица.

В данном случае он подозрительно и странно посмотрел на юного астролога, как будто сомневаясь в том, правильно ли он понял его ответ.

— Боюсь, сэр, — сказал Мэннеринг, обращившись к Сэмсону, — что вы принадлежите к тем несчастным, которым слабое зрение мешает проникнуть в звездные сферы и разгадать тайны, начертанные на небесах; недоверие и предрассудки заслоняют таким людям истину.

— В самом деле, — ответил Сэмсон, — я держусь того же мнения, что и Исаак Ньютон, кавалер, директор монетного двора его величества, что наука астрологии есть вещь совершенно пустая, легковесная и ничего не стоящая, — с этими словами он сомкнул свои широко разъятые, как у оракула, челюсти.

— Право же, — возразил ему Мэннеринг, — мне очень грустно видеть, что человек вашего ума и образования вдруг в такое удивительное заблуж-

¹ С самого начала (лат.).

дение и слепнет. Может ли сравниться коротенькое, совсем недавно получившее известность и, можно сказать, провинциальное имя Исаака Ньютона со звучными именами таких авторитетов, как Дариот, Бонат, Птолемей, Хейли, Эцтлер, Дитерик, Найбоб, Харфурт, Заэль, Таустеттор, Агриппа, Дурет, Магинус, Ориген и Арголь? Разве не все, как христиане, так и язычники, как евреи, так и правочерные, как поэты, так и философы, — разве не все они признают влияние звезд на судьбу?

— *Communis error* — всеобщее заблуждение, — отвечал непоколебимый Домини Сэмсон.

— Нет, это не так, — возразил ему молодой англичанин, — это твердое и обоснованное убеждение.

— Это уловки обманщиков, плутов и шарлатанов, — сказал Сэмсон.

— *Abusus non tollit usum* — злоупотребление какой-нибудь вещью никак не исключает законного ее применения.

Во время этого спора Элленгауэн был похож на охотника, который неожиданно попал в поставленный им же силос. Он поочередно поворачивал голову в сторону то одного, то другого собеседника и, видя, с какой серьезностью Мэннеринг парировал доводы своего противника и сколько учености он выказал в этом споре, начинал уже, кажется, верить, что тот не шутит. Что касается Мег, то она устала на астролога свой дикий взгляд, потрясенная его абракадаброй, еще более непонятной, чем ее собственная.

Мэннеринг использовал это преимущество и пустил в ход весь трудный ученый лексикон, который хранился в его поразительной памяти и который, как это станет видно из последующего изложения, был ему известен еще с детских лет.

Знаки зодиака и планеты в шестерном, четверном и тройном соединении или противостоянии, домá светил с фазами луны, часами, минутами; альмутен, альмоходен, анахибазон, катахибазон — тысячи разных терминов подобного же звучания и значения снова и снова посыпались как из рога изобилия на нашего бесстрашного Домини, природная недоверчивость

которого позволила ему выдержать эту беспощадную бурю.

Наконец радостное известие, что леди подарила своему супругу чудесного мальчика и сама чувствует себя хорошо, прервало затянувшийся спор. Бертрам кинулся в комнату жены, Мег Меррилиз спустилась вниз на кухню, чтобы отведать свою порцию гронинг-молта и кен-но,¹ а Мэннеринг, поглядев на часы и заметив очень точно час и минуту, когда родился ребенок, со всей подобающей учтивостью попросил, чтобы Домини указал ему какое-нибудь место, откуда можно было бы взглянуть на ночное небо.

Сэмсон, ни слова не говоря, встал и распахнул стеклянную дверь, которая вела на старинную террасу позади нового дома, примыкавшую к развалинам старого замка. Поднявшийся ветер разогнал тучи, которые только что перед этим застилали небо. Полная луна светила прямо над его головой, а вокруг в безоблачном просторе во всем своем великолепии сияли все ближние и дальние звезды. Неожданная картина, которую их сияние открыло Мэннерингу, глубоко его поразила.

Мы уже говорили, что в конце своего пути наш путешественник приближался к берегу моря, сам, однако, не зная, далеко ли ему до него оставалось. Теперь он увидел, что развалины замка Элленгауэн были расположены на возвышении, или, скорее, на выступе скалы, которая составляла одну из сторон

¹ Гронинг-молт, упоминаемый в тексте, — это пиво, которое варят, чтобы распить по случаю благополучного разрешения родильницы от бремени. Кен-но более древнего происхождения и, возможно даже, восходит к тайным обрядам *Вонае Деае*. Женщины готовят большой жирный сыр, причем все делается тайне; сыр предназначается для угощения кумушек, которые прислуживали во время родов. Сыр этот называется кен-но (не знаю), потому что ни один мужчина о нем ничего не знает. С особенной тщательностью его скрывают от хозяина. Поэтому тот должен вести себя, как будто он ничего и не подозревает. Он усердно угощает женщин и удивляется, что они упорно отказываются. Но как только он уходит, приносят кен-но, и каждая из кумушек получает свою порцию и запивает ее гронинг-молтом. Остатки женщины делят между собой и с той же напускной таинственностью уносят домой большие куски сыра. (*Прим. автора.*)

тихой морской бухты. Новый дом, пристроенный совсем вплотную к замку, стоял, однако, чуть ниже, а за ним берег спускался прямо к морю естественными уступами, на которых виднелись одинокие старые деревья, и кончался белой песчаной отмелью.

Другая сторона бухты, та, что была прямо против замка, представляла собой живописный мыс, полого спускавшийся к берегу и весь покрытый рощами, которые в этом зеленом краю доходят до самого моря. Из-за деревьев виднелась рыбацкая хижина. Даже сквозь эту густую тьму видно было, как на берегу передвигаются какие-то огоньки: возможно, что это выгружали контрабанду с люгера, прибывшего с острова Мэн и стоявшего на якоре где-то неподалеку. Едва только там внизу заметили свет в доме, как крики «берегись, гаси огонь» всполошили людей на берегу, и огни тут же потухли.

Был час ночи. Местность поражала своей красотой. Старые серые башни развалин, частью еще уцелевшие, частью разрушенные, и там и сям покрытые ржавыми пятнами, напоминавшими об их глубокой древности, кое-где обвитые плющом, поднимались над краем темной скалы направо от Мэннеринга. Перед ним расстилался безмятежный залив: легкие курчавые волны катились одна за другой, сверкая в лучах луны, и, ударяясь о серебристый берег, рассыпались нежно шуршавшей воздушной пеной. Слева лесные массивы вдавались далеко в океан; луна своим колеблющимся сиянием озаряла их волнистые контуры, создавая изумительную игру света и тени, чащ и прогалов, на которой отдыхает глаз, стремясь в то же время проникнуть глубже во все хитросплетения этой лесной панорамы. Наверху по небу плыли планеты, каждая в ореоле своего собственного сияния, отличавшего ее от меньших по размеру или более далеких звезд. Воображение удивительным образом может обманывать даже тех, чья воля вызвала его к жизни, и Мэннеринг, разглядывая сверкающие небесные тела, готов был почти согласиться с тем, что они действительно влияют на события человеческой жизни, как склонны были тогда думать люди суеверные. Но

Мэннеринг был влюбленным юношей, и возможно, что он находился во власти чувств, высказанных одним поэтом наших дней:

Любовь приют свой в сказке обретает:
Она легко заводит талисманы
И в духов разных верит упоенно,
В богов — ведь и сама она богиня,
И в существа, что древностью воспеты,
И прелести и чар их знает силу,
В дриад лесных, и фавнов, и сатиров
На горных склонах, в нимф, потоком бурным
От глаз укрытых... Все теперь пропало:
Им места в жизни не оставил разум,
Но, видно, есть у сердца свой язык,
Он имена их прежние вспомянет,
Что ныне отошли к далеким звездам.
Все духи, боги все, что здесь меж нами
Когда-то жили, землю поделив
По-дружески с людьми, во мгле крошечной
Над нами кружат и судьбу влюбленных
Вершат оттуда; так и в наши дни
Юпитер все великое приносит,
Венера все прекрасное дарит.

Однако в скором времени эти раздумья уступили место другим. «Увы, — подумал он, — мой добрый старый учитель, который так глубоко вникал в споры между Хейдоном и Чемберсом по поводу астрологии, посмотрел бы на все это другими глазами и действительно попытался бы, изучив расположение этих небесных светил, сделать выводы об их возможном влиянии на судьбу новорожденного, как будто путь небесных тел или их свечение могли заступить место божественного промысла или по меньшей мере управлять людьми в согласии с волей господней. Мир праху его! Тех знаний, которые он передал мне, достаточно, чтобы составить гороскоп, и поэтому я сразу же этим займусь». Раздумывая обо всем этом, Гай Мэннеринг записал расположение всех главных небесных тел и вернулся в дом. Лэрд встретил его в гостинной и, сияя

от счастья, объявил ему, что новорожденный — здоровый, хорошенький мальчуган и что следовало бы по этому поводу еще выпить. Но Мэннеринг отказался, сославшись на усталость. Тогда лэрд провел гостя в приготовленную для него комнату и простился с ним до утра.

Глава IV

Как следует взглядишь: увидишь сам
Ты в доме жизни некий знак зловещий,
То тайный враг: сулит тебе беду
Звезды твоей сиянье — не дремли же!

Колридж, из Шиллера

В середине семнадцатого века верование в астрологию было распространено повсеместно. К концу столетия престиж ее уже поколебался и многое стало ставиться под сомнение, а к началу восемнадцатого века к астрологии начали относиться с явным недоверием и даже с насмешкой. Но у нее все же было немало приверженцев, и даже среди ученых. Людям усидчивым и серьезным жаль было расставаться с вычислениями, которые были главным предметом их занятий с молодых лет; им не хотелось спускаться с той высоты, на которую воображаемая способность предсказывать судьбу по звездам возводила их над всеми остальными людьми.

В числе тех, кто с неослабной верой лелеял это мнимое преимущество, был и старый священник, которому юный Мэннеринг был отдан на воспитание. Не щадя глаз, он всматривался в звезды и переутомлял мозг, исчисляя их различные сочетания. Естественно, что это увлечение передалось и ученику. В течение некоторого времени он прилежно трудился, чтобы овладеть приемами астрологических вычислений, и, прежде чем он мог убедиться в их нелепости, сам Уильям Лили признал бы за ним «и редкостное воображение и проницательность мысли во всем, что касалось составления гороскопов».

На другое утро, лишь только на осеннем небе забрезжил рассвет, Мэннеринг поднялся с постели и занялся составлением гороскопа юного наследника Элленгауэнов. Он взялся за это дело *secundum artem*¹ отчасти для того, чтобы соблюсти приличия, отчасти просто из любопытства, чтобы проверить, помнит ли он и может ли еще применять все правила этой мнимой науки. И вот он начертил на бумаге звездное небо, разделив его на двенадцать домов, расположил в них планеты по таблице и внес поправки в соответствии с днем, часом и минутой рождения ребенка. Чтобы не докучать читателю теми предсказаниями, которые присяжные звездочеты извлекли бы из всех этих комбинаций, скажу только, что на чертеже был один знак, который сразу же привлекал к себе внимание нашего астролога. Марс, господствуя над двенадцатым домом, угрожал новорожденному ребенку пленом или внезапной насильственной смертью. Сделав дальнейшие вычисления, которыми, как утверждают прорицатели, можно проверить силу этого враждебного влияния, Мэннеринг нашел, что три периода жизни будут особенно опасны для новорожденного: *пятый, десятый и двадцать первый* годы его жизни.

Замечательнее всего было то, что Мэннеринг как-то раз уже занимался подобными пустяками по настоянию Софии Уэлвуд, молодой леди, в которую он был влюблен, и что точно такое же расположение планет угрожало и ей смертью или пленом на тридцать девятом году жизни. Девушке этой было тогда восемнадцать лет: таким образом получалось, — если верить тем и этим вычислениям, — что один и тот же год грозил одинаковыми бедами ей и только что появившемуся на свет младенцу. Пораженный этим совпадением, Мэннеринг еще раз проверил свои вычисления с самого начала, и новый результат еще больше сблизил предсказанные события, так что в конце концов оказалось, что один и тот же месяц и день должны были стать роковыми для обоих.

¹ По всем правилам (лат.).

Само собой разумеется, что, рассказывая об этом, мы не придаем никакого значения сведениям, полученным подобным способом. Но часто случается, — и такова уж свойственная нам любовь ко всему чудесному, — что мы сами охотно содействуем тому, чтобы подобного рода чувства одержали верх над рассудком. Было ли совпадение, о котором я рассказал, на самом деле одной из тех удивительных случайностей, которые иногда происходят наперекор всем человеческим расчетам, или Мэннеринг, заблудившись в лабиринте разных выкладок и путаных астрологических терминов, сам того не замечая, дважды ухватился за одну и ту же нить, чтобы выбраться из затруднительного положения, или, наконец, фантазия его, прельстившись внешним сходством отдельных черт, невольно восполнила это сходство и во всем остальном, — сейчас уже невозможно установить. Но так или иначе результаты полностью сошлись, и это его поразило.

Он не мог не удивляться столь странному и неожиданному совпадению. «Неужели же в это дело вмешался дьявол, чтобы отомстить нам за то, что мы обращаем в шутку науку, которая своим происхождением обязана колдовству? Или, может быть, как это допускают Бэкон и сэр Томас Браун, в строго и правильно понятой астрологии и на самом деле скрыта какая-то истина и не следует начисто отрицать влияние звезд на судьбу человека, хотя при всем этом и необходимо относиться крайне подозрительно к этой науке в тех случаях, когда она становится достоянием плутов, утверждающих, что они ее знают».

Поразмыслив, он отверг свое предположение, как фантастическое, и решил, что эти ученые пришли к подобному выводу только потому, что не решались сразу поколебать глубоко укоренившиеся предрассудки своего времени, или потому, что сами они не до конца освободились от заразного влияния этого суеверия. Однако результат его выкладок произвел на него такое неприятное впечатление, что, подобно Просперо, он мысленно простился со своим

искусством и решил никогда больше ни в шутку, ни всерьез не браться за астрологию.

Он долго обдумывал, что теперь сказать лэрду Элленгауэну относительно гороскопа его первенца; в конце концов он решил прямо высказать ему все те выводы, которые он сделал, одновременно убедив его в неосновательности той науки, на которой они были основаны. Приняв это решение, он вышел на террасу.

Если пейзаж, открывавшийся вокруг замка Элленгауэнов, был хорош при лунном свете, то и под лучами восходящего солнца он не потерял своей красоты. Земля даже теперь, в ноябре, как будто улыбалась, обласканная солнцем. Крутые ступеньки вели с террасы наверх, на прилегающую возвышенность, и, поднявшись по ним, Мэннеринг очутился прямо перед старым замком. Замок этот состоял из двух массивных круглых башен, мрачные контуры которых выступали далеко вперед на обоих углах соединявшей их куртины, или крепостной стены; они прикрывали собою главный вход, открывавшийся в середине этой стены величественной аркой, которая вела во внутренний двор замка. Высеченный на камне родовой герб грозно нависал над воротами; у самого входа видны были следы приспособлений, некогда опускавших решетку и поднимавших мост. Грубые, деревенского вида ворота, сколоченные из молодых сосен, являлись теперь единственной защитой этой некогда неприступной твердыни. Вид с эспланады перед замком был великолепен.

Все унылые места, которые Мэннеринг проезжал накануне, были скрыты теперь за холмом, и расстилавшийся перед ним пейзаж радовал глаз сочетанием гор и долин с рекой, которая появлялась то тут, то там, а потом совсем исчезала, прячась между высокими берегами, покрытыми густым лесом. Шпиль церкви и несколько видневшихся поодаль домиков указывали, что на месте впадения реки в океан была расположена деревня. Поля были хорошо возделаны, разделявшие их низенькие изгороди окаймляли подножия холмов, иногда взбираясь на самые склоны

их. Над ними расстилались зеленые пастбища, на которых паслись стада крупного рогатого скота, составлявшие главное богатство края в те времена; доносившееся издали мычание коров оживляло эту мертвую тишину. Чуть выше темнели еще более далекие холмы, а еще дальше, на горизонте, высились поросшие кустарником горы. Они служили естественным обрамлением для возделанных полей; отделяя их от остального мира, они накладывали на все окрестности печать отрадного уединения.

Морской берег, который был весь теперь на виду, красотой и разнообразием своих очертаний не уступал панораме холмов и гор. Местами его крутые утесы были увенчаны развалинами старинных зданий, башен или маяков, которые в прежнее время обычно располагались неподалеку друг от друга: таким образом, в случае вторжения врага или междоусобной войны можно было легко сообщить об этом сигналами и своевременно получить помощь. Замок Элленгауэн возвышался над всеми этими развалинами и своими огромными размерами и местоположением лишний раз подтверждал предание о том, что владельцы его были некогда первыми людьми среди всей окрестной знати. В других местах берег был более отлогим и весь был изрезан маленькими бухточками, а кое-где вдавался в море лесистыми мысами.

Картина эта, настолько непохожая на то, что предвещала вчерашняя дорога, произвела на Мэннеринга неизгладимое впечатление. Он видел перед собой вполне современный дом; в архитектурном отношении это было действительно довольно неуклюжее здание, но зато место было выбрано удачно — со всех сторон его окружала чудесная природа.

«Каким счастьем было бы жить в таком уединении! — подумалось нашему герою. — С одной стороны, поразительные остатки бывшего величия, словно сознающие, какое чувство родовой гордости они собой внушают; с другой — изящество и комфорт, которых вполне достаточно, чтобы удовлетворить не слишком требовательного человека. Быть бы здесь с тобою, София!..»

Но не будем больше подслушивать мечты влюбленного. Мэннеринг постоял так с минуту, скрестив на груди руки, а потом направился к развалинам замка.

Войдя в ворота, он увидел, что грубое величие внутреннего двора в полной мере соответствовало всему внешнему облику замка. С одной стороны тянулся ряд огромных высоких окон, разделенных каменными средниками; окна эти некогда освещали большой зал замка. С другой стороны — несколько зданий различной высоты. Построенные в разное время, они были расположены так, что со стороны фасада представлялись чем-то единым. Окна и двери были отделаны кружевной резьбой и грубыми изваяниями, частью уцелевшими, а частью уже обломанными, перевитыми плющом и другими выющимися растениями, пышно разросшимися среди этих руин. Прямо напротив входа тоже некогда стояли какие-то замковые постройки, но эта часть замка больше всего подвергалась разрушениям; молва связывала их с длительной междоусобной войной, когда замок обстреливали с парламентских кораблей, которыми командовал Дин. Через пролом в стене Мэннерингу было видно море и небольшое судно, которое все еще продолжало стоять на середине залива.¹ В то время, когда Мэннеринг оглядывал развалины, он услышал откуда-то слева, из глубины дома, голос цыганки, виденной им накануне. Скоро он отыскал отверстие, сквозь которое он мог ее видеть, сам оставаясь незамеченным. И он невольно подумал, что весь ее облик, и поза, и работа, которой она занималась, делали ее похожей на древнюю сивиллу.

Она сидела на камне в углу комнаты, пол которой был вымощен. Вокруг было чисто подметено, чтобы ничто не мешало веретену кружиться. Яркий солнечный луч, проникая в комнату сквозь высокое узкое окно, падал на ее дикий наряд, на странные черты ее лица и на работу, от которой она ни

¹ В нашем описании эти развалины напоминают прекрасные руины Карлаверокского замка в шести-семи милях от графства Дамфриз, близ Лохар-мосс. (*Прим. автора.*)

на минуту не отрывалась. Остальная часть комнаты была погружена во мрак. Одежда ее представляла смесь чего-то восточного с национальным костюмом шотландской крестьянки. Она пряла нить из шерстяных волокон трех разных цветов: черного, белого и серого, пользуясь для этого ручным веретеном, которое сейчас почти уже вышло из употребления. Сидя за веретеном, она пела, и, по-видимому, это были какие-то заклинания. Мэннеринг, вначале тщетно старавшийся разобрать слова, попробовал потом в поэтической форме передать то, что ему удалось уловить из этой странной песни:

Вертись, кружись, веретено, —
Со счастьем горе сплетено;
С покоем — буря, страх с мечтой
Сольются в жизни начатой.

Чуть сердце детское забьется,
Как пряжа вещая прядется,
И роем сумрачных видений
Над колыбелью реют тени.

Безумств неистовых череда,
И вслед за радостью — беда;
Тревог, сомнений и тягот
Несется страшный хоровод.

И тени мечутся вокруг,
То рвутся ввысь, то никнут вдруг.
Вертись, кружись, веретено, —
Со счастьем горе сплетено!

Прежде чем наш переводчик, или, лучше сказать, вольный подражатель, мысленно сложил эти строки и в то время как он все еще бормотал их про себя, отыскивая рифму к слову «веретено», работа сивиллы была окончена и вся шерсть выпрядена. Она взяла веретено, обмотанное теперь уже пряжей, и стала измерять длину нитки, перекидывая ее через локоть и натягивая между большим и указательным пальцами. Когда она измерила ее всю, она пробормотала: «Моток, да не целый; полных семьдесят лет, да только

нить три раза порвана, три раза связывать надо; его счастье, если все три раза проскочит».

Герой наш уже собирался было заговорить с прорицательницей, как вдруг чей-то голос, такой же хриплый, как и ревелившие внизу и заглушавшие его волны, дважды прокричал, и каждый раз все нетерпеливее:

— Мег, Мег Меррилиз! Цыганка, ведьма, чертовка!

— Сейчас иду, капитан, — ответила Мег. Но через несколько минут ее нетерпеливый хозяин явился к ней сам откуда-то из развалин замка.

По виду это был моряк, не очень высокий, с лицом, огрубевшим от бесчисленных встреч с норд-остом. Он был человеком удивительно крепкого, коренного телосложения; казалось, что никакой рост не помог бы его противнику одолеть его в схватке. Черты его были грубы, и, что еще того хуже, на лице его не было и следа того веселого добродушия, того беспечного любопытства ко всему окружающему, какие бывают у моряков во время их пребывания на суше. Качества эти, может быть, не меньше, чем все остальное, содействуют большой популярности наших моряков и хорошему отношению к ним, которое распространено у нас в обществе. Их отвага, смелость и стойкость — все это, вызывая к себе уважение, вместе с тем как будто даже несколько принижает в их присутствии мирных жителей суши. Но заслужить уважение людей отнюдь не то же самое, что завоевать их любовь, а чувство собственной приниженности тоже не очень-то располагает к этой любви. Зато разные мальчишеские выходки, безудержное веселье, неизменно хорошее расположение духа матроса, когда он отдыхает на берегу, смягчают собой все эти суровые черты его характера. Ничего этого не было в лице «капитана»; напротив, угрюмый и даже дикий взгляд омрачал его черты, которые и без того были неприятны и грубы.

— Где ты, чертова кукла? — сказал он с каким-то иностранным акцентом, хотя по-английски он говорил совершенно правильно. — Donner und Blitzen!¹ Мы

¹ Гром и молния! (нем. ругательство.)

ждем уже целых полчаса. Иди и благослови наш корабль на дорогу, а потом катись ко всем чертям!

В эту минуту он заметил Мэннеринга, который, чтобы подслушать заклинания Мег Меррилиз, так плотно прижался к выступу стены, что можно было подумать, что он от кого-то прячется. Капитан (так он себя именовал) замер от удивления и сразу же сунул руку за пазуху, как будто для того, чтобы достать оружие.

— А ты, братец, что тут делаешь? Небось подглядываешь?

Но, прежде чем Мэннеринг, озадаченный этим движением моряка и его наглым тоном, успел ответить, цыганка вышла из-под свода, где она сидела, и подошла к ним. Глядя на Мэннеринга, моряк спросил ее вполголоса:

— Ишейка, что ли?

Она отвечала ему так же тихо, на воровском наречии цыган:

— Заткни глотку, это господин из замка.

Мрачное лицо незнакомца прояснилось.

— Мое вам почтение, сэр. Я вижу, что вы гость моего друга мистера Бертрама; извините меня, я вас принял за другого.

— А вы, очевидно, капитан того корабля, который стоит в заливе?

— Ну да, сэр; я Дирк Хаттерайк, капитан люгера «Юнгфрау Хагенслапен», судна, которое здесь всем известно, и я не стыжусь ни имени своего, ни корабля, и уж если на то пошло, то и груза тоже.

— Для этого, наверно, и нет причины.

— Нет. Tausend Donner! ¹ Я ведь здорово торгую, только что нагрузился там в Дугласе, на острове Мэн. Чистый коньяк, настоящий хи-чун и су-чонг, мехельнские кружева. Стоит вам только захотеть... Коньяк что надо. Целые сто бочек сегодня ночью выгрузили.

— Праве же, я здесь только проездом, и мне ничего этого сейчас не нужно.

¹ Тысяча громов! (нем.)

— Ну, в таком случае до свидания, потому что дело не ждет; или, может быть, поднимемся ко мне на корабль и хватим там глоток спиртного, да и чаю вы себе там полный мешок наберете. Дирк Хаттерайк умеет гостей принимать.

В человеке этом сочетались бесстыдство, грубость и подозрительность, и все это вместе взятое было отвратительно. Он вел себя как подлец, сознающий, что к нему относятся с недоверием, но старающийся заглушить в себе это сознание напускной развязностью. Мэннеринг сразу же отказался от его предложений, и тогда, буркнув: «Ну ладно, прощайте», Хаттерайк скрылся вместе с цыганкой среди развалин замка. Очень узенькая лестница вела оттуда прямо к морю и была устроена там, очевидно, для прохода войск во время осады. По ней-то и спустилась к морю эта достойная пара; приятная наружность сочеталась в каждом из них с не менее почтенным ремеслом. Человек, называвший себя капитаном, сел в небольшую лодку вместе с двумя какими-то людьми, которые, должно быть, его дожидались, а цыганка осталась на берегу и, отчаянно жестикулируя, что-то приговаривала или пела.

Глава V

Поместья вы разграбили мои,
Вы в парки вторглись и леса срубили,
С окон моих сорвали древний герб,
Девиз мой стерли. Если бы не память
Людская и не кровь, что в этих жилах,
Кто б дворянина распознал во мне?

«Ричард II»

Едва только лодка, на которой отправился наш достойный капитан, доставила его на судно, там начали поднимать паруса, и люгер стал готовиться к отплытию. После трех пушечных выстрелов в честь замка Элленгаузн он помчался на всех парусах, гонимый ветром, который уносил его все дальше от берега.

— Ну, ну, — сказал лэрд, подойдя к Мэннерингу, которого он давно уже искал. — Вот они: смотрите, как они идут, наши контрабандисты, — капитан Дирк Хаттерайк на своей «Юнгфрау Хагенслапен», полуголландец, полумэнец, получерт. Выставляйте бушприт, ставьте грот-марселя, брамселя, бом-брамселя и трюмселя и у逃айте! А там догоняй кто может! Этот молодец, мистер Мэннеринг, гроза всех таможенных крейсеров. Они ничего не могут с ним поделать, он каждый раз или чем-нибудь насолит им, или просто от них уйдет... Да, кстати, насчет таможни, я пришел звать вас на завтрак и угощу вас чаем, тем самым, который...

Мэннеринг между тем заметил, что в потоке слов, хлынувшем из уст мистера Бертрама, мысли все каким-то странным образом цеплялись одна за другую,

Как нжутся жемчужинки на нить,

и поэтому, пока их поток не унес его собеседника еще дальше от первоначального предмета их разговора, он вернулся к нему, начав, со своей стороны, расспрашивать о Дирке Хаттерайке.

— О, это... это да, ничего, негодяй известный. Никто с ним не хочет связываться: это контрабандист — когда пушки лежат балластом, капер и даже пират — когда они подняты наверх. Таможенным с ним просто сладу нет, ни один рэмзейский бандит им столько хлопот не причинил, сколько он.

— Но послушайте, сэр, если он на самом деле такой, то почему же он находит покровительство и защиту здесь на берегу?

— А вот почему, мистер Мэннеринг: людям нужны чай и водка, а сюда они таким путем только и попадают, да и рассчитываться за них с ним легко — возьмет да подкатит бочку-другую или фунтов двенадцать чаю к вам домой притащит; а свяжитесь только с Данкеном Роббом, кипплтринганским купцом, так он вам такой счет к рождеству преподнесет, что и не выговоришь, и плати ему не иначе как наличными или вексель выдавай, да срок чтоб покороче был. А Хатте-

райк — тот и досками, и лесом, и ячменем берет, ну, словом, что только у кого есть. Я вам насчет этого интересную историю расскажу. Жил тут когда-то лэрд Гадженфорд, у него много кур было, ну, знаете, таких, которыми фермеры расплачиваются со своим хозяином... Ко мне так всегда попадают самые тощие — бабушка Финнистон прислала мне на прошлой неделе трех, так на них и глядеть-то страшно, а ведь у нее двенадцать мер посеяно на корм; супруг ее Данкен Финнистон — тот, который умер (все мы умрем, мистер Мэннеринг, этого нам не миновать)... Ну, а пока что давайте не терять времени и жить — завтрак на столе, и Домини приготовился уже читать молитву.

Домини действительно прочел молитву, и длинной своей она превзошла все, что он произносил до сих пор в присутствии Мэннеринга. Чай, привезенный, вне всякого сомнения, капитаном Хаттерайком, Мэннеринг хвалил. Тем не менее он все же, хоть и очень вежливо, заметил, как опасно бывает оказывать поддержку таким отчаянным лицам, как этот капитан.

— Если бы это еще было с введом таможенных, тогда другое дело...

— Ах, что толку в этих таможенных, — мистер Бертрам не способен был мыслить отвлеченно, и его представление о таможне сводилось к разным чиновникам, смотрителям, сборщикам и контролерам, которых ему случалось знать лично, — эти таможенники сами пусть за себя думают, нечего им помогать — к тому же они могут и солдат себе на помощь взять, а что до справедливости, то вы удивитесь, мистер Мэннеринг, тому, что я вам сейчас скажу, но, знаете, я ведь не состою мировым судьей.

Мэннеринг изобразил на лице то удивление, которого от него ждали, но в глубине души подумал, что почтенные судьи не очень-то много потеряли, оставшись без помощи этого добродушного лэрда. Бертрам напал сейчас на одну из своих любимых тем и продолжал с большим увлечением говорить о том, что у него наболело.

— Нет, сэр, имени Годфри Бертрама Элленгауэна нет в списке судей нашего графства, хотя нет, пожа-

луй, ни одного самого захудалого пахаря, которому не приходилось бы ездить четыре раза в год на заседания и приписывать к своему имени букв М. С. Я очень хорошо знаю, кому я этим обязан. Перед последними выборами сэр Томас Киттлкорт заявил, что сживет меня со свету, если я не стану на его сторону; а так как я решил подать голос за кровного родственника, за троюродного брата моего, лэрда Бэлраддери, то они исключили меня из списка землевладельцев, и вот начались новые выборы кандидатов в судьи, а меня там и нет! И они еще утверждают, что произошло это потому, что я позволил Дэвиду Мак-Гаффогу, констеблю, писать исполнительные листы и вести дела, как ему вздумается, будто я кукла какая! В этом нет ни слова правды; за всю мою жизнь я выдал только семь исполнительных листов, и все-то до единого писал Домини, и если бы не это злополучное дело с Сэнди Мак-Грутаром, которого констебли заперли на двое или трое суток... там вон, в старом замке, покамест не представился случай отправить его в тюрьму графства... Мне ведь все это не дешево обошлось. Но я знаю, чего хочет сэр Томас, точно такая же штука была и с местом в Килмагердлской церкви... Разве я не больше имел права сидеть там на передней скамье, прямо против священника, чем Мак-Кроски из Кривохтона, сын церковного старосты Мак-Кроски, самого простого дамфризского ткача.

Мэннеринг согласился с лэрдом, что все эти претензии были справедливы.

— Да к тому же, мистер Мэннеринг, здесь была еще целая история с дорогой и с пограничной плотиной... И, поверьте, все это дело рук сэра Томаса, и я прямо сказал, что знаю, откуда ветер дует, пусть как хотят понимают. Стал бы разве кто-нибудь из дворян проводить дорогу прямо через угол плотины и отрезать, как мой управляющий правильно заметил, целых пол-акра отличного пастбища? Да еще тут было дело, когда выбирали сборщика податей...

— Само собой разумеется, сэр, тяжело встречать невнимание к себе в местах, где, судя по размерам

владений, предки ваши занимали такое видное положение.

— Совершенно верно, мистер Мэннеринг, я человек простой и не особенно-то обращаю на это внимание; надо сказать, я просто забываю об этом. Но послушали бы вы, что мой отец рассказывал, какие прежде битвы вели Мак-Дингауэи, которые и есть теперешние Бертрамы, с ирландцами и здешними горцами, теми, что приезжали в своих повозках из Илэя и Кентайра, да как они в святую землю ходили, в Иерусалим и в Иерихон, со всем своим кланом... Уж лучше бы они поехали куда-нибудь на Ямайку, как дядюшка сэра Томаса Киттлкорта!.. Да еще как они привезли домой разные реликвии, вроде тех, что у католиков, и знамя, что лежит там вон, на чердаке. Если бы они привозили вместо этого побольше муската и рома, дела наши были бы теперь в лучшем положении. А что до старого дома Киттлкорта, так его и сравнить нельзя с замком Элленгауэнов, там, наверно, и сорока футов нет в длину... Но вы ничего не едите, мистер Мэннеринг, вы и к мясу даже не притронулись. Не угодно ли семги? Эту рыбу вот Джон Хей поймал, уже больше трех недель, у нас на реке, за Хемпсидским бродом...

Вначале, когда лэрд был еще охвачен порывом негодования, ему приходилось держаться какого-то одного предмета разговора, теперь же он снова перешел к своей бессвязной болтовне. Благодаря этому у Мэннеринга оказалось много свободного времени, чтобы подумать обо всех отрицательных сторонах того положения, которое еще час тому назад казалось ему достойным зависти. Перед ним был помещик, лучшим качеством которого было его полнейшее добродушие; и что же, этот человек втихомолку раздражался и ворчал на других, причем из-за сущих пустяков, которые и в сравнение не могли идти с настоящим жизненным горем. Но провидение справедливо. Тем, кто на пути своем не встречает больших потрясений, достаются мелкие неприятности, которые в такой же мере нарушают их душевный покой. Каждому из читателей случалось, вероят-

но, наблюдать, как ни природное спокойствие, ни мудрость, приобретенная в жизни, не избавляют провинциальных дворян от огорчений, связанных с выборами, судебными сессиями и собраниями доверенных лиц.

Мэннеринг, которого интересовали обычаи и нравы страны, воспользовался тем, что добрейший мистер Бертрам прервал на мгновение поток своих излияний, чтобы осведомиться, чего же капитан Хаттерайк так настойчиво добивался от цыганки.

— Да, должно быть, просил ее благословить корабль. Надо вам сказать, мистер Мэннеринг, что эти вольные купцы, которых закон именует контрабандистами, обходятся совсем без религии, но зато полны суеверий. И у них в ходу множество разных заклинаний, заговоров — словом, всякого вздора.

— Суета! — заметил Домини. — И еще хуже: тут сам дьявол руку приложил. Заклинания, заговоры и амулеты — это все его принадлежности, это самые отборные стрелы из колчана Аваддона.

— Помолчите лучше, Домини, никогда вы другим ничего сказать не дадите. (Заметим, кстати, что это были первые слова, сказанные нашим бедным учителем за целое утро, если не считать молитвы перед завтраком.) Мистер Мэннеринг из-за вас и слова не может вымолвить! Итак, мистер Мэннеринг, раз уж речь зашла об астрономии, заклинаниях и тому подобных вещах, скажите, удалось ли вам заняться тем, о чем мы с вами говорили вчера вечером?

— Я начинаю думать, мистер Бертрам, так же, как и ваш почтенный друг, что я играл в опасную игру, и хоть ни вы, ни я и ни один из здравомыслящих людей не станет верить предсказаниям астрологии, иногда, однако, случалось, что попытки узнать будущее, предпринятые ради шутки, имели потом глубокое и неблагоприятное влияние на поступки и характеры людей; поэтому я бы очень хотел, чтобы вы избавили меня от необходимости отвечать сейчас на ваш вопрос.

Само собой разумеется, что такой уклончивый ответ только разжег любопытство лэрда. Мэннеринг, од-

нако, решил не подвергать ребенка всем неприятностям, которые могли осложнить его жизнь, если бы отец узнал о грозившей ему опасности. Поэтому он передал Бертраму гороскоп в запечатанном конверте, прося его не срывать печать, раньше чем не пройдет пять лет и не минует ноябрь последнего года. По истечении этого срока он разрешал вскрыть конверт, считая, что если первый роковой период окончится для ребенка благополучно, то остальным предсказаниям верить никто не будет. Бертрам охотно обещал ему поступить в точности, как он говорил, а Мэннеринг, дабы утвердить его в этом решении, наемкнул еще, что в противном случае ребенка неминуемо постигнет беда. Оставшаяся часть дня, которую Мэннеринг, по просьбе Бертрама, провел в Элленгауэне, не ознаменовалась никакими событиями, а на следующее утро наш путешественник сел на коня, любезно попрощался с гостеприимным хозяином и его неизменным собеседником, пожелал еще раз всего наилучшего семье лэрда, а потом, поворотив коня в сторону Англии, скрылся от взоров обитателей Элленгауэна. Он скроется также и от взоров наших читателей, чтобы появиться снова уже в другой, более поздний период своей жизни, о котором и будет идти речь в нашем рассказе.

Глава VI

...А вот судья.

Он пузо отрастил на каплунах.
Суровый взгляд, седая борода
И ворохи готовых назиданий, —
Чтоб роль свою играть.

«Как вам это понравится?»

Когда миссис Бертрам поправились уже настолько, что ей можно было рассказать обо всем, что произошло за время ее болезни, комната ее просто гудела от всевозможных толков о красавце студенте из Оксфорда, предсказавшем по звездам судьбу молодого лэрда, — «да благословит господь этого молодого

красавчика!» Много говорилось о внешности, голосе и манерах гостя, не забыли также и о его коне, об узде, седле и стременах. Все это вместе взятое произвело сильное впечатление на миссис Бертрам, так как леди эта была не в малой степени суеверна.

Как только она смогла взяться за работу, она первым делом сшила маленький бархатный мешочек для хранения гороскопа, переданного ей лэрдом. Ей очень хотелось сорвать печать, но суеверие оказалось сильнее, чем любопытство, и у нее хватило духу обернуть конверт двумя листами пергамента, чтобы не повредить печать, и сшить эти листы. Потом она положила все в бархатный мешочек и повесила в виде талисмана ребенку на шею; таким образом она и решила хранить его, пока не настанет пора удовлетворить ее любопытство.

Отец же решил сделать все от него зависящее для того, чтобы мальчик мог получить хорошее образование, и так как предполагалось начать его обучение с самого раннего возраста, то Домини Сэмсона без особого труда уговорили отказаться от своей должности сельского учителя и переехать на постоянное жительство в замок, причем жалованье ему назначили меньше того, которое получал лакей. За это скудное вознаграждение Домини согласился передать будущему лэрду Элленгауэну все те знания, которые у него были, и все светские манеры, которых у него, сказать по правде, вовсе не было, но об отсутствии которых он так и не догадывался. Это, впрочем, было и в интересах самого лэрда, так как он приобретал тем самым постоянного слушателя, которому мог рассказывать с глазу на глаз все свои истории и к тому же свободно подшучивать над ним при гостях.

Года через четыре после этого в графстве, где находился замок Элленгауэн, произошли большие перемены.

Наблюдавшие за ходом событий давно уже считали, что в стране готовится смена министерства. И в конце концов, после соответственного количества надежд, опасений и отсрочек, после слухов, как достоверных, так порой и не очень-то достоверных или

даже совсем недостоверных, после многочисленных пирушек в клубах, за которыми одни кричали «да здравствует такой-то», а другие — «долой такого-то», после разных поездок верхом и в каретах, после всяких адресов и протестов, после подачи голосов «за» и «против», — последний удар был нанесен, министерство пало, а за ним, как и следовало ожидать, был распущен парламент.

Сэр Томас Киттлкорт, подобно другим членам парламента, оказавшимся в одинаковом положении с ним, примчался на почтовых в свое графство, но встретил там довольно холодный прием. Он был сторонником прежнего правительства, а друзья вновь сформированного уже деятельно собирали голоса в пользу Джона Фезерхеда, эсквайра, у которого были самые лучшие борзые собаки и самые замечательные конюшни в целом графстве. В числе присоединившихся к этому движению был некий Гилберт Глоссин, писец в *** и доверенный лэрда Элленгауэна. Этот достойный джентльмен, очевидно, или получил в свое время отказ в какой-либо просьбе от бывшего члена парламента, или, что столь же вероятно, сумел добиться через его посредство всего, что ему могло тогда понадобиться, и в силу этого ожидал для себя новых благ только от другой партии. У Глоссина был один голос по имени Элленгауэн, а теперь он решил помочь своему патрону получить еще один голос — он не сомневался в том, что Бертрам примкнет к той же стороне. Он без труда убедил Элленгауэна, что для него будет выгодно стать во главе как можно большего числа избирателей, и немедленно начал набирать голоса по способу, известному каждому шотландскому законоведу. Способ этот состоял в том, что большое поместье разделялось на более мелкие участки, причем фиктивные владельцы их получали избирательные права. Баронство было так обширно, что, урезав и сократив один участок, увеличив за его счет другой и создавая новоиспеченных лэрдов во всех владениях, полученных Бертрамом от короля, они в решающий день возглавили целый десяток новых фиктивных избирателей. Это мощное подкрепление и решило исход

борьбы, который без этого был бы сомнителен. Лэрд и его доверенный разделили выпавшую им честь, награда же досталась исключительно последнему. Гилберт Глоссин был назначен секретарем местного суда, а имя Годфри Бертрама было внесено в новый список судей сразу же после первого заседания парламента.

Это было пределом всех мечтаний нашего честолюбивого Бертрама, и вовсе не потому, что ему по душе были хлопоты и ответственность, связанные с должностью судьи. Нет, ему казалось, что он заслужил право получить эту почетную должность и что до этого она ускользала от него исключительно по вине злонамеренных людей. Но существует старая и верная шотландская пословица: «Не давай дураку ножа в руки», то есть ничего такого, чем он мог бы нанести вред другому. Едва только Бертрам вступил в права судьи, которых он так долго домогался, как он начал проявлять больше строгости, нежели снисхождения, и начисто разрушил сложившееся ранее мнение о своей флегматичности и добродушии. Мы где-то читали рассказ об одном мировом судье, который, едва его избрали на эту должность, послал письмо книгопродавцу и, вместо того чтобы написать: «Пришлите мне свод законов, необходимых мировому судье», написал: «Пришлите мне взвод драконов, необходимых мировому судье». Можно с уверенностью сказать, что, вступив в свои права, этот ученый муж начал действительно по-драконовски расправляться с существующими положениями юриспруденции. Бертрам не был таким невеждой в английском языке, как его достойный предшественник, но зато по части расправы с людьми он, безусловно, превзошел остальных.

Он самым серьезным образом считал полученную им почетную должность знаком личного расположения короля, забывая, что еще совсем недавно сам уверял, что лишился права, подобающего всем людям его звания, просто-напросто в результате мелких интриг внутри его партии. Он приказал своему верному адъютанту Домини прочесть вслух указ об его утверждении, и при первых же словах: «Королю угодно было назначить», он воскликнул в порыве признательности:

«Какой благородный человек! Уж конечно, не могло это ему быть более угодно, чем мне».

Поэтому, не желая ограничивать свою благодарность одними чувствами или словами, он дал волю своему внезапно вспыхнувшему служебному рвению, стараясь доказать неутомимой деятельностью, как много для него значит оказанная ему честь. Новая метла, говорят, хорошо метет. И я сам могу засвидетельствовать, как при появлении в доме новой служанки древние, потомственные, ставшие уже неотъемлемой принадлежностью дома пауки, которые во время мирного царствования ее предшественницы свили себе паутину на нижних полках моей библиотеки (где находились преимущественно книги по богословию и юриспруденции), пускались бежать во всю прыть. Так вот и лэрд Элленгауэн безжалостно взялся за судейские реформы на горе разным заслуженным вора и мошенникам, которые уже не менее полстолетия были его соседями. Он натворил чудес наподобие герцога Хамфри. С помощью своего судейского жезла он сделал так, что хромые зашагали, слепые прозрели, а разбитые параличом стали трудиться. Он выслеживал браконьеров и тех, кто тайком ловил рыбу, воровал фрукты и охотился на голубей. Его новые коллеги превозносили его, и за ним установилась слава деятельного судьи.

Но все эти добрые дела имели и свою дурную сторону. Уничтожая даже самое очевидное, но застарелое зло, делать это следует всегда осторожно. Рвение нашего почтенного друга ставило в тяжелое положение некоторых людей, чью праздность и тунеядство он совсем еще недавно до такой степени поощрял своею же собственною *lâcheté*,¹ что они уже не могли отделаться от этих привычек; они действительно до такой степени потеряли способность к какому бы то ни было труду, что превратились, по их собственному выражению, в людей, которым каждый добрый христианин должен помогать. Всем известный нищий, который уже лет двадцать регулярно обходил соседние поместья и которого принимали там скорее как

¹ Беспечностью (*неправ. франц.*).

смирненного гостя, чем как назойливого попрошайку, был отправлен в ближайший работный дом. Дряхлая старуха, которую все время перетаскивали на носилках из дома в дом и которую, как стершуюся монету, каждый старался поскорее сбыть другому, причем она требовала носильщиков едва ли не громче, чем требуют почтовых лошадей, — и та не миновала этой плачевной участи. Дурачок Джок, полудиот-полуплут, который уже добрых полвека служил забавой всем подрастающим поколениям мальчишек, был заключен в местную тюрьму, где, лишенный солнца и воздуха, единственного, чему он мог еще радоваться в жизни, заболел и через шесть месяцев умер. Старый матрос, который столько времени оглашал прокопченные стены кухонь песнями о *капитане Уорде* и о *храбром адмирале Бенбоу*, был изгнан из пределов графства за то только, что будто бы говорил с сильным ирландским акцентом. Усердие нового судьи в деле управления местной полицией дошло до того, что он запретил даже приезжать в графство бродячим торговцам, которые до этого появлялись там ежегодно.

Все это не могло пройти незамеченным и не вызывать нареканий. Сами-то мы ведь не из дерева и не из камня, и то, что стало для нас любимым и привычным, нельзя отодрать так легко и безболезненно, как мох или старую кору. Жене фермера было не по себе оттого, что она не знала, что творится на свете, а может быть, и оттого, что она лишилась удовольствия раздавать милостыню в виде пригоршней овсяной муки нищим, которые приносили ей новости. В хозяйстве всегда чего-то недоставало из-за того, что торговцы перестали ходить со своими товарами по домам. Дети лишены были игрушек и лакомств, молодым женщинам не хватало булавок, лент, гребней и новых песенок, а старухи не могли уже, как прежде, менять яйца на соль и на нюхательный или курительный табак. Все эти перемены вызвали недовольство не в меру ретивым лэрдом Элленгауэном, и недовольство это стало тем более явным оттого, что прежде он пользовался такой любовью. Даже древность его рода стала доводом против него. «Не беда, если это делает какой-

нибудь Гринсайд, или Бернвил, или Вьюфорт, — говорили люди, — они ведь здесь совсем недавно, но Элленгауэн! Это имя испокон века славится, и чтобы он вдруг стал так притеснять бедных! Деда его прозвали нечестивым лэрдом, но тот, хоть и буйствовал изрядно, когда выпьет в компании, — а бывало это нередко, — никогда бы себя таким позором не покрыл. Нет уж! В старом замке раньше камин горел, словно костер, и на дворе у него не меньше бедняков собиралось кости глотать, чем наверху дворян пировало. А леди в рождественский сочельник каждый год нищим по двенадцати серебряных монет подавала в память двенадцати апостолов. Говорили, что у папистов такой обычай есть; ну, господам нашим не худо иной раз у этих папистов поучиться. Они помогали бедным не так, как нынче водится, когда раз в неделю, в субботу, им сунут шестипенсовую монетку, а все шесть дней только и знают что стегать, дубасить и давать пинки».

Такие толки шли в каждом кабаке за кружкой пива, в трех-четырех милях от Элленгауэна, что и составляло диаметр орбиты, главным светилом которой являлся наш друг Годфри Бертрам, эсквайр, М. С. Еще больше развязались злые языки, когда был изгнан цыганский табор, в течение многих лет располагавшийся во владениях Элленгауэна, табор, с одной из представительниц которого наш читатель уже немного знаком.

Глава VII

Сюда, вожди растрепанных полков,
Родня по крови. Вор — наш
 грозный вождь,
И все вы, как бы там вы ни звались —
Пройдоха, Пустомеля, Крыса, Конь,
Монах и Нищий, — все ко мне сюда!

«Куст нищего»

Хотя все знают, что представляют собою цыгане, некогда наводнявшие большинство европейских стран, да и теперь еще в какой-то мере существующие как

самостоятельная народность, читатель простит меня, если я расскажу немного об их положении в Шотландии.

Хорошо известно, что в прежние времена один из шотландских королей признавал за цыганами право быть самостоятельным и независимым народом и что впоследствии положение их ухудшилось с введением закона, который приравнивал их к самым обыкновенным ворами и предписывал наказывать их наравне с теми. Несмотря на строгость и этих и некоторых других законоположений, цыгане благоденствовали среди бедствий, которыми была охвачена страна, и таборы их получали значительные пополнения из числа тех, кого голод, угнетение или меч войны лишали привычных средств к существованию. Благодаря этому притоку новых людей цыгане в значительной мере утратили свои национальные особенности и стали каким-то смешанным племенем, сочетавшим леность и склонность к воровству своих восточных предков с жестокостью, которую они, возможно, переняли от влившихся в их ряды северян. Цыгане кочевали, разделившись на отдельные группы, и у них были свои законы, по которым каждый табор не должен был переходить границы определенного района. Малейшее вторжение в пределы, установленные для другого табора, служило причиной отчаянных схваток, в которых нередко проливалось много крови.

Некий Флетчер из Солтуна, человек патристически настроенный, около столетия тому назад так изобразил этих разбойников, что мои читатели, прочтя его описание, будут, вероятно, изумлены:

«В Шотландии имеется сейчас (не считая множества бедных семейств, живущих на скудное церковное подаяние, и других, страдающих различными недугами от плохого питания) двести тысяч человек, занимающихся попрошайничеством, и хотя число их, может быть, даже удвоилось из-за страшного бедствия, постигшего теперь страну, в прежнее время тоже было около сотни тысяч бродяг, которые жили, не только не признавая законов государства и не подчиняясь им, но и не считаясь ни с какими боже-

скими и человеческими законами. Ни одному чиновнику не удалось увидеть, как умирают эти несчастные и крестят ли они своих детей. Среди них часто происходили убийства. Словом, мало того, что цыгане эти являются невыносимой обузой для местных жителей (ибо этим последним приходится наделять хлебом или другими продуктами по меньшей мере человек сорок в день, чтобы только не подвергнуться нападению с их стороны), они грабят еще и разных бедняков, дома которых отстоят далеко от селений. В урожайные годы многие тысячи цыган собираются в горах, где они пируют и бесчинствуют по несколько дней подряд, а на всех свадьбах, похоронах, а также на ярмарках или других сборищах они всегда тут как тут и, как мужчины, так и женщины, напиваются, ругаются, богохульствуют и дерутся между собой».

Несмотря на то, что приведенный отрывок рисует картину весьма печальную и даже такой яркий и красноречивый поборник свободы, как Флетчер, единственным выходом из создавшегося положения считает введение системы домашнего рабства, — само время, улучшившиеся условия жизни и укрепившиеся законы постепенно ограничили распространение этого страшного зла. Шайки цыган, бродяг или жестянщиков, как люди называли этих бандитов, стали менее многочисленны, а некоторые из них и вовсе исчезли. Однако все же их осталось немало, и, во всяком случае, достаточно, чтобы повергать местных жителей в тревогу и навсегда лишить их покоя. Некоторые ремесла целиком перешли в руки этих бродяг, особенно же изготовление деревянных тарелок, роговых ложек и вся премудрость жестяного дела. К этому присоединилась еще и мелкая торговля грубыми гончарными изделиями. Таковы были те видимые пути, которыми цыгане добывали себе средства к существованию. У каждого табора обычно имелось постоянное место сборищ, где на время цыгане разбивали лагерь; вблизи него они воздерживались от грабежей. У них были свои способности и таланты, которые делали их пребывание там желательным и даже полезным. Многие

из них были, например, хорошими музыкантами, и нередко оказывалось, что любимый скрипач или волынщик целой округи был цыганом. Они искусно охотились на дичь и на выдру и были хорошими рыболовами. Цыгане разводили самых лучших и самых храбрых терьеров; иногда у них можно было купить хороших легавых. Зимой женщины гадали, мужчины показывали фокусы, и все это часто помогало скоротать какой-нибудь ненастный или просто скучный вечер в доме фермера. Их дикий нрав и неукротимая гордость, с которой они презирали повседневный труд, заставляли бояться их — и боязнь эта еще усиливалась оттого, что бродяги эти были народом злопамятным и стоило кому-нибудь оскорбить их, как ничто уже, ни страх, ни совесть, не могло удержать их от жестокой мести. Одним словом, это были своего рода шотландские *париш*, жившие среди европейских поселенцев наподобие каких-то диких индейцев, так что судить о них приходилось тоже больше по их собственным обычаям, нравам и взглядам, не причисляя их к цивилизованной части общества. Отдельные шайки цыган существуют и поныне; тяготеют они по преимуществу к таким местам, откуда легко бывает сбежать на незаселенные земли или в соседние владения. Да и черты их характера не очень-то смягчились. Численность их, однако, настолько уменьшилась, что вместо ста тысяч, как это выходило по подсчетам Флетчера, во всей Шотландии теперь, пожалуй, не насчитать и пятисот цыган.

Табор, к которому принадлежала Мег Меррилиз, давно уже более или менее оседло обосновался, насколько это вообще было возможно для цыган с их привычкой к кочевой жизни, в узком ущелье на землях Элленгауна. Там они выстроили себе несколько хижин, привыкли называть их своим «убежищем» и, возвращаясь с кочевья, не тревожимые никем, укрывались там, точь-в-точь как воронье, рассеявшееся вокруг них на старых ясенях. Они так давно здесь поселились, что их считали в некотором роде собственниками жалких лачуг, в которых они жили. Говорят, что еще в давние времена они оплачивали лэрду

за это покровительство, оказывая ему помощь на войне или, что чаще бывало, принимая участие в нападениях на соседние земли, принадлежавшие баронетам, с которыми лэрду случалось быть в ссоре. Впоследствии они стали оказывать услуги более мирного характера. Женщины вязали перчатки для леди и шерстяное белье для лэрда, которые торжественно вручались им на рождество. Старые сивиллы благословляли брачную постель лэрда, когда он венчался, и колыбель, когда на свет появлялся новорожденный. Мужчины склеивали для «ее милости» разбитый фарфор и помогали лэрду на охоте, подрезали подъязычные уздечки собакам и уши щенкам терьеров. Дети собирали орехи в лесу, клюкву на болотах и грибы и несли все это в замок в виде дани. Такого рода добровольные услуги и признание своей зависимости от лэрда в одних случаях вознаграждались его заступничеством, в других — попустительством; иногда же, если обстоятельства побуждали лэрда проявить щедрость, он угощал их остатками со своего стола, пивом и водкой. Эти взаимные услуги, обмен которыми велся уже не менее двух столетий, делали цыган, живших в Дернклю, своего рода привилегированными обитателями поместья Элленгауэн. «Плуты» были добрыми приятелями лэрда, и он считал бы себя обиженным, если бы его покровительства оказалось вдруг недостаточно, чтобы защитить их от существующего закона и от местных его ревнителей. Но этой дружбе скоро должен был прийти конец.

Дернклюйские цыгане заботились только о своей собственной братии, и их нимало не тревожило, что судья слишком строго обходился со всеми прочими бродягами и плутами. Они были уверены, что решимость лэрда изгнать всех нищих и бродяг не касалась тех, которые обосновались на его собственной территории и занимались своим ремеслом с его непосредственного согласия, то ли высказанного вслух, то ли молчаливого, да и сам Бертрам не очень-то торопился употребить недавно приобретенную им власть против этих старожилых его владений. Обстоятельства, однако, его к этому принудили.

На одной из судебных сессий некий дворянин, принадлежавший к враждебной лэрду партии, публично упрекнул нашего нового судью в том, что, проявляя такое рвение к общественным делам и стремясь завоевать славу деятельного судьи, он в то же время пригревает у себя табор отъявленных мошенников, известных по всей стране, и разрешает им укрываться в расстоянии какой-нибудь мили от своего замка. На это нечего было возразить, ибо факт был слишком очевиден и хорошо всем известен. Лэрду пришлось проглотить эту пилюлю, а по дороге домой он задумался над тем, как легче всего избавиться от этих кочевников, которые вдруг так замарали его ничем не запятнанную славу судьи. Едва он принял решение воспользоваться первым же поводом, чтобы поспорить с дернклёйскими париями, как случай представился сам собой.

Как только Бертрам сделался блюстителем общественного порядка, он велел починить и навесить ворота у входа в аллею, ведущую к замку. Раньше эти ворота болтались на одной петле и постоянно оставались гостеприимно отворенными; теперь же их навесили как следует и старательно покрасили. Лэрд приказал также закрыть все бреши в изгороди столбами и хитро перевитым кустарником. До этого маленькие цыганята забирались в сад искать птичьи гнезда, старшие, проходя тем же садом, сокращали себе дорогу, а парни и девушки любили устраивать там по вечерам свидания; все это раньше никому не мешало, и на это не требовалось ничьего разрешения. Но этим блаженным дням настал теперь конец, и грозная надпись на одной стороне ворот гласила: «Буду наказывать, следуя законам (по ошибке было написано: «преследуя законом» — *l'un vaut bien l'autre*¹), каждого, кто будет пойман за оградой». С другой стороны для симметрии было помещено предостережение, что расставлены силки и капканы такой страшной силы, что, как говорилось в заглавной части объявления и как было отмечено выразительным *nota*

¹ Одно стоит другого (*франц.*).

бене,¹ «если человек попадется, то у лошади его все кости будут переломаны».

Невзирая на эти угрозы, шестеро цыганских мальчиков и девочек, уже не очень маленьких, уселись верхом на новые ворота и стали качаться на них и сплетать венки из цветов, нарванных, очевидно, по ту сторону ограды. Со всею яростью, может быть, впрочем, напускной, которую он только был способен проявить, лэрд приказал им слезть с ворот, но они не обратили на это ни малейшего внимания. Тогда он начал стаскивать их, одного за другим, вниз; они не давались, и каждый из этих крепких черномазых плутов вцеплялся что было силы в ворота, а едва только его стаскивали на землю, как он взбирался на них снова.

Тогда лэрд позвал на помощь слугу, угрюмого парня, который тут же пустил в ход хлыст. Несколько взмахов этого хлыста разогнали всю ораву, и мирным отношениям между замком Элленгауэн и дернклёйскими цыганами пришел конец.

Цыгане первое время никак не могли представить себе, что им и на самом деле объявлена война, но потом они своими глазами увидели, что детей их секут, если поймают за оградой замка, что ослов, оставленных на лугу или даже, вопреки всем шоссейным законам, просто пасущихся около дороги, забирают, что констебль начал наводить подробные справки о том, на какие средства цыгане существуют, и выразил удивление, что эти люди спят целыми днями в своих лагунах, а большую часть ночи пропадают неизвестно где.

Когда дело дошло до этого, цыгане уже без всяких колебаний решили свести свои счета с лэрдом. Они стали очищать курятники Элленгауэна, красть развешенное для просушки белье, вылавливать рыбу в прудах, уводить собак, подрезали немало молодых деревьев, а с иных содрали кору. Они причинили и много других мелких неприятностей, и все это делалось преднамеренно, чтобы досадить Бертраму. А в ответ только и сыпались беспощадные приказы:

¹ Обрати внимание (лат.).

выследить, разыскать, захватить, арестовать; и, несмотря на всю ловкость, кое-кто из цыган не смог увильнуть от расплаты. Одного молодого, здорового парня, который выходил иногда в море ловить рыбу, отдали в матросы, двух детей крепко высекли, а одну старуху цыганку отправили в исправительный дом.

Однако цыгане и не подумали оставить свое насиженное место, да и Бертраму не особенно хотелось, чтобы они лишились своего давнего «убежища», и все эти мелкие враждебные действия, о которых мы говорили, продолжались в течение нескольких месяцев, не усиливаясь, но и не ослабевая ни с той, ни с другой стороны.

Глава VIII

Так, сызмала воспитанный на ложе
Из шкуры барса, дикий краснокожий,
С тоскою увидав, как чужаки
Свой белый город строят у реки
В местах родных, — и хижину, и горы,
И вод Огайо тихие просторы
Бросает в гнев и в конце концов
Бежит куда-то прочь от пришлецов,
Всё дальше в глушь, в нетронутые чащи
С их тьмою, с их прохладою живящей.

«Сцены детства»

Описывая начало и дальнейший ход этой маронской войны в Шотландии, мы не должны упускать из виду, что годы шли своим чередом и что маленькому Гарри Бертраму (одному из самых живых и резвых мальчуганов, которые когда-либо размахивали деревянным мечом и щеголяли в картонном шлеме) скоро уже должно было исполниться пять лет. Рано развившаяся природная смелость сделала из него маленького путешественника. Он отлично знал каждый лужок и каждую лощину в окрестностях Элленгауэна и мог рассказать на своем детском языке, в каком овраге растут самые красивые цветы и в какой роще уже созрели орехи. Он уже не раз пугал слуг,

карабкаясь по развалинам старого замка, и даже потихоньку убегал к цыганским хижинам.

Оттуда его обычно приводила домой Мег Меррилиз; хотя, после того как племянника ее забрали в матросы, никакая сила не заставила бы ее прийти в замок, неприязнь ее к лэрду не распространялась, по-видимому, на ребенка. Напротив, она часто поджидала его где-нибудь, когда он гулял, пела ему цыганские песни, катала его на своем осле и старалась сунуть ему в карман кусок пряника или румяное яблоко. Многолетняя привязанность этой женщины к семье лэрдов теперь, когда ее так грубо оттолкнули, не находила себе другого исхода, и Мег как будто радовалась тому, что есть еще существо, на которое она сможет излить всю теплоту этого чувства. Она сто раз повторяла, что юный Гарри будет гордостью всего рода и что старый дуб не давал еще такого отростка, начиная с самой смерти Артура Мак-Дингауэя, убитого в сражении при Кровавой Бухте; теперешний же ствол этого рода годится только на то, чтобы топить печи. Однажды, когда ребенок захворал, она просидела всю ночь под его окном, напевая свои заклинания против болезни, и ничто не могло заставить ее ни войти в дом, ни оставить свой пост до тех пор, пока она не узнала, что опасность миновала.

Такая привязанность цыганки к ребенку стала казаться подозрительной, но не самому лэрду, который вовсе не был склонен так поспешно подозревать людей во всем дурном, а его жене, женщине слабой и недалекой. Сейчас она была на последнем месяце второй беременности, и, так как сама она уже не могла выходить, а нянька, которой был поручен ребенок, была молода и легкомысленна, леди просила Домини Сэмсона присматривать за мальчиком во время его прогулок. Домини любил своего маленького ученика и был в восторге, оттого что сумел научить его читать по складам трехсложные слова. От одной мысли о том, что это маленькое чудо могут украсть цыгане, подобно тому как это случилось

с Адамом Смитом,¹ ему становилось не по себе, и поэтому, хоть подобные прогулки и шли вразрез со всеми его привычками, он с готовностью взялся сопровождать маленького Гарри. Гуляя с ним, Домини ничего не стоило остановиться где-либо на дороге и заняться решением математической задачи. При всем этом он, однако, не спускал глаз с малютки, шалости которого не раз ставили его в весьма затруднительное положение. Два раза за бедным учителем гналась бодливая корова; однажды, переходя по камням ручей, он споткнулся и упал в воду; еще как-то, пытаясь сорвать для будущего лэрда водяную лилию, он увяз по пояс в Лохендском болоте. Деревенские женщины, которые на этот раз выручили Домини из беды, пришли к убеждению, что «огородное пугало, и то лучше бы о ребенке позаботилось», но наш добрый Домини сносил все свои злоключения с непоколебимой серьезностью и с невозмутимым спокойствием. Слово «у-ди-ви-тель-но!» было по-прежнему единственным восклицанием, когда-либо срывавшимся с уст этого терпеливого человека.

Лэрд к тому времени решил раз и навсегда покончить с обитателями Дернклю. Старые слуги, узнав об этом, только качали головой; даже Домини Сэмсон, и тот осмелился высказать вслух свое неодобрение. Но так как оно было выражено загадочными словами: «*Ne moveas Camerinat*»,² то Бертрам не понял ни намека, ни языка, на котором это было сказано, и изгнание цыган начало осуществляться по всем правилам закона. Явившийся для этой цели чиновник пометил двери каждой хижины мелом в знак того, что они должны быть очищены к определенному сроку. И все же цыгане не проявляли ни малейшего желания подчиниться этому решению и уйти. Наконец роковой день святого Мартина настал, и началось насильственное выселение. Хорошо вооруженный полицейский отряд, вполне достаточный, чтобы

¹ Отец экономической философии действительно в детстве был однажды украден цыганами и провел несколько часов в их таборе, (Прим. автора.)

² Не трогай города Камерина (лат.).

сделать всякое сопротивление бесполезным, приказал всем цыганам выбраться не позднее чем к полудню, а так как они не повиновались, полицейские начали срывать с домов кровли, ломать окна и двери. Это был самый решительный и верный способ выселения, который и до сих пор еще применяется в некоторых отдаленных частях Шотландии, когда постоялец отказывается покинуть дом. Цыгане первое время глядели на все это разрушение угрюмо и молчаливо; потом они стали седлать и выючить ослов и готовиться к отъезду. Им легко было это сделать, потому что у всех у них была привычка к кочевой жизни, и они пустились в путь, чтобы найти где-нибудь новые земли, владелец которых не был бы ни заседателем, ни мировым судьей.

Какое-то тайное смущение удержало Элленгауэна от того, чтобы лично присутствовать при изгнании цыган. Он предоставил исполнение этого дела полицейскому отряду под непосредственным руководством Фрэнка Кеннеди, таможенного чиновника, который за последнее время стал частым гостем замка и о котором нам придется еще говорить в следующей главе. Сам же Бертрам решил в этот день нанести визит одному из своих друзей, жившему довольно далеко от Элленгауэна. Но вышло так, что, несмотря на эту предосторожность, он не смог избежать встречи со своими бывшими подопечными в то время, когда они уходили из его владений.

Бертрам встретил процессию цыган на пустынном крутом перевале, у самой границы Элленгауэна. Четверо или пятеро мужчин шли впереди; все они были закутаны в широкие серые плащи, скрывавшие очертания их худых, высоких фигур; надвинутые на самые брови широкополые шляпы роняли тень на их дикие, загорелые лица и черные глаза. Двое из них были вооружены длинными охотничьими ружьями, у третьего был палаш, и, кроме этого, у каждого было еще по шотландскому кинжалу, спрятанному под плащом. За ними следовала вереница навьюченных ослов и небольших телег, или повозок, на которых ехали больные и немощные, старики и маленькие дети.

Женщины в красных плащах и в соломенных шляпах и дети постарше, почти совершенно нагие, босые и ничем не защищенные от солнца, присматривали за маленьким караваном. Узкая дорога проходила между двумя песчаными холмами. Слуга Бертрама поехал вперед, самоуверенно шелкая бичом и делая цыганам знак потесниться и пропустить лэрда. Никто не обратил на него внимания. Тогда он крикнул мужчинам, которые лениво шагали впереди:

— Уберите ваших ослов и дайте дорогу лэрду!

— Хватит ему и так дороги, — ответил один из цыган, не поднимая глаз из-под низко надвинутой шляпы, — больше ему не положено: проезжая дорога для всех — и для наших ослов и для его лошадей.

Так как сказано это было мрачно и даже с угрозой в голосе, Бертрам решил, что лучше всего будет особенно не настаивать на своих правах и объехать караван в том месте, где ему уступили дорогу, как бы узка она ни была. Для того чтобы скрыть под видом равнодушия огорчение, что к нему отнеслись так неуважительно, Бертрам обратился к одному из цыган, который прошел мимо, даже и не поклонившись ему и сделав вид, что его не узнал:

— Джайлс Бейли, ты знаешь, что сыну твоему Габриелю живется совсем неплохо? (Слова его имели в виду того парня, который был взят в матросы.)

— Если бы я узнал, что это не так, — сказал старик, подняв на лэрда суровый, полный гнева взгляд, — то и ты бы тоже об этом узнал. — И он побрел своей дорогой, не дожидаясь других вопросов.¹

Когда лэрд с трудом пробивался сквозь толпу хорошо знакомых ему людей, которые в прежние времена всегда встречали его с почтением, обычно воздаваемым особам знатным, он увидел, что на их лицах можно было прочесть только ненависть и презрение. Выбравшись из их толпы, он невольно повернул лошадь и оглянулся на уходивший караван. Все это

¹ Этот рассказ основан на действительном происшествии, (Прим. автора.)

шествие могло бы послужить прекрасным сюжетом для какого-нибудь офорта Калло.

Шедших впереди уже не было видно, а остальные постепенно исчезали в низенькой рощице у подножия горы и один за другим скрывались за деревьями, пока наконец не исчезли и последние путники.

Чувство горечи охватило Бертрама. Люди, которых он так, ни с того ни с сего, выгнал из их древнего убежища, действительно были ленивы и порочны, но сделал ли он хоть что-нибудь, чтобы они переменялись к лучшему? Они ведь вовсе не стали хуже по сравнению с тем, чем были тогда, когда им было позволено находиться под покровительством и под властью его предков; так неужели же одно только назначение на должность судьи могло заставить его отнестись к ним иначе? Следовало по крайней мере испробовать какие-то средства к исправлению их, прежде чем пускать сразу по миру семь семейств, лишив их даже той более или менее устойчивой жизни, которая, как бы то ни было, удерживала их от самых тяжких преступлений. В сердце его закрадывалась грусть оттого, что теперь приходится расставаться с множеством таких привычных и знакомых людей. Такого рода чувства особенно легко овладевали Годфри Бертрамом, потому что, в силу ограниченности своего ума, он всегда искал развлечений в мелочах повседневной жизни. Когда он уже поворачивал лошадь, чтобы продолжать свой путь, Мег Меррилиз, отставшая от своего каравана, неожиданно появилась перед ним.

Она стояла на одном из крутых холмов, которые окаймляли дорогу: таким образом, она оказывалась выше Элленгауэна, хотя тот сидел верхом на лошади. Ее высокая фигура на фоне ясного голубого неба, казалось, приняла какие-то нечеловеческие очертания. Мы уже говорили, что в одежде ее, вернее в том, как она ее носила, было что-то иноземное, то ли искусно придуманное, чтобы усилить действие ее заклинаний и прорицаний, то ли просто взятое из традиционной национальной одежды цыган. На голову она в виде тюрбана намотала большой лоскут красной материи;

из-под него ее черные глаза сверкали каким-то особенным блеском. Ее длинные, всклокоченные черные волосы беспорядочно выбивались из-под этого убора. У нее был вид сивиллы, охваченной безумием; в правой руке она держала только что вырванное из земли деревцо.

— Провалиться мне на этом месте, — сказал слуга, — если она не срезала наши саженцы в Дьюкитском парке.

Лэрд ничего не ответил, продолжая глядеть на фигуру, возвышавшуюся над ним.

— Ступай своей дорогой, — сказала цыганка, — ступай своей дорогой, Годфри Бертрам! Сегодня ты погасил очаги в семи домах; смотри, будет ли тебе от этого теплее в твоём доме! Ты сорвал солому с семи крыш; смотри, крепче ли от этого станет твоя крыша! Теперь ты можешь устроить стойла для скота в Дернклю, там, где жили люди; смотри только, чтобы зайцы не завелись у твоего камелька! Ступай своей дорогой, Годфри Бертрам, нечего глядеть на наш табор. Там тридцать душ, которые готовы были голодать, чтобы ты мог лакомиться вволю, и пролить свою кровь, чтобы ты себе пальца не поцарапал. Да, тридцать душ, от столетней старухи до малютки, который родился всего неделю назад, и ты согнал их с места, чтобы они спали с жабами да с тетеревами на болотах! Ступай своей дорогой, Элленгауэн! Усталые, мы тащим на спинах наших детей; смотри, веселее ли от этого будет качаться люлька у тебя в доме! Не думай только, что я хочу зла маленькому Гарри или ребенку, что должен родиться... Боже упаси! Пусть они растут добрыми к бедным людям и пусть будут лучше, чем их отец! А теперь ступай своей дорогой, потому что слова эти последние; больше ты никогда ничего не услышишь от Мег Меррилиз, и больше я никогда не притронусь ни к одному деревцу в густых лесах Элленгауэна.

С этими словами она переломила деревцо, которое держала в руке, и бросила его на дорогу. Маргарита Анжуйская, проклинавшая своих торжествующих врагов, и та не могла бы отвернуться от них

с таким гордым презрением. Лэрд собрался что-то ответить цыганке и опустил руку в карман, чтобы достать оттуда полкроны, но она не стала ждать от него ни ответа, ни подачки и, сойдя с холма, большими шагами пустилась догонять караван.

Элленгауэн возвращался домой в задумчивости. И примечательно, что об этой встрече он ни словом не обмолвился ни с кем из своих домашних. Слуга его не был так молчалив: он рассказал эту историю с начала и до конца всему народу, собравшемуся на кухне, и заключил ее уверением, что «если дьявол и говорил когда-либо устами смертного, то в этот проклятый день он говорил устами Мег Меррилиз».

Глава IX

Шотландия, с чертополохом,
С ее печалью, с тяжким вздохом...
Акцизный буйствует за кружкой;
Его сапог
Крушит что хочет, как ракушку,
Как черепок.

Роберт Бернс

В пылу своего служебного рвения Бертрам не забыл и о таможенных делах. Контрабанда, для которой на острове Мэн условия были тогда особенно благоприятны, распространилась по всему юго-западному побережью Шотландии. Почти все местные жители принимали в ней участие, дворяне покровительствовали ей, и таможенные чиновники чаще всего не встречали никакой поддержки со стороны населения.

В тот период времени таможенным инспектором на этом участке был некий Фрэнсис Кеннеди, о котором уже упоминалось в нашем рассказе. Это был высокого роста мужчина, человек решительный и энергичный; он уже задержал немало контрабандистов, и в силу этого его, естественно, ненавидели в душе все те, кто наживался на *вольной тор-*

говле, как называли тогда контрабанду. Кеннеди был побочным сыном одного именитого дворянина; по этой причине, а также потому, что он был веселым малым и к тому же хорошо пел, его принимала местная знать, и он даже стал членом нескольких дворянских спортивных клубов, где с большим успехом занимался атлетикой.

В замке Элленгауэн Кеннеди был частым и всегда желанным гостем. Его веселый нрав избавлял Бертрама от необходимости думать и от труда, который ему всегда приходилось затрачивать, чтобы точно выразить свои мысли; смелость Кеннеди и тот риск, которому он ежечасно подвергался, являлись постоянной темой их разговора. Все приключения, связанные с ловлей контрабандистов, очень занимали лэрда Элленгауэна, и то удовольствие, которое он получал от общества Кеннеди, располагало его покровительствовать и помогать веселому рассказчику в исполнении его опасных и ненавистных всем обязанностей.

— Фрэнк Кеннеди, — говорил Бертрам, — все же дворянин, хоть и не совсем чистокровный: он приходится сродни Элленгауэнам через Гленгаблов. Последний лэрд Гленгабл оставил бы свои владения Элленгауэнам, да вот случилось ему раз в Хэрригейт поехать и повстречать там мисс Джин Хэдэуэй... Между прочим, нет кабака лучше, чем хэрригейтский «Зеленый дракон»... Но Фрэнк Кеннеди как-никак дворянин, и мне просто стыдно было бы не помочь ему ловить этих мошенников контрабандистов.

Уже после того как этот союз между исполнительной и судебной властью был заключен, капитан Дирк Хаттерайк выгрузил неподалеку от замка Элленгауэн целую партию водки и других контрабандных товаров и, полагаясь на равнодушие, с которым лэрд относился прежде к его торговле, нимало не позаботился ни о том, чтобы спрятать свой товар, ни о том, чтобы его поскорее сбыть. Все это привело к тому, что Фрэнк Кеннеди, заручившись письменным распоряжением Элленгауэна и взяв себе в помощь кое-кого из слуг лэрда, хорошо знавших местность, и целый

отряд солдат, налетел на выгруженную Хаттерайком контрабанду и после отчаянной схватки, во время которой та и другая сторона понесли тяжелые потери, сумел наложить клеймо на все бочки, тюки и ящики и победоносно препроводить их в ближайшую таможню. Дирк Хаттерайк божился по-голландски, по-немецки и по-английски, что жестоко отомстит и самому Кеннеди и его подстрекателям, и все знавшие его были убеждены, что слова эти не брошены на ветер.

Через несколько дней после того, как ушли цыгане, Бертрам спросил за утренним завтраком жену, не сегодня ли день рождения маленького Гарри.

— А ведь и вправду сегодня; ему исполнилось пять годиков, и теперь мы можем вскрыть конверт и прочесть, что ему там написал англичанин.

— Нет, дорогая, подождем лучше до завтра, — сказал Бертрам, любивший всегда настаивать на своем в мелочах. — Последний раз, когда я ездил на судебную сессию, шериф сказал нам, что *dies...* что *dies incertus*,¹ короче говоря, ты ведь не понимаешь поллатыни, так вот это значит, что, пока день не кончился, срок еще не настал.

— Послушай, милый, это ведь сущая бессмыслица.

— Может быть, и так, дорогая, но все-таки закон есть закон. А если уж мы заговорили о сроках, так я хотел бы, как говорит Фрэнк Кеннеди, чтобы троицын день убил день святого Мартина и был сам за это повешен... А то я получил тут письмо насчет дела Дженни Кэрнс, и хоть бы один черт явился в замок аренду платить, да и не явится никто до самого сре-тения... Но что до Фрэнка Кеннеди, то я уверен, что он сегодня будет у нас, он ведь поехал в Уигтон предупредить капитана таможенного судна, которое стоит в заливе, что люгер Дирка Хаттерайка снова у берега. Сегодня Фрэнк обязательно вернется, и мы с ним разопьем бутылку бордоского за здоровье маленького Гарри.

¹ День, день начатый (лат.).

— Лучше бы Фрэнк Кеннеди оставил Дирка Хаттерайка в покое, — ответила леди Бертрам. — Чего ради он больше всех об этом хлопочет? Мог бы ведь он распевать свои песенки, пить вино и получать жалование, как делает сборщик податей Снэйл; вот действительно славный человек, он никогда никому вреда не сделал. И я удивляюсь, чего ты вообще впутываешься в это дело. Когда Дирк Хаттерайк спокойно мог приводить свое судно в гавань, нам ведь никогда не приходилось посылать в город ни за водкой, ни за чаем.

— Ничего-то вы, миссис Бертрам, в этих делах не смыслите. Неужели ты в самом деле думаешь, что человек, занимающий должность мирового судьи, может позволить себе укрывать в собственном доме контрабанду? Фрэнк Кеннеди объяснит тебе, что за это следует по закону, а ты ведь отлично знаешь, что они раньше всегда складывали свой груз в старом замке.

— Друг мой, а что за беда, если даже кто-нибудь и спрятал в подвале замка бочку с водкой? Право же, ты мог и не знать об этом. Неужели королю хуже будет оттого, что какой-нибудь лэрд по сходной цене себе водку достанет, а жена его — чай? Разве не стыдно им, что все такими сборами обложено! Кому же это, интересно, хуже было оттого, что я ходила в фламандских чепчиках и в кружевах, которые Дирк Хаттерайк привозил из Антверпена? Не дожидаться ведь, когда король соизволит что-нибудь прислать, или тот же Фрэнк Кеннеди. Да еще вот и с цыганами ты завел эту историю. Теперь, того и гляди, они амбар подожгут.

— Еще раз говорю тебе, дорогая, ты ничего в этих делах не смыслишь. А вот и Фрэнк Кеннеди скачет по аллее.

— Ладно, ладно, Элленгауэн, — сказала леди, возвысив голос, как только лэрд вышел из комнаты, — хотела бы я, чтобы ты в них больше меня понимал.

Лэрд был рад, что ему удалось избавиться от этих супружеских нравоучений, и пошел встречать своего лучшего друга Кеннеди, который явился в отличном расположении духа.

— Бегите скорее в замок! — крикнул Кеннеди. — Вы увидите, как гончие его величества травят эту старую лису Дирка Хаттерайка. — С этими словами он соскочил с лошади, кинул поводья слуге и побежал наверх, в старый замок; следом за ним бросился и лэрд и еще кто-то из домочадцев, перепуганных пушечными выстрелами, доносившимися с моря; теперь эти выстрелы были уже отчетливо слышны.

Добравшись до той части развалин, откуда открывался широкий вид на окрестности, они увидели люгер, который, подняв все паруса, спасался от корвета; орудия, расположенные на носу корвета, обстреливали его, а он отвечал им выстрелами с кормы.

— Корвету пока еще далеко до него, — кричал Кеннеди в большом волнении, — но, увидите, немного погода он его догонит. Ух, проклятый, выбрасывает груз за борт! Смотрите, они отличный нанц выкидывают, бочку за бочкой. Нет, не дело это, Хаттерайк, и ты еще увидишь, во что это тебе обойдется. Глядите-ка, глядите-ка, совсем уж подошли, вот это да, вот это да! Здорово, здорово, бери его, бери! Вперед, молодцы, вперед, держите его!

— Эх, корчи какие начались, знать уж и смерть близехонько, — сказал старый садовник служанке. Простой народ привык считать всякие судороги верным предвестием смерти.

Преследование, однако, все еще продолжалось. Люгер, управляемый очень искусно, пользовался всеми возможными средствами, чтобы уйти; он достиг уже мыса, который выдавался по левую сторону залива, и начал огибать его, когда ядро ударило прямо в рею и грот-мачта повалилась на палубу. Последствия этого неминуемо должны были быть роковыми, но зрители не могли их увидеть: к тому времени люгер обогнул мыс, потерял управление и скрылся из виду. Корвет поднял все паруса и пустился догонять его, но, так как он шел слишком близко от берега, ему грозила опасность сесть на мель, и он вынужден был выйти в море, чтобы сделать разворот и лишь после этого зайти за мыс.

— Упустят они его, ей-богу же, или груз, или люгер, или то и другое вместе, — сказал Кеннеди. — Надо скакать побыстрее на Уорохский мыс (это был тот самый мыс, который не раз уже нами упоминался) и сигнал им дать, в какую сторону люгер отнесло. Ну, пока, до свидания, Элленгауэн, через часок я вернусь. Велите-ка большую чашу для пунша приготовить да лимонов побольше, а о французском товаре я уж сам позабочусь. Мы тогда с вами за здоровье молодого лэрда такую чашу осушим, в которой и лодка, пожалуй, поплывет. — С этими словами он сел на лошадь и ускакал.

В расстоянии мили от замка, у самой опушки леса, покрывавшего, как уже говорилось, выступ горы, называемой Уорохским мысом, Кеннеди встретил маленького Гарри Бертрама, которого сопровождал его наставник Домини Сэмсон. Фрэнк не раз уже обещал мальчику покатать его на своей гэллоуэйской лошади; он был любимцем маленького Гарри и всегда развлекал его своим пением, пляской и разными играми. Не успел Кеннеди подняться наверх, как мальчик стал громко требовать, чтобы он исполнил свое обещание. Кеннеди, не видя в этом никакой опасности для ребенка и решив подразнить Домини, на лице которого он прочел явное неудовольствие, подхватил Гарри, посадил перед собою на лошадь и продолжал свой путь. Слова Сэмсона: «Может быть, все-таки, мистер Кеннеди...» были заглушены стуком копыт. Воспитатель сначала раздумывал, не пойти ли ему вслед за ними, но, так как Кеннеди пользовался в семье лэрда полным доверием, а самому Сэмсону общество этого молодого человека не доставляло ни малейшего удовольствия, «потому что он часто отпускает грубые и непристойные шутки», он продолжал идти своей дорогой, пока не возвратился в Элленгауэн.

Зрители, столпившиеся у развалин замка, всё еще следили за корветом, который в конце концов, потеряв, правда, немало времени, сделал разворот, достаточный, чтобы обойти Уорохский мыс, и затем исчез из виду за лесистой горой. Вскоре вдали по-

слышались раскаты пушечных выстрелов, а потом вдруг еще более сильный грохот, означавший скорее всего, что корабль взорвался, а вслед за тем целое облако дыма поднялось над лесом и растаяло в голубом небе. Тогда люди разошлись, продолжая обсуждать на все лады, что могло случиться с люгером, причем большинство было уверено, что если он еще не пошел ко дну, то его неминуемо захватят в плен.

— Пора бы обедать, милый, — сказала госпожа Бертрам мужу. — А что, Кеннеди скоро вернется?

— Я жду его с минуты на минуту, друг мой, — сказал лэрд. — Может быть, он прихватит с собой кого-нибудь из морских офицеров.

— Ах, боже мой! Как же ты мне раньше об этом не сказал. Я велела бы большой круглый стол накрыть. Солонина им всем уже надоела, надо было бы их свежей говядиной угостить. Я бы другое платье надела, да и тебе не худо было бы галстук переменить. Но ты ведь никогда вовремя ни о чем не скажешь, а потом каждый раз такая кутерьма получается. Видит бог, я больше этого не выдержу! Вот не будет меня, тогда, может быть, лучше поймешь.

— Ну, хватит, хватит! К черту все, и говядину, и платье, и стол, и галстук! Поверь, что все будет хорошо. Джон, а где же Домини? (Слова эти относились к лакею, который хлопотал у стола.) Где Домини, где наш малыш?

— Мистер Сэмсон уже часа два как дома, а то и больше, но только сдается, что Гарри с ним не вернулся.

— Не вернулся! — вскричала леди Бертрам. — Скажи, чтобы мистер Сэмсон сейчас же сюда пришел.

— Мистер Сэмсон, — сказала она, как только тот явился, — слыханное ли это дело, живете здесь на всем готовом, да еще двенадцать фунтов в год получаете за то, чтобы за мальчиком присматривать, а вы вдруг на несколько часов бросили его неизвестно где?

Сэмсон низко кланялся каждый раз после того, как разгневанная леди упоминала то или иное свое

благодеение, делая это как бы для придания большего веса всему, что она говорила; а потом словами, повторять которые мы не будем, чтобы его не обидеть, объяснил, как Фрэнк Кеннеди неожиданно увез маленького Гарри, несмотря на все возражения, которые он, Домини, ему представил.

— Ну, не очень-то я благодарна Фрэнсису Кеннеди за такую затею! — раздраженно воскликнула миссис Бертрам. — А что, если ребенок упадет с лошади и сломает себе ногу? А что, если пушечное ядро долетит до берега и убьет его? А что, если?..

— А что, если, — возразил Элленгауэн, — случилось самое вероятное из всего: они оба сели на корвет или на захваченный люгер и войдут в бухту вместе с приливом?

— И еще, того гляди, утонут, — добавила леди.

— Право же, — сказал Сэмсон, — я был уверен, что господин Кеннеди уже давно вернулся. Мне действительно казалось, что я слышал топот его лошади.

— Да это Гризл, — сказал Джон, улыбаясь во весь рот, — она комолюю корову из сада выгоняла.

Сэмсон покраснел до ушей — не от насмешки Джона, которой он никогда бы и не заметил, а если бы и заметил, то оставил бы без внимания, но от какой-то мысли, которая вдруг его осенила.

— Это моя вина, — сказал он, — конечно, мне надо было дожидаться маленького Гарри. — Сказав это, он схватил трость с костяным набалдашником и шляпу и побежал в сторону Уорохского леса так быстро, как никогда не бегал ни до этого дня, ни после.

Лэрд продолжал пререкаться с женой, высказывая свои догадки по поводу того, что могло случиться. Наконец он увидел, что корвет появился вновь, но, не подходя к берегу, шел на всех парусах на запад и скоро скрылся из вида. Вечные страхи и опасения жены были явлением настолько привычным для ее супруга и повелителя, что он совершенно уже перестал обращать на них внимание, но растерянность и смутнение слуг его встревожили. И тревога эта усилилась, когда его отозвали потихоньку в другую ком-

нату и сообщили, что лошадь Кеннеди вернулась в конюшню без седока, с седлом, съехавшим под брюхо, и с порванными поводьями и что какой-то фермер сказал, будто люгер контрабандистов горит, как порох, по другую сторону Уорохского мыса, а сам он, хоть и только что проходил лесом, нигде не видел ни Кеннеди, ни маленького лэрда и ничего о них не слышал.

— Там один только Домини Сэмсон бегаёт как оглашенный да ищет их.

Смятение охватило все поместье Элленгауэн. Лэрд вместе со всеми слугами и служанками кинулся в Уорохский лес. Соседние крестьяне и фермеры последовали за ним. Одни усердно предлагали свою помощь, других туда влекло простое любопытство. Спустили несколько лодок и стали обыскивать морской берег, поднимавшийся напротив мыса высокими зубчатыми скалами. Явилось смутное подозрение — слишком ужасное, чтобы говорить о нем вслух, — что мальчик разбился, упав с одной из этих отвесных скал.

Начинало уже смеркаться, когда люди, разделившись на группы, бросились в лес и рассеялись в разных направлениях, разыскивая малютку и Кеннеди. Темнеющее небо, глухие завывания ноябрьского ветра среди голых деревьев, шуршанье сухих листьев, которыми были усыпаны лесные прогалины, далекое ауканье людей, шедших навстречу друг другу в надежде отыскать пропавших, — все это создавало зловещую и вместе с тем величественную картину.

Наконец, обшарив тщательно, но совершенно бесплодно весь лес, разбредшиеся по нему люди стали сходиться вместе и делиться друг с другом своими опасениями. Бертрам уже не мог скрыть своего горя, но казалось, что Сэмсон переживал случившееся еще сильнее.

— Лучше бы мне самому умереть вместо него! — в глубочайшем отчаянии повторял несчастный учитель.

Те, кого это все не так близко касалось, пустились в шумные пересуды о том, что могло стрястись

с ребенком. Высказывались различные предположения, и каждая новая догадка сразу начинала казаться самой вероятной. Одни думали, что мальчик увезен на корвете, другие — что Кеннеди и он в деревне в трех милях отсюда; иные шепотом говорили, что, может быть, они оба были на борту люгера: остатки его мачт вместе с отдельными досками только что выбросило на берег приливом.

В это мгновение с берега донесся крик, такой громкий, такой пронзительный, такой душераздирающий, такой непохожий на все крики, раздававшиеся в этот день в лесу, что никто ни минуты не сомневался, что он возвещал о чем-то страшном. Все кинулось в ту сторону и, не задумываясь, стали спускаться вниз по такой крутизне, на которую в другое время было бы страшно даже взглянуть, пробираясь в ущелье у подножия скалы, где к тому времени из одной лодки уже высадились люди.

— Сюда, сюда! Здесь, сюда вот, бога ради! Сюда! Сюда! — кричали оттуда снова и снова. Элленгауэн пробрался сквозь толпу людей, собравшихся у этого рокового места, и там увидел, чем был вызван этот всеобщий ужас. То было мертвое тело Кеннеди. С первого взгляда могло показаться, что он погиб, упав со скалы, отвесно поднимавшейся футов на сто над морем. Тело лежало наполовину на берегу, наполовину погруженное в воду: волны нахлынувшего прилива шевелили руки и вздували одежду, придавая ему на расстоянии видимость движения, так что те, кто первый увидел тело, решили, что в нем были еще признаки жизни. Но Кеннеди давно уже испустил последний вздох.

— Дитя мое! Дитя мое! — кричал обезумевший от горя отец. — Где ты? Где?

С десятков людей открыли было рты, чтобы ободрить его словами надежды, которой в действительности уже не было. Наконец у кого-то вырвалось:

— Цыгане!

Элленгауэн мгновенно вскарабкался наверх, вскочил на первую попавшуюся лошадь и во весь опор помчался в Дернклю. Мрак и запустение царили там.

Сойдя с лошади, с тем чтобы более тщательно все осмотреть, он наткнулся на обломки разной утвари, выброшенной из хижин, на валявшиеся всюду доски и на солому, по его же приказанию сброшенную с крыш. В это мгновение пророчество или проклятие, слышанное им из уст Мег Меррилиз, пронеслось вдруг в его сознании: «Ты сорвал солому с семи домов; смотри, стала ли от этого крепче крыша твоего дома».

— Верни, — вскричал он, — верни мне моего ребенка! Верни мне сына, и я все забуду и все прошу! — В то время как он, словно в каком-то бреду, повторял эти слова, он вдруг увидел в одной из разрушенных хижин какой-то мерцающий огонек — это была та самая хижина, где прежде жила Мег Меррилиз. Свет этот шел, должно быть, от очага и виден был не только сквозь окно, но и между стропилами, в местах, где была сорвана крыша.

Он кинулся к хижине, дверь была заколочена; отчаяние удесятило его силы: он навалился на дверь всем телом и с такой яростью, что она мгновенно поддалась.

Хижина была пуста, однако носила следы недавнего пребывания человека: в очаге догорал огонь, и в котле были остатки еды. В то время как он пристально оглядывал помещение, надеясь увидеть хоть какой-нибудь след, который укрепил бы в нем надежду, что ребенок еще жив, хотя и находится во власти этих страшных людей, в хижину вошел человек.

Это был его старый садовник.

— Не думал я, сэр, — сказал старик, — что мне доведется переживать такую ночь, как сегодня! Спешите скорее в замок!

— Значит, малютку нашли? Он жив? Вы нашли Гарри Бертрама? Эндрю, вы нашли Гарри?

— Нет, сэр, но...

— Тогда, значит, его украли! Это так, Эндрю, это так же верно, как то, что я сейчас живу. Это она его украла — и я с места никуда не сойду, пока не узнаю, где мой сын!

— Ступайте домой, сэр, ступайте домой! Мы послали за шерифом и будем караулить всю ночь,

не вернутся ли цыгане, но вам, вам надо быть дома, сэр: леди кончается.

Бертрам поглядел на старика, сообщившего ему об этом новом несчастье, бессмысленными, неподвижными глазами и повторил слово «кончается», как будто не понимал его значения. Он дал ему посадить себя на лошадь. По пути домой он только повторял: «Жену и ребенка, обоих, мать и сына, обоих вместе, сразу...»

Но к чему описывать горе, которое его ждало дома. Известие об участии, постигшей Кеннеди, было неосторожно принесено в Элленгауэн с добавлением, что «маленький лэрд, без сомнения, упал вместе с ним с обрыва и тело ребенка осталось в море, — он ведь такой крошка, волны его за единый миг унесли».

Миссис Бертрам услышала эти слова. Она была уже на исходе беременности, у нее начались преждевременные родовые схватки, и, раньше чем Элленгауэн успел понять все случившееся и хоть сколько-нибудь освоиться с потерей сына, он стал отцом дочери и вдовцом.

Глава X

Лицо черно и кровью налилось,
Глаза навывкате, как будто кем-то
Задушен он, и в них остался ужас.
Раздуты ноздри, волосы кругом
Разметаны, и распластались руки,
В последней обессиленные схватке.

«Генрих VI», ч. II

На следующий день, на рассвете, в Элленгауэн прибыл шериф графства. Шотландский закон наделяет этих провинциальных должностных лиц значительной судебной властью и вменяет им в обязанность расследовать все преступления, совершенные на территории графства, арестовывать и заключать в тюрьму подозрительных лиц и т. д.¹

¹ В Шотландии шерифы выполняют в подобных случаях обязанности следователя. (Прим. автора.)

В это время шерифом графства *** был человек благородный и образованный; несмотря на некоторую сухость свою и педантичность, он пользовался всеобщим уважением, как деятельный и умный чиновник. Первым делом он допросил всех свидетелей, чьи показания могли пролить свет на это загадочное преступление, и составил *procès-verbal*,¹ или акт дознания, как его принято называть, который в Шотландии обычно заменяет следственное дело. Внимательное и разумное расследование вскрыло многие обстоятельства, несовместимые с первоначально сложившимся мнением, что падение Кеннеди со скалы было простой случайностью. Мы вкратце остановимся на некоторых из них.

Труп Кеннеди был перенесен в ближайшую рыбацкую хижину и оставлен там в том же положении, в каком он был найден. Им-то шериф в первую очередь и занялся. Тело было сильно повреждено и обезображено падением с большой высоты, но тем не менее на голове можно было ясно обнаружить глубокую рану, которая, по мнению вызванного туда опытного хирурга, была нанесена палахом или саблей. Врач нашел на теле и другие подозрительные признаки. Лицо сильно почернело, глаза закатились, шейные вены вздулись. Цветной платок на шее несчастного был повязан не совсем обычно и слишком свободно свисал, узел же был сдвинут с места и очень крепко затянут; платок был сильно смят, и можно было подумать, что убитого схватили именно за этот платок и так и тащили потом к пропасти.

С другой стороны, кошелек бедного Кеннеди был в полной сохранности, и, что казалось еще более странным, заряженные пистолеты, которые он обычно брал с собой, пускаясь в какое-нибудь опасное предприятие, оказались в его карманах. Это было особенно странно, потому что контрабандисты знали его как человека бесстрашного и хорошо владеющего оружием, чему доказательств было немало. Шериф осведомился, не носил ли Кеннеди какого-либо дру-

¹ Протокол (франц.).

ного оружия. Большинство слуг Бертрама припоминало, что убитый всегда имел при себе couteau de chasse¹ или тесак, но на трупе его обнаружено не было, а из тех, кто видел Кеннеди утром этого рокового дня, никто не мог с уверенностью сказать, взял ли он его с собой.

На трупе не было больше обнаружено никаких *indicia*,² позволявших судить о том, какая участь постигла Кеннеди; хотя одежда его и была в большом беспорядке, а руки и ноги переломаны, первое казалось вероятным, а второе даже и несомненным последствием падения. В крепко стиснутых руках убитого были зажаты дерн и земля, но и это могло быть истолковано по-разному.

После этого шериф отправился на место, где был найден труп, и заставил тех, кто обнаружил его там, дать подробные показания о том, в каком положении он находился. Там же лежал большой обломок скалы, оборвавшийся сверху и упавший, по-видимому, вместе с телом Кеннеди или сразу же вслед за ним; обломок этот был настолько плотен и тверд, что при падении совсем почти не изменил вида, и шериф, измерив его, смог установить сначала его вес, а затем уже на основании формы решить, какой стороной он примыкал к скале, от которой потом оторвался. Это легко было определить, потому что с этой стороны камень, не подвергавшийся действию воздуха, выглядел совсем иначе. Потом все поднялись на скалу и осмотрели место, откуда оторвался обломок. Внешний вид скалы позволял сделать вывод, что, если бы на выступе находился только один человек, веса его было бы недостаточно, чтобы обломить этот камень, который, упав, и увлек его за собой. В то же время положение отломанного куска позволяло думать, что его можно было сдвинуть каким-нибудь рычагом или соединенными усилиями трех-четырех человек. Низенькая травка у самого края пропасти была вся смята, как будто ее топтали несколько человек, то ли

¹ Охотничий нож (*франц.*).

² Признаков (*лат.*).

учинявших там какое-то насилие, то ли схватившихся не на жизнь, а на смерть. Такие же следы, только менее отчетливые, привели проницательного следователя к лесу, который в этом месте поднимался высоко над берегом и доходил до самой вершины скалы.

Упорно и терпеливо шериф вместе со своими помощниками добрался по этим следам до глубокой чащи. Такую дорогу могли выбрать только люди, стремившиеся скрыться от преследования. Здесь уже на каждом шагу видны были следы насилия и борьбы. Тут и там валялись мелкие ветки, как будто оторванные несчастным, которого насильно куда-то волокли и который хватался за все, что только попадалось на его пути; на земле, в местах, где она была сырой и мягкой, осталось много отпечатков ног. Наконец, кое-где попадались пятна, как будто от запекшейся крови. Во всяком случае, очевидно было, что несколько человек пробивались в чаще среди дубов, орешника и сплетавшегося с ними кустарника; в иных местах земля выглядела так, как будто по ней тащили что-то грузное и большое — то ли мешок с зерном, то ли труп. В глубине леса оказалась болотистая низина. Почва в этом месте была беловатого цвета, вероятно от примеси мергеля в глине. Одежда Кеннеди сзади тоже была покрыта белыми пятнами.

Наконец, на расстоянии четверти мили от рокового обрыва, следы привели к маленькой поляне, которая была вся истоптана и забрызгана кровью, хотя потом место это было заброшено сухими листьями и видно было, что преступники старались тем или иным способом скрыть все, что могло говорить о происходившей здесь отчаянной борьбе. У самой поляны был найден тесак погибшего: по-видимому, он был закинут в кусты; по другую сторону поляны были обнаружены ремень и ножны, спрятанные более обдуманно и тщательно.

Шериф приказал точно измерить и описать следы ног, обнаруженные на этом месте. Некоторые из них совпадали с величиной ноги несчастного Кеннеди; иные же были больше или меньше, и это доказывало, что в схватке участвовало не меньше четырех или

пяти человек. К тому же там, и только там, были заметны следы детских ног, и, так как их нигде больше не было, а проезжая дорога, проходившая через Уорохский лес, была совсем близко, естественно было предположить, что в минуту общего смятения мальчик мог убежать и спастись в лесу. Но, ввиду того что узнать о нем ничего не удалось, шериф, тщательно сопоставив все эти данные, пришел к заключению, что Кеннеди был предательски убит и что убийцы, кто бы они ни были, похитили маленького Гарри Бертрама.

Было сделано все возможное, чтобы разыскать преступников. Подозрение падало на контрабандистов и на цыган. Судьба люгера Дирка Хаттерайка не вызывала никаких сомнений. Два человека с противоположного берега Уорохской бухты (так называется узенькая бухта к югу от Уорохского мыса) видели, хотя и на большом расстоянии, как люгер, обогнув мыс, направился на восток; насколько можно было судить по его ходу, он был сильно поврежден. Вскоре он сел на мель, был охвачен дымом, а потом и пламенем. Судно, по словам одного из очевидцев, вспыхнуло, как стог сена, и в ту же минуту они увидели, как из-за мыса показался корвет, который шел к нему на всех парусах. Пушки люгера, когда пламя добралось до них, начали стрелять сами собой, и видно было, как при звуках оглушительного взрыва корабль взлетел на воздух. Корвет осторожности ради держался поодаль и ждал; после того как люгер взорвался, он поднял паруса и пошел в южном направлении.

Никто не сомневался в том, что погиб именно люгер Дирка Хаттерайка. Судно это было всем хорошо известно на берегу, и приход его ожидался как раз в эти часы. Письмо капитана королевского корвета, к которому шериф обратился за разъяснениями, не оставляло никаких сомнений на этот счет. Капитан прислал также выписку из своего вахтенного журнала с записями всех событий этого дня, из которых явствовало, что корвет следил за контрабандистским люгером Дирка Хаттерайка в соответствии с указа-

ниями и по требованию Фрэнсиса Кеннеди, королевского таможенного, и что Кеннеди сам собирался наблюдать с берега на случай, если бы Хаттерайк, которого местные власти знали как человека отчаянного и не раз уже объявляли вне закона, попытался посадить преследователя на мель. Около девяти часов утра они увидели судно, которое, по всем признакам, было люгером Хаттерайка, погнались за ним, потребовав от него несколько раз сигналами, чтобы он остановился и поднял флаг, и, когда это не было исполнено, открыли огонь. Люгер выкинул тогда гамбургский флаг и ответил стрельбой. Бой продолжался три часа, после чего, в то самое время, когда люгер огибал Урохский мыс, они заметили, что стропы грот-реи были прострелены и судно повреждено. В течение некоторого времени корвету не удавалось воспользоваться этим обстоятельством, потому что он слишком близко подошел к берегу и ему негде было развернуться, чтобы зайти за мыс. После двух попыток они наконец этого добились и тогда увидели, что преследуемый ими люгер охвачен огнем и людей на нем, по-видимому, не осталось. Как только огонь достиг бочек с водкой, сложенных на палубе вместе с другим горючим скорее всего не без умысла, пламя разгорелось так яростно, что лодкам нельзя было подойти к судну, тем более что заряженные пушки стреляли от жара сами собой. Капитан был уверен, что экипаж люгера поджег судно и спасся на лодках. Дождавшись, когда судно взорвалось, корвет его величества взял курс к острову Мэн, с тем чтобы преградить дорогу контрабандистам, которые день или два могли скрываться в лесах, а потом при первой возможности, вероятнее всего, стали бы искать пристанища на этом острове. Но они никого не видели и ничего о них не узнали.

Таково было донесение Уильяма Притчарда, капитана корвета его величества. В конце письма он выражал глубокое сожаление, что ему не довелось встретиться лицом к лицу с негодяями, осмелившимися стрелять по королевскому флагу, и заверял, что, если только когда-нибудь столкнется в море с Дирком

Хаттерайком, он немедленно захватит его и доставит на берег, чтобы тот понес за все свои преступления заслуженную кару.

После этого стало очевидным, что экипаж люгера спасся бегством, и гибель Кеннеди теперь легко было объяснить, если допустить, что он встретился с контрабандистами в лесу как раз в тот момент, когда они были разъярены и потерей корабля и личным участием таможенного во всем этом деле. Не исключено было также, что эти жестокие люди могли в своем неистовстве пойти на все, вплоть до убийства ребенка, отец которого стал преследовать контрабандистов с таким неожиданным упорством: известно ведь, что Хаттерайк произносил страшные угрозы по его адресу.

Это предположение опровергалось тем, что экипаж, состоявший из пятнадцати или двадцати человек, не мог укрыться на берегу, где сразу же после гибели корабля были предприняты тщательные поиски; во всяком случае, если даже они и скрылись в лесу, лодки их должны были быть обнаружены у берега. К тому же вряд ли можно было ожидать, что в таком тяжелом положении, когда спастись бегством было трудно или даже невозможно, они из одного только чувства мести пошли бы на столь бессмысленное убийство. Сторонники этого мнения полагали, что либо спущенные с люгера лодки ушли в море незамеченными, пока внимание всех было поглощено пожаром на корабле, и, таким образом, контрабандисты сумели спастись от опасности прежде, чем корвет зашел за мыс, либо же лодки были еще до этого выведены из строя или совсем уничтожены выстрелами с корвета, и тогда экипаж, решив не сдаваться, погиб вместе с кораблем. Предположение, что они совершили этот отчаянный поступок, было до некоторой степени вероятным, так как ни Дирк Хаттерайк, ни кто бы то ни было из его матросов, — а местные жители покупали у них товары и поэтому всех их знали в лицо, — больше не появлялись нигде на берегу, и на острове Мэн, где велись самые тщательные розыски, о них тоже никто ничего не слышал. К берегу был прибит волнами всего только один

труп — по-видимому, это было тело матроса, убитого во время перестрелки. Итак, теперь следовало только составить поименный список людей с люгера с описанием их наружности, а затем назначить награду за поимку всех или хотя бы одного из них. Награда была также обещана всякому, кто даст сведения о местонахождении преступников, убивших Фрэнсиса Кеннеди.

Другие считали, и тоже не без основания, что виновниками этого страшного злодеяния были прежние обитатели Дернклю. Известно было, что поступок лэрда Элленгауэна глубоко их возмутил, и они ответили на него угрозами, которые, как все были убеждены, им ничего не стоило привести в исполнение. На похищение ребенка были всего скорее способны они, а не контрабандисты, случайный же покровитель малютки — Кеннеди мог быть убитым в момент, когда он защищал дитя. При этом вспомнили, что Кеннеди еще два-три дня тому назад принимал деятельное участие в изгнании табора из Дернклю и что в этот день в ответ на свои бесцеремонные распоряжения он слышал зловещие угрозы из уст цыганских патриархов.

Шериф записал также показания несчастного отца и его слуги обо всем, что произошло, когда на дороге они повстречались с уходившим табором. Особенно подозрительной показалась ему речь Мег Меррилиз. Здесь имели место, как судья выразился на юридическом языке, *damnum minatum* — угроза, сулящая несчастье или беду, и *malum secutum* — несчастье, последовавшее вскоре за этой угрозой. Молодая женщина, собиравшая в этот роковой день орехи в Уорохском лесу, была убеждена, хоть и отказалась подтвердить свои слова под присягой, что видела, как Мег Меррилиз, или, во всяком случае, женщина ее роста и обличья, неожиданно вышла из чаши леса; она говорила, что окликнула ее по имени, но та повернулась к ней спиной и ничего ей не ответила; она не могла даже с точностью сказать, была ли это цыганка или только ее призрак, и не решилась подойти ближе, боясь, как и все местные жители, нечистой силы. Этот сбивчивый рассказ подтверждался тем, что вечером

того же дня в покинутой хижине Мег Меррилиз был обнаружен догоравший в очаге огонь. Свидетелями этому были сам Элленгауэн и его садовник. Все же казалось неправдоподобным, что цыганка, если она действительно была причастна к такому страшному преступлению, могла вернуться в тот же вечер на то самое место, где ее скорее всего стали бы разыскивать.

Тем не менее Мег Меррилиз все же задержали и допросили. Она решительно утверждала, что в день смерти Кеннеди она не была ни в Дернклю, ни в Уорохском лесу, и несколько цыган клятвенно подтвердили, что она в этот день не покидала табора, который расположился милях в десяти от Элленгауэна. Правда, клятвы их не слишком-то много значили, но на чем же еще можно было основываться в подобных случаях? При допросе выяснился один факт, и весьма примечательный: на руке у нее была рана, нанесенная острым оружием, и перевязана эта рана была платочком маленького Гарри Бертрама. Но старейший табора заявил, что это он ударил ее кинжалом за какой-то проступок; сама она и все остальные цыгане давали такое же объяснение, а что касалось платка, так за последние месяцы, пока цыгане еще жили в Дернклю, из замка Элленгауэна было украдено столько разного белья, что платок сам по себе не мог служить уликой.

При допросе было замечено, что, говоря о смерти Кеннеди, или «таможенного», как она его называла, она была совершенно невозмутима, но, когда узнала, что ее считают виновницей исчезновения маленького Бертрама, она преисполнилась негодования и презрения. Ее долгое время держали в тюрьме в надежде, что какие-нибудь новые обстоятельства прольют свет на это мрачное, кровавое преступление. Ничего, однако, больше узнать не удалось, и Мег была в конце концов выпущена на свободу, но тут же изгнана из пределов графства, как бродяга, воровка и нарушительница общественного порядка. Никаких следов мальчика обнаружено не было, и событие, наделавшее вначале столько шума, стало привлекать

к себе все меньше и меньше внимания, как случай совершенно необъяснимый.

В памяти людей осталось только название «Могила таможенного», которое дали с тех пор скале, откуда упал или был сброшен несчастный.

Глава XI

Появляется Время.

Кому-то счастье, но, со счастьем споря,
Всем, злым и добрым, приношу я горе.
Вот крылья вам, чтоб все вы наравне
Со мной летели. Время — имя мне.
Моя ль вина, что так сейчас я мчалось,
Что на пути шестнадцать лет осталось
Пустым пробелом.

«Зимняя сказка»

Теперь нам приходится сделать большой скачок вперед и пропустить около семнадцати лет. В течение этого времени не произошло ничего такого, о чем стоило бы здесь говорить. Промежуток это, правда, немалый, но если собственный жизненный опыт нашего читателя позволяет ему оглядываться на столько лет назад, то в воспоминании его долгие годы пролетят с такою же быстротою, с какой он переворачивает сейчас эти страницы.

Итак, спустя почти семнадцать лет после трагического события, о котором рассказывалось в предыдущей главе, холодным и ненастным ноябрьским вечером несколько человек собралось у очага «Гордонова щита», небольшой, но довольно уютной гостиной в Кипплтрингане, хозяйкой которой была миссис Мак-Кэндлиш. Разговор, завязавшийся там между ними, избавит меня от труда рассказывать о тех немногих событиях, которые произошли за этот промежуток времени и о которых нашему читателю необходимо знать.

Миссис Мак-Кэндлиш, восседая в удобном кожаном кресле, угощала соседок настоящим китайским

чаем. В то же время она зорко следила, чтобы сновавшие туда и сюда служанки занимались как следует своим делом. Причетник, он же и регент хора, сидя поодаль, с видимым наслаждением раскуривал субботнюю трубку, время от времени запивая ее приятный дым глотком водки с водой. Церковный староста Берклиф, влиятельное лицо в деревне, сочетал оба вида удовольствия — и трубку и чашку чая с добавленной туда водкой. В сторонке от них сидели двое крестьян за кружками дешевого пива.

— Ты все как следует для них приготовила в зале, и огонь в камине развела, и труба не дымит? — спросила хозяйка одну из служанок.

Получив утвердительный ответ, она продолжала, обращаясь к Берклифу:

— Как я хотела бы, чтобы им было хорошо здесь, особенно теперь, когда у них беда такая.

— Разумеется, миссис Мак-Кэндлиш, разумеется. Если бы им понадобилось что-нибудь из моей лавки, хоть на семь, хоть на восемь, хоть даже на десять фунтов, — я бы отпустил им все в долг, как самым почетным покупателям. А что, они в старой карете приедут?

— Вряд ли, — сказал регент. — Мисс Бертрам каждый день в церковь на белой лошадке ездит, ни одной-то она службы не пропустит, а псалмы петь начнет, так просто заслушаешься.

— Да, и молодой лэрд Хейзлвуд каждый раз после проповеди ее полдороги верхом провожает, — добавила одна из кумушек. — Удивляюсь, как старый Хейзлвуд это терпит.

— Не знаю, как теперь, — сказала другая гостья, — а было время, когда Элленгауэну и самому бы не очень понравилось, чтобы за дочерью его молодой Хейзлвуд увивался.

— Да, *было*, — ответила первая кумушка, сделав особенное ударение на последнем слове.

— Уверю вас, милая соседushка, — сказала хозяйка, — Хейзлвуды из Хейзлвуда, хоть это и очень древний и знатный род, лет сорок назад и думать не могли, чтобы с Элленгауэнами равняться. Да, милые

мой, Бертрамы из Элленгауэна — это потомки древних Дингауэев, об одном из них еще песня сложена, как он на дочери мэнского короля жениться хотел; помните, как она начинается?

Бертрам в чужую плыл страну
Чтоб там найти себе жену..

Мистер Скрей нам, наверно, ее споет.

— Хозяюшка, — ответил Скрей, вытянув губы и с невозмутимым спокойствием попивая свой пунш, — таланты наши даны нам вовсе не для того, чтобы в субботний вечер веселые песни петь.

— Ой ли, мистер Скрей, что-то помнится мне, вы недавно еще субботним вечером веселую песенку распевали, а что до кареты, так знайте, уважаемый мистер Берклиф, что ее из сарая не вывозили с самого дня смерти миссис Бертрам, то есть уже лет шестнадцать — семнадцать. Джок Джейбос за ними с моим экипажем поехал, да вот что-то еще нет его. Темно сейчас, правда, хоть глаз выколи, но на дороге только два опасных места и есть. Да, впрочем, мост через речку Уорох, коли правой стороны держаться, хорошо можно проехать. А вот Хевисайдский спуск — это смерть для почтовых лошадей, но Джок, тот отлично дорогу знает.

Раздался громкий стук в дверь.

— Это не они, не было слышно, чтобы кто-нибудь подъехал. Гризл, да поворачивайся же поживее, открывай дверь.

— Там какой-то господин, — пискливым голосом сказала Гризл. — Прикажете провести его в зал?

— Чего это тебе на ум взбрело, видно англичанин какой-нибудь заезжий. Явиться в такое время, да еще без слуги! А лошадь отвели в конюшню? Принеси-ка огня в красную комнату.

— Вы разрешите мне, сударыня, здесь у вас погреться, вечер такой холодный, — сказал вновь прибывший, входя на кухню.

Наружность незнакомца, его голос и манеры сразу расположили к себе хозяйку. Когда он скинул плащ,

то все увидели, что это был высокий, статный и красивый мужчина. Одет он был во все черное; ему можно было дать лет сорок — пятьдесят. Лицо его было выразительно и серьезно; видом своим он походил на военного. Каждая черта его и каждое движение выдавали в нем дворянина. Большой жизненный опыт помог миссис Мак-Кэндлиш выработать особое чутье, которое позволяло ей распознавать звание и характер каждого вновь прибывшего и в соответствии с этим его принимать.

Гостей подчас съезжалось к ней немало,
И всех она по чину принимала.
Одним лия смиреннейший елей,
Была с другими проще и смелей.

На этот раз она была до чрезвычайности учтива и рассыпалась в извинениях. Незнакомец попросил, чтобы приглядели за его лошадью, и она сама пошла отдать распоряжение конюху.

— Ни разу еще такого доброго коня у нас в конюшне не стояло, — сказал тот.

Слова эти вселили в хозяйку еще большее уважение к седоку: Вернувшись, она увидела, что незнакомец отказался перейти в другую комнату (в которой действительно, как она должна была признать сама, было и холодно и дымно). Она заботливо усадила его у очага и спросила, что он хочет заказать себе на ужин.

— Если можно, сударыня, налейте мне чашку чая.

Миссис Мак-Кэндлиш засуетилась; она заварила самый лучший чай и старалась услужить гостю как могла.

— Знаете, сэр, у нас есть очень удобная комната для людей знатных, но на эту ночь туда должен приехать один джентльмен с дочерью. Сейчас они совсем покидают наши места; я уже послала за ними экипаж, и скоро они прибудут сюда. Жизнь их переменялась к худшему, но ведь такое с кем угодно может случиться, и ваша милость, должно быть, это хорошо знает. А табачный дым вас не беспокоит?

— Нисколько, сударыня, я старый солдат, и мне к нему не привыкать. Но мне хотелось бы у вас разузнать об одном семействе, живущем здесь неподалеку.

Послышался стук колес, и хозяйка кинулась к дверям, чтобы встретить гостей, но тут же вернулась вместе с кучером, который был послан за ними.

— Нет, они не смогут приехать: лэрд сильно занят.

— Боже мой! Что же они теперь будут делать? — воскликнула хозяйка. — Завтра истекает срок, а ведь им не позволят больше оставаться в замке, там все будет продано с молотка.

— Да, но они никак не смогут приехать; говорю вам, что мистер Бертрам с места не может двинуться.

— Какой это Бертрам? — спросил незнакомец. — Надеюсь, не Бертрам Элленгауэн?

— Он самый, сэр, и если вы с ним в дружбе, то знайте, что вы приехали в тяжелую для него пору.

— Я долго жил за границей и ничего о нем не знаю; неужели же его здоровье так пошатнулось за эти годы?

— Да, и дела его тоже, — сказал Берклиф. — Замодавцы завладели его поместьем, и теперь оно будет продано. И есть люди, которым он много добра делал, а они-то как раз — я не буду их называть, но миссис Мак-Кэндлиш знает, кого я имею в виду (тут хозяйка многозначительно кивнула головой), — от них-то ему теперь все горе. Он, правда, и мне задолжал немного, но пусть уж лучше все пропадет, чем старика перед смертью из дома выгонять.

— Да, — заметил регент, — Глоссин, тот только того и ждет, чтобы избавиться от старого лэрда, и торопит с продажей: боится, чтобы не объявился наследник. Я слышал, что, если бы у него в живых сын был, они не имели бы права продавать имение за долги старого Элленгауэна.

— Давно когда-то у него был сын, — сказал незнакомец. — Должно быть, он умер?

— А этого никто не знает, — таинственно ответил регент.

— Умер? — повторил Берклиф. — Надо думать, что давно умер, уж лет двадцать как о нем ни слуху ни духу.

— Ну, двадцати-то еще не прошло, я это хорошо знаю, — вставила хозяйка. — В конце этого месяца только семнадцать минет. Шума эта история много тогда наделала. Ребенок ведь пропал в тот самый день, когда таможенный Кеннеди погиб. Если вы бывали когда-то в этих местах, вы должны были знать таможенного инспектора Фрэнка Кеннеди. Это был славный малый, и дружил он с самыми знатными людьми нашего графства; уж и веселый же он был парень! Я тогда молода была и только еще вышла замуж за бейли Мак-Кэндлиша, царство ему небесное (она вздохнула)... Много мы тогда тут повеселились с Кеннеди. Да, он свое дело знал. Он-то умел попрiderжать контрабандистов! Только уж больно сорвиголова был. Так вот, видите ли, сэр, в Уигтонской бухте стоял тогда королевский корвет, и Фрэнк Кеннеди приказал ему гнаться за люгером Дирка Хаттерайка... Помните Дирка Хаттерайка, Берклиф? Вы же, наверно, тоже с ним дела имели (церковный староста кивнул головой и что-то пробурчал в ответ). Это был моряк удалой, и он до последнего свое судно отстаивал, пока оно на воздух не взлетело... А Фрэнк Кеннеди собирался первым взойти на борт люгера, но его отбросило на целую четверть мили, и он упал в воду у самого Уорохского мыса под скалой; теперь эта скала так и зовется «Могила таможенного».

— Ну, а что же с сыном Бертрама? — спросил гость. — Какое это все имеет отношение к нему?

— А вот какое. С мальчиком тут целая история была, Кеннеди его с собой забрал. Думали, что они вместе на корабль поднялись, дети всегда ведь лезут куда не надо.

— Нет, не так было дело, — возразил Берклиф, — вы, видно, запаматовали, хозяйюшка; молодого лэрда похитила цыганка по имени Мег Меррилиз, я ее хорошо помню. Она мстила Элленгауэну; он ведь осрамил ее на всю деревню за то, что она у него серебряную ложку украдала.

— Извините меня, мистер Берклиф, — сказал регент, — но вы тоже ошибаетесь, как и наша хозяйюшка.

— А как же, по-вашему, все было? — заинтересовался незнакомец, обернувшись к нему.

— Об этом, пожалуй, и говорить бы не следовало, — многозначительно сказал регент.

Но когда ему все-таки пришлось согласиться рассказать о том, что он знал, он пустил несколько густых клубов дыма и из-под их облачной завесы, предварительно откашлявшись и подражая, как мог, красноречию, которое каждое воскресенье гремело с церковной кафедры прямо над его головой, начал так:

— То, о чем мы будем говорить сейчас, братья мои... Гм, гм... я хотел сказать, друзья мои, содеяно было не тайне и может послужить хорошим примером защитникам ведьм, атеистам и всем прочим нечестивцам. Надо вам сказать, что наш уважаемый лэрд не очень-то старался очистить свои земли от ведьм (а ведь о них сказано: «Не оставь в живых чародея») и от тех, кто духов вызывал, от разных прорицателей, колдунов и гадалок, а ведь всем этим как раз и занимаются так называемые цыгане и разные другие богом обиженные люди. А лэрд три года был женат, и детей у него не было. И он так скрытен был, что все считали, что не иначе как у него завелись какие-то дела с этой самой Мег Меррилиз, колдуньей, которая была известна на все Гэллоуэйское и Дамфризское графства.

— Да, это действительно так было, — сказала хозяйка. — Я еще помню, как он тут у нас в гостинице для нее два стакана водки заказывал.

— Ну, вот видите, хозяйюшка, значит я верно говорю. Словом, у леди родился наконец ребенок, и в ту самую ночь, когда она должна была разрешиться, вдруг к ним в дом, в замок Элленгауэн, как его тут называют, является некий старец, странно очень одетый, и просится на ночлег. Хоть и зимой дело было, он пришел босым, с голыми руками и с непокрытой головой; борода у него была вся седая и до самых колен. Ну что же, его пустили в дом, а когда он услышал, что леди мальчика родила, он сразу захотел узнать час и минуту, когда это случилось. И тогда

Он вышел из дома и стал гадать по звездам. А потом вернулся и сказал лэрду, что ребенком, который в эту ночь родился, нечистая сила завладеет, и наказал ему воспитывать дитя в страхе божьем, и чтобы при нем непременно какое-нибудь духовное лицо состояло и молилось за него, да и его бы молитвам научило. А потом этот старец исчез, и больше о нем ни слуху ни духу не было.

— Нет, не так было дело, — сказал кучер почтовой кареты, который, сидя поодаль, следил за его рассказом. — Не в обиду вам будь сказано, мистер Скрей и вся честная компания, только борода у этого колдуна была не больше, чем у вас, господин регент, а на ногах у него были отличные сапоги, да и перчатки у него тоже были, а я в то время уже мог отличить сапоги от чего-нибудь другого.

— Молчи ты, Джок, — сказала хозяйка.

— Эх, да ты-то что обо всем этом знаешь? — презрительно спросил регент.

— Не очень много, это верно, мистер Скрей, но только я жил тогда в двух шагах от аллеи, что к замку вела, и помню, как вечером, как раз в ту ночь, когда молодому лэрду на свет появиться, кто-то к нам в дверь как застучит, и мать послала меня — а я тогда еще был мальчишкой — проводить приезжего в замок. Уж если бы он был такой колдун, так, надо думать, он и без меня сумел бы дорогу найти, а это был мужчина молодой, благородный, хорошо одетый, и походил он на англичанина. И, могу вас уверить, у него и шляпа, и сапоги, и перчатки — все было; словом, одет он был как самый настоящий дворянин. Что верно, то верно, он странно как-то посмотрел на старый замок, и вправду он там что-то ворожил, я об этом слыхал; ну а насчет того, что он исчез, так ведь я же сам держал ему стремя, когда он уезжал, и он дал мне тогда полкроны. А ускакал он на коне, что ему Джордж из Дамфриза одолжил, и звали коня Сэм, и конь был гнедой, чистокровка; помнится, он еще шпатою болел. Коня этого я и раньше видал и после.

— Ладно, ладно, Джок, — примирительным тоном ответил Скрей, — твой рассказ ничем особенно не от-

личается от моего, я просто не знал, что ты видел этого человека. Так вот, знайте, друзья мои, звездочет этот сказал, что ребенку грозит несчастье, и тогда отец взял к себе в дом ученого богослова, чтобы тот день и ночь неотлучно при мальчике находился.

— Ах, да, его звали Домини Сэмсон, — сказал кучер.

— Это была какая-то бессловесная тварь, — заметил Берклиф. — Мне говорили, что, когда ему пришлось с проповедью выступить, он и двух слов связать не мог.

— Пусть так, — сказал регент, махнув рукой в знак того, что возвращается к прерванному рассказу, — но он денно и нощно был при маленьком лэрде. И вот, когда мальчику было уже лет пять, вышло так, что лэрд понял свою ошибку и решил изгнать цыган из своих владений. Он приказал им убраться вон и послал тогда Фрэнка Кеннеди их выгонять. Тот с ними грубо обошелся, и ругал их, и проклинал, а они ему тем же отвечали. И тогда эта самая Мег Меррилиз, которая больше всех с дьяволом якшалась, ясно сказала, что и трех дней не пройдет, как Фрэнк ей душой и телом за все заплатит. Я это все доподлинно знаю — мне сам Джон Уилсон, что конюхом у лэрда служил, сказывал, что, когда лэрд домой из Синглсайда ехал, Мег взошла на гору Гибби и грозилась оттуда всю его семью погубить. Уж была ли это вправду Мег или привидение какое, этого Джон сказать не мог, только такого роста и людей-то не бывает.

— Что же, — сказал кучер, — может быть, это и так, я-то этого и знать не знаю, меня в то время здесь не было. Только ведь Джон Уилсон хвастунишка был большой, да и трус к тому же.

— Так чем же все это кончилось? — спросил незнакомец, и в голосе его послышалось нетерпение.

— Ну вот, дело кончилось тем, — сказал регент, — что в то время, когда все глядели, как королевский корвет за контрабандистами гонится, этот самый Кеннеди, неизвестно зачем, сразу вдруг сошел с места — тут его никакая бы сила не удер-

жала — и поскакал во весь опор в Уорохский лес. На пути он повстречал маленького лэрда — тот с наставником своим гулял, — схватил ребенка и поклялся, что если на него напустят чары, то и ребенок с ним пропадет; воспитатель бежал за ним что было мочи и почти что не отставал от них, потому что бежал он очень прытко, и вдруг он видит: Мег, цыганка, или дьявол в ее образе, выскакивает из-под земли и вырывает ребенка из рук Кеннеди. Тогда тот разъярился и шпагу выхватил. Нечестивцам ведь и сам дьявол не страшен.

— Да, это истинная правда, — сказал Джок.

— Ну так вот, она схватила его и сбросила как камень вниз со скалы на Уорохском мысу. Под этой скалой его в тот же вечер и нашли, но что случилось с малюткой, этого я, по правде говоря, не знаю, только священник, что у нас тогда был (сейчас ему получше место дали), думает, что ребенка просто увезли на время в страну фей.

В некоторых местах этого рассказа незнакомец слегка улыбался, но, прежде чем он успел что-нибудь сказать в ответ, послышался топот копыт, и развязный, щеголеватый лакей с кокардой на шляпе быстро вошел в кухню, громко говоря: «Потеснитесь немножко, добрые люди». Но стоило ему заметить незнакомца, как он сразу превратился в скромного и учтивого слугу, мгновенно снял шляпу и подал своему хозяину письмо.

— Семья Элленгауэнов в большом горе, сэр, и они не могут никого принять.

— Я это знаю, — ответил его господин. — А теперь, сударыня, раз уж вам не приходится ждать гостей, может быть вы разрешите мне занять ту комнату, о которой вы говорили?

— Разумеется, сэр, — ответила миссис Мак-Кэндлиш и поспешила посветить гостю с назойливой суетливостью, присущей в таких случаях хозяйкам.

— Послушай-ка, молодчик, — сказал церковный староста лакею, наливая стакан водки, — тебе не худо было бы выпить после такой дороги.

— Верно, сэр, благодарю вас; за ваше здоровье, сэр.

— Но кто же такой твой хозяин?

— Кто тот господин, который только что здесь был? Это знаменитый полковник Мэннеринг, сэр, из Ост-Индии.

— Что, тот, о ком писали в газетах?

— Да, он самый. Он освободил Кудиберн и защищал Чингалор и разбил главного вождя маратхов Рама Джолли Бандлмена, я был с ним почти во всех сражениях.

— Господи боже мой, — вскричала хозяйка, — надо скорее спросить, что он захочет на ужин! А я-то еще принимала его в такой тесноте!

— Эх, полноте, мамаша, ему тут еще лучше. Вам на всем свете не сыскать человека проще, чем наш полковник; впрочем, в нем есть что-то, должно быть, и от самого дьявола.

Разговор, которым закончился этот вечер, мало интересен для нашего читателя, и мы, с его позволения, перейдем теперь в зал.

Глава XII

Людское мнение — глиняный божок,
Людьми же обращенный против бога.
Не бог ли запретил, кровопролитье?..
А ради славы убиваем мы.
Кто честен, тот не слушает молву
И клеветой не запятнает друга.
Да, тот силен, кто подлости в себе
Страшится, а от чьей-то пострадав —
Страданье стерпит,

Бен Джонсон

Полковник в раздумье ходил взад и вперед по залу, когда заботливая хозяйка снова заглянула туда, чтобы узнать, что ему будет угодно. Заказав себе ужин и стараясь всячески поддержать «интересы ее заведения» своим выбором, он попросил ее на несколько минут остаться с ним.

— Если только я хорошо понял все, что здесь говорили, — сказал он, — то выходит, что Бертрам потерял сына, когда тому исполнилось пять лет.

— Да, сэр, это доподлинно так было, хоть об этом и самые разные толки идут да пересуды, и каждый, у огня сидючи, свое рассказывает, вроде как и мы все сегодня. Но мальчик действительно пропал, когда ему пять годиков минуло, как ваша милость изволили сказать, а леди в то время была в положении, и когда ей об этом проговорились, она, бедная, не выдержала и в ту же ночь преставилась. Да и лэрду с тех пор уж не жизнь была, он на все рукой махнул; правда, когда мисс Люси подросла, она попробовала в доме порядок навести, но только что она могла, бедняжка, сделать? А теперь вот они и без дома и без земли остались.

— Может быть, вы вспомните, какое это было время года, когда мальчик пропал?

Хозяйка подумала немного, что-то припоминая, а потом ответила, что она «хорошо помнит, когда это было», и привела несколько дат, по которым можно было установить, что это было в начале ноября 17.. года.

Полковник молча зашагал взад и вперед по комнате, сделав миссис Мак-Кэндлиш знак не уходить.

— Если я верно понял, — сказал он, — имение Элленгауэн продается?

— Какое там продается! Завтра его просто отдадут тому, кто больше заплатит. Боже мой, да что же это я говорю, — не завтра, завтра ведь воскресенье, а в понедельник, в первый будний день. И мебель вся и все домашние вещи туда же пойдут. У нас тут все думают, что просто стыдно сейчас с продажей спешить, когда в Шотландии из-за этой проклятой американской войны ни у кого денег нет, и кое-кто на этом деле поживится. Черти проклятые, прости господи! — негодуяше воскликнула добрая женщина, которая никак не могла примириться с этой вопиющей несправедливостью.

— А где же состоится торги?

— Да прямо на месте, так и в объявлении сказано — стало быть, в самом замке Элленгауэн.

— А у кого же все документы, приходо-расходные книги и планы?

— У очень порядочного человека, сэр, у помощника шерифа графства. Он на это судом уполномочен. Мо-

жет быть, вашей милости угодно будет его повидать, так он как раз сейчас здесь; да он вам и о пропаже мальчика потолковее, чем кто другой, расскажет, потому как я слыхала, сам шериф, его прямой начальник, в свое время как следует над этим делом потрудился.

— А как его зовут?

— Мак-Морлан, сэр; это человек достойный, его все хвалят.

— Пошлите сказать ему, что полковник Мэннеринг ему кланяется и приглашает к себе поужинать, и пусть он все эти бумаги с собой захватит. Только, пожалуйста, сударыня, никому об этом ни слова не говорите.

— Чтоб я сказала, да ни за что на свете! Мне и самой бы хотелось, чтобы земля вашей милости досталась (тут она сделала ему реверанс) или другому какому-нибудь джентльмену, который, как и вы, за свою страну воевал (еще один реверанс), если уж старым владельцам эти места покинуть придется (тут она вздохнула); только бы не досталась она этому подлому мошеннику Глоссину, который на несчастье ближнего богатство себе сколотить хочет. Ну а теперь я, пожалуй, оденусь, обуюсь да схожу к мистеру Мак-Морлану, он сейчас дома, а это отсюда рукой подать.

— Пожалуйста, сходите, хозяйюшка, я буду вам очень благодарен, да скажите моему слуге, чтобы он мне портфель сюда принес.

Через несколько мгновений полковник Мэннеринг уже спокойно сидел за столом, разложив на нем свои бумаги. Пока он пишет, мы имеем возможность взглянуть ему через плечо и охотно поделимся с нашим читателем тем, что мы прочли. Письмо было адресовано: Уэстморленд, Ландбрейтвейт, Мервинхолл, Артуру Мервину, эсквайру. Полковник описывал в нем свое путешествие, после того как они расстались, а потом продолжал так:

Станешь ли ты, Мервин, и теперь еще упрекать меня в том, что я поддавался грусти? Неужели ты думаешь, что после всех сражений, плена и других ударов судь-

бы, которые постигли меня за эти двадцать пять лет, я могу быть по-прежнему тем веселым и беззаботным Гаем Мэннерингом, который карабкался с тобою на вершину Скиддо и охотился на Кросфеле? И если ты, который все это время был счастлив, окружен семьей и совсем почти не изменился, если ты легко шагаешь по жизни и такими ясными глазами глядишь в будущее, то все это оттого, что здоровье и нераздельно с ним связанный спокойный характер счастливо сочетались у тебя с ровным и безмятежным течением жизни. А на моем жизненном пути были одни только трудности, колебания и ошибки. С самого детства я стал игрушкой в руках случая, и, хотя ветром меня и часто относило в тихую гавань, это редко бывала та гавань, к которой стремился сам кормчий. Позволь же мне напомнить тебе хотя бы в нескольких словах, как нелепо и странно сложилась моя юность и сколько горя мне пришлось испытать потом, уже в зрелые годы.

Ты скажешь мне, что в начале моей жизни ничего плохого со мной не произошло. Хорошего, правда, было тоже мало, но как-никак все было вполне сносно. Отец мой, старший представитель древнего, но обедневшего рода, умирая, оставил меня почти ни с чем, если не считать своего благородного имени, и доверил меня попечению своих более удачливых братьев. Они так меня любили, что готовы были ссориться из-за меня. Мой дядя-епископ хотел сделать из меня священника и предлагал мне приход; другой дядя, который был купцом, хотел засадить меня в контору, собираясь в дальнейшем сделать меня участником фирмы «Мэннеринг и Маршал» на Ломбард-стрит. Так вот, очутившись между двух стульев, или, пожалуй, двух мягких, богатых и удобных кресел — креслом богословия и креслом коммерции, я не сумел усидеть ни на одном из них, и кончилось тем, что я скатился на драгунское седло. Но это не все: епископ хотел женить меня на своей племяннице и наследнице линкольнского декана, дядя-коммерсант, близко знавший крупного винооторговца старика Слотерна, который мог мойдоры мешками считать и разжигать трубку банковыми билетами, прочил меня себе в зятя, а я вот ухитрился высо-

чить из той и другой петли и женился на бедной-пребедной девушке, Софии Уэлвуд.

Ты, верно, скажешь, что военная карьера в Индии, куда я отправился со своим полком, меня удовлетворяла. Да, так оно и было на самом деле. Ты напominiшь мне и о том, что если я и не оправдал ожидания моих опекунов, я, однако, нимало не навлек на себя их недовольства и что епископ, умирая, завещал мне свое благословение, свои рукописные проповеди и весьма примечательный портфель с портретами знаменитейших богословов английской церкви, а другой дядя, сэр Пол Мэннеринг, оставил мне все свое огромное состояние. Но все это ничего не значит; на душе у меня лежит тяжелый камень, и тяжесть эту я, должно быть, унесу с собою в могилу; эта горечь отравляет мне всю жизнь. Сейчас я расскажу об этом подробнее. Когда я был у тебя в гостях, у меня не хватило мужества рассказать тебе все до конца. Вообще ты, наверно, слышал об этом уже много раз, и, может быть, даже с некоторыми подробностями, далеко не всегда, впрочем, верными. Поэтому я сейчас не стану ничего замалчивать, с тем чтобы потом нам никогда уже не возвращаться ни к самому событию, ни к тому чувству безысходной грусти, которое оно оставило во мне.

Ты ведь знаешь, что София поехала со мной в Индию. Она была так же невинна, как и весела, но несчастье нам принесло именно то, что она была так же весела, как невинна. А на мой характер повлияли заброшенные мною потом занятия наукой и привычка к длительному уединению; все это не слишком подходило к моей новой должности командира полка в стране, где все полно гостеприимства и где каждый обязан стать радушным хозяином, если хочет, чтобы его считали джентльменом. Однажды, в тяжелый для нас период (ты знаешь, как порою бывало трудно набирать в армию европейцев), некий молодой человек по имени Браун, поступивший волонтером в наш полк, решил, что военная деятельность ему более по сердцу, чем торговля, которой он занимался прежде, и остался служить в полку. Надо отдать должное моей несчастной жертве — поведением своим он каждый раз являл

образцы благородства, и первая офицерская вакансия по праву, конечно, должна была принадлежать ему. Я уезжал на несколько недель в дальнюю экспедицию. Вернувшись, я увидел, что этот молодой человек принят в моем доме и стал постоянным спутником моей жены и дочери в их прогулках. Мне это по многим причинам не нравилось, хоть и манеры его и поведение были совершенно безупречны. По правде говоря, я, пожалуй, и примирился бы с тем, что он так запросто бывал в моей семье, если бы в дело не вмешалось другое лицо. Если ты перечтешь «Отелло», пьесу, которую мне теперь страшно взять в руки, ты поймешь, что было дальше, поймешь, какие чувства овладели мной; поступки мои, слава богу, были не столь ужасны. У нас в полку был еще один претендент на офицерскую должность. Он-то и обратил мое внимание на то, что моя жена, как он выразился, кокетничала с этим молодым человеком. Честь Софии ничем не была запятнана, но она была горда, и ревность моя настолько ее задела, что она стала еще настойчивее приглашать его в наш дом, отлично зная, как я неодобрительно к нему отношусь. У нас с Брауном была какая-то скрытая неприязнь друг к другу. Раз или два он сделал попытку преодолеть мое предвзятое отношение к нему, но я был настолько против него предубежден, что приписал это совсем другим намерениям. Чувствуя, что его отталкивают и даже презирают, он перестал добиваться моего расположения, а так как у него не было ни семьи, ни друзей, он, естественно, обращал особое внимание на то, как вел себя человек, у которого было и то и другое.

Ты не можешь себе представить, какая для меня пытка писать тебе это письмо, и, несмотря на это, мне хочется отдалить конец моего рассказа, как будто этим я могу оттянуть катастрофу, последствия которой отравили всю мою жизнь. Но сказать о ней надо, и я буду краток.

Жена моя, хоть она была не очень уже молода, была еще очень хороша собой. И, добавлю в свое оправдание, ей хотелось нравиться, об этом я тебе уже говорил. В ее верности, однако, у меня никогда ника-

ких сомнений не было. Но своими хитрыми намеками Арчер вселил в меня убеждение, что она мало бережет мой душевный покой и что этот молодой человек, Браун, ухаживает за ней, несколько не считаясь со мной и даже назло мне. Он же, со своей стороны, может быть, считал меня деспотичным аристократом, который пользуется своим положением в армии и в свете, чтобы издеваться над тем, кто оказался у него в подчинении. И, если он заметил мою нелепую ревность, он, вероятно, намеренно растравлял эту рану, считая, что этим может отомстить мне за мелкие обиды, которые я не раз ему наносил. Но один из моих друзей, человек проникательный, дал другое толкование его поступкам, в свете которого они выглядели более невинными и, во всяком случае, менее для меня оскорбительными. Он считал, что внимание Брауна в действительности относилось к моей дочери Джулии, а если и распространялось на мою жену, то только с целью добиться ее покровительства. Такого рода его намерения отнюдь не льстили моему самолюбию и не могли мне нравиться, так как исходили от человека без имени и состояния, но, конечно, безрассудная страсть к моей дочери не могла так глубоко оскорбить меня, как оскорбляло это ужасное подозрение. А ведь я был оскорблен, и до глубины души.

Там, где скопилось много горючего, достаточно бывает одной искорки, чтобы все вспыхнуло. Я начисто забыл, что именно послужило поводом к нашей ссоре, но все началось за карточным столом из-за сущего пустяка; кончилось же это взаимными оскорблениями и вызовом на дуэль. На следующее утро мы встретились по другую сторону крепостного вала, на самой границе расположения полка, которым я командовал. Все было устроено так, чтобы Браун, если он выйдет победителем, мог спастись бегством. Теперь я, кажется, даже хотел бы, чтобы это случилось именно так, хоть и ценой моей гибели. Но от первой же пули Браун упал. Мы все кинулись, чтобы оказать ему помощь, как вдруг на нас напали *лутхи*, местные разбойники, не упускающие случая подстеречь добычу. Арчер и я едва успели вскочить на лошадей, и после ожесто-

ченной схватки, в которой он получил несколько тяжелых ранений, нам удалось пробиться сквозь их ряды. В довершение всех несчастий этого злополучного дня жена моя, которая догадалась, почему я так рано покинул крепость, отправилась в паланкине вслед за мной. Разбойники напали на нее и чуть было не захватили в плен. Наш конный отряд быстро освободил ее, но само собой разумеется, что события этого утра не могли не отразиться на ее и без того уже подорванном здоровье. Арчер, понимая, что он умирает, признался мне, что некоторые из сообщенных им подробностей он просто выдумал, а другим дал неправильное толкование, чтобы опорочить мою жену. Но ни его признания, ни следовавшее за этим объяснение и примирение с женой не могли остановить ее болезни. Месяцев через восемь она умерла, и все, что у меня осталось, — это дочь, которая сейчас временно находится на попечении доброй миссис Мервин. Джулия тоже тяжело заболела. Состояние ее было таково, что я вынужден был выйти в отставку и вернуться в Европу, где более благоприятный климат и новизна впечатлений вернули ей в конце концов бодрость и восстановили ее силы.

Теперь, когда ты все узнал обо мне, ты не станешь больше доискиваться причин моей грусти и позволишь мне предаваться ей вволю. В том, что я тебе рассказал, достаточно горечи, если не яда, чтобы отравить ту чашу счастья и славы, которую, как ты не раз говорил, мне предстоит испытать в эти годы покоя.

Я мог бы добавить к этому еще некоторые обстоятельства, которые наш старый учитель называл бы *предопределением*. Ты, пожалуй, посмеялся бы, если бы я рассказал тебе еще некоторые подробности, тем более что ты знаешь, что сам я в это не верю. Приехав в тот дом, откуда я пишу тебе сейчас, я узнал об одном удивительном стечении обстоятельств, о котором, если только оно подтвердится свидетельством надежных людей, нам с тобой будет интересно потолковать. Но пока я об этом умолчу, так как жду к себе одного человека; я должен говорить с ним о покупке поместья, которое сейчас продается в этих краях. Место это мне

чрезвычайно нравится, и я надеюсь, что владельцы его будут довольны тем, что куплю его я, так как здесь кое-кто намеревается завладеть им за полцены. Кланяйся от меня миссис Мервин, и я, так и быть, доверю тебе, хоть ты и хочешь еще считаться молодым человеком, поцеловать за меня Джулию. Прощай, милый Мервин.

Преданный тебе

Гай Мэннеринг.

В комнату вошел мистер Мак-Морлан. Имя полковника Мэннеринга было так хорошо известно, что Мак-Морлан, человек порядочный и умный, сразу же решил довериться ему и рассказать обо всем откровенно. Он перечислил все преимущества и все невыгоды покупки.

— Это имение, — сказал он, — во всяком случае, большая часть его, должно перейти к сыну лэрда, а купивший имение имеет право удержать значительную долю его стоимости в случае, если в течение какого-то времени исчезнувший ребенок найдется.

— Почему же тогда так торопятся с торгами? — спросил Мэннеринг.

Мак-Морлан улыбнулся.

— По всей видимости, — сказал он, — для того, чтобы вместо сомнительной ренты с уже разоренного имения можно было получить всю его стоимость; но главная причина, как все полагают, в том, чтобы удовлетворить интересы одного определенного покупателя, который сделался главным кредитором и распоряжается всем, как только ему угодно; он-то, вероятно, и захочет купить имение — ведь платить ему за него ничего почти не придется.

Мэннеринг посоветовался с Мак-Морланом о том, как не допустить, чтобы этот низкий замысел осуществился. Потом они долго обсуждали удивительное исчезновение Гарри Бертрама в тот самый день, когда ему исполнилось пять лет. Исчезновение ребенка именно в этот день подтверждало случайное предсказание Мэннеринга. Однако, как и можно было думать, Мэннеринг о нем не упоминал.

Мистер Мак-Морлан, когда все это случилось, сам в этих местах еще не служил, но он был хорошо знаком

со всеми обстоятельствами дела и сказал полковнику, что, если тот действительно думает поселиться в поместье Элленгауэн, он сообщит ему все подробности дела через самого шерифа. На этом они и расстались, довольные друг другом и хорошо проведенным вечером.

В воскресенье полковник Мэннеринг отправился к обедне в приходскую церковь. Из Элленгауэнов в церкви никого не было; прошел слух, что старому лэрду стало хуже. Джек Джейбос, которого снова за ними посылали, вернулся опять один, но мисс Люси Бертрам надеялась, что на следующий день отца ее все же можно будет увезти.

Глава XIII

Они сказали, что закон велит
Сейчас же взять им все, чем ты
владеешь.
Наглец какой-то с каменным лицом
Стоял над драгоценною посудой,
Им в кучу сваленной для распродажи.
Другой, заметив, как горюешь ты,
Глумился над тобой и подлю крал,
От прадедов доставшиеся вещи.

Отвэй

Рано утром на другой день Мэннеринг сел на коня и в сопровождении слуги поехал в Элленгауэн. Ему не пришлось расспрашивать о том, как добраться до замка. Публичная распродажа всегда бывает своего рода развлечением для окрестных жителей, и люди всякого звания стекались туда со всех сторон.

Проехав около часа по живописным местам, он увидел наконец старые башни. Насколько же отличны были его чувства, когда он покидал этот замок столько лет тому назад, от тех, которые он испытывал теперь! Мысль об этом не давала ему покоя. Окрестности не изменились, но как изменились зато все симпатии, надежды и чаяния человека! Тогда и жизнь и любовь были полны новизны, и золотые лучи их озаряли все его будущее. А теперь вот, разочаровавшись в любви,

пресытившись славой и тем, что в свете зовется удачей, снедаемый горькими воспоминаниями и поздними сожалениями, он больше всего стремился найти убежище, где бы он мог вволю предаваться грусти, которая стала спутницей всей его жизни. Но вправе ли смертный жаловаться на то, что надежды его оказались тщетными, а расчеты пустыми? Могли разве рыцари былых времен, воздвигнувшие эти огромные, массивные башни, чтобы прославить свой род и увековечить его могущество, думать о том, что когда-нибудь настанет такой день, когда последний потомок этого рода будет изгнан из замка и превратится в бездомного скитальца? Да, неизменны одни лишь благодеяния природы. Солнце так же будет освещать эти развалины — все равно, будут ли они принадлежать неизвестному чужеземцу или низкому мошеннику и плуту, извратившему в своих интересах закон, — как освещало тогда, когда над зубцами замка только что взвилось знамя его основателя.

С этими мыслями Мэннеринг подъехал к воротам, которые в тот день были открыты для всех. Он прошел по комнатам вместе с толпой; одни хотели что-нибудь купить, а другие явились сюда просто из любопытства. В подобных сценах, даже и при более благоприятных обстоятельствах, всегда есть что-то печальное. Всегда неприятно бывает смотреть на мебель, которая составлена в ряд для того, чтобы покупателям удобнее было осматривать ее, а потом выносить из дома. Вещи, которые на своих местах казались вполне годными и даже красивыми, выглядят теперь какими-то жалкими; комнаты, лишенные всего, что украшало их и придавало им жилой вид, носят на себе печать опустошения и разрухи. Тяжело смотреть, как домашняя жизнь семьи становится достоянием любопытных и зевак, слышать их насмешливые и грубые замечания по поводу предметов, назначение которых им непонятно, и привычек, которые им не свойственны. Веселому настроению их немало способствует и виски, без которого в Шотландии не обходится ни одна распродажа. Такое вот впечатление производил в эту минуту Элленгауэн, и даже больше того — вся эта картина свиде-

тельствовала об окончательном разорении древнего и высокого рода, и от этого она становилась еще в несколько раз мрачнее и безысходнее.

Прошло немало времени, пока полковник Мэннеринг смог отыскать кого-нибудь, кто бы ответил на его настоятельные расспросы о лэрде Элленгауэне. Наконец старая служанка, утирая слезы передником, сказала ему, что лэрду немного полегчало и сегодня, кажется, он уже сможет уехать. Мисс Люси ждет, что вот-вот подадут карету, а так как день сегодня выдался ясный, то они вынесли старика в кресле на лужайку перед старым замком, чтобы он хоть всей этой беды не видел. Полковник Мэннеринг пошел проводить его и вскоре увидел неподалеку группу из четырех человек. Поднимался он по довольно крутой тропинке и, по мере того как приближался, мог достаточно хорошо разглядеть этих людей и подготовиться к встрече с ними.

Бертрам, разбитый параличом и почти совсем неподвижный, в колпаке и просторном камлотовом халате, сидел в кресле; ноги его были укутаны шерстяным одеялом. Сзади него, опираясь скрещенными руками на палку, стоял Домини Сэмсон, которого Мэннеринг сразу же узнал. Время его несколько не изменило, разве только его черный кафтан несколько порыжел, а впалые щеки еще больше ввалились. Рядом со стариком стояла очаровательная, похожая на сальфиду девушка, лет семнадцати. Полковник сразу же догадался, что это дочь лэрда. Время от времени она беспокойно поглядывала на аллею, как будто с нетерпением ожидая, когда наконец появится почтовая карета, а тем временем то и дело поправляла одеяло, боясь, как бы отец не простудился, и отвечала на его раздраженные, назойливые вопросы. Она не решалась даже взглянуть в сторону дома, хотя гудевшая там толпа неминуемо должна была привлечь к себе ее внимание. Четвертым в этой группе был статный красивый юноша, который, казалось, разделял тревогу мисс Бертрам и старался всячески помочь ей успокоить старика.

Молодой человек первым заметил полковника Мэннеринга и сразу же поспешил ему навстречу, может

быть для того, чтобы не дать ему приблизиться к находившимся в таком жалком состоянии людям. Мэннеринг остановился и объяснил ему, кто он такой.

— Я приехал издалека, — сказал он, — и было время, когда мистер Бертрам радушно и ласково приютил меня у себя в доме. Сейчас, когда он в таком бедственном положении, я ни за что не стал бы тревожить его, если бы не увидел, что его покинули все близкие и друзья. Мне хотелось бы хоть чем-нибудь помочь мистеру Бертраму и его дочери.

Мэннеринг остановился на некотором расстоянии от лэрда, который устремил на него тусклый взор; видно было, что тот не узнает его; Домини был до такой степени погружен в свои размышления, что, должно быть, даже и не заметил прихода Мэннеринга. Молодой человек отозвал в сторону мисс Бертрам, которая робко подошла к полковнику и поблагодарила его за участие.

— Но только, — сказала она, заливаясь слезами, — боюсь, что отец сейчас уже в таком состоянии, что вряд ли сможет вспомнить ваш первый приезд к нам.

Потом она вместе с полковником подошла к старику.

— Отец, — сказала она, — это мистер Мэннеринг, твой давнишний друг, приехал тебя проведать.

— Что же, очень рад, — отвечал лэрд, приподнимаясь в своем кресле и как бы пытаясь поздороваться с ним, причем померкшее лицо его чуть прояснилось от слабой, но приветливой улыбки.

— Послушай, Люси, милая, пойдем-ка домой, гость наш, наверно, уже озяб. Домини, возьмите ключ от винного погреба. Мистеру Мэ... Мэ... как бишь его, не худо бы выпить с дороги.

Мэннеринга глубоко поразило, до какой степени его прежняя встреча с лэрдом была непохожа на сегодняшнюю.

Он не мог удержаться от слез и этим сразу вызвал к себе доверие несчастной молодой девушки.

— Увы, — сказала она, — это все ужасно даже для постороннего человека, но, может быть, и лучше даже, что отец плохо теперь все понимает, а то ему было бы еще тяжелее.

В это мгновение к ним подошел лакей в ливрее и шепотом сказал молодому человеку:

— Мистер Чарлз, миледи хочет, чтобы вы сторговали для нее бюро черного дерева, а леди Джин Деворгойл тоже с ней, они просят вас сейчас же прийти к ним.

— Скажи им, Том, что не нашел меня, или нет, лучше скажи, что я пошел смотреть лошадей.

— Нет, нет, — решительно сказала Люси Бертрам, — если вы не хотите, чтобы эта тяжелая минута была для нас еще тяжелее, идите сейчас же к ним. Я уверена, что мистер Мэннеринг поможет нам сесть в карету.

— Ну, разумеется, сударыня, — ответил Мэннеринг, — ваш юный друг может вполне на меня положиться.

— Тогда прощайте, — сказал молодой Хейзлвуд и, шепнув ей что-то на ухо, быстро побежал вниз, как будто боясь, что у него не хватит решимости уйти.

— Куда же это побежал Чарлз Хейзлвуд? — спросил больной, который, по-видимому, привык и к его присутствию и к его заботам, — что там такое случилось?

— Он сейчас вернется, — тихо ответила Люси.

В это время из развалин замка до них донеслись чьи-то голоса. Читатель, вероятно, помнит, что развалины сообщались с берегом, оттуда-то и поднимались сейчас люди.

— Да, вы правы, тут действительно хватает и раковин разных и водорослей для удобрения, а если станем новый дом строить, что, может быть, и не мешало бы сделать, то в этом чертовом логове можно и тесаного камня сколько угодно достать.

— Боже мой! — закричала мисс Бертрам, обращаясь к Сэмсону. — Слышите голос этого негодяя Глоссина? Только бы он сюда не пришел, ведь бедного папу это просто убьет!

Сэмсон повернулся на каблуках и большими шагами устремился навстречу Глоссину, который уже показался под сводом старого замка.

— Отыди, — закричал он, — отыди! Ты что, хочешь сразу и ограбить и убить человека?

— Ладно, ладно, мистер Домини Сэмсон, — нагло ответил ему Глоссин, — если вам не судьба была на кафедре проповедовать, так здесь и вовсе не придется. Мы действуем по закону, милейший, а библию мы уж вам оставим.

Одно только упоминание имени этого человека повергало несчастного старика в крайнее волнение, а звук его голоса сразу возымел свое действие. Мистер Бертрам весь вытянулся, встал и с какой-то неистовой силой, которая никак не соответствовала его изможденному, страдальческому лицу, воскликнул:

— Прочь с глаз моих, змея, да, подлая змея, которую я отогрел на груди! Теперь ты обратила на меня свое жало! Смотри, не рухнули бы эти вековые стены и не похоронили бы тебя здесь заживо! Смотри, как бы сами своды замка Элленгауэн не раскрыли свою пасть и не проглотили тебя. Не ты ли это был без крова, без друзей, без пенса в кармане, и я тебе подал руку помощи, а теперь вот ты выгоняешь нас, покинутых всеми, бездомных, нищих, из стен, где наш род прожил целое тысячелетие!

Если бы Глоссин был один, он, вероятно, почел бы за благо удалиться, но в присутствии незнакомца, а также землемера, которого он сам привел сюда, он нашел нужным вести себя еще более вызывающе. Как он ни был нагл, он, однако, немного смутился.

— Сэр, мистер Бертрам, не вам меня обвинять, вы сами были неблагоразумны.

Тут Мэннеринг не мог уже сдержать своего негодования.

— Послушайте, — сказал он Глоссину, — не вдаваясь в оценку всех ваших суждений, я должен сказать, что вы избрали совсем неподходящее место, время и обстоятельства, для того чтобы излагать их. И я попрошу вас немедленно удалиться отсюда.

Глоссин был мужчина рослый и крепкий; он скорее готов был напасть на незнакомца, которого надеялся этим запугать, чем подкреплять свои подлые поступки какими-либо доводами.

— Я не знаю, кто вы такой, сэр, — сказал он, — но я никому не позволю так дерзко со мной обращаться.

Мэннеринг по натуре был человек горячий; в глазах его вспыхнул огонек, он закусил нижнюю губу, так что выступила кровь, и, подойдя к Глоссину, сказал:

— То, что вы меня не знаете, не имеет значения, я ведь вас знаю, и если вы сию же минуту не уберетесь, — клянусь вам самим господом богом, я мигом спущу вас вниз!

Повелительный тон Мэннеринга, охваченного справедливым негодованием, сразу же одернул нахала. Подумав немного, он повернулся на каблуках, процедил что-то сквозь зубы о том, что не хочет беспокоить молодую леди, и избавил всех от своего присутствия.

Кучер миссис Мак-Кэндлиш, который подошел как раз вовремя, заявил во всеуслышание:

— Пусть бы он только немножко помешкал, я б ему показал его место, подлецу этакому!

А потом он доложил, что лошади для лэрда и его дочери поданы.

Но лошади уже были не нужны. Вспышка негодования унесла с собой последние силы Бертрама, и, рухнув в кресло, он тут же испустил дух, без всякой борьбы, без единого слова. Это мгновение почти совсем не изменило его лица, и только когда дочь, заметив, что взгляд старика потух и пульса больше нет, громко вскрикнула, все окружающие узнали о его кончине.

Глава XIV

Час пробил. Так мы время узнаем,
Навек с ним расставаясь.

Не напрасно
Вдруг голос подает оно. То ангел
Зовет нас грозно...

Юнг

Тот несколько необычный вывод, который поэт сделал из обычного измерения времени, применим и к пределам человеческой жизни. Мы видим на каждом шагу людей старых, больных или подвергающихся постоян-

ной опасности по роду своих занятий — живущих в трепете, ступающих по самому краю бездны, но мы не извлекаем для себя урока из этого примера бренности земного существования, пока оно вдруг не приходит к концу. Тогда, во всяком случае, на мгновение

...Наши чаянья и страхи
Оледенеют у черты последней,
Вниз глянув. Что ж там? — Пропasti зиянье
И вечный мрак. И наш удел — туда!

Любопытные и зеваки, собравшиеся в Элленгауэне, продолжали развлекаться, или, как они сами считали, заниматься делом, не слишком-то заботясь о чувствах тех, кто страдал от этого непрошеного вторжения. Мало кто из них знал семейство Элленгауэнов: уединенный образ жизни, несчастная участь и слабоумие старика привели к тому, что окрестные жители совершенно перестали помнить о нем, а дочери его они и во все не знали. Но когда распространилась весть о том, что несчастный мистер Бертрам умер с горя, покидая места, где жили все его предки, целый поток сочувствия залил сердца людей, как будто хлынув из скалы, которой пророк коснулся своим жезлом. Все стали с уважением вспоминать незапятнанную чистоту древнего рода Элленгауэнов. К этому примешивалось также то особое расположение, которое в Шотландии всегда вызывают к себе люди, несправедливо пострадавшие.

Мистер Мак-Морлан поспешно объявил, что продажа поместья и всего имущества приостанавливается и все передается в распоряжение молодой леди, которая должна сначала посоветоваться с друзьями и похоронить отца.

Глоссин, как только все начали выражать молодой девушке свое сочувствие, смутился было немного, но потом, видя, что толпа не проявляет к нему никаких враждебных чувств, потребовал, чтобы торги продолжались.

— Я прекращаю распродажу, — заявил помощник шерифа, — и отвечаю за все последствия. О дне возобновления торгов я всех извещу. Общий интерес

требует, чтобы имение было продано по самой высокой цене, а теперь об этом думать не приходится. Я за всё отвечаю.

Глоссин быстро вышел из комнаты и незаметно скрылся; должно быть, он хорошо сделал, так как наш приятель Джок Джейбос собрал уже целую ватагу бо-соногих ребят, чтобы закидать его камнями и выгнать вон.

Тут же были приведены в порядок несколько комнат; в одну из них положили покойника, другие отвели для молодой леди. Мэннеринг решил, что дальнейшее его присутствие неуместно и может быть даже неправильно истолковано. Он к тому же заметил, что несколько дальних родственников покойного лэрда, вся знатность которых зиждилась на степени их родства с Элленгауэном, решили теперь отдать последний долг человеку, к несчастьям которого они всегда были глубоко равнодушны. Право распоряжаться похоронами Годфри Бертрама оспаривало теперь семеро богатых помещиков (подобно тому как семь греческих городов оспаривали право называться родиной Гомера). Но ни одному из этих семи родственников перед тем и в голову не приходило приютить у себя старика. Поэтому-то Мэннеринг решил не оставаться здесь дольше и уехать недели на две, то есть на то время, по истечении которого распродажа должна была возобновиться.

Но, прежде чем уехать, он хотел повидаться с Домини. Когда последний узнал, что какой-то джентльмен желает говорить с ним, несказанное удивление отразилось на его вытянутом лице, которое от горя стало еще мрачнее. Он несколько раз низко поклонился Мэннерингу, а потом весь вытянулся и стоял прямо, терпеливо ожидая его распоряжений.

— Вы, должно быть, не догадываетесь, мистер Сэмсон, зачем вы могли понадобиться совершенно незнакомому человеку?

— Вероятно, вы хотите, чтобы я преподавал кому-нибудь словесность и классическую филологию. Только нет, никак не могу: у меня есть еще одна обязанность, я должен ее выполнить.

— Нет, мистер Сэмсон, я далек от этой мысли — сыновей у меня нет, а единственная моя дочь вряд ли окажется для вас подходящей ученицей.

— Ну, разумеется, нет, — ответил простодушный Сэмсон. — Однако же я обучал мисс Люси всем наукам, и только таким ни на что не нужным предметам, как кройка и шитье, ее учила экономка.

— Как раз о мисс Люси-то я и собирался поговорить с вами, — сказал Мэннеринг. — Вы ведь меня не помните?

Сэмсон, всегда отличавшийся рассеянностью, не только не припоминал юного астролога, с которым встречался в столь давние времена, но даже не узнал в нем того незнакомца, который заступился за лэрда перед Глоссином, — до такой степени спутались все его мысли после кончины его благодетеля.

— Но это неважно, — продолжал полковник, — я старый приятель покойного мистера Бертрама, и я имею возможность помочь его дочери в ее теперешнем тяжелом положении. К тому же я намерен купить это поместье, и мне хочется, чтобы в замке все осталось как есть. Возьмите, пожалуйста, вот эти деньги на расходы по дому, — и он подал Домини кошелек с деньгами.

— У-ди-ви-тель-но! — воскликнул Домини. — Но если вам угодно обождать...

— Это совершенно невозможно, — сказал Мэннеринг, уходя.

— У-ди-ви-тель-но! — еще раз воскликнул Домини Сэмсон, выбежав за ним на лестницу с кошельком в руке. — Но эти деньги...

Мэннеринг поспешно сошел вниз по лестнице.

— У-ди-ви-тель-но! — в третий раз воскликнул Домини Сэмсон, стоя уже в дверях. — Но только эти...

Но Мэннеринг уже вскочил на лошадь и ничего не слышал. Хотя сумма эта и не превышала двадцати гиней, Домини, которому никогда, ни при каких обстоятельствах не приходилось держать в руках даже и пяти, решил, как он сам выразился, «посоветоваться» о том, как лучше всего поступить с полученными деньгами. По счастью, Мак-Морлан дал ему разумный и совершенно бескорыстный совет употребить эти

деньги на нужды мисс Бертрам, так как именно для этой цели они и предназначались самим Мэннерингом.

Многие из соседей-помещиков проявляли теперь всяческие заботы о мисс Бертрам, искренне и радушно предлагая ей воспользоваться их гостеприимством. Но ей, разумеется, не хотелось сразу же попасть в чужую семью, куда ее приглашали скорее из благотворительных побуждений, чем из простого гостеприимства. Поэтому она решила попросить совета у ближайшей родственницы со стороны отца, мисс Маргарет Бертрам из Синглсайда, почтенной старой девы, которой она и написала теперь о своем тяжелом положении.

Бертрама похоронили скромно, как это и подобало. Бедная девушка понимала, что теперь она не более как временная обительница того дома, где она родилась и где с таким вниманием и такой нежной заботой «качала старости бессильной колыбель». Мак-Морлан обнадёживал ее, уверяя, что никто уже не сможет теперь так внезапно и так безжалостно лишить ее этого приюта. Но судьбе было угодно решить иначе.

Последние два дня, которые оставались до срока, назначенного для торгов, Мак-Морлан с минуты на минуту ждал приезда полковника Мэннеринга или хотя бы его письма с доверенностью. Но никто не приезжал. В самый день аукциона Мак-Морлан встал рано и отправился на почту, но писем ему не было. Он старался убедить себя, что полковник Мэннеринг придет к завтраку, и велел жене приодеться и вынуть лучшую посуду. Но все эти приготовления были напрасны.

— Если бы я только мог это предвидеть, — сказал он, — я изъездил бы всю Шотландию вдоль и поперек, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто отбил бы у Глоссина это поместье.

Но увы! Было уже поздно. Назначенный час настал, и в Кипплтрингане, в месте, где должна была состояться распродажа, собирався уже народ. Мак-Морлан старался затянуть приготовления, насколько это было возможно, и читал опись вещей так медленно, как будто это был его собственный смертный приговор. Каждый раз, когда отворялась дверь, он глядел на нее с надеждой, но эта надежда станови-

лась постепенно все слабее и слабее. Он прислушивался к малейшему шуму на улице и старался уловить в нем стук колес и цоканье копыт. Но все было напрасно. Тогда его вдруг осенила догадка, что полковник Мэннеринг поручил купить имение кому-нибудь другому. Ему даже не пришло в голову упрекнуть полковника в недоверии. Но и эта последняя надежда вскоре исчезла. После того как наступило торжественное молчание, Глоссин предложил свою цену за поместье и за баронство Элленгаузена. К этой сумме никто ничего не прибавил, и никакого соперника у него не нашлось, — поэтому песочные часы были перевернуты, и, когда они отсчитали положенные минуты, мистер Мак-Морлан должен был объявить по всем правилам, что «торг завершен и вышеупомянутый Гилберт Глоссин вступает в законное владение поместьем и всеми землями».

Честный Мак-Морлан отказался принять участие в богатом пиршестве, которое устроил Гилберт Глоссин, ныне уже эсквайр элленгауэнский. С чувством глубочайшей горести он вернулся домой и стал сетовать на непостоянство и причуды индийских набобов, которые сами не знают, чего хотят. Но судьба великодушно приняла вину за все случившееся на себя и смирила негодование Мак-Морлана. Около шести часов вечера явился нарочный, «вдрызг пьяный», как доложила служанка, с письмом от полковника Мэннеринга, написанным еще четыре дня тому назад в каком-то городке на расстоянии ста миль от Кипплтрингана. В письмо была вложена доверенность на имя Мак-Морлана, которая уполномочивала его, или любое другое лицо, по его усмотрению, на покупку поместья. В письме говорилось также, что неотложные семейные обстоятельства требуют присутствия полковника в Уэстморленде, куда он и просил адресовать письма на имя Артура Мервина, эсквайра, в Мервин-холл.

В порыве гнева Мак-Морлан бросил доверенность в лицо ни в чем не повинной служанке, и его еле удалось удержать от собственноручной расправы с негодяем нарочным, который своей нерасторопностью и пьянством погубил все дело.

Глава XV

Теперь обеднел я, золота нет,
И остались одни поля.
Ссуди же денег мне, добрый Скейлз,
И будет твоей земля.

Тогда Джон Скейлз червонцы достал
Из тяжелой своей мошны.
Но только был он себе на уме
И взял всё за полцены.

«Наследник Линна»

Гэллоуэйский Джон Скейлз был половчее, чем его прототип. Он ухитрился стать наследником Линна без неприятной обязанности «отсчитывать червонцы». Как только неожиданная и печальная весть дошла до мисс Бертрам, та поспешила завершить начатые ею приготовления к отъезду, чтобы возможно скорее покинуть дом. Мак-Морлан помогал ей и так настойчиво уговаривал ее переехать к нему на то время, пока она не получит ответа от своей родственницы или не решит сама, где и как она будет жить, что мисс Бертрам почувствовала, что отказаться от такого приглашения значило бы обидеть этого доброго человека. Миссис Мак-Морлан была женщиной благородной и образованной и могла сделать пребывание в их доме приятным для мисс Бертрам. Таким образом, молодая девушка обрела одновременно и кров и друзей. На душе у нее легчало, и она могла спокойно расплатиться и проститься с теми немногими слугами, которые еще оставались в доме.

Если слуги и их господа — люди достойные, им всегда бывает грустно расставаться, а обстоятельства на этот раз были таковы, что разлука эта становилась еще более тягостной.

Слуги получили все, что им причиталось, и даже с некоторой надбавкой; со словами благодарности и всяческими добрыми пожеланиями они прощались со своей молодой госпожой; кое-кто плакал. В гостиную остались только Люси, Мак-Морлан, который приехал, чтобы увезти ее к себе, и Домини Сэмсон.

— А сейчас, — сказала бедная девушка, — я должна проститься со старейшим и лучшим моим другом. Да благословит вас бог, мистер Сэмсон, и да воздастся вам за всю вашу доброту, за все заботы о вашей воспитаннице и за все, что вы сделали для покойного отца. Я надеюсь, что вы часто будете нам писать. — С этими словами она положила ему в руку несколько завернутых в бумагу золотых и встала, чтобы уйти.

Домини Сэмсон тоже поднялся с места, но стоял неподвижно, пораженный этим известием. Ему никогда и в голову не приходило, что он может расстаться с Люси, куда бы она ни уехала. Он положил деньги на стол.

— Конечно, этого мало, — сказал Мак-Морлан, не догадавшись, зачем Домини это сделал, — но поймите, обстоятельства...

Сэмсон нетерпеливо махнул рукой.

— Да совсем тут не в деньгах дело, — проговорил он, — совсем не в деньгах, а в том, что уже двадцать с лишним лет, как отец ее призрел меня в своем доме, и поил, и кормил, а сейчас вот я, оказывается, должен покинуть ее в такой беде, в таком горе. Нет, мисс Люси, не думайте, что я на это способен. Вы сами никогда бы не согласились вышвырнуть на улицу отцовскую собаку. Неужели же я хуже собаки? Нет, мисс Люси Бертрам, пока я жив, я ни за что не расстанусь с вами. Я не буду вам в тягость, я уже все обдумал. Ведь Руфь сказала Ноэмии: «Не уговаривай меня уйти и расстаться с тобой; куда бы ты ни пошла, и я пойду за тобою следом, и где ты будешь жить, там буду жить и я; твой народ будет моим народом, и твой бог — моим богом. Где ты умрешь, там умру и я, и там меня похоронят. Так угодно господа богу: нас разлучит только смерть».

В продолжение этой речи, самой длинной из всех когда-либо произнесенных Сэмсоном, слезы градом капались из глаз доброго старика, и как Люси, так и Мак-Морлан были глубоко тронуты искренностью его чувств.

— Мистер Сэмсон, — сказал Мак-Морлан, поочередно хватаясь то за табакерку, то за носовую

платок, — в доме у меня места много, и, если вы поселитесь у меня на то время, пока мисс Бертрам почтит нас своим присутствием, я буду счастлив принять у себя человека столь верного и достойного. — И тут же, опасаясь, чтобы со стороны мисс Бертрам не последовало на этот счет никаких возражений, он очень деликатно добавил: — Дела мои часто заставляют меня искать помощи человека более опытного в счетном деле, чем теперешние мои конторщики, и я буду рад, если вы не откажетесь по мере надобности помогать мне.

— Разумеется, разумеется, — тотчас же отвечал Сэмсон. — Я знаю двойную итальянскую бухгалтерию.

Кучер, который вбежал в комнату с известием, что лошади поданы, увидев эту необыкновенную сцену, замер на месте и уверял потом миссис Мак-Кэндлиш, что это была самая жалостная картина, которую он когда-либо видел в жизни: «Даже когда бедняжка серая кобыла помирала, и то столько слез не пролили». Это пустячное происшествие имело потом для Домини важные последствия.

Миссис Мак-Морлан приняла гостей очень радушно; муж ее объявил и ей и всем домашним, что пригласил Домини Сэмсона, чтобы тот помог ему разобратся в разных запутанных делах, и что на это время он поселится у них в доме. Жизненный опыт подсказывал Мак-Морлану, что дело следует представить именно так, потому что, как бы Домини ни был привязан к семейству Элленгауэнов и как бы он ни был благороден, наружность его имела весьма неприглядный вид и плохо вязалась с представлением о том, каким должен быть наставник молодой леди, и его появление в качестве лица, сопровождающего хорошенькую семнадцатилетнюю девушку, могло показаться просто смешным.

Домини Сэмсон весьма усердно выполнял работу, которую ему поручал Мак-Морлан; но очень скоро все заметили, что наш учитель после завтрака, в один и тот же час, постоянно исчезает и возвращается только к обеду. Вечерами же он обычно работал в конторе. И вот однажды в субботу он явился к Мак-Морлану

с торжествующим лицом и положил на стол две золотых монеты.

— Что это значит, Домини? — спросил Мак-Морлан.

— Прежде всего это плата за квартиру и за стол, а остальное для мисс Люси.

— Хорошо, но только ваши труды в конторе уже оплатили все эти расходы с лихвой. Я теперь еще ваш должник...

— Ну, раз так, — сказал Домини, махнув рукой, — отдайте все эти деньги мисс Люси.

— Послушайте, Домини, ведь эти деньги...

— Они заработаны честным путем. Просто один молодой человек, с которым я каждый день по три часа занимаюсь языками, хорошо заплатил мне за уроки.

Задав Домини еще несколько вопросов, Мак-Морлан узнал от него, что этот щедрый ученик был не кто иной, как молодой Хейзлвуд, и что они каждый день встречались с ним в доме миссис Мак-Кэндлиш, рассказы которой о бескорыстной привязанности старика Сэмсона к мисс Бертрам и привлекли к нему этого неугомонного и щедрого юношу.

Мак-Морлана это известие поразило. Конечно, Домини Сэмсон был очень хорошим учителем и отличным человеком, и классические авторы, без сомнения, заслуживали всяческого внимания, но могло ли быть, чтобы ради этого трехчасового tête-à-tête¹ двадцатилетний юноша стал ездить ежедневно по семи миль туда и обратно; нет, как ни велика его страсть к литературе, в это все же трудно поверить. Но выведать у Домини другие обстоятельства дела было чрезвычайно легко, так как этот простодушный человек всегда все принимал за чистую монету.

— Скажите, друг мой, а мисс Бертрам известно, как вы распределяете свое время?

— Нет еще пока, мистер Чарлз хочет, чтобы все это делалось втайне от нее, а то она, пожалуй, не пожелает принимать от меня мой скромный заработок;

¹ Свидания наедине (франц.).

но только, — добавил он, — все равно никак нельзя будет от нее это скрыть, потому что мистеру Чарлзу хотелось бы иногда брать уроки здесь, в этом доме.

— Ах, вот как, — сказал Мак-Морлан, — ну, теперь мне все понятно. А скажите, пожалуйста, мистер Сэмсон, вы что — все три часа занимаетесь синтаксисом и переводом?

— Да нет же, мы всегда беседуем с ним о чем-нибудь, чтобы скрасить наши занятия, — *«peque sempre argum tendit Apollo»*.¹

Мак-Морлан не унимался и продолжал расспрашивать этого гэллоуэйского Феба, о чем они чаще всего беседуют.

— О наших прежних встречах в Элленгауэне, и, право же, по-моему мы часто говорим о мисс Люси — ведь мистер Чарлз Хейзлвуд в этом отношении очень похож на меня. Стоит мне начать говорить о ней, я никак не могу остановиться, и, как я иногда в шутку говорю, она отнимает у нас чуть ли не половину урока.

«Так, так, — подумал Мак-Морлан, — вот откуда дует ветер. Я что-то об этом уже слыхал».

И он начал обдумывать, как ему в данном случае лучше всего вести себя, и не только в интересах своей *protégée*,² но и в своих собственных, потому что мистер Хейзлвуд-старший был человеком богатым, властным, честолюбивым и мстительным и очень был озабочен тем, чтобы его сын составил себе богатую и знатную партию. В конце концов, полагаясь на проницательность и здравый смысл своей юной постоялицы, он решил при первом удобном случае, когда они останутся наедине, рассказать ей все это как только что услышанную новость. Он так и сделал и поставился быть с ней как можно естественнее и проще.

— Поздравляю вас, мисс Бертрам, вашему другу мистеру Сэмсону очень повезло. Он раздобыл ученика, который платит ему по две гиней за двенадцать уроков греческого языка и латыни.

¹ Не всегда Аполлон держит лук натянутым (лат.).

² Подопечной (франц.).

— Что вы говорите! Я очень рада, только удивительно, кто же этот расточительный человек? Уж не полковник ли Мэннеринг вернулся?

— Ну нет, это вовсе не полковник Мэннеринг, это ваш старый знакомый, мистер Чарлз Хейзлвуд. И он хочет даже брать уроки у нас в доме. Надо помочь ему это устроить.

Люси вся вспыхнула.

— Ради бога, мистер Мак-Морлан, не надо. У Чарлза Хейзлвуда и так уже были из-за этого неприятности.

— Ах, вот как, из-за латыни? — переспросил Мак-Морлан, делая вид, что не понимает ее. — Ну, это всегда бывает, когда ее учат в первых классах; но сейчас-то он ведь взялся за нее совершенно добровольно.

Тут мисс Бертрам оборвала разговор, и ее собеседник не пытался больше его возобновлять, заметив, что молодая девушка над чем-то призадумалась.

На следующий день юной мисс Бертрам представился случай поговорить с Сэмсоном. Очень мило поблагодарив его за бескорыстие и привязанность к ней и высказав ему свою радость по поводу того, что он нашел такой выгодный урок, она одновременно дала ему понять, что для ученика его, конечно, неудобно каждый раз специально к нему приезжать, что Сэмсону следовало бы на все время занятий уехать отсюда и поселиться или совместно с ним, или где-то поблизости от него, и чем ближе, тем лучше. Сэмсон, как она и предвидела, отказался от этого наотрез; он сказал, что не оставит ее, даже если бы ему предложили стать наставником самого принца Уэльского.

— Но я вижу, — добавил он, — что гордость мешает вам разделить со мной мои трудовые деньги. Или, может быть, я вам стал в тягость?

— Нет, что вы, вы же старый друг покойного отца, и, пожалуй, даже единственный. Видит бог, это совсем не гордость, мне не с чего было возгордиться. Поступайте во всем остальном, как вам заблагорассудится, но очень прошу вас, скажите мистеру Чарлзу Хейзлвуду, что у вас был со мной разговор насчет его уроков,

и я сказала, что, на мой взгляд, ему следует отказаться от мысли брать их в этом доме; пусть он об этом и не думает.

Домини Сэмсон ушел от нее совершенно удрученный и, закрывая дверь, невольно пробормотал ворчливо слова Вергилия: «*Varium et mutabile*». ¹ На другой день он с еще более мрачным лицом пришел к мисс Бертрам и протянул ей письмо.

— Мистер Хейзлвуд, — сказал он, — больше заниматься со мной не будет. Он постарался возместить мне потерю этих уроков деньгами. Но чем он возместит те знания, которые он мог бы приобрести под моим руководством? Ведь, даже чтобы написать эти несколько строк, ему пришлось потратить чуть ли не целый час времени, испортить четыре пера и целую кипу хорошей белой бумаги. А я бы за какие-нибудь три недели выучил его писать твердо, аккуратно, разборчиво и красиво, я бы сделал из него настоящего каллиграфа. Но, видно, бог судил иначе.

Письмо состояло всего из нескольких строк; Чарлз жаловался на жестокость мисс Бертрам, которая не только отказывалась видеться с ним, но запрещала ему даже и через третьих лиц узнавать о ее здоровье и оказывать ей разные услуги. Но завершалось оно уверением, что, как бы строга она с ним ни была, никакая сила не сможет поколебать его чувств к ней.

При покровительстве миссис Мак-Кэндлиш Сэмсону удалось найти кое-каких учеников, далеко не столь знатных, правда, как Чарлз Хейзлвуд, и поэтому плативших за уроки значительно меньше. Но все же заработок у него был, и он с большой радостью приносил его мистеру Мак-Морлану каждую неделю, оставляя себе только самую ничтожную сумму на табак.

Но покинем пока Кипплтринган и посмотрим, что делает наш герой, а то читатель наш, чего доброго, подумает, что мы снова расстанемся с ним на четверть века.

¹ Переменно и непостоянно (лат.).

Глава XVI

Никак не оберешься ты с дочерью печали,
Растишь, растишь и видишь: труды твои
пропали.

Купи-ка ей колечко да шелковое шей-ка
Ей платьице поярче — и упорхнет злодейка.

«Опера нищих»

Сразу же после смерти Бертрама Мэннеринг отправился в небольшое путешествие, рассчитывая вернуться в Элленгауэн ко дню торгов. Он побывал в Эдинбурге и других городах и ехал уже обратно, когда в маленьком городке, на расстоянии какой-нибудь сотни миль от Киппалтрингана, куда он просил своего друга мистера Мервина адресовать ему письма, он получил от него довольно неприятное известие. Мы уже однажды позволили себе заглядывать *a secretis*¹ в переписку Мэннеринга; приведем же теперь отрывок и из этого письма.

Прости мне, любезный друг, за то, что я причиняю тебе столько боли, растравляя еще не зажившие раны, о которых ты писал мне в последнем письме. Мне всегда доводилось слышать — хоть, может быть, это и неверно, — что мистер Браун устремлял все свое внимание на мисс Мэннеринг. Но, если бы даже это и было так, нельзя было рассчитывать, чтобы ты при твоём положении оставил его дерзкое поведение без последствий. Умные люди говорят, что мы уступаем обществу свое естественное право самозащиты только с тем, чтобы законы его ограждали наши интересы. Если одна сторона нарушает это условие, то соглашение теряет силу. Например, никто не будет считать, что у меня нет права защищать кошелёк и жизнь от разбойника с большой дороги, совершенно так же, как их защищает какой-нибудь дикий индеец, не знающий ни суда, ни закона. Вопрос о сопротивлении или покорности решается в данном случае только обстоятельствами и средствами защиты, которыми я располагаю. Но если,

¹ В качестве доверенного лица (лат.).

например, я вооружен и равен противнику силой, и вдруг меня оскорбили словом или делом, все равно кто, человек ли знатный или бедняк, и я все стерплю, никто не подумает, что я это сделал из религиозных или нравственных побуждений, если только я не какой-нибудь квакер.

Так же обстоит дело и с оскорблением чести. Какой бы пустяковой ни была нанесенная обида, последствия ее во всех отношениях тяжелее, чем последствия разбойничьего нападения, и общественному правосудию гораздо труднее удовлетворить потерпевшего, а может быть, даже и вовсе невозможно. Если кто-нибудь решил ограбить Артура Мервина и у последнего нет сил для защиты или нет умения защищаться, то ланкастерский или карлайлский суд защитит его, наказав виновного. Но кто же скажет, что я должен возложить все на правосудие и дать себя сначала ограбить, если я в силах защитить свою собственность и хочу это сделать? А что, если мне нанесут обиду, которая, не будучи отмищена, навсегда запятнает мою честь и последствия которой все двенадцать судей Англии вместе с лордом-канцлером не помогут мне потом загладить? Есть ли хоть одна статья закона, хоть один довод разума, чтобы заставить меня отказаться защитить то, что человеку дороже всего на свете? Насчет того, как смотрит на это религия, я ничего говорить не стану, пока не буду убежден, что в случаях посягательства на жизнь человека и на его имущество духовные лица действительно выступают против самозащиты. А если такого рода самозащита позволительна, то мне кажется, что, по существу, нет никакой разницы между защитой жизни или собственности и защитой чести, и то обстоятельство, что оскорбителями моей чести могут быть люди высокого звания и к тому же нравственные и весьма достойные, никак не может влиять на мое право защищать эту честь. Я могу жалеть, что обстоятельства жизни вынуждают меня вступить в борьбу с такого рода человеком, но в равной степени я жалел бы благородного неприятеля, погибшего на войне от моего меча. Словом, пусть этим вопросом занимаются казуисты, замечу только, что я ни в коей мере не собираюсь

защищать любителей дуэлей или зачинщиков ссор. Мне только хочется оправдать тех, кто берется за оружие, спасая свою честь и свое доброе имя, которое они неминуемо потеряли бы навсегда, оставив эту обиду без ответа.

Я сожалею о том, что ты хочешь поселиться в Шотландии, но одновременно и радуюсь тому, что ты будешь не так неизмеримо далеко от нас и что как-никак это здесь, на севере. Житель Ост-Индии пришел бы в ужас при мысли поехать из Девоншира на север, в Уэстморленд, но приехать сюда к нам из Гэллоуэя или Дамфризшира — это все же значит чуть приблизиться к солнцу. К тому же, если, как я подозреваю, поместье это находится рядом с таинственным старым замком, где ты во время своего путешествия по Шотландии двадцать лет тому назад подвизался в роли астролога, — вспоминаю, с какой комической торжественностью ты мне столько раз об этом рассказывал в письмах, — я не могу допустить мысли, что ты теперь откажешься от этой покупки. Надеюсь, что словоохотливый лэрд не иссушил еще потока своего красноречия и что его капеллан, которого ты так смешно нам описывал, все еще *in regum natura*.¹

И вот на этом, мой дорогой Мэннеринг, я хотел бы остановиться, потому что мне очень тягостно продолжать мою повесть, несмотря на то, что я все же могу самым решительным образом заявить, что твоя дочь Джулия Мэннеринг, которую ты доверил мне, не совершила ничего предосудительного. Но еще на школьной скамье у меня было прозвище Правдолюб, и я хочу теперь оправдать его.

Итак, вот в чем дело. У твоей дочери та же романтическая натура, что и у тебя. Как и все хорошенькие женщины, она любит, чтобы ею восхищались. К тому же она твоя наследница — обстоятельство, ничего не значащее для тех, кто относится к Джулии так, как я, но для искусного и хитрого негодяя это настоящая приманка.

¹ Жив (лат.).

Ты знаешь, как я посмеивался над ее томной грустью, над ее одинокими прогулками, когда она поднималась раньше всех или уходила куда-то при лунном свете, когда люди спят или играют в карты, что по сути дела одно и то же. Может быть, то, что случилось, всего-навсего шутка, но я бы желал, чтобы смеялся над нею ты, а не я.

За последние недели я слышал раза два или три, как кто-то поздно вечером и рано утром играет на флажолете ту самую индийскую мелодию, которая особенно нравится Джулии. Сначала я думал, что это кто-то из слуг, что в течение дня ему некогда удовлетворить свою страсть к музыке, а теперь, в ночной тишине, он наигрывает мотив, слышанный днем в гостиной.

Но вчера я засиделся далеко за полночь у себя в кабинете, а это как раз под комнатой мисс Мэннеринг, и, к моему величайшему удивлению, не только расслышал отчетливые звуки флажолета, но убедился, что они доносятся с озера, куда выходят окна дома. Мне очень захотелось узнать, кто это ласкает наш слух серенадами в столь неурочный час, и я потихоньку подкрался к окну. Но оказалось, что я не был единственным слушателем. Ты, наверно, помнишь, что мисс Джулия Мэннеринг выбрала себе комнату с балконом, выходящим на озеро. Подумай только, я услышал, как открылась задвижка, как распахнулись ставни и как она вдруг заговорила с кем-то, кто отвечал ей снизу. Это отнюдь не «Много шума из ничего». Я не мог ошибиться, это был ее голос, и он звучал так мягко, так нежно, и, признаться, в голосе, который слышался снизу, звучали те же самые пламенные, страстные ноты, только слов я не мог разобрать. Я стал отпирать мое окно; мне хотелось расслышать слова, которыми обменивались эти испанские влюбленные. Но, хоть я и старался не шуметь, я все же спугнул их; Джулия захлопнула окно и в то же мгновение закрыла ставни. По плеску весел на воде я понял, что ночной пришелец отплыл. Увидел я и его самого в лодке — он греб очень быстро и искусно, и лодка неслась по поверхности озера, как будто в ней сидело человек шесть

гребцов. На другое утро я как будто невзначай задал несколько вопросов кое-кому из слуг, и оказалось, что лесник два раза видел эту лодку близ дома, а в лодке кто-то действительно играл на флажолете. Я не стал продолжать расспросы, опасаясь, как бы у слуг не возникло каких-либо подозрений в отношении Джулии. Утром за завтраком я вскользь упомянул о вчерашней серенаде, и, уверяю тебя, мисс Мэннеринг при этом бледнела и краснела. Я тут же переменил разговор, чтобы она убедилась, что замечание мое носит чисто случайный характер. С тех пор я велел оставлять на ночь огонь в кабинете и не закрывать ставен, чтобы отпугнуть ночного посетителя, и сказал Джулии, что из-за сырой, туманной погоды и приближения зимы ей следует прекратить одинокие прогулки. Мисс Мэннеринг согласилась последовать моему совету, причем с равнодушием, которое ей вовсе не свойственно, и это, признаюсь, мне больше всего в ней не понравилось. В Джулии ведь слишком много упрямства, точно такого же, как и у «любезного папеньки», чтобы она вдруг так легко рассталась со своими причудами, и одно только внутреннее убеждение, что спорить в данном случае было бы неблагоразумно, могло заставить ее покориться.

Ну вот я тебе все рассказал, и теперь решай сам, что тебе делать. Я ни словом об этом не обмолвился моей супруге, так как она, в качестве постоянной заступницы всех слабостей женского пола, конечно стала бы возражать против моего намерения известить тебя обо всем, и даже, больше того, ей могло прийти в голову обрушить на мисс Мэннеринг все свое красноречие. А ведь как бы оно ни было блестяще, будучи направлено по своему прямому назначению, то есть на твоего покорного слугу, — в этом случае, как мне кажется, оно принесло бы не столько пользу, сколько вред. Может быть, впрочем, ты сам решишь, что благоразумнее было бы ни на чем не настаивать и вести себя так, как будто ты ничего об этом не знаешь. Джулия очень похожа на одного из моих добрых друзей; живое воображение и чуткое сердце заставляют ее преувеличивать как все хорошее, так и все дурное

в жизни. И все же она превосходная девушка, милая, умная, добрая. Я передал ей твой горячий поцелуй, и она ответила мне таким же горячим пожатием руки. Приезжай, пожалуйста, как можно скорее. А пока можешь положиться на преданного тебе

Артура Мервина.

P. S. Тебе, наверно, захочется узнать, кто этот ночной музыкант. По правде говоря, я не имею об этом ни малейшего представления. Ни один из здешних молодых людей, которые по званию своему и богатству могли бы составить для Джулии подходящую партию, не способен на такие выходки. Но на противоположной стороне озера, почти напротив Мервин-холла, есть эта чертова кофейня, куда стекается всякий приезжий люд — поэты, артисты, художники и музыканты. Они приезжают сюда восхищаться природой, любят помечтать, подекламировать стихи и всегда чем-нибудь увлекаются до безумия. Нам приходится расплачиваться за красоту наших мест и терпеть присутствие всех этих шутов, которые стремятся сюда. Будь Джулия моей дочерью, я бы больше всего опасался, как бы она не познакомилась с кем-нибудь из этих молодых людей. Она восторженна и мечтательна. Каждую неделю она посылает подруге письмо листов на шесть, не меньше. И, конечно, плохо, если ей нечем занять свои чувства и нечем заполнить эти листы. Придавая всему этому слишком серьезное значение, я только понапрасну бы огорчил тебя, но согласись сам, что, оставляя это дело без внимания, я не оправдал бы твоего доверия.

Письмо это возымело такое действие, что, направив нашего нерасторопного нарочного к мистеру Мак-Морлану с доверенностью на покупку поместья Элленгауэн, полковник Мэннеринг во весь опор поскакал на юг и прибыл в имение своего друга мистера Мервина, расположенное на берегу одного из уэстморлендских озер.

Глава XVII

Нас грамоте небо затем научило,
Чтоб легче на свете влюбленному было,
Чтоб книги писались и в книгах порою
Собой без конца занимались герои.

Подражание Попу

Как только Мэннеринг возвратился в Англию, он первым делом поместил дочь в один из лучших пансионеров. Но, заметив, что Джулия не делает там таких быстрых успехов, каких бы ему хотелось, он через три месяца взял ее оттуда.

Единственное, что она приобрела в этом пансионе, — это дружбу своей ровесницы Матильды Марчмонт, молодой девушки, которой было тоже лет восемнадцать. К ней-то и летели на крыльях почты те нескончаемые послания, которые мисс Мэннеринг писала в Мервин-холле.

Чтобы читатель лучше понял все происходящее, приводим несколько отрывков из этих писем.

ПЕРВЫЙ ОТРЫВОК

Увы, милая Матильда, участь моя очень печальна. Какой-то злой рок преследует твою бедную подругу от самой колыбели. Подумать только, за какой пустяк нас с тобой разлучили — за ошибку в итальянской грамматике, за три фальшивые ноты в сонате Паэзиелло. Но таков уж характер моего отца; я даже не знаю, чего больше в моем чувстве к нему — любви, восхищения или страха. Его подвиги на войне, его успехи в жизни, его привычка энергией преодолевать любое, даже, казалось бы, непреодолимое препятствие сделали его человеком решительным и властным; он не терпит, чтобы ему перечили, и не прощает людям даже малейшей оплошности. Все это потому, что сам он — образец совершенства. Знаешь, тут ходили слухи — и слова, сказанные моей покойной матерью перед самой смертью, как будто даже подтвердили их достоверность, — будто он владеет тайными знаниями, ключ к которым утрачен и которые позволяют

видеть смутные образы грядущих событий! Разве сама мысль о чудесном даре предвидения или даже о высоко развитых способностях и о могучем уме, суждения которого в глазах людей часто казались не чем иным, как прорицанием будущего, — разве все это не окружает человека таинственным ореолом величия? Ты скажешь, что это романтика, но помни, что я родилась в стране амулетов и чар, в детстве еще меня убаюкивали сказки, обаяние которых исчезает за мишурной красотой французского перевода. О Матильда, как бы я хотела, чтобы ты могла видеть смуглые лица моих индианок, когда они благоговейно слушают волшебную сказку, превращающуюся порой в устах певца-сказителя в стихи. Я своими глазами видела, как эти сказки потрясали слушателей, и легко понять, что после этого все европейские романы кажутся мне бледными и больше меня не волнуют.

ВТОРОЙ ОТРЫВОК

Ты знаешь мою сердечную тайну, милая Матильда, знаешь чувства мои к Брауну. Я не стану говорить — к его памяти. Я убеждена, что он жив и верен мне. Покойная матушка покровительствовала ему и позволяла за мной ухаживать; может быть, это было не совсем благоразумно, если вспомнить, какое значение отец придавал происхождению и званию человека. Но я тогда была почти девочкой и никак не могла превзойти умом ту, кого дала мне в наставницы сама природа. Отец мой постоянно бывал в походах, видела я его редко, и меня приучили относиться к нему скорее со страхом, чем с доверием. Ах, если бы господь тогда не допустил этого, насколько бы все было лучше!

ТРЕТИЙ ОТРЫВОК

Ты спрашиваешь меня, почему я не говорю отцу, что Браун жив, что он, во всяком случае, остался в живых, после того как его ранили на этой злосчастной дуэли, а также и о письмах его к матушке, где он сообщает ей, что окончательно выздоровел и надеется

скоро освободиться от плена. Старый воин, убивший на своем веку немало людей в сражениях, вряд ли особенно задумывался над катастрофой, которая едва не стоила мне жизни. И если бы я показала ему это письмо и он узнал, что Браун жив и по-прежнему упорно добивается моей любви, — а ведь именно это и заставило отца драться с ним не на жизнь, а на смерть, — разве такое известие не нарушило бы в гораздо большей степени душевное равновесие полковника Мэннеринга, чем сознание, что он убил человека?

Если Брауну удастся вырваться из рук разбойников, то я уверена, что он скоро приедет в Англию, и тогда у нас будет достаточно времени, чтобы подумать, как сообщить отцу, что он жив. Но, увы, если сокровенная надежда, которую я лелею, не сбудется, то надо ли открывать ему глаза на все, что тогда случилось и что оставило столько тягостных воспоминаний? Матушка до такой степени боялась, что отец узнает о чувстве Брауна ко мне, что готова была заставить отца думать, что все знаки внимания с его стороны относятся к ней самой. И знай, Матильда, как бы ни было велико мое уважение к той, которой уже нет на свете, я хочу быть справедливой и к тому, кто жив, — к отцу, и я могу только сказать, что двойная игра, которую она вела, не только компрометировала отца, но и была губительной для нас обеих. Но мир праху ее! Поступки ее шли скорее от сердца, чем от разума. Так кто же дал ее дочери, которая сама унаследовала те же слабости, право обличать их в собственной матери?

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТРЫВОК

Милая Матильда, если Индия — страна чудес, то здешние края — страна романтики. Такие красоты создаются природою только в минуты высочайшего вдохновения: ревущие водопады, обнаженные вершины гор среди голубого неба, причудливо разлившиеся в долинах тенистые озера. А с каждым поворотом тропинки открываются места еще более живопис-

ные — скалы, на которых виснут набежавшие облака. Во всем этом есть и дикость картин Сальватора Розы и прелесть пейзажей Клода Лоррена. Я счастлива и тем еще, что нашла в жизни что-то, чем могу восхищаться вместе с отцом. В душе он художник и поэт и преклоняется перед природой. Он доставил мне величайшее наслаждение, разъясняя, как все устроено и откуда возникают эти поразительные свидетельства ее могущества. Я хотела бы, чтобы он поселился в этом чудесном краю. Но он неуклонно стремится на север, и сейчас вот он разъезжает по Шотландии и как будто собирается купить поместье, чтобы там потом и обосноваться. Какие-то далекие воспоминания влекут его к этой стране. Поэтому, дорогая Матильда, я снова должна буду уехать еще дальше от тебя, прежде чем я смогу сказать, что я наконец дома. Какое это будет для меня наслаждение написать: «Матильда, приезжай и будь гостьей твоей верной Джулии»!

Сейчас я живу у мистера и миссис Мервин, старых друзей моего отца. Миссис Мервин — милейшая женщина, настоящая леди, отличная хозяйка, но зато лишена всякого воображения, и я с тем же успехом могла снискать себе сочувствие у миссис Учись, — как видишь, я не забыла старых школьных прозвищ. Мервин совсем непохож на моего отца, но мне с ним бывает очень занятно, и он очень внимателен ко мне.

Это добродушный толстяк, человек весьма проницательный и не без чувства юмора; в молодые годы он, должно быть, был довольно красив, и, по-видимому, и сейчас еще ему хочется пользоваться репутацией beau garçon,¹ точно так же, как и хорошего хозяина. Мне доставляет удовольствие, когда он ради меня карабкается на вершины гор или пробирается к водопадам. Я же, со своей стороны, восхищаюсь его полями с турнепсом, люцерной и клевером. Он, по-видимому, считает меня самой обыкновенной, романтически настроенной девушкой, которая к тому же и недурна

¹ Галантного кавалера (франц.).

собой. Могу тебя уверить, что он знает толк в женской красоте. А на более глубокое понимание с его стороны я и не рассчитываю. Он острит, берет меня за руку, ковыляет всюду за мной (этот почтенный господин страдает подагрой) и рассказывает старые истории о высшем свете, который он знает вдоль и поперек. А я слушаю его с улыбкой, стараюсь быть простой и веселой, как только могу, и у нас с ним все идет хорошо.

Но, увы, милая Матильда, что бы я стала делать в этом романтическом раю, где живет эта супружеская чета, столь мало гармонирующая с природой здешних мест, что бы я стала здесь делать, если бы ты не отвечала мне аккуратно на мои совсем скучные письма. Прошу тебя, лиши, пожалуйста, не реже трех раз в неделю, тебе есть о чем рассказывать.

ПЯТЫЙ ОТРЫВОК

Как мне передать тебе все, что случилось? Рука дрожит, сердце так бьется, что я просто не в силах писать. Говорила же ведь я, что он жив? Говорила, что не должна отчаиваться? Как могло тебе прийти в голову сказать, Матильда, что из-за того только, что я рассталась с ним почти еще девочкой, чувство мое к нему было скорее плодом воображения, а не настоящим влечением сердца? Как иногда ни обманывают нас чувства, я была уверена, что это — настоящая любовь. Но перейду к моему рассказу, и пусть это будет самым священным залогом нашей искренности друг с другом.

Здесь ложатся рано — раньше, чем затихает мое беспокойное сердце. Поэтому я уйду к себе в комнату и там перед сном читаю еще час или два; я уже писала тебе, что балкон мой выходит на озеро; о том, каково оно, я пыталась тебе рассказать. Мервинхолл — здание старое и в свое время было крепостью, защищавшей берег. Камешек, брошенный с балкона этого дома, попадает прямо в воду, а она здесь достаточно глубока, и лодки могут подходить совсем близко. Я оставила ставни приоткрытыми, чтобы перед

сном, как всегда, подойти к окну и взглянуть еще раз на озеро, залитое лунным светом. Я была увлечена замечательной сценой из «Венецианского купца», где влюбленные, описывая тишину летней ночи, проникновенно говорят друг другу о ее красотах; я сравнивала историю их любви с чувствами, которые она вызывала во мне, и забыла обо всем на свете. Вдруг я услышала с озера звуки флажолета. Я говорила тебе, что это был любимый инструмент Брауна. Кто же это мог играть в такую ночь, ясную и тихую, но все же осеннюю и слишком холодную для того, чтобы кататься на лодке ради одного только удовольствия? Я подошла ближе к окну, затаив дыхание, и стала слушать; звуки смолкли на какое-то время, потом возобновились, потом смолкли и потом вдруг снова стали долетать до меня, все приближаясь. Наконец я ясно расслышала индийскую песенку, которую ты еще, помнишь, называла моей любимой. Я говорила тебе, кто этой песне меня научил. Это был его флажолет, его игра. Я не могла понять, доносятся эти звуки с земли или с небес, откуда их, может быть, несет ко мне ветер, чтобы возвестить о его кончине.

Долгое время я не могла набраться храбрости и выйти на балкон, и одна только твердая уверенность, что он жив и что мы должны встретиться снова, придала мне решимость. Так и случилось, я нашла в себе силы выйти на балкон, хотя сердце не переставая стучало. На озере была лодка, а в ней — гребец. Матильда, это был он! Я сразу узнала его после стольких лет разлуки, несмотря на ночную мглу, как будто мы расстались только вчера и встретились снова среди бела дня! Он остановился под самым балконом и заговорил со мной. Я не помню, что он говорил, что я отвечала. Слезы душили меня, но это были слезы радости. Где-то невдалеке залаяла собака, и нам пришлось расстаться, но мы условились встретиться сегодня ночью там же и в то же время.

Но к чему это все приведет? Разве я могу сказать? Я ничего не знаю. Провидение, которое спасло его от смерти и освободило из рабства, которое спасло

тем самым и моего отца, не дав ему пролить кровь ни в чем не повинного человека, одно должно вывести меня из этого лабиринта. С меня же достаточно твердого убеждения, что Матильде не придется краснеть за свою подругу, отцу — за свою дочь, а моему возлюбленному — за избранницу своего сердца.

Глава XVIII

Разговаривать с мужчиной
из окна! Хорошенькое дело!

«Много шума из ничего»

Нам надо будет привести еще несколько отрывков из писем мисс Мэннеринг, в которых видны ее природные задатки и, наряду с ними, чувства и взгляды, привитые ей с детства очень далеким от совершенства воспитанием. Мать ее, женщина неуравновешенная и сумасбродная, настолько привыкла про себя называть мужа тираном, что стала наконец его действительно бояться. Читая романы, она так увлекалась их запутанной интригой, что решила сама сделать из своей семейной жизни роман, а из дочери, шестнадцатилетней девочки, — его героиню. Ее увлекла всякая таинственность, она жила больше всего воображением, ей постоянно надо было что-то скрывать, и она всегда дрожала от страха, когда это мелочное лукавство приводило ее мужа в негодование. Так, она часто затевала сложную игру и хитрила ради одного только удовольствия, или, может быть, даже из страсти к противоречию. Игра эта затягивала ее еще глубже, чем она того хотела, а потом, стараясь выпутаться из нее с помощью новых ухищрений или загладить свою вину притворством, она попадала в свои же собственные сети и бывала вынуждена подерживать какую-нибудь праздную выдумку, боясь, как бы весь ее обман не был раскрыт.

По счастью, молодой человек, которого она так безрассудно ввела к себе в дом, всячески поощряя его любезности и позволяя ему ухаживать за дочерью,

отличался твердыми правилами и благородством и был поэтому не столь опасным, как миссис Мэннеринг могла ожидать.

Единственным недостатком его было темное происхождение, что же касается всего остального —

С высокою и светлою душой
Он к цели шел далекой и большой
И доблестью гордиться мог по праву,
И все ему предсказывали славу.

Но трудно было думать, что он устоит и не упадет в сети, расставленные безрассудством миссис Мэннеринг, что его не пленит молоденькая девушка, которая была настолько обаятельна и хороша собой, что была бы достойна его внимания не только в этой крепости на далекой окраине наших индийских владений, но даже и там, где такую вот красоту и обаяние можно встретить значительно чаще.

В письме Мэннеринга к мистеру Мервину было уже частично сказано о том, что за этим последовало; распространяться об этом дальше — значило бы злоупотреблять терпением нашего читателя.

Итак, перейдем к новым отрывкам из писем мисс Мэннеринг к ее подруге.

ШЕСТОЙ ОТРЫВОК

Я снова его видела, Матильда, и даже два раза. Я стремилась убедить его, как только могла, что эти тайные свидания опасны для нас обоих. Я даже настаивала на том, чтобы он искал счастья, не думая больше обо мне, и чтобы он понял, что для моего душевного спокойствия уже достаточно знать, что он жив и не пал от руки моего отца. Он отвечает на это... Но разве я могу повторить тебе все, что он сказал мне в ответ! Он считает, что надежды, которые поощряла в нем моя покойная матушка, должны еще осуществиться, и даже старался склонить меня на такой безумный шаг, как брак с ним без согласия папеньки. На это я, конечно, никогда не пойду. Я боролась

с поднявшимися во мне мятежными чувствами, со страстью, которая склоняла меня согласиться на его просьбы. Как мне теперь выбраться из этого страшного лабиринта, в который завела нас наша опрометчивость и сама судьба?

Я думала над этим, Матильда, думала до потери сознания и решила, что самое лучшее — это рассказать обо всем отцу. Он этого вполне заслуживает; доброта его безгранична, и чем ближе я присматриваюсь к нему, тем больше замечаю, что он только тогда бывает резок и безжалостен, когда подозревает кого-то в притворстве или обмане. Этой стороны его характера моя мать, по-видимому, в свое время просто не понимала. В нем есть также какая-то романтическая струя, и я видела, как рассказы о великодушии, героизме или о самоотверженном поступке вызывали на его глазах слезы, в то время как людские несчастья и беды сами по себе его не трогали. Но Браун утверждает, что отец видит в нем своего личного врага. А то обстоятельство, что родители Брауна неизвестны, — несомненно, главный камень преткновения на нашем пути. О Матильда, я надеюсь, что никто из твоих предков не сражался при Пуатье и Азенкуре! Если бы мой отец не поклонялся памяти сэра Майлза Мэннеринга, я бы так не боялась признаться ему во всем.

СЕДЬМОЙ ОТРЫВОК

Я только что получила твое письмо, самое желанное письмо! Спасибо, милая, за то, что ты сочувствуешь мне, за все твои советы. Единственно, чем я могу отплатить тебе за них, — это безграничной откровенностью.

Ты спрашиваешь меня, каково же происхождение Брауна и почему отцу оно так ненавистно. История его проста. Родом он из Шотландии, но он рано остался сиротой и воспитывался у родственников, живших в Голландии. Его готовили к торговой деятельности, и еще совсем юным он был послан в одну из наших восточных колоний, где у опекуна его был свой представитель. Но человек этот ко времени при-

бытия Брауна в Индию умер, и, таким образом, ему оставалось только поступить клерком куда-нибудь в контору. Начавшаяся война и трудное положение, в котором мы на первых порах очутились, открыли доступ в армию всем желающим, и Браун, чувствуя в себе природную склонность к военной карьере, сразу же путь к богатству променял на путь к славе. Все остальное тебе хорошо известно.

Вообрази теперь, в какое негодование придет отец, который презирает всякую торговлю вообще (хотя следует сказать, что большая доля его состояния нажита именно торговлей, которой занимался дед) и питает особую неприязнь к голландцам, — подумай только, как он отнесется к претенденту на руку его единственной дочери, Ванбесту Брауну, воспитанному из милости владельцами торгового дома «Ванбест и Ванбрюгген»! О Матильда, этому никогда не бывать, и сама я, хоть это, может быть, и глупо, тоже ведь едва ли не разделяю его аристократических чувств. Миссис Ванбест Браун! Не очень-то хорошо звучит. Но какие мы все же дети!

ВОСЬМОЙ ОТРЫВОК

Все кончено, Матильда! У меня никогда не хватит смелости сказать об этом отцу; я даже боюсь, не узнал ли он мою тайну от другого. Если да, то это сведет на нет всю ценность моего откровенного признания и убьет последний проблеск надежды, который я на него возлагала. Вчера вечером Браун подплыл, как обычно, к нашему дому, и звук его флажолета возвестил мне, что он близко. Мы договорились, что звук этот будет для нас сигналом встречи. Немало людей приезжает сюда любоваться красотой здешних озер, и мы надеялись, что, если кто-нибудь в доме заметит Брауна, его примут за одного из любителей природы, который выражает свои чувства музыкой. Звуки этой музыки могли бы отлично объяснить и мое появление на балконе. Но вчера вечером, когда я доказывала ему необходимость открыться во всем отцу, а он не менее настойчиво против этого возражал, мы

услыхали, как в кабинете мистера Мервина, расположенном прямо под моей комнатой, тихо приотворилось окно. Я сделала Брауну знак удалиться и тут же ушла к себе, все еще надеясь, что наше свидание не было замечено.

Но, увы, Матильда, надежда эта исчезла тотчас же, когда во время завтрака я встретила многозначительный взгляд мистера Мервина. По лицу его сразу было видно, что он отлично знает о наших свиданиях, и если бы я только осмелилась дать волю своим чувствам, то, право, гневу моему не было бы границ. Но я должна себя сдерживать во всем; прогулки мне теперь ограничили пределами фермы, и мой досточтимый хозяин всюду таскается за мной. Раз а два я заметила, что он внимательно следит за выражением моего лица, будто стараясь угадать мои мысли. Не раз также он заговаривал о флажолете, по разным поводам распространялся о том, какие у него умные и злые собаки, и повторял, что сторож с заряженным ружьем каждую ночь обходит окрестности. Мне не хотелось бы вести себя вызывающе по отношению к старому другу моего отца, живя у него в доме, но что-то подбивает меня показать ему, что я действительно дочь полковника Мэннеринга. Да, мистер Мервин в этом убедится, если в ответ на его язвительные намеки я как-нибудь выскажу до конца все, что накопилось у меня на душе. В одном только я убедилась и за это должна быть ему благодарной: он ничего не сказал миссис Мервин. Боже мой, каких бы я тогда наслушалась поучений: и насчет того, как пагубны любовь и озерный воздух по ночам, и простуда и разные искатели приключений, и как полезны молочная сыворотка и закрытые ставни! Не могу не шутить, Матильда, хотя на сердце у меня грусть. Как поступит Браун, я не знаю. Думаю все же, что он будет теперь осторожнее и прекратит свои ночные посещения. Он живет в гостинице на противоположном берегу озера под фамилией Досона, и, надо признаться, он не очень-то хорошо умеет выбирать фамилии. Он, кажется, все еще на военной службе, но он ничего не говорил мне о своих планах на будущее.

В довершение моего беспокойства неожиданно приехал отец, и к тому же явно не в духе. Наша добрая хозяйка, как я узнала из ее разговора с экономкой, ждала его не раньше чем через неделю, но для мистера Мервина, как мне кажется, приезд его не был неожиданностью. Отец был со мной сдержан и холоден, и этого было достаточно, чтобы у меня пропала вся моя храбрость, с которой я шла к нему, чтобы все рассказать и целиком положиться на его великодушие. Он приписывает свое дурное настроение тому, что ему не удалось купить поместье в юго-западной Шотландии, которое ему нравилось, но я-то думаю, что такой пустяк вряд ли мог нарушить его душевное равновесие. Первым делом он отправился в лодке Мервина на ту сторону озера, в гостиницу, про которую я тебе только что говорила. Представь себе, как я мучилась, дожидаясь его возвращения. Неизвестно еще, чем бы все это кончилось, если бы он узнал Брауна. Но, по-видимому, он вернулся ни с чем. Из его слов я поняла, что, потерпев неудачу с покупкой имения, он хочет теперь нанять дом вблизи Элленгауэна, он только об этом и говорит. Он считает, что поместье, которое ему нравится, вскоре снова поступит в продажу. Я не буду посылать это письмо, пока не развзную как следует его намерений.

Сегодня у меня был разговор с отцом, откровенный, — в той мере, конечно, в которой он находил это возможным. После завтрака он попросил меня пройти с ним в библиотеку. Колени у меня задрожали, и знаешь, Матильда, без всякого преувеличения скажу тебе, что у меня едва хватило сил дойти до комнаты. Я испугалась неизвестно чего; с самого детства я привыкла видеть, что стоит ему только нахмурить брови, как все перед ним трепещут.

Он сделал мне знак сесть, и никогда еще я не повиновалась его приказанию так охотно, так как, по правде говоря, еле держалась на ногах. Сам он продолжал ходить взад и вперед по комнате. Ты ведь видела отца и должна была заметить, какие у него выразительные черты лица. В волнении или гнев его светлые глаза темнеют, и в них вспыхивает ка-

кой-то огонек. Когда он чем-нибудь сильно взволнован, он закусывает губы — привычка владеть собой борется в нем тогда с его неистовым темпераментом. После его возвращения из Шотландии я в первый раз очутилась наедине с ним и, увидев в нем эти признаки волнения, сразу решила, что он будет говорить со мной о том, чего я больше всего боялась.

Я была несказанно рада, когда поняла, что ошиблась; я не знаю, рассказывал ли ему что-нибудь мистер Мервин, но убедилась, что он, во всяком случае, не собирается говорить со мной о самом для меня страшном; я ведь большая трусиха, и тут я сразу вздохнула с облегчением, хотя, в сущности, если бы отец и проверил все те слухи, которые до него долетели, подозрения его все равно ничем бы не подтвердились. Неожиданно избежав опасности, я приободрилась и стала смелее, но все же у меня не хватало духу самой начать разговор. Я молча ждала его приказаний.

— Джулия, — сказал отец, — мой поверенный пишет мне из Шотландии, что он нанял там для меня прилично обставленный и очень удобный дом в трех милях от того поместья, которое я собирался купить.

Тут он замолчал и, казалось, ждал моего ответа.

— Где бы вы ни решили поселиться, папенька, я всегда с радостью подчинюсь вашему выбору.

— Но я вовсе не собираюсь оставлять тебя там на зиму одну.

«Наверно, мне придется жить там с мистером и миссис Мервин», — подумала я.

— Что же, я буду жить с тем, с кем вы прикажете, — сказала я уже вслух.

— Слишком уж в тебе много покорности; покорность сама по себе вещь неплохая, но ты так часто повторяешь одни и те же слова, что мне невольно представляются темнокожие рабы с их бесконечными поклонами. Короче говоря, Джулия, я знаю, что тебе недостает общества, и собираюсь пригласить к нам

на несколько месяцев одну молодую девушку — дочь моего покойного друга.

— Ради бога, папенька, только не гувернантку! — вскричала я, и в этот момент страх заставил меня забыть о всяком благоразумии.

— Нет, никакой гувернантки для вас, мисс Мэннеринг, я приглашать не стану, — довольно сурово оборвал меня отец. — Это просто молодая леди, которая прошла тяжелую школу несчастья; общение с ней, на мой взгляд, научит тебя лучше владеть собой.

Отвечать на это значило бы ступить на слишком зыбкую почву. Мы оба замолчали.

— А что, папенька, эта девушка шотландка?

— Да, — сухо ответил он.

— И она говорит с сильным шотландским акцентом?

— Какого дьявола ты все это спрашиваешь, — раздраженно выпалил отец, — неужели ты думаешь, что я буду разбирать, как она выговаривает букву «а» или «и»? Говорю тебе, Джулия, совершенно серьезно. Тебе ничего не стоит завязать с кем-нибудь дружбу или то, что ты называешь дружбой. (Какие жестокие слова, не правда ли, Матильда?) Ну вот, я и хочу дать тебе возможность найти себе настоящую подругу; поэтому я решил пригласить к себе в дом на несколько месяцев эту девушку; я надеюсь, что ты будешь к ней внимательна; она вполне этого заслуживает и своими душевными качествами и перенесенным горем.

— Ну конечно, папенька. А что, моя будущая подруга рыжая?

Он сурово посмотрел на меня. Ты скажешь, что я этого заслужила, но иногда как будто сам сатана подбивает меня задавать такие вопросы.

— Знаешь, милая, она настолько же превосходит тебя красотой, как и благоразумием и преданностью своим друзьям.

— Боже мой, папенька, неужели вы думаете, что ее превосходство надо мной так уж важно? Нет, я положительно придаю этому слишком много значения. Какова бы ни была эта девушка, мне достаточно

того, что вы ее пригласили, и поверьте, что у нее не будет случая жаловаться на недостаток внимания с моей стороны. (Опять молчание.) А есть ли у нее прислуга? Если нет, то надо будет об этом позаботиться.

— Н-не знаю, собственно говоря прислуги никакой нет, но в доме ее отца жил некий капеллан. Это очень порядочный человек. Я думаю, что приглашу его жить с нами.

— Капеллан, о боже праведный!

— Да, мисс Мэннеринг, капеллан. А что же такого удивительного в этом слове? Разве у нас не было капеллана в нашей резиденции в Индии?

— Да, папенька, но вы были тогда командиром.

— Так будет и теперь; во всяком случае, в семье у себя командиром буду я.

— Понимаю, папенька; но как же он будет служить, по правилам англиканской церкви?

Притворная простота, с которой был задан этот вопрос, заставила его улыбнуться.

— Ладно, Джулия, — сказал он, — ты негодная девчонка, но что толку в том, что я буду бранить тебя. Я уверен, что из наших двоих гостей молодую леди ты, во всяком случае, полюбишь, а ее воспитатель, которого я за неимением другого слова называю капелланом, — человек очень достойный, хотя и немного забавный. Сам он никогда не заметит, что ты над ним смеешься, если ты не будешь, конечно, хохотать во все горло.

— Милый папенька, как это хорошо, что он такой. Но скажите, папенька, там вокруг дома такие же прелестные места, как и здесь?

— Боюсь, что тебе там не так все придется по вкусу. Нет озера под окнами, и музыкой придется заниматься только в комнатах.

Этот последний *coup de main*¹ положил конец нашему словесному поединку. Ты легко можешь себе представить, Матильда, что у меня уже не хватило духу ничего ответить.

¹ Удар (франц.).

Но все же, как ты могла видеть из этого разговора, настроение мое сильно поднялось. Браун жив, и на свободе, и в Англии! Трудности и волнения я могу и даже должна переносить. Через два дня мы переезжаем в новое место. Я сразу же тебе напишу, что это за шотландская пара, которую, как я имею все основания думать, отец мой собирается поселить в доме в качестве благородных шпионов. Это будет, должно быть, какой-нибудь Розенкранц в юбке и Гильденстерн в черной рясе. Совсем ведь не таких людей я хотела бы видеть возле себя! Жди теперь, милая Матильда, моего письма с известием о дальнейшей судьбе твоей

Джулии Мэннеринг.

Глава XIX

Зеленый берега откос
Средь тихих кленов и берез;
Под их затейливую тенью
Реки серебряной теченье.
Природа щедрою рукой
Здесь дарит негу и покой.

Уортон

Вудберн, нанятый Мак-Морланом для Мэннеринга на всю зиму, был большим и удобным домом, красиво расположенным у подножия лесистой горы, защищавшей его с севера и востока. Перед домом была небольшая лужайка, за нею — роща вековых деревьев, а еще дальше — возделанные поля, которые тянулись до самой реки, видневшейся из окон дома. Довольно хороший, хотя и по-старинному разбитый сад, голубятня, полная голубей, обилие земли вокруг делали это поместье, как гласило объявление, во всех отношениях «удобным для благородного семейства».

Здесь-то Мэннеринг и задумал поселиться, по крайней мере на некоторое время. Хотя он долго жил в Индии, полковник не любил кичиться своим богатством. Он был слишком горд, чтобы поддаваться тщеславию, и решил жить теперь на положении обычно-

венного состоятельного помещика, не позволяя ни себе, ни своим домочадцам привлекать внимание людей тем внешним великолепием, которое всегда считалось отличительным признаком набоба.

Он все еще надеялся купить Элленгауэн; Мак-Морлан утверждал, что Глоссин будет вынужден продать это имение, ввиду того что некоторые кредиторы оспаривают его право удерживать в своих руках такую значительную часть его покупной стоимости, а внести все деньги полностью он все равно вряд ли сможет. Мак-Морлан был уверен, что Глоссин охотно уступит имение, если ему предложат что-нибудь сверх той суммы, которую он обязался за него уплатить. Может показаться странным, что Мэннеринг так привязался к месту, где он был всего только один раз в юности, и то очень недолго. Но все, что произошло с ним тогда, оставило в его душе глубокий след. Ему казалось, что сама судьба связала его собственную жизнь с жизнью обитателей Элленгауэна, и он испытывал необъяснимое желание назвать своей столь памятную ему террасу. Ведь именно там он прочел в небесной книге судьбу ребенка — наследника этого старинного рода, судьбу, столь неожиданным образом исполнившуюся и в чем-то странно совпавшую с предсказанной им же его собственной судьбой. К тому же после всего этого он уже не мог смириться с мыслью, что план его не удался из-за вмешательства такого негодяя, как Глоссин. И вот гордость пришла на помощь причуде, и обе вместе еще более укрепили его решимость во что бы то ни стало купить эти земли.

Но надо быть справедливым к Мэннерингу. Желание чем-то облегчить участь несчастных тоже влияло на его решение. Наряду с этим он взвесил и всю пользу, которую Джулия могла извлечь из общества Люси Бертрам, на чье благоразумие и рассудительность он вполне мог положиться. Он еще больше утвердился в этом решении, когда Мак-Морлан рассказал ему строго по секрету, как достойно Люси вела себя с молодым Хейзлвудом. Предлагать ей жить у него в семье, вдали от родных мест и от старых

друзей, было бы не очень деликатно по отношению к ней, а в Вудберне ее можно было принять как гостью, приехавшую на время, не ставя ее в унижительное положение компаньонки. Люси Бертрам, подумав немного, согласилась провести несколько недель в обществе мисс Мэннеринг. Она очень хорошо понимала, что, как бы полковник из деликатности ни старался скрыть свои истинные намерения, им прежде всего руководило великодушное желание предоставить ей убежище и покровительство. А Мэннеринг, благодаря своим большим связям и своему природному благородству, пользовался большим влиянием на всех, кто его окружал.

Почти в это же время Люси получила письмо от миссис Бертрам, той родственницы, к которой она обратилась после смерти отца; письмо, как и следовало ожидать, было холодным и неутешительным. В конверт была вложена небольшая сумма денег; наряду с этим миссис Бертрам настойчиво советовала девушке быть бережливой и поселиться в какой-нибудь тихой семье в Кипплтрингане или где-нибудь поблизости и заверяла ее, что, несмотря на свои стесненные обстоятельства, она не оставит ее своей помощью.

Прочтя это холодное письмо, мисс Бертрам не могла удержаться от слез: ведь пока ее мать была жива, эта родственница гостила в Элленгауэне около трех лет и только после того, как получила в наследство имение, дававшее четыреста фунтов годового дохода, распростилась с гостеприимным домом, в котором при других обстоятельствах она, вероятно, прожила бы до самой смерти его владельца. Люси сильно захотелось отослать ей назад этот скудный подарок, на который старая леди наконец решилась, после того как тщеславие одержало в ней победу над скупостью. Однако, пораздумав немного, она все же написала, что согласна принять эти деньги, но только взаймы, с тем чтобы возможно скорее возратить их, и спросила свою родственницу, что она думает о приглашении полковника Мэннеринга и его дочери. На этот раз ответ последовал немедленно, так боялась миссис

Бертрам, что ложная деликатность и глупость — она так прямо и написала — могли заставить девушку отвергнуть столь заманчивое предложение и тем самым сделать ее обузой для родственников. Поэтому Люси особенно выбирать было нечего, разве только остаться еще на какое-то время у четы Мак-Морланов, которые были слишком щедры, чтобы быть богатыми. Те дальние родственники, которые сначала предлагали Люси погостить у них, в последнее время перестали приглашать ее к себе: одни просто, должно быть, забыли о ней, другие же были недовольны тем, что она предпочла им Мак-Морланов.

Участь Домини Сэмсона была бы плачевной, если бы ему пришлось зависеть от кого-то другого, а не от полковника Мэннеринга, у которого было большое пристрастие ко всякого рода чудачкам; разлуку с Люси Бертрам старик был бы, конечно, не в силах перенести. Мак-Морлан подробно написал полковнику о том, как благородно вел себя Сэмсон в отношении дочери своего покровителя. Мэннеринг только спросил его, по-прежнему ли Домини владеет великим искусством молчать, которым он так зарекомендовал себя в Элленгауэне. Мак-Морлан ответил на этот вопрос утвердительно. «Передайте мистеру Сэмсону, — писал полковник в следующем письме, — что я буду просить его составить каталог и привести в порядок библиотеку моего дяди-епископа, которую я уже приказал доставить морем. Надо будет также разобрать и переписать кое-какие бумаги; назначьте ему жалованье по своему усмотрению. Позаботьтесь, чтобы бедняга был как следует одет, и пусть он приезжает вместе с молодой леди в Вудберн».

Получив это письмо, наш добрый Мак-Морлан очень обрадовался, но его несказанно смутило поручение купить Сэмсону новый костюм. Он внимательно оглядел его с ног до головы и убедился, что одежда его с каждым днем становится все более ветхой. Но давать ему деньги на приобретение нового платья было бы неразумно — это значило сразу сделать его всеобщим посмешищем. Когда в жизни Сэмсона наступало столь радостное событие, как покупка нового

платья, он всегда умудрялся выбрать себе такой наряд, что потом все окрестные мальчишки бегали за ним чуть ли не целую неделю. Пригласить же портного для снятия мерки, чтобы потом вручить Домини, как какому-нибудь школьнику, уже готовое платье, Мак-Морлан не решался, боясь обидеть старика. В конце концов он решил спросить на этот счет совета мисс Бертрам. Та ответила, что, конечно, не ее дело распоряжаться мужским гардеробом, но что одеть Домини не так уж трудно.

— У нас в Элленгауэне, — сказала она, — как папенька, бывало, заметит, что надо обновить что-нибудь из платья Домини, он прикажет слуге зайти ночью к нему в комнату — спит он всегда как убитый, — взять оттуда старое платье, а новое оставить, и поверьте, Домини никогда ничего не замечал.

Следуя совету мисс Бертрам, Мак-Морлан нашел искусного портного, который, внимательно оглядев Сэмсона, взялся сделать ему два одеяния — одно черное, другое серое — и даже обещал, что платье это будет сидеть на нем, как только может сидеть изделие рук человека на такой необыкновенной фигуре.

Эта задача была выполнена, и оба новых костюма принесены; Мак-Морлан решил делать все очень осторожно: он изъяс в этот вечер одну немаловажную часть туалета Домини и заменил ее соответствующей частью нового костюма. Увидев, что этот маневр прошел совершенно незамеченным, он повторил то же самое с жилетом и с кафтаном. Когда Домини был совершенно преобразен и впервые в жизни с ног до головы одет во что-то приличное, сам он хоть и смутно, но все же ощутил эту разительную перемену в своей наружности. Но, как только окружающие замечали, что в его лице появляется какая-то неуверенность и взгляд начинает блуждать по рукаву кафтана или по коленям брюк, быть может в поисках какой-нибудь старой заплаты или штопки синими нитками по черному полю, похожей на узорную вышивку, они старались немедленно отвлечь его внимание от костюма и вели себя так до тех пор, пока его новая

одежда не стала для него привычной. Единственным замечанием, которое он как-то изрек по этому поводу, было то, что воздух Кипплтрингана, по-видимому, благоприятен для ношения платья, потому что костюм его имеет почти такой же вид, как тогда, когда он надел его, готовясь в первый раз выступить с проповедью.

Как только Домини сказали, что полковник Мэннеринг приглашает его к себе жить, он тут же тревожно и недоверчиво посмотрел на мисс Бертрам, как будто считая, что приглашение это связано с необходимостью расстаться с ней. Но когда мистер Мак-Морлан поспешил добавить, что и она тоже приглашена погостить в Вудберн, Сэмсон стал потирать свои огромные руки и вдруг разразился неистовым хохотом, наподобие Африта в сказке о калифе Ватеке. После такого странного выражения радости он умолк и больше ничем уже не проявлял своих чувств.

Было решено, что мистер и миссис Мак-Морлан приедут на новое место несколькими днями раньше, чем Мэннеринг, чтобы привести в порядок дом и устроить там все так, чтобы мисс Бертрам не испытала никаких неудобств и волнений при переезде. Поэтому они и переселились в Вудберн уже в начале декабря.

Глава XX

Это был могучий гений,
сражавшийся с целыми библиотеками.

Босуэл, «Жизнь Джонсона»

Настал день, когда полковник Мэннеринг должен был приехать с дочерью в Вудберн. Час их приезда приближался, и у каждого из обитателей дома были свои причины волноваться.

Мак-Морлану, естественно, хотелось приобрести покровительство и расположение такого богатого и влиятельного человека, как Мэннеринг. Хорошо зная людей, он понял, что при всем своем великодушии

и доброте Мэннеринг привык неукоснительно требовать точного исполнения всех своих приказаний. Поэтому он беспрестанно старался вспомнить, все ли было сделано, чтобы удовлетворить желания полковника и исполнить его распоряжения; не доверяя своей памяти, он то и дело обегал весь дом от чердака до конюшни. Миссис Мак-Морлан вращалась по несколько меньшей орбите, в которую входили столовая, буфетная и кухня. Она боялась, как бы кухарка не испортила обед и от этого не пошатнулась бы ее репутация хорошей хозяйки. Даже Домини, в обыкновенные дни ко всему безразличный, так волновался, что то и дело подходил к окну, выходявшему на главную аллею, и дважды вскрикнул: «Отчего же так медлят колеса их экипажа!» Люси, наиболее спокойная из всех, была погружена в грустные мысли. Ей предстояло теперь пользоваться покровительством, даже, пожалуй, принимать милости от людей совершенно посторонних; людей этих, хотя они и показали себя только с хорошей стороны, она все же знала слишком мало. Поэтому минуты ожидания были для нее тревожными и тягостными.

Наконец послышался топот лошадей и стук колес. Слуги, которые прибыли еще до этого, кинулись все в переднюю и выстроились в ряд, чтобы встретить своих господ с подобающей торжественностью и *empressement*.¹ Люси, не привыкшую к обществу и не знавшую обычаев так называемого большого света, этот церемониал даже несколько смутил. Мак-Морлан направился к дверям встретить новых хозяев дома, и через несколько минут все были уже в гостиной.

Мэннеринг, приехавший, по обыкновению, верхом, вел свою дочь за руку. Это была девушка среднего роста, а может быть, даже чуть ниже, но прекрасно сложенная; глубокие, темные глаза и длинные черные волосы очень шли к ее живым и выразительным чертам. На лице ее можно было прочесть и гордость, и застенчивость, какую-то легкую иронию, и прежде всего лукавство.

¹ Рвением (*франц.*).

«Она мне совсем не нравится», — было первое, что подумала Люси. «Нет, пожалуй, все-таки нравится», — решила она вслед за этим.

По случаю холодной погоды мисс Мэннеринг была вся закутана в меха, полковник был в теплой шинели. Он поклонился миссис Мак-Морлан; его дочь присела перед ней, не утруждая себя, однако, слишком низким реверансом. Потом полковник подвел дочь к мисс Бертрам и, взяв Люси за руку, сказал дочери дружески и даже с отеческой лаской:

— Джулия, вот молодая леди, которую наши добрые друзья уговорили погостить у нас как можно дольше. Я буду счастлив, если ты сделаешь пребывание в Вудберне таким же приятным для мисс Бертрам, каким было для меня самого пребывание в Элленгауэне, когда я в первый раз приехал в эту страну.

Джулия кивнула головой и подала руку своей новой подруге. Тут Мэннеринг бросил взгляд на Домини, который с той самой минуты, когда полковник вошел в комнату, кланялся не переставая, неуклюже выставив ногу и сгибая спину подобно автомату, который повторяет одни и те же движения до тех пор, пока его не остановят.

— Вот приятель мой, мистер Сэмсон, познакомься, — сказал Мэннеринг, представив старого учителя дочери. Видя, что она улыбается, он укоризненно посмотрел на нее, хотя, казалось, и сам еле мог удержаться от улыбки. — Он займется моей библиотекой, как только книги придут сюда, и я думаю, что его обширные знания будут мне очень полезны.

— Ну разумеется, папенька, мы очень обязаны этому почтенному джентльмену, и если уж придерживаться учтивых выражений, то я должна сказать, что никогда не забуду того необыкновенного впечатления, которое он произвел на меня.

— Извините меня, мисс Бертрам, — поспешно добавила она, видя, как отец ее нахмурил брови, — мы долго были в дороге, мне надо сейчас пойти переодеться.

После этих слов все, за исключением Домини, разошлись по своим комнатам. О том, что нужно

одеваться или раздеваться, он вспоминал только по утрам, когда вставал, или по вечерам, когда ложился спать. Он сразу же углубился в решение какой-то математической задачи и так и оставался в гостиной, пока все снова не собрались там, чтобы оттуда уже перейти в столовую.

Вечером Мэннеринг улучил минуту, чтобы поговорить с дочерью наедине.

— Ну, как тебе нравятся наши гости, Джулия?

— О, мисс Бертрам мне, конечно, нравится, но этот капеллан такое чудовище, что, по-моему, ни один человек, глядя на него, не сможет удержаться от смеха.

— Пока он гостит у меня, Джулия, над ним никто не будет смеяться.

— Помилуйте, папенька, лакеи, и те не выдержат.

— В таком случае пусть снимают ливреи и тогда смеются себе на здоровье. Я глубоко уважаю мистера Сэмсона за его благонравие и чистосердечность.

— О, наверно, и за щедрость тоже, — весело сказала Джулия. — Он даже ложки до рта не донесет, чтобы не оделить супом всех соседей.

— Ты неисправима, Джулия, только помни, что своим неумеренным смехом ты можешь обидеть этого достойного человека или мисс Бертрам, которую это, пожалуй, заденет больше, чем его самого. Ну, а теперь покойной ночи. Помни только, что, хотя мистер Сэмсон и не одарен грацией, на свете есть немало вещей посмешнее, чем неловкость или простодушие.

Дня через два мистер и миссис Мак-Морлан, ласково распрощавшись с Люси Бертрам, уехали из Вудберна. В доме теперь все пришло в порядок. Молодые девушки и учились и развлекались вместе. Полковник Мэннеринг был просто поражен, увидев, что мисс Бертрам хорошо знает французский и итальянский языки благодаря стараниям того же Домини Сэмсона, трудолюбие которого помогло ему в свое время овладеть не только древними, но и новыми языками.

Музыки Люси, правда, почти не знала, но ее новая подруга начала теперь давать ей уроки игры на клавесине. Джулия же, в свою очередь, научилась

у нее подолгу ходить пешком и ездить верхом, не обращая внимания на погоду. Мэннеринг заботливо подбирал им для вечерних чтений такие книги, которые доставляли им удовольствие и наряду с этим расширяли их кругозор. Он сам обычно читал им вслух, и, так как он был прекрасным чтецом, длинные зимние вечера пролетали незаметно.

Вскоре в Вудберне образовался целый кружок. Многие из соседей стали заезжать в гости к Мэннерингу, и в непродолжительное время он сумел свести более близкое знакомство с теми из них, кто ему больше был по душе. Особенно полюбился ему Чарлз Хейзлвуд, который был частым гостем Вудберна с согласия и одобрения своих родителей. «Кто знает, — думали они, — что могут повлечь за собой эти частые встречи». Красавица Джулия Мэннеринг прельщала их и своим благородством и богатством, которое ее отец привез из Индии. Ослепленные такой перспективой, они даже и не вспоминали о том, чего так боялись еще недавно: что горячая юношеская любовь Чарлза может обратиться на Люси Бертрам, у которой ничего не было, кроме хорошенького личика, знатного происхождения и доброго сердца. Мэннеринг был на этот счет очень осмотрителен. Он считал себя как бы опекуном мисс Бертрам и не находил нужным препятствовать ее встречам с молодым Хейзлвудом, для которого она, если только не думать о ее бедности, являлась во всех отношениях хорошей партией. Он, однако, незаметно ограничил его рамками, которые не давали ему возможности ни сделать ей предложение, ни даже объясниться с ней. Мэннеринг полагал, что Хейзлвуду следует сначала поехать по свету и повидать жизнь и что он пока еще слишком молод, чтобы решить самостоятельно вопрос, от которого зависит счастье его жизни.

В то время как эти чувства волновали остальных обитателей Вудберна, Домини Сэмсон с головой ушел в свои занятия и с увлечением разбирал библиотеку покойного епископа, прибывшую сюда из Ливерпуля морем, а потом привезенную в Вудберн на тридцати или сорока подводах.

Когда Сэмсон увидел на полу огромные ящики с книгами, которые ему надо было расставить по полкам, радость его была просто неопишима. Он скалил зубы, будто людоед, размахивал руками, как крыльями ветряной мельницы, кричал: «Удивительно!» так, что даже стекла звенели. Он говорил, что ему никогда не приходилось видеть такого множества книг, разве только в университетской библиотеке. Теперь же, когда ему поручили ведать этими сокровищами, он был одновременно и восхищен и горд: в его глазах это поднимало его до степени академического библиотечаря, должности, которая всегда казалась ему верхом блаженства. Восторг его едва ли не усилился, когда он бегло ознакомился с содержанием книг. Некоторые из них, произведения изящной словесности, стихи, пьесы и мемуары, он, правда, сразу отбросил в сторону, пробормотав при этом: «Тьфу ты пропасть, вздор какой». Но большую часть библиотеки составляли книги более объемистые и совершенно иного характера. Покойный епископ был человеком глубоко начитанным; он собрал немало старинных книг, так хорошо описанных нашим современным поэтом:

Пергаментом одетый переплет,
И на застежках времени налет.
Столетиями лежавшие тома:
Старинный шрифт и красная кайма,
И корешок внушительный, упругий,
И золотые буквы в полукруге.

Книги по богословию и религиозной полемике, комментарии, писания святых отцов и проповеди, из которых одной хватило бы, пожалуй, на десяток нынешних, научные сочинения, как старые, так и современные, лучшие и редчайшие издания классиков — вот этими-то фолиантами, составлявшими библиотеку почтенного епископа, и упивался теперь Домини Сэмсон. Начав составлять каталог этих книг, он старался писать особенно красиво, с чрезвычайной тщательностью выводя каждую букву. Так мог стараться только юноша, который пишет своей возлюбленной письмо

высокого роста, мужественный и энергичный. Черты его лица соответствовали его характеру; хотя и не совсем правильные, они выражали ум и какую-то большую доброту, а когда он вдруг воодушевлялся или начинал говорить, лицо его становилось даже красивым. Манеры его выдавали в нем военного; в армию он поступил добровольно и дослужился уже до чина капитана, так как новый начальник, назначенный на место полковника Мэннеринга, старался загладить несправедливость своего предшественника к Брауну. Но это повышение по службе, так же как и освобождение из плена, произошло уже после отъезда Мэннеринга из Индии. Вскоре и Браун должен был покинуть эту страну, так как полк его был отозван на родину. Приехав в Англию, он прежде всего стал справляться о том, где находится семейство Мэннеринга. Узнав, что полковник уехал с семьей на север, он отправился вслед за ним с намерением увидеть Джулию. Не зная о том яде подозрений, который был влит в душу полковника и смутил его покой, Браун смотрел на него как на человека, не заслуживающего уважения; в его глазах Мэннеринг был просто аристократом, который деспотически использовал свое положение начальника, чтобы лишить его производства в чин капитана, вполне им заслуженного. Браун был уверен, что полковник сам вызвал его на ссору, не найдя для этого более веской причины, чем те знаки внимания, которые он оказывал молоденькой девушке с ведома и разрешения ее матери. Поэтому он и решил, что не отступится от своих намерений до тех пор, пока не услышит отказа из уст самой Джулии: полагая, что виновником его тяжелого ранения и плена был Мэннеринг, он считал себя свободным от обязательств чести по отношению к нему.

Как все сложилось и как потом его ночные свидания с Джулией были обнаружены Мервином, читатель уже знает.

После этого неприятного происшествия капитан Браун уехал из гостиницы, где он проживал под именем Досона, и все попытки полковника Мэннеринга выследить и узнать, кто был загадочный незнакомец,

ни к чему не привели. Но Браун твердо решил, что никакие преграды его не остановят и не заставят отказаться от своего плана, пока Джулия оставляла ему хоть луч надежды.

Чувство ее к нему было настолько велико, что она не в состоянии была его скрыть, и со всей энергией романтически влюбленного юноши он решил не отступать. Но надо думать, что читателю будет интересно узнать мысли и намерения Брауна из его собственного письма к его закадычному другу капитану Деласеру, швейцарцу, с которым они вместе служили в полку.

ОТРЫВОК

Напиши мне поскорее, милый Деласер. Помни, что полковые новости доходят до меня только через тебя, а мне очень хочется знать, чем кончилось дело Эйра и произвели ли Элиота в майоры. Успешно ли идет набор? Нравится ли молодым офицерам военная жизнь? О нашем друге, подполковнике, я тебя не спрашиваю: проезжая через Ноттингем, я видел, как он наслаждался там семейным счастьем. Как это хорошо, Филипп, что даже на долю таких бедняг, как мы с тобой, когда-нибудь достанется отдых между полем сражения и могилой. Только бы дорогою нас не настигли болезнь, свинец или сталь и перенесенные нами тяготы не дали себя почувствовать раньше времени! Старый солдат в отставке всегда пользуется любовью и уважением среди молодых. Время от времени он ворчит себе под нос, но ему-то можно и поворчать. Если какой-нибудь адвокат, или врач, или священник вздумает вдруг жаловаться на то, что ему не везет в жизни, все на него сразу накинутся и скажут, что он сам не сумел как надо взяться за дело. Но если даже самый захудалый вояка, способный только повторять за бутылкой вина уже всем известную историю о давнишней битве и о своих подвигах, начнет трясти седой головой и с негодованием говорить о том, что ему предпочли какого-нибудь молоко-соса, то он неизменно встречает сочувствие. А мы вот с тобой, Деласер, оба иностранцы, поэтому, даже если

бы я и мог доказать свое шотландское происхождение, англичанин никогда не признает меня за своего земляка, — мы можем похвалиться только тем, что заслуженно получили свой чин, завоевав шпагой то, чего при нашей бедности купить бы мы никак не сумели. Англичане — мудрый народ. Восхваляя самих себя и как будто принижая этим все другие нации, они, по счастью, оставляют нам разного рода ходы и выходы, которыми мы, простые чужеземцы и не такие баловни судьбы, как они, можем достичь подобного положения. Таким образом, они в каком-то отношении похожи на того хвастливого хозяина, который долго распространяется о необыкновенном вкусе и запахе зажаренного им шестилетнего барашка, гостеприимно угощая им всю компанию. Короче говоря, ты, пустившийся искать счастья из-за чрезмерной гордости своей семьи, и я, попавший в армию из нужды, — мы оба можем утешаться мыслью, что если мы и не будем дальше продвигаться по лестнице чинов, то это не столько из-за того, что кто-то нам преградил дальнейший путь, сколько из-за того, что у нас попросту нет денег на дорогу. И если ты можешь убедить молодого Вайшеля вступить в наши ряды, то пускай он покупает себе офицерский патент, пусть живет разумно, выполняет свои обязанности, а в том, что касается продвижения по службе, положится на судьбу.

Но ты, вероятно, горишь нетерпением узнать, чем кончились мои романтические скитания; я писал тебе, что решил несколько дней побродить пешком по Уэст-морлендским горам вместе с Дадли, молодым английским художником, с которым я познакомился. Это очень талантливый юноша; он и хороший художник и прекрасный собеседник. К тому же он отлично играет на флейте. И надо сказать, что при всех его талантах у него нет ни малейшего самомнения и он очень скромен. Вернувшись из этой прогулки, я узнал, что неприятель произвел рекогносцировку. Хозяин гостиницы сообщил мне, что лодка мистера Мервина появилась на нашей стороне озера и что в ней находился какой-то незнакомец.

— Кто же это был? — спросил я у него.

— Да смуглолицый какой-то и, видно, из военных, они величали его полковником. Господин Мервин так допрашивал меня, будто судить собирался. Я сообразил, в чем дело, мистер Досон (я писал тебе, что это мое вымышленное имя), и ни словом не обмолвился насчет ваших ночных прогулок по озеру. Такие вещи не в моем характере. Сам не гуляешь, так по крайней мере другим не мешай, а мистер Мервин такой дошлый, как прицепится ко мне, чего это ради мои гости к его дому на лодке подъезжают, хотя смотреть им там нечего. Ну, так пускай сам спрашивает, а причем здесь Джо Ходжиз?

Теперь ты видишь, что мне больше ничего не оставалось делать, как расплатиться с Джо Ходжизом и уехать отсюда или же, напротив, посвятить его в мою тайну, но этого я вовсе не хотел. К тому же я proved, что наш *ci-devant*¹ полковник, который теперь в отставке, уезжает совсем в Шотландию и увозит с собой мою бедную Джулию. От людей, приехавших за его багажом, я узнал, что он обосновался на зиму где-то в Вудберне, в *** графстве, в Шотландии. Он теперь насторожен, и поэтому не надо давать ему повода для тревоги, пускай себе спокойно занимает свои позиции. А тогда уж, господин полковник, берегитесь, у нас с вами старые счеты!

Знаешь, Деласер, я часто думаю, что во мне сидит дух противоречия; он-то и толкает меня поступать во что бы то ни стало по-своему. Мне, например, было бы гораздо приятнее заставить этого заносчивого гордеца назвать свою дочь миссис Браун, чем просто жениться на ней с его согласия, если бы даже сам король разрешил мне принять имя и титул Мэннеринга и я мог бы стать наследником всех богатств полковника. Во всем этом есть только одно обстоятельство, которое тревожит меня. Джулия молода и мечтательна, мне не хотелось бы сознательно толкать ее на шаг, в котором она потом стала бы раскаиваться. Нет, я не хочу, чтобы она даже одним взглядом могла

¹ Бывший (франц.).

упрекнуть меня в том, что я обрек ее на нищенскую жизнь, и особенно, чтобы она сказала — а ведь бывает, что жены именно так и говорят потом своим мужьям, — что, если бы я дал ей время для размышления, она была бы рассудительнее и поступила иначе. Нет, Деласер, этого не должно быть. Мне эта мысль не дает покоя, потому что я уверен, что девушка, попавшая в положение Джулии, плохо представляет себе, на какую жертву она идет. Трудности она знает только на словах. И если она мечтает о любви в хижине, то это обязательно *ferme оnée*, хижина, приукрашенная поэзией или построенная в парке богатым помещиком. Она совсем не подготовлена к лишениям, связанным с жизнью в том настоящем швейцарском домике, о котором мы столько с ней говорили, и к трудностям, которые встанут на нашем пути еще до того, как мы достигнем этого тихого прибежища. Надо все это привести в ясность. Хоть красота Джулии и ее нежность ко мне безгранично тронули мое сердце, я хочу, чтобы она отдала себе полный отчет в своих поступках и хорошо знала, чем она жертвует ради меня.

Может быть, это сомнение с моей стороны, Деласер, — думать, что даже в этом случае она согласится стать моей; может быть, я чересчур тщеславен, полагая, что одних моих способностей и решимости посвятить жизнь ее счастью достаточно, чтобы вознаградить ее за все, чего она лишится? Или окажется, что роскошные туалеты и целый штат прислуги, светский образ жизни и привычка к частой смене впечатлений — все это будет значить для нее больше, чем тихое домашнее счастье и наша взаимная любовь? Я уж не говорю об ее отце — хорошие качества так странно сочетаются в нем с дурными, что последние сводят первые на нет, и если даже Джулия будет сожалеть о родном доме, то наряду с этим она будет и радоваться своему освобождению от отцовской опеки, и радость эта пересилит ее дочерние чувства. Пока что я не падаю духом. Я слишком много раз в жизни попадал в тяжелое положение, чтобы самонадеянно рассчитывать на успех. Вместе с тем я слиш-

ком много раз самым удивительным образом выкарабкивался из беды, чтобы сейчас предаваться отчаянию.

Жаль, что ты не видел этих мест. Здешние пейзажи, наверно, привели бы тебя в восторг; именно в этих краях я часто вспоминаю, как влюбленно ты описывал свою родину. Для меня главная прелесть всего, что я здесь вижу, — в новизне. Хотя я и родом, как мне говорили, из Шотландии, у меня остались одни только смутные воспоминания об ее холмах. Чувство пустоты, которое пробуждали в моей детской душе равнины острова Зеландии, как бы заглушило собою в памяти все виденное дотоле. Но как и те более давние воспоминания, так и само это чувство говорят уже о том, что в раннем детстве меня окружали горы и скалы и что, хотя я помню их только по контрасту с этим ощущением пустоты, когда я тщетно искал их вокруг взглядом, они оставили в моей душе неизгладимый след. Помню, что, когда мы проходили знаменитым Мизорским ущельем и оно почти всех поражало и страшило своей красотой и величием, у меня было к нему, пожалуй, такое же чувство, как у тебя и у Камерона, у которых к восхищению этими дикими скалами примешивалась какая-то привязанность к ним, какие-то далекие, детские воспоминания. Несмотря на то, что я вырос в Голландии, голубая вершина горы мне кажется близким другом, а в звуках горных потоков чудится какая-то еще с детства знакомая песня. Нигде я с такой силой не испытывал этого чувства, как здесь, в этой стране скал и озер, и меня больше всего огорчает, что служба твоя мешает тебе бродить здесь сейчас со мной. Я пытался кое-что зарисовать, но неудачно, Дадли же, напротив, рисует чудесно, каждый штрих его будто мановением волшебного жезла. А я стараюсь, переправляю, и одно выходит слишком темным, другое слишком светлым, а все вместе никуда не годится. Надо побольше играть на флажолете; музыка — это единственное искусство, которое мне по плечу.

А ты знал, что у полковника Мэннеринга большие способности к рисованию? Наверно, нет, потому что гордость мешала ему показывать свои картины тем, кто у него в подчинении. Как бы то ни было, рисует он превосходно. Как только он и Джулия уехали из Мервин-холла, Дадли пригласили туда. Хозяину дома хотелось иметь целую серию пейзажей. Мэннеринг написал четыре первых, но неожиданный отъезд не дал ему закончить остальных. Дадли говорит, что ему редко приходилось видеть такое совершенство рисунка, хотя это были лишь наброски. К каждому из них было приложено по стихотворению. «Неужели и Саул среди пророков!» — скажешь ты. Подумай только: стихи полковника Мэннеринга! Но это так! Ему пришлось потратить столько же усилий, чтобы скрыть свои таланты, сколько иные тратят на то, чтобы их всячески разгласить. Каким сдержанным и нелюдимым человеком он был всегда! Он никогда не принимал участия в разговоре, интересном для всех. И как он был дружен с этим презренным Арчером, человеком во всех отношениях ниже его, и все это только потому, что Арчер был братом виконта Арчерфилда, небогатого шотландского пэра. Мне кажется, что, если бы Арчер не умер от ран, полученных им при схватке в Каддиборэме, он мог бы рассказать нам кое-что интересное о личности этого странного человека. Он говорил не раз: «Я вам расскажу нечто такое, что изменит ваше мнение о полковнике». Но преждевременная смерть помешала ему это сделать, и если, как это явствовало из некоторых его слов, он даже и чувствовал потребность признаться мне во всем, он умер раньше, чем успел осуществить свое намерение.

Пока стоят морозы, я хочу совершить еще одну прогулку по горам, и Дадли, который тоже неплохой ходок, пройдет вместе со мною часть пути. Мы расстанемся с ним на границе Камберленда. Он поедет потом в Мэрибон, где он живет в мансарде и работает, по его словам, «для денег». Ни у кого жизнь не делится так резко на две части, говорит он, как у художника, если только он предан своему делу;

половину жизни он проводит в том, что ищет сюжеты для своих картин, другую — в том, что копается в этих картинах с целью выставить что-нибудь на показ разным светским любителям, которые встречают их оскорбительным равнодушием или, что еще хуже, — самодовольной критикой. «В летнее время, — говорит он, — я свободен, как дикий индеец, и наслаждаюсь привольной жизнью среди величественных красот природы; а зимой и весной я вынужден прозябать в жалкой каморке на чердаке и всячески подделываться под настроения и вкусы людей, которые совершенно равнодушны к искусству и смотрят на меня как на каторжника». Я обещал познакомить его с тобой, Деласер. Тебе понравятся его картины, а ему — твое чисто швейцарское пристрастие к горам и горным потокам.

Расставшись с Дадли, я отправлюсь в Шотландию; это, говорят, очень недалеко — надо только пройти по пустынным равнинам на север Камберленда. Я и пойду как раз этой дорогой, чтобы полковник мог укрепиться на своих позициях, прежде чем начнется моя рекогносцировка. Прощай, Деласер, теперь я тебе, вероятно, напишу, только когда буду в Шотландии.

Глава XXII

Вперед, вперед, тропинка, беги,
И, песнь, лети на просторе.
Всегда у веселья быстрее шаги,
Плетется нехотя горе.

«Зимняя сказка»

Пусть читатель вообразит себе ясное, морозное ноябрьское утро и широкую равнину, а вдаль цепь огромных гор, среди которых выше всего поднимаются вершины Скиддо и Сэдлбэка. Пусть он взглянет на слепую тропинку, которая едва обозначена в траве следами пешеходов и заметна лишь издали своей сверкающей зеленью среди более темного фона, а под ногами совсем не видна. По такой вот тропинке идет

наш путник. Твердый шаг, прямая и свободная осанка военного хорошо сочетаются с его высоким ростом и прекрасным сложением. Одет он так просто, что по виду нельзя даже судить о его звании, и не знаешь, то ли это джентльмен, путешествующий для собственного удовольствия, то ли местный житель, для которого такая одежда привычна. В дорогу он взял с собой только самое необходимое. В карманах у него лежат два томика Шекспира, за плечами маленький узелок со сменой белья и в довершение всего — в руке дубовая палка. Таким вот мы и хотим представить его нашим читателям.

Этим утром Браун расстался со своим другом Дадли и пустился один путешествовать по Шотландии.

Первые несколько миль, которые он прошел, показались ему довольно длинными, оттого что с ним не было человека, с которым он так сдружился за последнее время. Но грусть эта вскоре уступила место столь обычному для него хорошему настроению, которое становилось все лучше и лучше от быстрой ходьбы и бодрящего морозного воздуха. Он шел и пошвыстывал, вовсе не оттого, что ему ни о чем не думалось, а просто чтобы как-то излить кипевшие в нем чувства. Он приветливо и весело здоровался с каждым встречным. Камберлендские крестьяне говорили: «Это славный малый, да благословит его господь!», и их обветренные лица расплывались в улыбку. Девушки по многу раз оглядывались на его могучую фигуру, которая была так под стать его простому и свободному обращению. Лохматый терьер, его неизменный спутник во всех прогулках, отличался таким же веселым нравом; он без устали носился по полю, а потом подбегал к хозяину и радостно кидался ему на грудь, как будто желая уверить его, что прогулка ему тоже очень по вкусу.

Доктор Джонсон считал, что едва ли не самое большое удовольствие в жизни — мчаться на почтовых, но тот, кто в молодые годы много ходил пешком и знает, как свободно и радостно чувствует себя неутомимый путник в новых для него местах и в хоро-

шую погоду, — тот, пожалуй, не согласится с мнением великого моралиста.

Выбрав именно этот необычный путь, ведущий в Шотландию через восточные горы Камберленда, Браун хотел осмотреть остатки знаменитого Римского вала, которые хорошо видны именно с этих высоких мест. Его образование было очень несовершенным и отрывочным, но ни занятия делами, ни увлечения молодости, ни тяжелые денежные обстоятельства не мешали ему постоянно, при каждом удобном случае пополнять свои знания.

«Так вот сн, Римский вал, — подумал он, взобравшись на возвышенность, откуда на большом протяжении был виден этот знаменитый памятник древних времен. — И велик же был этот народ, если даже на самом далеком рубеже своей земли он возвел такое грандиозное сооружение! Будущим векам, когда войны будут происходить совсем иначе, вряд ли удастся сохранить для потомков труды Вобана и Кохорна, в то время как эти удивительные памятники древности и тогда еще будут поражать всех своим величием! Укрепления, акведуки, театры, фонтаны, все общественные постройки римлян отличались теми же чертами, которые отличают их язык — мужественный, четкий и величавый, в то время как то, что строим сейчас мы, состоит как будто из одних только обломков созданного ими». Среди всех этих размышлений он почувствовал, что уже проголодался, и направился к находившемуся неподалеку постоялому двору, чтобы там закусить.

Постоялый двор — другого названия это строение, пожалуй, не заслуживало — расположился в глубине узенькой долины, по которой протекал горный ручеек. Над домом раскинул свои ветви высокий ясень, к нему прилегал глиняный сарай, служивший конюшней; там стояла оседланная лошадь и жевала овес. Крестьянские дома в этой части Камберленда столь же примитивны, как и в Шотландии. Внешний вид этого постоялого двора не особенно обнадеживал, хотя на хвастливой вывеске и было изображено, как пиво льется само собой из штофа в стакан, а внизу

какая-то иероглифическая надпись обещала «хороший прием и лошади и седоку». Но Брауну не приходилось быть особенно разборчивым, и он вошел в дом.

Первым, кто бросился ему в глаза на кухне, был высокий, здоровенный мужчина в длинном кафтане, видом своим походивший на фермера; его-то лошадь и стояла в сарае. Он уплетал большие куски холодной вареной говядины и время от времени поглядывал в окно, ест ли лошадь овес; перед ним рядом с блюдом говядины стояла большая кружка пива. Хозяйка дома что-то пекла. Огонь был разведен, по обычаю этой страны, на каменном очаге, а дым уходил в широкую вытяжную трубу, под которой стояли две скамейки. На одной из них сидела очень высокая женщина в красном плаще и надвинутой на брови шляпе, с виду похожая на нищую. Она курила короткую черную трубку.

Браун попросил дать ему что-нибудь поесть; хозяйка вытерла выпачканным в муке передником край стола, поставила перед путешественником деревянную тарелку с ножом и вилкой, молча указала ему на говядину и на сидевшего за ужином шотландского фермера и наконец налила ему большой коричневый кувшин домашнего пива.

Браун, не теряя времени, принялся за мясо и за пиво. Вначале оба сотрапезника были слишком заняты, чтобы обращать внимание друг на друга, и успевали только чуть улыбнуться, поднося кружку ко рту. Наконец, когда наш путешественник начал кормить своего маленького Шмеля, Динмонт — так звали шотландского фермера — решился заговорить с ним.

— Славный у вас пес, сэр, и, верно, хорошо дичь находит, ежели только вы его обучили, ведь все от этого зависит.

— Говоря по правде, — сказал Браун, — обучением его никто особенно не занимался, но гулять с ним я очень люблю.

— Эх, сэр, вот это вы напрасно! Человек ли, зверь ли, учить его все равно надо. У меня вот дома

шесть терьеров, да еще четыре ищейки, да и всяких других без счета. Есть у меня Старый Перец и Старая Горчица, и Молодой Перец и Молодая Горчица, и Маленький Перец и Маленькая Горчица, и я всех их повывучивал, сначала на крыс, потом на хорька, а потом уж на барсука и лисицу, так что теперь они никакого зверя не испугаются.

— Я уверен, что вы их хорошо воспитали, только странно, что у вас столько собак, а имена чуть ли не у всех одинаковые.

— Ну, это я так уж решил, чтобы породу отличить. Сам герцог присылал в Чарлиз-хоп за щенками от моих Перца и Горчицы; ей-богу, он присылал своего сторожа Тэма Хадзона, и мы с ним на лисицу и на хорьков охотились. Славно мы тогда потравили! Ну и ночка же была!

— У вас, видно, много дичи водится?

— Как же, хватает! Зайцев у меня сейчас больше, чем овец в стаде. А куропаток и диких уток — что голубей на голубятне. Скажите, вы вот на тетерева охотились когда-нибудь?

— Право, я даже никогда не видел тетерева, если не считать чучела в Кесвикском музее.

— Ну, конечно, об этом даже по вашему южному выговору догадаться можно. Просто диву даешься, но англичане, что сюда приезжают, верите ли, никогда почти тетерева не видали. А знаете что? Человек вы хороший; так вот, приезжайте-ка сюда ко мне — к Дэнди Динмонту в Чарлиз-хоп, и вы здесь на тетерева поохотитесь, да заодно и мяса его отведаете.

— Ну разумеется, ведь так и говорят: «Не отведаешь — не узнаешь». Что ж, как-нибудь выберу время и воспользуюсь вашим приглашением.

— Как-нибудь? А что, у вас сейчас времени, что ли, не найдется прямо туда поехать? Вы что, верхом?

— Нет, я иду пешком, и если эта славная лошадка ваша, то мне за вами не угнаться.

— Ясное дело, четырнадцать миль в час, как она, вы не сделаете. Но к ночи до Рикартон вы все-таки доберетесь, а там есть постоялый двор, да можно заночевать и у Джона Грива в Хьюхе... Там-то вас

примут хорошо. А я как раз собираюсь сейчас к нему заехать да выпить с ним по рюмочке. Я ему скажу, что вы зайдете... Или погодите... А ну-ка, хозяйка, может для этого господина найдется какая лошадка, а я ее завтра чуть свет с кем-нибудь пришлю?

Но оказалось, что лошадь была в поле и не очень-то просто было ее поймать.

— Ну, значит, ничего не поделаешь. Все равно завтра непременно приходите. А теперь, хозяйка, я поеду, чтобы засветло успеть в Лидсдейл, а то темно станет, а у ваших болот слава не больно хорошая.

— Как это вам не грех, мистер Динмонт, так о наших местах говорить. Уверяю вас, что после случая с купцом Саони Каллохом, тогда еще за него Раули Овердиза и Джока Пенни наказали, года два тому назад, на дорогах у нас тишь да гладь. В Бью-касле больше никто на такие дела не решится. Народ у нас теперь пошел честный.

— Как бы не так, он честным тогда будет, когда рак свистнет, а тот пока еще свистеть не собирается. Так вот, хозяйюшка, я объехал уже чуть ли не все графства Гэллоуэй и Дамфриз, был в Карлайле, а сейчас возвращаюсь с ярмарки в Стейншибэнке, и не очень-то приятно, если тебя почти у самого дома общисят. Поэтому надо ехать.

— Ты что, был в Дамфризе и в Гэллоуэе? — спросила старуха, курившая у очага, которая все это время молчала.

— Был, тетка, и порядочный кончик проехал.

— Тогда тебе, стало быть, известно такое место — Элленгауэн?

— Поместье Элленгауэн, это что мистеру Бертраму принадлежало? Знаю, как же. Третья неделя уж пойдет, как лэрд умер.

— Умер! — сказала старуха, уронила трубку, встала и зашагала по комнате. — Умер! А ты это наверно знаешь?

— Как же, — ответил Динмонт, — там ведь невеста что творилось. Ведь он в тот самый день умер, когда дом и все добро продавали. Тут и торги приостановили, и многие на этом деле просчитались.

Говорили, что он был последний из их рода, и жалели его: сейчас ведь в Шотландии людей благородных совсем мало осталось.

— Умер! — повторила старуха, в которой наши читатели уже, должно быть, узнали Мег Меррилиз. — Умер! Ну, раз так, счета наши окончены. Так ты говоришь, что и наследника после него не осталось?

— Ну да, из-за этого-то его имение и продали; а был бы наследник, так, говорят, продавать не дали бы.

— Продали! — вскрикнула цыганка. — А кто же это чужой посмел купить Элленгауэн? Кто же это так уверен, что мальчик не найдется и свое добро обратно не потребует; нет, кто посмел это сделать?

— Да вот... есть тут такой, писарь, что ли, Глоссин; сдается, его так зовут.

— Глоссин, Гибби Глоссин! Да я ведь его сколько на руках таскала, мать-то у него вроде меня была, и это он посмел купить имение Элленгауэн! Боже ты мой, чего только не творится на свете! Я лэрду действительно зла желала, но такого разорения — нет, у меня этого и в мыслях не было. О горе мне, о горе!

На минуту замолчав, она, однако, загородила рукой дорогу Динмонту, который сначала было затопился, но, видя, с каким интересом она его слушает, добродушно стал отвечать на ее расспросы.

— Его увидят, его услышат. И земля и воды о нем заговорят, хватит им молчать. А ты не знаешь, шериф здесь еще тот самый, что когда-то был?

— Нет, тому, говорят, дали новое место в Эдинбурге. Ну, прощай, милая, мне пора.

Старуха вышла вместе с ним во двор, и, пока он седлал коня, подтягивал подпругу, надевал узду и привязывал сумку, она забросала его вопросами относительно смерти Бертрама и об участии его дочери; но обо всем этом наш фермер мало что знал.

— А видал ты такое место, Дернклю называется? Это около мили от замка Элленгауэна.

— Да как же, видал, милая, лошина такая есть дикая, и там остатки жилья еще уцелели. Я был там, когда мы обходили землю с одним человеком: он хотел там ферму снять.

— А когда-то славное было место, — сказала Мег, разговаривая сама с собой. — А ты старую иву там видал? Ствол ее совсем пошатнулся, а корни глубоко в земле сидят; под ивой есть ручеек, там я, бывало, на скамеечке сидела и чулки вязала.

«Провалиться бы ей со своими ивами, и со скамеечками, и с Элленгауэном!» — подумал Динмонт.

— Знаешь что, любезная, пусти-ка, я поеду; на вот тебе шесть пенсов, лучше возьми да выпей рюмочку, чем тут прошлогодний снег вспоминать.

— Ну, спасибо тебе, добрый человек, теперь ты все растолковал и даже не спросил, зачем я это от тебя выпытывала. Только я дам тебе один совет, и ты ни о чем не спрашивай, а сделай, как я тебе говорю. Тиб Мамс поднесет тебе сейчас чарочку на прощание и спросит, какой дорогой ты ехать думаешь — верхом через Уилли или низом через Конскаутарт; назови ей любую, но смотри только, — тут она шепотом, но все же очень внятно сказала, — сам поезжай по другой.

Динмонт рассмеялся, обещал ей, что все в точности выполнит, и цыганка ушла.

— Так что же, вы последуете ее совету? — спросил Браун, внимательно слушавший весь их разговор.

— Конечно, нет; буду я еще слушать эту старую чертовку! Да лучше уж пусть Тиб Мамс знает, какой дорогой я поеду, чем она, хоть на Тиб тоже не очень-то можно положиться, и вам лучше бы тут не ночевать.

Минуту спустя Тиб, хозяйка дома, появилась со своей прощальной чаркой, которую Динмонт тут же осушил. Тогда она, как Мег его и предупреждала, спросила, какой дорогой он поедет — верхней или нижней. Он ответил, что нижней, и, распростившись с Брауном и снова напомнив ему, что самое позднее завтра он будет ждать его в Чарлиз-хопе, усакал крупной рысью.

Глава XXIII

На большой дороге того и жди, что зарежут или повесят.

«Зимняя сказка»

Браун не забыл предупреждений гостеприимного фермера. Но когда он стал расплачиваться с хозяйкой, он невольно еще раз взглянул на Мег Меррилиз. Всем своим обликом она так же походила на ведьму, как и тогда, когда мы впервые столкнулись с ней в замке Элленгауэн. Время посеребрило ее иссиня-черные волосы и избородило морщинами ее лицо дикарки, но у нее была все та же прямая осанка, и движения ее были по-прежнему быстры. Мы уже говорили, что эта женщина, как и вообще все цыганки, не занимаясь никаким трудом, вела, однако, жизнь весьма деятельную и до такой степени хорошо владела своим лицом и телом, что все ее позы были непринужденны и даже живописны. Теперь она стояла у окна, вытянувшись во весь свой необычный для женщины рост и откинув голову назад так, что широкополая шляпа, бросавшая тень на ее лицо, не мешала ей разглядывать Брауна. Она едва заметно вздрагивала от каждого его жеста и от каждого слова. Браун, со своей стороны, заметил, что, глядя на эту женщину, он испытывает какое-то волнение. «Что это, уж не снилась ли она мне когда-нибудь? — думал он. — Или эта странная женщина своим видом напоминает мне диковинные изваяния, которые я видел на индийских пагодах?»

В то время как он был погружен в раздумье, а хозяйка отсчитывала сдачу с полгиней, цыганка вдруг кинулась к Брауну и схватила его за руку. Ему пришлось в голову, что она хочет ему погадать, но она, по-видимому, думала совсем о другом.

— Скажи мне, скажи мне ради всего святого, как тебя зовут и откуда ты?

— Меня зовут Браун, мать, а приехал я из Ост-Индии.

— Из Ост-Индии, — со вздохом пробормотала она и тут же отпустила руку, — Нет, тогда это не то, что

я думала. А мне-то, старой дуре, везде все одно мерещится. Из Ост-Индии! Не то, не то... Но кто б ты ни был, лицо твое и голос напомнили мне былые дни. Прощай, да смотри поторопись, а если кого-нибудь из наших встретишь, проходи мимо и не связывайся с ними, и тогда никто тебя не тронет.

Получив сдачу, Браун сунул ей в руку шиллинг, простился с хозяйкой и быстрым шагом пошел по той же дороге, что и фермер, приглядываясь к следам лошадиных копыт.

Мег Меррилиз смотрела некоторое время ему вслед, а потом пробормотала: «Я должна еще раз его видеть, да и в Элленгауэне я должна побывать. Лэрд умер, — ну что же, смерть все покрывает, когда-то он был человеком добрым. Шериф отсюда уехал, и можно пока тут где-нибудь укрыться; нечего бояться, что в казенный дом упрячут. Хотелось бы мне взглянуть на Элленгауэн еще разок перед смертью».

Тем временем Браун быстрыми шагами шел на север по Камберлендским болотам. Он прошел мимо уединенного дома, куда, по-видимому, свернул ехавший впереди всадник. Следы лошадиных копыт уходили как раз в ту сторону. Чуть дальше видно было, как следы эти снова выходили на дорогу. «Должно быть, мистер Динмонт заезжал туда по делу или просто передохнуть. Неплохо было бы, — подумал Браун, — если бы добряк фермер дождался здесь меня: надо было бы еще немного порасспросить его о дороге, а то она становится все глуше и глуше».

Действительно, печать дикости и запустения лежала на всей местности, как будто природа нарочно хотела сделать ее границей между двумя враждующими народами. Горы здесь не очень высокие, и скал нет совсем, кругом только низкий кустарник да топи; хижины везде жалкие и бедные и далеко отстоят друг от друга. Возле них земля обычно только чуть-чуть обработана, и всюду два-три стреноженных жеребенка наводят на мысль, что главный источник дохода фермера — коневодство. Народ здесь более грубый и менее гостеприимный, чем где бы то ни было в Камберленде; таковы уж их при-

вычки, да к тому же население здесь сильно перемешалось с бродягами и преступниками, которые в этих глухих краях укрылись в свое время от правосудия. Жители этих мест еще в стародавние времена встречали такое подозрительное и неприязненное отношение со стороны своих более цивилизованных соседей, что граждане Ньюкасла вынесли даже постановление, запрещающее городским ремесленникам брать к себе в качестве подмастерьев уроженцев некоторых из этих долин.

Есть хорошая поговорка: «Дай собаке дурную кличку — и пропала собака». К этому можно прибавить, что если какому-нибудь человеку или даже целому народу дадут дурное прозвище, он в конце концов его оправдает. Об этом Браун слышал и раньше, и поэтому разговоры хозяйки, Динмонта и цыганки навели его на большие подозрения. Правда, от природы он был человеком не робкого десятка, к тому же при нем не было никаких ценностей, и он не сомневался, что пройдет весь путь до наступления темноты. Но тут он ошибся. Дорога оказалась длиннее, чем он мог предполагать, и, едва только он вышел на огромную болотистую низину, как стало темнеть.

Осторожным, размеренным шагом Браун шел по тропинке, которая то ныряла вдруг между кочками в поросшую мхом трясику, то перебегала через узенькие, но глубокие овраги, наполненные грязной жижей, то поднималась вверх по осыпям гравия или камня, которые принес сюда горный поток, затопивший во время разлива всю эту низину. Он стал раздумывать о том, можно ли проехать по этой тропинке верхом; однако следы копыт все еще были видны, ему даже показалось, что он услышал где-то вдалеке топот лошади. Уверенный в том, что ему будет легче пробираться по этому болоту, чем Динмонту, он решил прибавить шагу, чтобы поскорее нагнать его и порасспросить о дороге. В это мгновение маленький Шмель бросился вперед и отчаянно залаял.

Браун ускорил шаг и, выйдя на вершину небольшого холма, сразу увидел, что взволновало собаку.

Внизу, в расщелине, на расстоянии ружейного выстрела от него, человек, в котором он сразу же узнал Динмонта, отчаянно боролся с двумя неизвестными. Его уже стащили с седла, и он, пеший, защищался, как только мог, рукоятью своего тяжелого бича. Браун поспешил кинуться ему на помощь, но, прежде чем он успел приблизиться, Динмонт уже лежал на земле, и один из разбойников добивал его сильными ударами по голове. Другой бросился навстречу Брауну и стал звать к себе товарища; он кричал ему, что «с того хватит», видимо решив, что с Динмонтом они уже окончательно разделились. Один из них был вооружен тесаком, а другой — дубиной. Тропинка была узкая, и Браун подумал: «Огнестрельного оружия у них нет — значит, я с ними справлюсь». С дикими угрозами негодяи накинулись на Брауна. Вскоре, однако, они убедились, что их новый противник и храбр и силен, и после нескольких ответных ударов, видя, что справиться с ним не удастся, один из них сказал:

— Убирайся отсюда ко всем чертям, нам с тобой говорить не о чем.

Но Браун решил, что ему нельзя оставить несчастного Динмонта, которого они легко могли ограбить, а может быть, и убить, и борьба возобновилась. Неожиданно Динмонт пришел в себя, вскочил на ноги, схватил свой бич и поспешил на поле боя. А так как фермер был сильным противником, даже когда, застигнутый врасплох, дрался с врагами один, разбойники не стали дожидаться, пока он придет на помощь человеку, с которым им и без этого было не сладить, и кинулись бежать со всех ног. За ними понесся Шмель, который все это время не терялся, кусал врага за ноги и то и дело очень ловко ввязывался в драку.

— Вот это здорово. Теперь я вижу, что собака ваша может и на дичь ходить! — сказал наш добрый фермер, когда он, весь окровавленный, подошел к Брауну и опознал своего спасителя и его маленького помощника.

— Надеюсь, вы не очень опасно ранены?

— Ни черта, башка у меня не такое еще может выдержать. Их-то благодарить мне не за что, а вот вам я премного благодарен. Но теперь, голубчик, помогите мне лошадь поймать. Мы сядем на нее вдвоем и поскачем сейчас во весь дух, пока их шайка не нагрянула, — остальные ведь тоже где-то тут недалеко.

По счастью, лошадь была сразу поймана, но Браун отказался ехать верхом, боясь, чтобы ей не было тяжело.

— Да полноте, — возразил Динмонт. — Дампл мог бы шесть человек увезти, была бы у него спина подлиннее. Но только, ради бога, скорее, никак там вон уже кто-то едет.

Браун рассудил, что если человек пять или шесть разбойников скачут прямо на них через болото, то церемониться уже нечего; он вскочил на лошадь епсоуре,¹ и эта резвая маленькая лошадка понесла двух рослых, здоровенных мужчин, как двух шестилетних ребят.

Динмонт, который отлично знал все тропинки в этих лесах, прищипоривал лошадь и очень искусно выбирал лучшую дорогу, в чем ему немало помогала и сама лошадка, которая при опасных переходах умела всегда выбрать самое удобное место переправы. Но дорога была настолько неровной и им так часто приходилось объезжать разные препятствия, что они не могли особенно далеко уйти от погони.

— Не беда, — сказал неустрашимый шотландец своему спутнику, — только бы добраться до Уитершинской топи; оттуда идет хорошая дорога, и уж тогда мы им покажем настоящую езду.

Вскоре они действительно добрались до этого места; это была заросшая ярко-зеленой ряской канавка, по которой еле сочилась вода; Динмонт направил лошадь в ту сторону, где течение было как будто быстрее, а дно тверже. Но Дампл рванулся назад и опустил голову, словно для того, чтобы поближе

¹ Позади седла (франц.).

присмотреться к трясине, выпрямил передние ноги и остановился как вкопанный.

— Может быть, нам лучше сойти, — предложил Браун, — и пусть он сам переходит, или ударить его, что ли, хлыстом, чтобы он сразу через трясину перескочил?

— Ну нет, — ответил его спутник. — К Дамплу никогда не надо силу применять, не каждый человек так хорошо сообразит, как он. — С этими словами он опустил поводья.

— А ну-ка ступай, милый, ищи сам дорогу, а мы поглядим, куда ты нас повезешь.

Дампл, предоставленный самому себе, быстро побегал вдоль болота, к месту, где, как казалось Брауну, переходить было еще труднее. Но, двигаясь то ли чутьем, то ли привычкой, лошадь выбрала именно этот путь и, спустившись в канаву, без особого труда перебралась на другой берег.

— Ну вот и хорошо, что из болота вылезли, — сказал Динмонт. — Лошадям тут легче конюшню найти, чем людям пристанище; теперь вот мы уже выехали на Мейденуэй.

И в самом деле они тут же очутились на неровной мощеной дороге. Это были остатки римской дороги, проложенной по этим пустынным местам на север. Тут они уже могли ехать со скоростью девяносто миль в час. Дампл даже не стал отдыхать, он всего-навсего сменил галоп на рысь.

— Я мог бы его и побыстрее пустить, — сказал Динмонт, — но на нем такие два верзилы сидят, что коня жалко: ведь такого другого больше на всей Стейншибэнкской ярмарке не найти.

Браун тоже считал, что лошадь надо пожалеть, и добавил, что, раз они уже находятся в безопасности, мистеру Динмонту следовало бы повязать голову платком, чтобы рана не разболелась от холодного воздуха.

— Совсем это ни к чему, — заявил отважный фермер. — Пускай кровь на ветру присохнет, тогда и пластыря не понадобится.

Брауну за время военной службы не раз приходилось встречать тяжелораненых. Но он ни разу не видел, чтобы кто-нибудь так стойко переносил столь тяжелые раны.

— Не буду же я нюни распускать из-за царапины на голове. Через пять минут мы уже на шотландской земле будем, и вы останетесь у меня в Чарлиз-хопе: это дело решенное.

Браун охотно принял это гостеприимное приглашение. Было уже совсем темно, когда впереди вдруг блеснула маленькая речка, извивавшаяся среди лугов. Горы были здесь зеленее и круче, чем те, которыми недавно проходил Браун, и спускались почти прямо к реке. Они не поражали путника ни высотой, ни своим живописным видом: склоны их были обнажены; не было и скалистых утесов; на всем лежала печать тихого сельского уединения. Не видно было ни плетней, ни дорог, почти не было и пашен. Казалось, что такую вот землю мог избрать библейский пастырь, чтобы пасти здесь свои стада. Попадавшиеся тут и там остатки разрушенных крепостей говорили о том, что некогда здесь жили люди, совсем не похожие на теперешних обитателей этих мест. То были отважные разбойники, подвиги которых во время войн Англии с Шотландией остались в памяти у потомков.

Спустившись по дороге к хорошо знакомому броду, Дампл перешел узенькую речку, прибавил шагу и, пробежав около мили по берегу быстрой рысью, остановился возле нескольких низеньких домиков, крытых соломой. Домики эти, обращенные друг к другу углами, строились, очевидно, как попало. Это была ферма Чарлиз-хоп, или «городок», как ее здесь называли. Наших путников встретил отчаянный лай трех поколений Перцев и Горчиц и всех их бесчисленных родичей с неизвестными именами. Прикрикнув на них, фермер призвал всех к порядку. Голос его узнали; полуодетая скотница отворила дверь и тут же захлопнула ее у них перед носом, для того чтобы доставить себе удовольствие кричать на весь дом: «Хозяйка, хозяйка! Хозяин приехал, и с ним

еще господин какой-то!» Дампл, отпущенный на волю, сам побежал вперед и остановился перед дверью конюшни. Там он начал бить копытом и тихо заржал; в ответ на это из конюшни тоже раздалось ржание. Среди всей этой суматохи Браун еле мог уберечь Шмеля от дворовых собак; нравы этих четвероногих больше соответствовали их кличкам, чем добродушию их хозяина, и к приезжему они отнеслись весьма неприветливо.

Через несколько мгновений здоровенный детина заводил уже Дампла в конюшню, а миссис Динмонт, довольно красивая, полная женщина, с непритворной радостью встречала своего супруга.

— Долгонько же ты проездил, родной мой! — воскликнула она.

Глава XXIV

Поэтами наш Лиддел до сих пор
Ни разу не воспет; лишь пастухи
Влюбленные поют о нем. А нет ведь
Нигде у нас прозрачнее реки.

«Искусство сохранять здоровье»

Нынешние фермеры южной Шотландии — люди гораздо менее грубые, чем их отцы, и нравы, которые я сейчас собираюсь описывать, или вовсе исчезли, или в значительной степени изменились. Не утратив своей сельской простоты, шотландцы приобрели теперь знания и привычки, которых не было у прежнего поколения. Это относится не только к сельскому хозяйству, но и к самому быту. Дома стали более удобными, образ жизни больше под стать тому, который мы встречаем в цивилизованном мире, и самая большая роскошь — просвещение за последние тридцать лет широко распространилось в этом горном крае. Непробудное пьянство, от которого раньше страдало его население, теперь почти сошло на нет, а удивительное гостеприимство шотландцев сохранилось таким, как было; оно только сделалось несколько более изысканным и не переходит уже границ благоразумия.

— Да что это на тебя нашло, — сказал Дэнди Динмонт, освобождаясь из объятий своей супруги, очень, однако, осторожно и глядя на нее с большой нежностью. — Что это ты, Эйли, неужли ты не видишь, что я тебе гостя привез?

Эйли повернулась к Брауну и начала извиняться.

— Я так обрадовалась, что муженек приехал... — сказала она. — Но, боже милостивый, что это такое с вами обоими?

Они уже прошли в комнаты, и там при свечке было видно, что одежда и у того и у другого была в крови.

— Ты что, Дэнди, опять с каким-нибудь лошадином из Бьюкасла подрался? Послушай, ты ведь не один, у тебя и жена и дети есть, как же ты не понимаешь, что тебя убить могут?

На глазах у нее выступили слезы.

— Ну ладно, ладно, женушка! — сказал Динмонт, громко и не слишком церемонно ее целуя. — Брось ты, пожалуйста, все это чепуха, вот господин тебе тоже скажет, что, как раз когда я от Лури Лаутера вышел, а мы тут с ним выпили немножко, я двинулся дальше и радовался, что скоро буду дома. А из чащи вдруг какие-то два стервеца как выскочат да как повалят меня... И так меня всего исколошматили, что я не успел даже и за хлыст взяться; слово тебе даю, женушка, ежели бы этот милый человек не подоспел вовремя, на мою долю побольше бы тумачков пришлось; да и денег бы столько пропало, что и не назвать потом. Вот ты теперь и должна благодарить господа бога да его. — Сказав это, он вытащил засаленный бумажник и велел жене его спрятать.

— Да благословит вас господь бог за вашу доброту. Чем же мы-то можем отблагодарить? Приютить, что ли, и накормить? Но ведь мы самому последнему нищему и то бы не отказали; разве только... — Тут она нерешительно взглянула на бумажник, как будто робко на что-то намекая.

Браун увидел и сумел в должной мере оценить это простодушие, смешанное с чувством горячей благодарности и выраженное столь непосредственно, но вместе с тем деликатно.

Он знал, что в своей бедной одежде, которая была к тому же разодрана и выпачкана в крови, он мог быть принят за нищего и вызвать только жалость. Он поспешил сказать, что его зовут Браун, что он — капитан кавалерийского полка и что путешествует он для собственного удовольствия пешком, считая, что это и удобнее и дешевле. Он попросил гостеприимную хозяйку поглядеть на раны Динмонта, заметив, что тот никак не согласился показать их ему. Но в миссис Динмонт раны ее супруга вызывали меньше удивления, чем приезд в их дом драгунского капитана. Поэтому она прежде всего взглянула на не совсем чистую скатерть, подумала с минуту о том, что она подаст на ужин, и потом уже похлопала мужа по плечу и велела ему сесть, приговаривая при этом, что он болван, который не только сам вечно в какую-нибудь историю впутается, но еще и других за собой потянет.

Когда Дэнди Динмонт, подпрыгнув несколько раз и проплясав шотландский танец, чтобы посмеяться над женой и ее напрасным беспокойством, согласился выставить ей на обозрение свою круглую, как пушечное ядро, косматую черную голову, Браун подумал, что такая рана, наверно, вызвала бы серьезнейшие опасения у полкового хирурга. Миссис Динмонт, однако, оказалась сведущей в хирургии — она обрезала ножницами пряди волос с запекшимися на них сгустками крови, чтобы они не мешали ей промыть рану, и приложила к больным местам куски корпии, пропитанные особой мазью, которую в этих местах считают прекрасным средством для заживления ран (очень частые происшествия на ярмарках позволили достаточно хорошо испытать ее целебные свойства). Потом она, невзирая на сопротивление своего пациента, забинтовала ему голову, а поверх всего надела ночной колпак, чтобы повязка не съехала. Другие раны, на лбу и на плечах, она промыла водой, к которой Динмонт прежде всего приложился сам. После этого простодушная миссис Динмонт любезно предложила свою помощь Брауну.

Он ответил, что ему нет надобности ее утруждать, и попросил только принести ему умывальный таз и полотенце.

— Ах, мне об этом надо бы раньше подумать, — сказала она, — да я и впрямь подумала, только двери не смела открыть из-за ребятишек: очень уж они по отцу соскучились.

Так вот что значили шум и писк, поднявшиеся за дверью и несколько озадачившие Брауна, тем более что хозяйка, услышав этот шум, сразу же заперла дверь на задвижку.

Но едва только она теперь открыла эту дверь, чтобы пойти за тазом и полотенцем (ей ведь и в голову не могло прийти, что гостя следовало бы проводить для этого в другое помещение), как целая ватага белокурых детишек ввалилась в комнату: одни явились из конюшни, где они только что разглядывали Дампла и потчевали его оставшимися от завтрака лепешками, другие прибежали из кухни, где старуха Элспет рассказывала им сказки и пела песни, а самый маленький выскочил почти нагишом из постели и с криком кинулся к папочке узнать, что он привез ему с разных ярмарок, на которых ему довелось побывать во время своей поездки. Наш рыцарь проломленной головы сначала обнял и расцеловалих всех по очереди, потом начал раздавать им свистки, дудочки и пряники, а когда от радости они стали орать еще громче, он заявил своему гостю:

— Это жена во всем виновата, капитан, при ней они что хотят, то и делают.

— Я, да что ты! — сказала Эйли, которая в эту минуту вошла с тазом и кувшином в руках. — Да разве мне с ними совладать! Мне их, бедняжек, даже и занять-то нечем.

Динмонт взялся тогда за них сам; ласками, угрозами и пинками он выпроводил из комнаты всю ораву, за исключением самых старших — мальчика и девочки, которые, как он выразился, умеют вести себя «прилично». По той же причине, но уже без всяких церемоний, были выставлены из комнаты и собаки, за исключением почтенных патриархов — Перца

и Горчицы, в которых жизненный опыт и частые наказания хлыстом вселили такой дух безропотного гостеприимства, что после непродолжительных переговоров и объяснений на своем ворчливом языке они позволили маленькому Шмелю, до этого из соображений безопасности укрывавшемуся под стулом своего хозяина, улечься вместе с ними на невыделанную баранью шкуру, заменявшую в доме бристольский ковер.

Тем временем хозяйка отдала уже распоряжения, решившие участь двух кур, которые, ввиду того что приготовить их иным способом было уже некогда, вскоре задымились на рашпере. Большой кусок холодной ветчины, яйца, масло, булочки, овсяные лепешки завершили ужин, приправленный превосходным домашним пивом и бутылкой водки.

Ни один солдат не отказался бы от такого ужина после тяжелого дневного перехода и участия в схватке. Браун не заставил себя просить. Здоровая деревенская девка, со щеками такими же красными, как и ленты в ее волосах, убирала со стола. Хозяйка сама помогла ей и велела принести сахар и горячую воду, о чем та совсем было забыла, заглядевшись на «настоящего живого капитана». Браун тем временем воспользовался случаем и спросил хозяина, не жалеет ли он о том, что не послушался совета цыганки.

— Кто знает? — ответил тот. — Это все хитрые черти; может, я от одной бы шайки ушел, да на другую наскочил. А как придет старуха, надо будет дать ей на зиму бутылку водки да фунт табаку. Это хитрые черти; мой покойный отец всегда говорил: «Ты с ними плох, так и они с тобой». Ну, одним словом, среди них всякие попадают.

Разговор этот послужил поводом поставить на стол новый графин с «веселухой», как Динмонт называл на своем простом, деревенском языке смесь — водку, разбавленную водой.

Браун на этот раз, однако, самым решительным образом отказался, сославшись на усталость и плохое самочувствие после схватки — он хорошо понимал, насколько бесполезно было бы доказывать Динмонту,

что злоупотребление водкой дурно повлияет на его раны. Брауна отвели в крохотную комнатку, где ему приготовили отличную кровать, а белизна простыней позволяла верить словам хозяйки, что «такого белья нигде не найти, — ведь оно стирано в ключевой воде и побелено в поле на ромашках, и катали его Нелли и она сама, и ни одна женщина, будь она хоть сама королева, не сумеет все это сделать лучше».

Простыни были действительно белы как снег и, должно быть, сохранили еще аромат цветов, а маленький Шмель, лизнув на прощанье своему хозяину руку, улегся у него в ногах, и путешественник наш тут же заснул сладким сном.

Глава XXV

На хищника вперед смелее, бритты!
Пусть ваша страсть нещадно поразит
Овечьих стад губителя ночного,
И пусть в его убежищах скалистых,
На кручах рог охоты протрубит!

Томсон, «Времена года»

На другой день Браун поднялся рано и вышел посмотреть хозяйство своего нового приятеля. Вокруг дома все выглядело запущенным и диким.

У сада был жалкий вид: никто даже и не старался осушить или возделывать землю, нигде не было и намека на ту чистоту, которая всегда так радует глаз на английской ферме. Но совершенно очевидно было, что все это происходит от одной только грубости и невежества, а никак не от бедности, которой так часто сопутствует грязь. На ферме был коровник, и в нем немало хороших дойных коров, загон с десятком породистых быков, конюшня с двумя упряжками лошадей; работники трудились усердно и производили впечатление людей, довольных своей участью. Словом, при всей неряшливости, с которой велось хозяйство, видно было, что это ферма богатая. Дом стоял на отлогом берегу реки; таким образом,

обитатели его легко могли избавляться от нечистот, не отравляя ими окружающий воздух. Неподалеку собрались и все ребяташки; они играли, строили домики из земли вокруг старого, обросшего повиликой дуба, который прозвали «приютом Чарлза», связывая его с разбойником, жившим здесь в незапамятные времена. Между фермой и горным пастбищем лежала глубокая болотистая низина. Когда-то она защищала небольшую крепость; от крепости этой не осталось и следа, но говорили, что только что названный нами герой — гроза тех мест — жил именно там. Браун попробовал было завести знакомство с детьми, но эти маленькие плуты ускользали от него, как шарики ртути; только двое старших, отбежав в сторону, остановились и с любопытством стали его разглядывать. Тогда наш путешественник решил подняться на гору и стал переходить через болото по небольшим и не очень устойчивым камням. Только он начал подниматься, как увидел, что кто-то идет ему навстречу.

Браун сразу же узнал своего почтенного хозяина, хотя вместо охотничьей куртки на нем был серый пастушеский плед, а его забинтованную голову вместо шляпы украшала более удобная мягкая шапка на кошащем меху. Когда он вынырнул из тумана, Браун, привыкший судить о людях по их мускулам и жилам, с восхищением посмотрел на его высокую, широкоплечую фигуру, любуясь его размеренным, твердым шагом. Динмонт мысленно платил Брауну тем же — теперь он тоже мог лучше разглядеть его атлетическое телосложение. Поздоровавшись, гость спросил хозяина, не дают ли себя чувствовать его вчерашние раны.

— Да я уже про них и позабыл, — ответил наш стойкий шотландец, — а сейчас, на свежую голову, я вот о чем подумал: будь у нас с вами по хорошей дубине, мы бы вдвоем и шестерых таких молодцов уложили.

— Однако не лучше ли вам было бы передохнуть немного, после того как вас так контузили.

— Что, сконфузили? — со смехом отвечал фермер. — Да вы шутите, капитан, разве меня кто может

skonфyзить! Тут я раз как-то с самой вершины Кристенберийской скалы свалился, а потом взял и с собаками на лисицу пошел. Вот такая штука, та действительно меня сконфyзить могла. Нет, меня теперь ничто не сконфyзит, разве вот только выпью когда лишнего. Да что это я, мне же надо было все стадо сегодня обойти, ведь наших пастухов только оставь без присмотра, как им не до овец будет, — у них ведь все игры, да свидания, да ярмарки на уме. Кстати, я встретил Тэма О'Тодшо, а с ним еще кое-кого из приятелей там, на берегу, ну так вот сегодня они на лису собираются. Может, и вы им компанию составите? Я вам уступлю Дампла, а себе какую-нибудь кобылу крепенькую выберу.

— Боюсь, что сегодня мне придется уехать, мистер Динмонт, — ответил Браун.

— Ну, это уж положим! — воскликнул фермер. — Недельки через две — другое дело, раньше мы с вами не расстанемся. Нет, нет, таких друзей, как вы, здесь, в Бьюкасле, не каждый день встретишь.

Брауну некуда было особенно торопиться, и он охотно принял радушное приглашение остаться на недельку в Чарлиз-хопе.

Когда они вернулись домой, хозяйка уже председательствовала за сытным завтраком. Узнав, что они собираются травить лисицу, она отнеслась к этому не слишком сочувственно, не выказав, однако, ни удивления, ни тревоги.

— Ты все такой же, Дэнди, никак не образумишься до тех пор, видно, пока где-нибудь ноги не протянешь, — сказала она.

— Ладно, женушка, — ответил Дэнди. — Ты знаешь, что в конце концов всегда все обойдется.

Тут он стал торопить Брауна с завтраком, говоря, что мороз спал и собаки сейчас легче зверя учуют.

Итак, они отправились к Отерскопскому обрыву; фермер ехал впереди. Скоро они выехали из небольшой долины и очутились среди гор, крутых, но не обрывистых. Во многих местах горные потоки прорыли себе узкие, но глубокие русла, по которым

зимой или после сильных дождей яростно устремлялись их воды. Волокнистые клочья утреннего тумана плыли по вершинам гор; начиналась оттепель, и уже пошел дождь. Сквозь эту полупрозрачную завесу повсюду видны были горные ручьи и потоки, серебряными нитями спускавшиеся с вершин. Пробираясь узенькими овечьими тропинками по самому краю крутых склонов, на которых Динмонт чувствовал себя как дома, они наконец пришли к назначенному месту и увидели, что туда же собралось немало людей, конных и пеших. Браун все никак не мог понять, каким это образом люди охотятся на лисицу в топах, где даже привычная лошадь, и та еле проберется, и где, сделав неверный шаг, рискуешь или попасть в болото, или свалиться с обрыва. Когда он достиг самого места травли, ему пришлось удивляться не меньше.

Они постепенно поднялись очень высоко и находились теперь на гребне горы, нависшей над очень глубоким, но необычайно узким ущельем. Сюда-то и собрались охотники. Снаряжение их неминуемо возмутило бы любого из членов Пайкли Ханта; они готовились не только наслаждаться охотой, но и одновременно уничтожить вредного хищника. В этих теснинах несчастному лису некуда было податься, и ему приходилось труднее, чем на открытом месте, где его преследуют не иначе как по всем правилам охоты. Впрочем, неприступность самого логова и характер окружающей местности вознаграждали нашего лиса за недостаток рыцарского чувства в сердцах его преследователей. По краям ущелья земля была в расселинах; выветрившиеся скалы отвесно спускались вниз, где струился извилистый ручеек. Над этими теснинами, среди кустов дрока и куч валежника, и расположились охотники, как конные, так и пешие. Чуть ли не каждый фермер захватил с собой по меньшей мере одну свору больших и свирепых борзых; эта славная порода собак раньше специально выращивалась в Шотландии для охоты на красного зверя, но потом почти совершенно выродилась, смешавшись с обыкновенными овчарками.

Ловчий (человек, занимающий в провинции особую должность, — ему платят мукой, и он еще получает денежное вознаграждение за каждую убитую лисицу) спустился уже вниз в ущелье, и крики его смешивались с лаем нескольких свор собак. Среди них были и терьеры, включая все потомство Перца и Горчицы, которым распоряжался пастух. Полупородистые собаки, разношерстные дворняжки и даже щенки присоединили свои голоса к общему хору. По краям ущелья все охотники держали своих борзых наготове, чтобы сразу же спустить их, как только лисицу выгонят из ее логова в глубине ущелья.

Во всей этой картине, которая завязтому охотнику показалась бы ни с чем не сообразной, было что-то захватывающее. Человеческие фигуры, мелькавшие на гребне, на фоне голубого неба, казалось, летали по воздуху. Борзые никак не могли дожидаться начала травли и, разъяренные лаем собак, подававших голос снизу из долины, метались во все стороны и натягивали своры. Внизу картина была столь же необычайной. Там, в долине, легкий туман еще не совсем рассеялся, и охотники, суетившиеся внизу, были окутаны его полупрозрачной дымкой. Иногда порыв ветра разгонял туман, и можно было разглядеть, как в глубине дикого и пустынного ущелья змеится голубенькая речушка. В эти минуты видно было, как пастухи бесстрашно перепрыгивали с одной скалы на другую и натравливали собак. До ущелья было так далеко, что люди там казались пигмеями. Когда все внизу заволакивалось туманом, только по отдельным возгласам охотников да по лаю собак можно было догадаться, что делается там, и, казалось, звуки доносятся из недр земли. Лисицу гоняли с места на место, и наконец, когда она бывала вынуждена уйти из ущелья в поисках более надежного убежища, охотники, следившие за ней с горы, спускали борзых, таких же жестоких и смелых, как лиса, но превосходивших ее в быстроте бега, и хищнику приходил конец.

Таким образом, попирая все обычные неписанные законы охоты, охотники затравили в это знаменательное утро четырех лисиц, к общей радости как

двуногих, так и четвероногих, и вряд ли эта радость была бы большей, если бы охота проводилась по всем правилам. Даже Браун, который видел в Индии княжеские охоты и ездил с набобом Аркота на слоне охотиться на тигра, признался, что получил в это утро большое удовольствие. Когда охота закончилась, большинство ее участников отправилось обедать в Чарлиз-хоп, как и полагалось в этой гостеприимной стране.

Возвращаясь домой, Браун ехал некоторое время рядом с ловчим. Он задал ему кое-какие вопросы об его искусстве, но ловчий, казалось, боялся встретить его взгляд и стремился поскорее от него отделаться; причины этого Браун никак не мог понять. Ловчий был человек худощавый, смуглый, энергичный, и внешность его хорошо подходила к его опасной профессии. Но в нем не было ничего от веселого охотника народных сказок; он все время казался чем-то смущенным и опускал глаза, едва только замечал на себе пристальный взгляд. Сказав несколько малозначащих слов о том, что охота прошла удачно, Браун сунул ловчему в руку серебряную монету и поехал вперед с Динмонтом. Их ждал дома накрытый стол, на котором красовались жареная баранина и разная домашняя птица, а недостаточное знание правил света вполне искупалось бескорыстным радушием хозяев.

Глава XXVI

И Эльоты и Армстронги явились.
Компания на славу собралась!

«Баллада о Джонни Армстронге»

Следующие два дня прошли в самых обыкновенных деревенских забавах — в охоте и верховой езде. Рассказ о них вряд ли интересен для нашего читателя, поэтому мы сразу перейдем к описанию промысла, особенно типичного для Шотландии, — лова семги. Рыбу колют копьем с несколькими остриями, своего рода остройгой, или трезубцем на длинном

шесте, который называют здесь уэйстером;¹ такой способ лова широко распространен в устье Эска и на других реках Шотландии, где водится семга. Ловом семги занимаются днем и ночью, но чаще всего именно ночью, когда рыбу ищут при свете факелов или зажигая на железных решетках куски просмоленного дерева; вспыхивая, они освещают воду хоть на незначительном расстоянии, но все же довольно ярко. В этот вечер главная партия рыболовов поплыла в старой, рассохшейся лодке в направлении мельничной плотины, где река полноводней и шире; остальные, подобно участникам древних вакханалий, бегали по берегу, размахивая факелами и копьями и преследуя семгу, то уходившую вверх по реке, то укрывавшуюся от них где-нибудь под корнями деревьев, под камнями и скалами. Рыболовы, плывшие в лодке, находили ее по малейшим признакам; достаточно было, чтобы где-то поблизости блеснул плавник или шелонулась поверхность воды, и они уже знали, куда направить свое оружие.

Людям привычным такая погоня за рыбой кажется увлекательной, но Браун, не научившийся еще как следует владеть острой, очень скоро устал от напрасных усилий, которые приводили только к тому, что копьё его ударялось о камни речного дна и ни разу даже не задело рыбы.

К тому же, хоть он и скрывал это от окружающих, ему было неприятно видеть, как прямо перед ним в запачканной кровью лодке билась и корчилась издыхающая рыба. Поэтому он попросил, чтоб его высадили на берег, и оттуда, с вершины скалистого гребня, смотрел на лов уже с большим удовольствием. Красный отблеск заката ложился на живописные берега, вдоль которых скользила лодка, и, следя за ним, Браун не раз вспоминал своего друга, художника Дадли. Но вот сияние заката стало меркнуть, и в воде осталось одно-единственное светлое пятнышко;

¹ Или лейстером. Этим длинным копьем бьют рыбу. Есть еще другое, покороче, которое опытные рыболовы бросают в рыбу и очень ловко в нее вонзают. (*Прим. автора.*)

казалось, что это один из тех огоньков, которые, по преданию, зажигают водяные на том месте, где они заманили жертву на дно. Потом огонек этот начинал приближаться, становясь все шире и ярче, озаряя берег, деревья, скалы, окрашивал их в густой багрянец заходящих лучей и вдруг исчезал, и все погружалось в полную темноту или же словно растворялось в рассеянном свете луны. Зарево освещало и человеческие фигуры в лодке: одни замахивались копьями на свою добычу, другие стояли прямо и неподвижно. Яркие отблески пламени придавали этим будто отлитым из бронзы фигурам какой-то зловещий вид, словно это были выходцы из ада.

Налюбовавшись вволю игрой света и тени, Браун побрел на ферму; дорогой он еще долго глядел на рыболовов; они сходились обыкновенно по двое или по трое; один зажигал факел, а другие держали наготове остроги, чтобы при свете сразу же воткнуть их в рыбу. Увидав, как один из рыболовов сражался с очень крупной рыбой, которую он подцепил копьём, но никак не мог вытащить из воды, Браун подошел к самому берегу, чтобы посмотреть, чем кончится это единоборство. В человеке, державшем в эту минуту факел, Браун узнал того самого ловчего, чье странное поведение удивило его на охоте.

— Идите-ка сюда, сударь, подойдите поближе; гляньте, рыба-то какая, настоящий боров! — кричали те, кто заметил Брауна.

— Крепче острогу держи! Что, в тебе силы, что ли, нет? — кричали рыбаку с берега то с радостью, то с досадой, а он стоял по пояс в воде, среди звеневших льдинок, борясь одновременно и с могучей рыбой и с бурным течением и не зная, как окончательно овладеть добычей. Подойдя к берегу и узнав при ярко вспыхнувшем свете смуглое лицо ловчего, Браун крикнул: — Эй, приятель, факел получше держи!

Но едва только ловчий узнал его голос или просто догадался, что это был Браун, он, вместо того чтобы поднести факел поближе, будто нечаянно уронил его в воду.

— Бес тебя, видно, полутал, Габриель, — крикнул

рыболов, в то время как обожженные куски дерева поплыли по воде. Сначала они тлели так, что видны были искры, а потом уже только дымились и гасли один за другим. — Не иначе как бес в тебя засел! Что я теперь тут в темени такой буду делать? Эх, жалость-то, вытащить бы, — знатная больно штука-то была, таких у нас на крючках еще не висело.

Тут несколько человек кинулись в воду, чтобы помочь ему, и рыба, в которой оказалось около тридцати фунтов весу, была вытащена на берег.

Поведение ловчего крайне удивило Брауна; лицо его было ему незнакомо, и он не мог понять, почему этот человек так решительно избегал встречи с ним, а теперь это уже не подлежало сомнению. Неужели это один из тех двух разбойников, с которыми они столкнулись несколько дней тому назад? Это было, пожалуй, довольно вероятно, но свое подозрение Браун ничем не мог подкрепить. Он не помнил, ни какого роста были разбойники, ни какие у них были лица. И понятно: шляпы у них были глубоко надвинуты, а кафтаны такие широкие, что нельзя было разглядеть, какого они сложения. Браун решил поговорить об этом со своим хозяином Динмонтом, но, естественно, отложил этот разговор до утра.

Рыболовы вернулись, нагруженные богатой добычей; улов их перевалил за сотню рыб. Самые крупные были отложены для богатых фермеров, а всю остальную рыбу поделили между собой пастухи, батраки и все, кто так или иначе помогал во время лова. Семга, выкопченная в дыму хижин, которые отапливались торфом, была хорошей приправой к картофельной похлебке с луком — их основной пище в зимнее время. Рыболовов щедро угостили пивом и виски и накормили ужином — ухой из семги, сваренной в большом котле. Браун отправился вместе со своим веселым хозяином и всей остальной компанией в большую дымную кухню, где это вкусное блюдо стояло еще совсем горячим на дубовом столе, который, пожалуй, свободно выдержал бы тяжесть яств, приготовленных для Джонни Армстронга и всей его братии. Рыболовы от души смеялись, шумели и то

весело хвастали, то подтрунивали друг над другом. Браун старался отыскать среди них смуглое лицо ловчего, но его, по-видимому, там не было.

Наконец он решился спросить о нем и сказал:

— Тут один из вас нечаянно уронил факел в воду, когда товарищ его бился, чтобы рыбу удержать.

— Нечаянно! — промолвил один из пастухов и поглядел на него. (Это был тот самый парень, который поймал большую семгу.) — Вздуть его за это надо бы как следует: гасить огонь, когда рыба уже на копье! Верьте не верьте, а Габриель нарочно факел в воду кинул — не выносит он, когда кому-нибудь больше, чем ему, везет.

— Эх, — сказал другой рыболов, — видно, самому стыдно стало, не то бы пришел сюда. Он ведь тоже не прочь хорошо поест, как и наш брат.

— А он что, здешний? — спросил Браун.

— Да нет, он совсем недавно сюда нанялся. Но охотник он добрый; кажется, он откуда-то из Дам-фриза.

— А как, вы сказали, его зовут?

— Габриель.

— Габриель, а дальше?

— Дальше одному только богу известно, нам тут до этого и дела нет. Здесь люди зовутся не по фамилии, а по клану, ну а в клане-то народу знаете сколько!

— Видите ли, сэр, — с расстановкой сказал старый пастух, поднявшись с места, — здесь у нас все Арм-стронги, или Элиоты, или еще в том же роде, две-три фамилии на всю округу, и, чтобы не спутать, лэрды и фермеры прибавляют к своим именам названия мест, где живут; например: Тэм О'Тодшо, Уил О'Флэт, Хобби О'Сорбитрис, хозяин наш зовется Чарлиз-хоп. Ну вот, сэр, а кто попроще, так у тех есть прозвища; например: Кристи Шутник, Дэви Селезень, или, может быть, вот как этот парень Габриель, просто по ремеслу, например Гэбби Лисий или Охотник Гэбби. Он здесь недавно, сэр, и вряд ли кто-нибудь знает его под другим именем. Но вообще-то не дело за глаза человека хулить, охотник он добрый, ну а на рыбу-то, конечно, найдутся ребята и половчее.

Поговорив еще немного о том о сем, старшие рыболовы ушли, чтобы провести остаток вечера по-своему и не стеснять своим присутствием молодых. Этот вечер, как и вообще все вечера, проведенные Брауном в Чарлиз-хопе, прошел в шумном веселье. Веселье это превратилось бы, пожалуй, в самый буйный разгул, если бы в дело не вмешались женщины; несколько местных *дам* (насколько отлично здесь это понягие от того, что оно значит в более высоких светских кругах!) явились в Чарлиз-хоп, чтобы посмотреть, чем кончился лов семги. Видя, что пуншевая чаша наполняется так часто, что мужчины готовы совсем уже позабыть о присутствии прекрасного пола, они под предводительством славной миссис Эйли храбро напали на пирующих, и Венера тут же одержала победу над Вакхом. Вслед за этим появились скрипач и волынщик, и начались танцы, которые продолжались чуть ли не всю ночь.

На следующий день охотились на выдру, а затем на барсука, и время прошло незаметно. Мне кажется, что читатель, даже если он сам страстный охотник, не осудит нашего героя за то, что в этот последний день охоты, после того как у Молодого Перца отгрызли переднюю лапу, а вторую Горчицу чуть не задушили, он попросил своего хозяина сделать ему милость — пощадить столь храбро защищавшегося барсука и дать ему возможность вернуться в свою нору.

Фермер, по всей вероятности, крайне презрительно встретил бы всякого, кто обратился бы к нему с подобной просьбой, но в данном случае ему оставалось только выразить свое безграничное удивление.

— Ну и чудак же вы! — сказал он. — Но раз вы за него вступились, я теперь ни одной собаке его брать не дам, пока жив буду; мы его как-нибудь примем и дадим ему кличку Капитанский Барсук. Я рад-радехонек, что вам хоть чем-нибудь услужить могу, только бы не о барсуке, прости господи, заботиться; надо же такое придумать!

Проведя целую неделю в охоте и сельских развлечениях и обласканный радушием своего славного

хозяина, Браун распрощался с берегами Лиддела и гостеприимным Чарлиз-хопом. Дети, с которыми он успел подружиться так, что даже стал их любимцем, теперь, когда он собрался уезжать, подняли невообразимый крик, и ему пришлось обещать им, что он скоро вернется и будет играть их любимые мотивы на флажолете, пока они не выучат их наизусть.

— Приезжайте к нам, капитан, — сказал маленький мальчуган, — и Дженни за вас замуж выйдет.

Дженни было лет одиннадцать; она убежала и спряталась за спину матери.

— Приезжайте, капитан, — сказала пухленькая девчушка лет шести, вытянув губки для поцелуя, — и я сама выйду за вас замуж.

«Да, трудно собою владеть, когда с такими хорошими людьми расстаешься», — подумал Браун. Любезная хозяйка со всей присущей старому времени женской скромностью и ласковым простодушием, прощаясь с гостем, подставила ему щеку для поцелуя.

— Мало что мы для вас в силах сделать, сушие пустяки, — сказала она, — но если вам что-нибудь нужно...

— Ну раз так, дорогая миссис Динмонт, то я наберусь смелости попросить вас об одной услуге: не будете ли вы добры соткать мне или заказать у кого-нибудь точно такой же серый плед, как у вашего супруга?

За эти несколько дней Браун ознакомился и с языком и с обычаями этой страны и знал, что хозяева с большой радостью исполнят его просьбу.

— Пока у меня в доме хоть клочок шерсти есть, можете быть уверены, что плед у вас будет, — заявила хозяйка, вся просияв от радости, — и плед такой, что лучше и не сыскать. Я завтра же поговорю с Джонни Гудсайром, ткачом в Каслтауне. До свидания, капитан; как вы людям счастья хотите, так и я вам желаю, а ведь сами знаете, не каждому такие слова скажешь.

Добавлю еще, что наш Браун оставил своего верного спутника Шмеля погостить до весны в Чарлиз-хопе. Он предвидел, что Шмель может помешать ему

в пути при столкновении с обстоятельствами, требующими осторожности и тайны. Поэтому он доверил пса попечению старшего сына Динмонта, который обещал, как говорится в старой песне, «с ним вместе спать и вместе есть» и не брать его с собой ни в какие опасные предприятия, от которых так жестоко пострадали отпрыски Перца и Горчицы. Итак, распростившись на время со своим верным другом, Браун готовился выйти в путь.

В этих горах существует странное пристрастие к верховой езде. Каждый фермер хорошо ездит верхом и с утра до вечера не слезает с седла. Вероятно, привычка эта вызвана необходимостью за короткое время объезжать огромные пастбища; быть может, однако, какой-нибудь ревностный антикварий отнесет ее возникновения к временам «Песни последнего менестреля», когда двадцать тысяч всадников съезжались на свет маяка.¹ Одно лишь не подлежит сомнению: фермеры любят ездить верхом, и их трудно убедить, что не только бедность или крайняя необходимость заставляют людей ходить пешком. Так и Динмонт настоял, чтобы гость его во что бы то ни стало ехал верхом, и сам проводил его до ближайшего городка в графстве Дамфриз, куда Браун приказал доставить свои вещи и откуда он собирался продолжать свой путь в Вудберн, где жила Джулия Мэннеринг.

Дорогой он стал расспрашивать своего спутника о Габриеле, но ничего толком о нем не узнал, так как оказалось, что ловчий получил место как раз в то время, когда Динмонт ездил по ярмаркам.

— Больно уж он на мошенника смахивает, — сказал фермер, — и, сдается, он из цыган. Но только он не из тех молодцов, что тогда на нас напали: тех я бы живо признал, кабы встретил. А промеж цыган тоже

¹ Изменять сейчас этот текст было бы просто манерностью. Но читатель догадается, что ссылка на эту поэму была сделана для того, чтобы автор мог сохранить свое инкогнито, ибо вряд ли кто-нибудь заподозрил бы его в том, что он цитирует свои собственные произведения. Объяснение это в равной мере относится и к другим подобным цитатам, и в этом и в других романах, где такого рода цитаты служат тем же целям. (*Прим. автора.*)

иной раз неплохие ребята бывают, — добавил Динмонт, — и если я когда-нибудь встречу эту старуху долговязую, я уж ей деньжат на табак дам: теперь я вижу, что она мне и впрямь добра желала.

Расставаясь с Брауном, фермер долго не выпускал его руки и наконец сказал:

— Знаете, капитан, в этом году мы так выгодно шерсть продали, что на все хватило: и аренду заплатили, и теперь Эйли себе новое платье сошьет да ребяташек оденет, а уж что останется, я, чем на сахар да на водку тратить, лучше хотел бы поместить куда-нибудь в верные руки. Я слыхал, что в армии иногда себе люди чины покупают. Так вот, если сотня-другая вам поможет, то черкните мне только словечко, да знайте, что для меня ваше слово больше всяких денег значит. Ну, словом, как надумаете, так и берите.

Браун хорошо понимал, что, прося оказать ему услугу, Динмонт в весьма деликатной форме сам предлагал ему свою помощь. Он очень тепло поблагодарил своего внимательного друга и обещал ему, что не преминет воспользоваться его предложением, если когда-нибудь представится случай. На этом они дружески распрощались.

Глава XXVII

Коль есть в тебе хоть капля сожаленья,
Лицо закрой мне, умереть мне дай!

Джоанна Бейли

В городке, где он расстался с Динмонтом, наш путешественник нанял почтовую карету, с тем чтобы ехать в Кипплтринган; прежде чем сообщать мисс Мэннеринг о своем приезде, он хотел разузнать о том, что делается в Вудберне. Ехать туда надо было миль восемнадцать — двадцать по совершенно безлюдной равнине. В довершение всего вскоре пошел снег. Кучер, однако, в течение долгого времени вез его довольно уверенно. И только когда уже совершенно стемнело, он поделился с Брауном своими опасения-

ми, что они сбились с пути. Усилившаяся метель вселила в него еще большую тревогу: снег залеплял глаза и ложился вокруг сплошною белою пеленой, не давая возможности ни разглядеть дорогу, ни вообще сколько-нибудь ориентироваться в местности. Браун вышел из кареты в надежде увидеть какое-нибудь жилье и там расспросить о дороге. Но так как ничего не было видно, он рискнул ехать дальше. Дорога шла посреди обширного саженого леса, и Браун был уверен, что неподалеку должен быть господский дом. Наконец, проехав с большим трудом еще около мили, кучер остановил карету и заявил, что лошади больше шага не сделают. Но он сказал, что видел за деревьями огонек и что, верно, там есть дом, где можно будет узнать, как ехать дальше. Он сошел в снег, как был, в своем необъятном балахоне и в сапогах, которые толщиной могли сравниться с семь раз обтянутым щитом Аякса. Видя, что во всем этом облачении он намерен двигаться по снегу, Браун не вытерпел: он выскочил из кареты и, к великому удовольствию кучера, велел ему оставаться с лошадьми, а сам направился в сторону огонька.

Браун пошел ощупью вдоль изгороди, из-за которой был виден свет, рассчитывая таким путем подойти к дому. Пройдя некоторое расстояние, он отыскал наконец в изгороди проход и тропинку, которая углублялась в саженый лес. Решив, что она ведет к жилью, Браун пошел по ней, но очень скоро потерял ее среди деревьев. Тропинка эта казалась вначале довольно широкой и хорошо протоптанной, но теперь она совсем скрылась, и только белизна снега немного выручала путника. Стараясь держаться, насколько это было возможно, более открытых мест леса, он прошел около мили. Впереди, однако, не было никакого огонька и ничего сколько-нибудь похожего на жилье. И все же Браун был уверен, что ему следует идти именно этой дорогой. Вероятнее всего, свет, который он только что видел, шел из хижины лесничего; вряд ли это мог быть *ignis fatuus*¹ — слишком он равномерно светил.

¹ Блуждающий огонек (лат.).

Наконец местность стала неровной, хоть Браун и чувствовал, что все еще ступает по тропинке; тропинка эта то поднималась вверх, то круто спускалась вниз, а все вокруг было застлано сплошным белым покровом. Раза два Браун уже падал и стал подумывать о том, чтобы вернуться назад, тем более что снегопад, которого он вначале в своем нетерпении почти не замечал, становился все сильнее и сильнее.

Решив тем не менее сделать последнюю попытку, он прошел еще несколько шагов вперед и вдруг, к своему удовольствию, заметил не очень далеко на противоположной стороне ложбины огонек, который, казалось, был на одном уровне с ним. Вскоре он, однако, обнаружил, что это было не так; спуск вел все дальше и дальше вниз, и он понял, что на пути его лежит лощина или овраг. Он все же продолжал осторожно спускаться, пока не достиг глубокого и узкого ущелья, по дну которого еле пробивалась извилистая речка, почти совершенно заваленная сугробами снега. И тут он вдруг очутился среди целого лабиринта полуразвалившихся хижин; почерневшие фасады и стропила крыш отчетливо виднелись среди белого снега; боковые же стены, давным-давно уже обрушившиеся, громоздились тут же рядом бесформенными кучами; все это было занесено снегом, и нашему путнику нелегко было пробираться вперед. Но он все же упорно продолжал идти. Хотя и с трудом, он перебрался через речку и в конце концов, ценою больших усилий и невзирая на опасность, взобрался на противоположный крутой берег и очутился у того самого строения, где горел огонек.

При таком неясном свете трудно было разглядеть, что, собственно, из себя представляла эта небольшая четырехугольная постройка с совершенно разрушенным верхом. Возможно, что в былые времена это было жилище какого-нибудь земельного собственника средней руки, а может быть, и убежище, где мог скрыться и даже в случае необходимости защищаться от врага какой-нибудь владетельный феодал. Но сейчас от всего осталась только нижняя половина здания; сводчатый потолок служил теперь одновременно и крышей.

Браун направился прежде всего к тому месту, откуда виден был свет, — это была длинная, узкая расселина или бойница, какие обычно бывают в старых замках. Решив сначала разведать, что это за странное место, прежде чем туда входить, Браун заглянул в эту щель. Более страшной картины, чем та, которую он увидел, нельзя было, кажется, себе представить. На каменном полу горел огонь, клубы дыма извивались по всей комнате и уходили через отверстие в сводчатом потолке. Стены, озаренные этим дымным светом, имели вид развалин по меньшей мере трехсотлетней давности. Тут же валялись бочки и разбитые ящики. Но больше всего Брауна поразили люди, которых он там увидел. На соломенной подстилке лежал человек, укутанный одеялом; он совсем уже не дышал, и его можно было принять за мертвеца, не хватало только савана. Однако, присмотревшись к нему пристальней, Браун увидел, что он еще жив; раза два было слышно, как он выпускал глубокие и тяжкие вздохи, которые обычно возвещают близкий конец. Склонившись над этим печальным ложем, сидела женщина, закутанная в длинный плащ; локти она уперла в колени и, повернувшись спиной к железному светильнику, глядела умирающему прямо в глаза. Время от времени она смачивала ему чем-то губы, а сама между тем тихо и монотонно пела одну из тех молитв, или, скорее, заклинаний, которые кое-где в Шотландии и в Северной Англии простой народ считает лучшим средством, чтобы облегчить душе переход в загробный мир, точно так же, как во времена католицизма для этого звонили в колокол. Она сопровождала это мрачное заклинание мерным покачиванием, как будто в такт песни. Вот приблизительно что она пела:

Знай, бедняга, знай, больной,
Путь твой кончился земной,
В мир зовут тебя иной —
Песней погребальной.

Отрешись от дум лустых,
Матерь божью и святых

Вспомяни — увидишь их
В этот час прощальный.

Снег ли вдруг запорошит,
Буря ль с неба набежит,
Не страшися: саван сшит;
Веки сон тебе смежит —
Тихий, без просыпу.

В очаге огонь потух,
Расставайся с телом, дух!
Торопись, пропел петух!
Отхрипите, хрипы!

Тут она замолчала, и с полу слышались глубокий, еле слышный хрип, какие обычно издают умирающие.

— Нет, не хочет, — тихо пробормотала она, — не может он отойти с такой тяжестью на душе, это-то его и держит:

Небо не поднимет,
И земля не примет.

Надо открыть дверь. — И она встала с места и подошла к двери, стараясь, однако, все время не поворачивать головы; отодвинув засов или даже два (несмотря на жалкий вид всего помещения, двери его были тщательно заперты), она пропела:

Дверь, откройся, вихрь, гуди,
Жизнь, изыди, смерть, войди...

С этими словами она распахнула дверь. Перед ней стоял Браун, который к тому времени отыскал уже вход в дом. Она отступила перед ним, и он вошел в комнату. Браун сразу же признал в этой женщине цыганку, которую он встретил в Бьюкасле, и ему стало не по себе. Она тоже сразу его узнала, и все ее движения, и фигура, и встревоженное выражение лица сделали ее похожей на добрую жену людоеда из сказки, когда она уговаривает странника не входить

в замок ее свирепого мужа. Она простерла руки вперед и с упреком сказала:

— Разве я не говорила тебе: не ходи сюда, не мешайся в их дела! Помни, какой удар примирителю достается! ¹ Своей смертью в этом доме никто не умирает!

С этими словами она взяла светильник и поднесла к лицу умирающего: его резкие и грубые черты были теперь искажены агонией; холстина, обмотанная вокруг головы, была в кровавых пятнах; кровь просочилась сквозь одеяло и сквозь солому. Ясно было, что умирал он не от болезни. Браун попятился назад от этого страшного зрелища и, повернувшись к цыганке, вскричал:

— Несчастная, кто это сделал?

— Те, кому это было позволено, — ответила Мег Меррилиз, пристально и заботливо глядя умирающему в лицо. — Тяжеленько ему пришлось, но теперь вот, когда ты вошел, я видела уже, что это конец. Хрипит уже... готов.

В эту минуту слышались голоса.

— Идут, — сказала она Брауну, — и будь у тебя столько жизней, сколько волос на голове, ты все равно теперь пропал.

Браун быстро оглянулся, ища какое-нибудь оружие. Но под рукой ничего не было. Тогда он кинулся к двери, чтобы скрыться среди деревьев и спастись бегством, так как уже сообразил, что попал в разбойничий притон, но Мег Меррилиз с силой схватила его за руку.

— Оставайся тут, — сказала она, — только смотри не шевелись, и тогда ты спасен. Что бы ты ни увидел и ни услышал, молчи, сиди тихо, тогда с тобой ничего не случится.

В своем отчаянном положении Браун вспомнил, что эта женщина раз уже предупреждала его об опасности, и решил, что только ей он может сейчас дове-

¹ Существует поверье, что удар, который получает тот, кто вмешался в чужую драку, стараясь примирить противников, самый опасный, какой только можно нанести человеку. (Прим. автора.)

рить свою жизнь. Она велела ему спрятаться в куче соломы в углу, прямо против того места, где лежал покойник, заботливо укрыла его, поверх всего кинула несколько пустых мешков. Желая знать, что будет дальше, Браун немного раздвинул солому и мог теперь видеть все, что происходило. С замирающим сердцем он стал ждать, чем кончится это необычайное и более чем неприятное приключение. Старая цыганка хлопотала возле покойника, расправляя ему ноги и укладывая руки.

— Лучше сейчас это сделать, — бормотала она, — пока он еще не остыл.

На грудь ему она положила дощечку, на которую насыпала соль, в голове и в ногах поставила по зажженной свече. Потом она снова запела и стала ждать, пока появятся те, чьи голоса уже были слышны вдали.

Браун был солдатом, и притом храбрым, но он был также и человеком, и в ту минуту страх победил в нем мужество до такой степени, что он почувствовал, как холодный пот выступает у него по всему телу. От мысли, что его вытащат из этого жалкого убежища негодяи, для которых убить человека было самым обычным делом, и что у него нет не только оружия, но и вообще никаких путей к спасению, если не считать мольбы о пощаде, которая вызовет у них только смех, и крика о помощи, которого, кроме них самих, никто не услышит, — от одной этой мысли у него все похолодело внутри. Он понял, что жизнь его была вверена теперь этой женщине, которая его, видимо, пожалела. Но ведь она сообщница разбойников, вместе с ними промышляет убийствами и грабежом и вряд ли может питать к кому-либо человеческие чувства. Безысходная горечь душила Брауна. Он пытался прочесть в ее смуглом и жестоком лице, на которое падал сейчас свет, хоть самую крохотную частицу сострадания, которое бывает свойственно всякой женщине даже тогда, когда она дошла до последней ступени нравственного падения, но в лице этой цыганки не было ни малейшего проблеска человечности. Ее расположение к нему шло никак не от

сострадания, а от каких-то иных, необъяснимых, смешанных чувств, разгадать которые он не мог. Может быть, оно было вызвано к жизни каким-то воображаемым сходством, подобно тому, которое заставило леди Макбет при виде спящего короля думать о своем отце? Все эти мысли мгновенно промелькнули в голове Брауна, в то время как он глядел на эту странную женщину. Между тем никто не появлялся; он уже почти готов был вернуться к своему прежнему намерению — спастись бегством и в душе проклинал себя за нерешительность и за то, что он забрался в такое место, где нельзя было защитить себя и откуда невозможно было бежать.

Мег Меррилиз, казалось, была тоже настороже. Она прислушивалась к каждому звуку, отдававшемуся эхом в старых стенах. Затем она снова вернулась к покойнику и снова стала что-то на нем поправлять.

— Тело-то у него что надо, — бормотала она про себя, — такое и хоронить не стыдно.

В этом мрачном занятии она как будто находила для себя какое-то удовольствие и долго и тщательно вникала во все мелочи, как истинный знаток своего дела. Вместо савана она покрыла тело большим черным морским плащом, закрыла мертвецу глаза, сомкнула челюсти и, окутав голову полой плаща, спрятала под ней холстину с кровавыми пятнами, так что покойник стал, как она сама выразилась, «поприличнее».

Вдруг в хижину ворвались человека четыре, и по одежде и по лицу — разбойники.

— Мег, чертова баба, как ты смеешь дверь открытой оставлять? — было первое, что они ей сказали.

— А кому это в голову придет двери запирать, когда человек богу душу отдает? Что вы думаете, душа сквозь такие стены да засовы проберется?

— Так, выходит, он кончился? — спросил один из разбойников и подошел ближе, чтобы взглянуть на мертвеца.

— Да, да, кончился, как и полагается быть, — сказал другой, — и тут есть чем его помянуть. — С этими

словами он выкатил из угла бочонок с водкой, а Мег торопливо стала готовить трубки и табак. Поспешность ее вселила в Брауна надежду, что она озабочена его участью. Было совершенно очевидно, что она хочет, чтобы разбойники поскорее напились пьяными, не успев обнаружить пришельца, что легко могло произойти, если бы кому-нибудь из них случилось подойти слишком близко к его убежищу.

Глава XXVIII

На белом свете нет у нас
Ни дома, ни стола,
И нет подруги, чтоб сейчас
Нас где-нибудь ждала.

В ущелье ляжем отдохнуть,
Там целый день темно.
А ночь придет — скорее в путь!
Нас дело ждет давно.

Джоанна Бейли

Браун мог теперь сосчитать своих противников — их оказалось пятеро; двое из них были рослые и сильные, должно быть это были или настоящие моряки, или переодетые моряками бродяги. Трое остальных, старик и два молодых парня, были послабее; по их черным волосам и смуглым лицам можно было угадать в них соплеменников Мег. Они передавали друг другу чашу с водкой.

— Счастливой ему дороги, — сказал один из моряков, поднося чашу к губам, — только ночку-то он ненастную выбрал, чтобы на небо лететь.

Мы опускаем разные крепкие словечки, которыми эта почтенная компания пересыпала свои речи, и передаем только наиболее пристойные из них.

— А что ему теперь значат ветры да непогоды! С норд-остом он немало за свою жизнь повоевал.

— Вчера даже, на прощание... — угрюмо добавил другой. — А теперь пускай Мег помолится, чтобы ему напоследок попутный ветер подул, она это умеет.

— Ни за кого не стану я молиться, — ответила Мег, — ни за него, ни за тебя, собаку этукую. Времена-то ведь переменялись с тех пор, как я в девках ходила. Тогда мужчины как мужчины были, не то что нынче, и никто втихую не укладывал. Да и помещики были добрее: и поесть цыгану давали и глотку смочить. И поэтому ни один цыган, будь то хоть сам вождь Джонни Фаа, хоть крошка Кристи, которую я еще на руках носила, ни разу у них и тряпки не украл. Но вам наш старый закон давно уже нипочем, что же тогда дивиться, что вас в тюрьму упекают да на столбах вздергивают. Вы ведь у хозяина и поесть и попить готовы и на соломе поспать, а потом за всю его ласку его же дом подпалить, а самому ему горло перерезать! Руки-то у вас у всех в крови, собачье вы отродье, и вы, верно, ее больше пролили, чем те, кто в открытую дрался. А ведь как теперь умирать будете — ему-то смерть нелегко далась: он бился, бился — и ни туда, ни сюда, все никак кончиться не мог. Но вы-то — весь народ соберется глядеть, когда вас на виселицу поведут.

Ее предсказание было встречено грубым смехом.

— Какого черта ты опять сюда вернулась, старая хрычовка? — спросил один из цыган. — Оставалась бы там да гадала разным камберлендским простофилям. Убирайся отсюда подобиру-поздорову, карга старая, да смотри, чтобы по твоей милости никто не пронохал, что мы здесь! Теперь ты только на это и годна.

— Ах вот как, только на это? — негодуяше воскликнула старуха. — Когда наши с табором Патрико Сэлмона дрались, тогда я еще кое на что годна была. Если бы я тебе тогда вот этими кулаками не помогла (тут она подняла обе руки), Джин Бейли тебя бы на месте как цыпленка придушил.

Последовал новый взрыв смеха, на этот раз относившийся к герою, которого наша амазонка спасла своими руками.

— На, выпей, мать, — сказал один из моряков, — выпей крепенького, нечего там старое вспоминать.

Мег выпила водку и, не принимая больше участия в разговоре, села около того места, где прятался

Браун, и так, что туда теперь нельзя было подойти, не потревожив ее. Разбойники расположились вокруг огня и совещались о чем-то между собой, но говорили они тихо и к тому же то и дело пересыпали свою речь словечками воровского жаргона. Браун так и не мог догадаться, о чем они толковали. Он понял лишь, что они кем-то очень рассержены.

— Он у нас свое получит, — сказал один из них и совсем тихо шепнул что-то на ухо своему товарищу.

— А это не мое дело, — ответил тот.

— Так что же, Джек, кишка тонка, видно?

— Иди к черту, не в том дело; сказал — не буду, и все. С такой штукой лет пятнадцать — двадцать назад вся торговля насмарку пошла; слышал ты, как тогда один со скалы бабахнулся?

— Да, помнится, *он* еще мне об этой истории говорил, — сказал другой, кивая головой на мертвеца. — Он живот себе от смеха надрывал, когда показывал, как ловко его тогда вниз спустили.

— Ну вот, из-за этого и вся торговля тогда стала, — сказал Джек.

— А как же это было? — спросил его угрюмый товарищ.

— А вот как, — ответил Джек. — Народ весь перепугался, ничего покупать не захотел, а тут еще столько новых указов вышло, что...

— Ну, пусть это и так, — сказал другой, — а кому-нибудь все-таки придется этим молодчиком заняться, да и порешить его.

— А Мег, видно, спит, — вставил третий. — Она совсем старая, из ума выжила, уж и тени своей боится. Смотри, как бы она еще не накапала, глаз за ней нужен.

— Не бойся, — успокоил его старый цыган, — Мег не из таких; кто-кто, а она-то уж не продаст, но вот иной раз на нее находит, и тогда она невесть что наговорит.

Они продолжали разговор на этом тарабарском языке, который и сами-то не всегда хорошо понимали. Слова свои они сопровождали разными жестами, многозначительными кивками головы и ни одной вещи

не называли своим именем. Наконец кто-то из них, видя, что Мег крепко спит, велел одному из молодых ребят принести «черного петуха», чтобы его распотрошить. Тот вышел и вернулся с чемоданом, в котором Браун сразу опознал свой собственный. Он тут же вспомнил о несчастном парнишке, которого оставил в карете. Неужели эти изверги убили его? Он содрогнулся при этой мысли. Внимание его необычайно обострилось, и, в то время как негодяи вытаскивали его одежду и белье и разглядывали каждую вещь в отдельности, он старался уловить в их словах какой-нибудь намек на судьбу бедного кучера. Но злодеи были в таком восторге от своей добычи и с таким интересом разглядывали вещи, что им было некогда вспоминать о том, как они ими завладели. В чемодане была одежда, пара пистолетов, кожаный бумажник с документами и деньгами и т. п. При других обстоятельствах Браун вышел бы, конечно, из себя, видя, как нагло обращаются с его собственностью и как потешаются над ее владельцем. Но сейчас опасность была слишком велика, и приходилось думать только о том, как бы спасти свою жизнь.

Тщательно разобрав все содержимое чемодана и разделив его между собою, разбойники снова принялись за вино и провели за этим важным занятием большую часть ночи. Первое время Браун надеялся, что они напьются до бесчувствия и уснут, и тогда он сможет спастись бегством. Но их опасное ремесло требовало мер предосторожности, несовместимых с таким разгулом, и поэтому разбойники, хоть и несколько захмелев, сумели все же себя сдержать. Трое из них решили отдыхать, в то время как четвертый остался стоять на страже. Через два часа его сменил пятый. Когда прошли вторые два часа, часовой разбудил всех, и они, к большой радости Брауна, стали собираться в дорогу и связывать свою добычу. Но до этого им еще предстояло кое-что сделать. Двое из них начали шарить по углам, чем порядочно напугали Брауна, и вытащили откуда-то кирку и лопату. Третий достал топор, вытянув его из-под соломы, на которой лежал мертвец. Захватив все это

с собой, двое молодцов ушли, а остальные трое, в том числе и оба моряка, остались на страже.

Через полчаса один из ушедших вернулся снова и что-то шепнул остальным. Они завернули труп в морской плащ, служивший ему саваном, и унесли его. Тогда старая сивилла не то на самом деле проснулась, не то просто перестала притворяться спящей. Она подошла к двери, как будто для того, чтобы проводить своих постояльцев, потом вернулась и тихим, сдавленным шепотом приказала Брауну немедленно следовать за ней. Он повиновался, но, перед тем как уйти, вспомнил, что ему надо взять с собой вещи или, во всяком случае, документы. Старуха, однако, решительным образом этому воспротивилась. И он сразу сообразил, что, если бы он унес сейчас что-нибудь с собой, подозрение неминуемо пало бы на эту женщину, а ведь, по всей вероятности, она спасла ему жизнь. Поэтому он не стал настаивать и прихватил с собой только тесак, который один из негодяев кинул в солому. Встав на ноги и имея при себе оружие, он уже почувствовал, что наполовину избавился от угрожавшей ему опасности. Но тело его одеревенело от холода и от того, что всю ночь он пролежал скорчившись. Впрочем, едва только он вышел с цыганкою из дома, свежий воздух и ходьба восстановили нарушенное кровообращение, и он почувствовал и в руках и в ногах прежнюю силу.

Блédный свет зимнего утра стал ярче от блестящего снега, который на сильном морозе покрылся настом. Браун быстро окинул взглядом окружающую местность, стараясь запечатлеть ее в памяти. Угрюмый башенный свод, под которым он провел эту памятную для него ночь, торчал над самым краем скалы, нависшей над речкой. Войти туда можно было только с одной стороны — с ущелья, которое было внизу. С трех других сторон были крутые обрывы; таким образом, очевидно было, что Браун накануне избежал не одной, а нескольких опасностей; если бы он только стал обходить это здание вокруг, как он сначала и собирался, он неминуемо упал бы вниз и разбился насмерть. Ущелье было так узко, что де-

ревья той и другой стороны кое-где сходились. Покрытые снегом вместо листьев, они шатром нависали над речкой, еле-еле пробивавшейся сквозь снег и темневшей теперь среди сугробов. Там, где склоны стояли друг от друга чуть дальше и возле речки была полоска ровной земли, виднелись разрушенные хижины, среди которых Браун блуждал накануне. Остатки стен, будто отлакированные изнутри торфяным дымом, казались еще чернее среди нанесенного ветром снега и белой пелены, лежавшей на всем вокруг.

У Брауна не было времени долго разглядывать этот мрачный зимний пейзаж; его проводница на минуту остановилась, как будто нарочно для того, чтобы дать ему удовлетворить свое любопытство, а потом поспешно стала спускаться по тропинке, которая вела вниз в ущелье. Он заметил, что она выбрала как раз тот самый спуск, который был обозначен на снегу свежими следами, принадлежавшими, вне всякого сомнения, тем же разбойникам, и в душу его снова закралось подозрение. Однако, поразмыслив над всем этим, он успокоился. В самом деле, с чего бы эта женщина, которой ничего не стоило предать его, совершенно беззащитного, в руки бандитов, стала ждать именно той минуты, когда у него окажется в руках оружие и он выберется на свежий воздух, где он уже в состоянии и защитить себя и бежать. И он снова решил довериться цыганке и молча последовал за нею вниз. Они перешли речку в том самом месте, где ее перед этим переходили разбойники. Следы вели еще дальше через разрушенное селение, по долине, которая вскоре снова становилась узким ущельем. Но цыганка уже не шла по этим следам; она повернула в сторону по очень неровной и крутой тропинке и стала подниматься по склону горы, оставляя деревню внизу. Хоть тропинка то и дело совершенно скрывалась под снегом и идти по ней было трудно и небезопасно, Мег шла твердым и уверенным шагом, как может идти только человек, хорошо знакомый с местностью. Наконец они добрались до гребня, карабкаясь по такой крутизне, что Браун, как он ни был убежден,

что именно этой дорогой спускался сюда вечером, мог только удивляться, как он тогда не свернул себе шеи. По одну сторону мили на две видна была открытая равнина, а по другую — густой лес.

Мег, однако, продолжала вести его вдоль края ущелья, из которого они поднялись, до тех пор, пока внизу не послышались чьи-то голоса. Тогда она остановилась, указала Брауну на густую рощу совсем недалеко от них и сказала:

— Дорога на Кипплтринган лежит по ту сторону. Только смотри, поторопись! Да береги себя, жизни твоей цены нет! Но ведь ты совсем без денег. Погоди-ка.

Она порылась в огромном кармане и вытащила оттуда засаленный кошелек.

— Не раз семья твоя одаривала и Мег и ее родню; вот видишь, и ей довелось хоть малой толикой тебя отблагодарить.

С этими словами она отдала ему кошелек.

«Да она с ума сошла!» — подумал Браун. Но спорить было некогда: снизу по-прежнему доносились голоса, и, по-видимому, бандиты находились именно там.

— Но как же я верну вам эти деньги? И чем мне отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали?

— Две у меня до тебя просьбы есть, — быстро прошептала ему старая сивилла, — первая, чтобы никогда никому не рассказывал о том, что тут ночью видел, а вторая, чтобы ты не уезжал из этих краев, не повидавшись со мной, и чтобы в гостинице «Гордонов щит» знали всегда, где ты; и когда я тебя покличу, чтобы, где бы ты ни был — в церкви, на рынке, на похоронах, на свадьбе, в субботу, в воскресенье, голодный ли, сытый ли, — ты все бросил и шел за мной.

— Ну, от этого, мать, вам большого проку не будет.

— Но зато тебе будет, а я только об этом и пекусь; я ведь с ума не сошла, хотя, правда, и было с чего; нет, я в своем уме и памяти, да и вина не пила и знаю, чего прошу. И знаю, что это господня воля была тебя от всех несчастий сохранить, и вот мне велено теперь тебя в отцовский дом вернуть, и помни, что в эту благословенную ночь я тебе жизнь сохранила.

«В ней действительно есть что-то дикое, — подумал Браун, — но это не от безумия, а скорее от какой-то силы».

— Ну так вот, мать, — сказал он, — если вы меня только о таком пустяке просите, то я готов исполнить вашу волю. По крайней мере я смогу тогда и деньги вернуть, да еще с лихвой. Не часто, правда, таких займодавцев встретишь, но...

— Ступай, ступай, — сказала она и замахала рукой. — Нечего эти деньги поминать, они твои, но не вздумай только идти за мной или подглядывать. — С этими словами она оставила его и стала очень быстро спускаться вниз по ложине, осыпая за собой ледяные сосульки и груды снега.

Невзирая на ее запрет, Браун постарался все же отыскать на гребне удобное место, откуда он мог бы, оставаясь невидимым, следить за тем, что происходит внизу. И ему это удалось, хоть и не без труда, так как ему, разумеется, пришлось все время соблюдать большие предосторожности. Место, избранное им для этой цели, было вершиной скалы, которая круто поднималась среди деревьев. Став на колени в снег и осторожно вытянув шею, он мог видеть то, что происходило на дне ущелья. Он увидел там, как и ожидал, всю ночную компанию, к которой присоединилось еще двое или трое молодцов. Они разгребли снег у подножия скалы и вырыли глубокую яму, которая должна была стать могилой. Все они стояли вокруг нее и опускали туда что-то завернутое в морской плащ; Браун сразу же понял, что это было тело человека, умершего вчера у него на глазах. Потом они с минуту постояли в безмолвии, как будто сожалея о погибшем товарище. Но если в них и заговорило человеческое чувство, они не слишком долго ему предавались; все они сразу же стали дружно закапывать могилу, а Браун, видя, что они скоро закончат свое дело, счел за благо последовать совету старухи и уйти как можно скорее, чтобы скрыться в лесу.

Первое, о чем он подумал, когда очутился в чаще, был кошелек цыганки. Хотя он и согласился взять его без всяких колебаний, он не мог освободиться

от какого-то унижительного чувства, что позволил себе принять подарок от такой женщины, как она. Правда, это избавляло его от денежных затруднений, хоть и временных, но весьма ощутимых. За исключением нескольких шиллингов, все его достояние находилось в чемодане и попало в руки приятелей Мег. Пройдет несколько дней, прежде чем успеет дойти его письмо к поверенному или даже к гостеприимному хозяину Чарлиз-хопа, который, вне всякого сомнения, снабдил бы его деньгами. А покамест Браун решил воспользоваться кошельком Мег, так как был уверен, что в скором времени сможет возратить ей деньги, да и еще с лихвой. «Там, вероятно, сущие пустяки, — подумал он, — и я потом смогу возместить эту сумму банковыми билетами».

С этой мыслью он открыл кошелек, полагая, что найдет там всего несколько гиней. Каково же было его изумление, когда он обнаружил там множество золотых монет различного достоинства, как английских, так и иностранных, на сумму не менее ста фунтов, несколько золотых колец и других драгоценностей, причем даже самого беглого взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что все это ценнейшие вещи.

Браун был всем этим озадачен и смущен: он оказался обладателем ценностей, каких у него никогда не бывало и которые, по-видимому, достались Мег незаконным путем, то есть точно так же, как его собственное имущество досталось бандитам. Первой мыслью его было обратиться к ближайшему мировому судье и передать в его руки все эти столь неожиданно доставшиеся ему сокровища, рассказав в то же время и о своем необычайном приключении. Но после минутного раздумья он решил, что лучше этого не делать. Во-первых, поступив таким образом, он нарушил бы обет молчания, который он дал Мег, и это могло дорого обойтись, а может быть, даже стоять жизни женщине, которая не побоялась поставить свою на карту ради того, чтобы его спасти, и которая сама пожелала отдать ему эти драгоценности. Это значило бы сделать Мег жертвой ее же великодушия. Нет, об этом не могло быть и речи. К тому же он был

здесь никому не известен, и, если бы ему пришлось иметь дело с каким-нибудь недалеким и упрямым судьей, он никак не смог бы ему доказать, во всяком случае первое время, ни кто он такой, ни какое он занимает положение. «Я должен хорошенько обо всем этом подумать, — решил он. — Может быть, здесь в ближайшем городке стоит какой-нибудь полк; тогда мое знание военной службы и знакомство со многими офицерами сразу же поможет установить и мою личность и мое служебное положение, чего от гражданских чиновников не так-то легко добиться. А командир полка, несомненно, поможет мне уладить все дело так, чтобы никто не тронул эту сумасшедшую старуху, чье заблуждение или безумие принесли мне такую удачу. Гражданский же чиновник может счесть себя обязанным арестовать ее, а если ее арестуют, то последствия этого совершенно очевидны. Нет, будь она хоть сам дьявол, она поступила со мной благородно, и я поступлю с ней так же. Пусть она пользуется привилегиями военного суда, для которого понятие чести значит больше, чем буква закона. К тому же я могу еще увидеть ее в этой деревне... Кипл... Капл... как бишь она ее назвала, и могу все ей вернуть, и пусть тогда закон своего требует. Однако сейчас не очень-то мне к лицу, состоя на службе его величества, хранить у себя краденые вещи».

Размышляя обо всем этом, Браун достал три или четыре гиней на самые необходимые расходы, остальные же уложил обратно и, закрыв кошелек, решил его больше не трогать до тех пор, пока не представится случай вернуть его цыганке или передать какому-нибудь государственному чиновнику. Он также вспомнил про тесак, и сначала решил было оставить его в лесу. Но он подумал о том, что может еще повстречаться с разбойниками, и решил не расставаться с ним. Дорожное платье его, при всей своей неприязательности, было все же военного покроя, и при нем этот тесак был вполне уместен. Обычай носить холодное оружие, не будучи военным, уже отживал свой век, но он у всех был еще свеж в памяти, и тот, кто продолжал ему следовать, никого бы

не удивил. Поэтому, оставив себе тесак и спрятав кошелек цыганки в потайной карман, наш путешественник бодро продолжал свой путь в надежде скоро выйти на проезжую дорогу.

Глава XXIX

О Гермия, где дружба детских дней,
Когда мы, сидя рядом, как божки
Изваянные, вместе вышивали
Один цветок по одному узору,
И песней обе тешились одной,
И наши души, голоса и руки —
Все было неразлучно?

«Сон в летнюю ночь»

Джулия Мэннеринг — Матильде Марчмонт

Как у тебя хватает духу, милая Матильда, обвинять меня в том, что я охладела к тебе и что чувства мои изменились? Могу ли я забыть, что ты моя самая близкая подруга и что тебе одной бедная Джулия поверяет все свои самые сокровенные мысли. И как ты несправедлива, когда упрекаешь меня в том, что я променяла тебя на Люси Бертрам. Уверяю тебя, у нее нет тех качеств, которых я ищу в настоящей подруге. Это очень милая девушка, и она очень мне нравится; должна тебе сказать, что мы с ней столько занимаемся и по утрам и по вечерам, что у меня теперь меньше времени и я не успеваю писать письма так часто, как мы это с тобой обещали друг другу. Но у нее нет светского воспитания, если не считать того, что она знает по-французски и по-итальянски; языкам этим ее обучило это чудище, одно из несуразнейших существ на земле. Отец взял его к себе в библиотекарю и теперь покровительствует ему, вероятно чтобы тем самым бросить вызов общественному мнению. Полковник Мэннеринг, должно быть, решил, что все, что принадлежит ему или имеет к нему какое-либо отношение, уже в силу этого одного не должно никому казаться смешным. Я помню, как в Индии он подобрал где-то кривоногую собачонку с длинной шерстью

и ствислыми ушами. Назло общему мнению и вкусу, он сделал эту уродину своей любимицей, и я помню, как он, утверждая, что Браун — человек дерзкий, ссы-
лался на то, что тот критиковал кривые ноги и длин-
ные уши собачки Бинго. Уверю тебя, Матильда, мне
кажется, что его высокое мнение об этом самом неле-
пом из когда-либо живших педантов зиждется на по-
добном же основании. Он сажает это чудовище с нами
за стол, и тот выкрикивает молитву, как будто рыбой
торгует и зазывает покупателя, а ложку несет в
рот так, будто в руке у него лопата и он ею тележку
нагружает. Он, по-видимому, даже не отдает себе от-
чета в том, что он ест, а наевшись, извергает из себя
гамму самых странных звукосочетаний, которые все
мы должны принимать за благодарственную молитву,
вываливается из комнаты и снова погружается в ис-
точенные червями фолианты, столь же несуразные,
как и он сам! Я бы, кажется, ничего не имела против
того, чтобы этот урод жил у нас в доме, если, глядя
на него, хотя бы кто-нибудь повеселился вместе со
мною. Но стоит мне только, увидав мистера Сэмсона
(какое страшное имя носит этот страшный человек!),
поддаться соблазну над ним подшутить, как Люси
Бертрам начинает на меня смотреть так жалостно,
а отец нахмурит брови, сверкнет глазами, закусит
губу и всегда скажет резкость, которая меня больно
заденет.

Но ведь не об этом же уроде я собиралась тебе
писать; я хотела только сказать, что, отлично зная не
только древние, но и новые языки, он обучил этим
последним и Люси, и мне кажется даже, что только
ее собственный здравый смысл или упрямство спасли
ее от всей премудрости греческого, латинского и древ-
нееврейского (который, насколько я могу судить,
Сэмсон тоже знает). Но изучила она действительно
всего немало, и я каждый день дивлюсь, когда вижу,
с каким удовольствием она вспоминает и рассказы-
вает то, что когда-то читала. Каждое утро мы с ней
занимаемся вдвоем чтением, и я полюбила теперь
итальянский гораздо больше, чем тогда, когда над
нами издевался этот индюк *Cicirici* — вот как пишет-

ся его фамилия, а не Chichipichi, — видишь, какие я уже сделала успехи.

Но, может быть даже, мисс Бертрам нравится мне не своими качествами, а тем, чего ей недостает. Она не имеет ни малейшего понятия о музыке и в танцах тоже смыслит не больше, чем какая-нибудь захудалая крестьянка; впрочем, здешние крестьянки как раз танцуют с большим искусством и темпераментом. Тут уж я беру на себя роль учителя, и она очень мне признательна за то, что я обучаю ее играть на клавинофордах; я даже показала ей несколько па, которым меня обучил Лапик, говоривший, что у меня большие способности к танцам.

По вечерам папенька нам часто читает, и, знаешь, никто не умеет так читать стихи, как он. Насколько у него это выходит лучше, чем у актеров, которые не то читают, не то играют роль, плят глаза, хмурят брови, гримасничают и жестикулируют, как будто они в театральных костюмах и исполняют на сцене пьесу! У отца совсем другая манера чтения: он читает с чувством, передавая все оттенки голосом, не прибегая ни к мимике, ни к игре. Люси Бертрам отлично ездит верхом, и я теперь могу сопровождать ее в ее прогулках, так как и сама от нее набралась храбрости. Мы подолгу ездим с ней, не обращая внимания на холод. Словом, конечно, у меня теперь меньше времени писать письма.

К тому же, милая, я должна еще в оправдание свое, как и все глупые люди, сослаться на то, что писать совсем не о чем. Мои надежды, страхи и опасения за Брауна не так уже много значат, с тех пор как я знаю, что он здоров и на свободе. К тому же должна тебе сказать, что ему пора бы уже дать мне знать о себе. Может быть, наше свидание и было шагом безрассудным, но как-никак не очень-то лестно узнавать, что мистер Ванбест Браун пришел к этому выводу первым и в результате прервал все отношения со мной. Пожалуй, я могла бы обещать ему, что, если он действительно так думает, я разделю его убеждения; мне не раз самой казалось, что я очень опрометчиво вела себя с ним. Но я такого хорошего мнения

о бедном Брауне, и мне все время кажется, что молчание его вызвано какими-то из ряда вон выходящими обстоятельствами.

Вернемся же к Люси Бертрам. Нет, милая Матильда, она никак не может соперничать с тобой. Вся твоя ревность ни на чем не основана. Конечно, это очень милая, очень ласковая и очень добрая девушка, и, если бы со мной случилось истинное несчастье, она одна из тех, к которым я легко и просто обратилась бы за утешением. Но ведь такое несчастье случается в жизни не часто, и поэтому хочешь иметь подругу, которая поняла бы и твои повседневные душевные волнения не хуже, чем настоящее горе. Господь бог знает, да и ты тоже, милая Матильда, что этим сердечным ранам так же нужен живительный бальзам сочувствия и любви, как и более серьезным, истинным горестям нашей жизни. Так вот, у Люси Бертрам нет этого нежного сочувствия, совсем нет, моя дорогая Матильда. Если бы я слегла в лихорадке, она просиживала бы ночи, ухаживая за мной самоотверженно и терпеливо, но тот жар, которым охвачено мое сердце, оставляет ее равнодушной, так же как и ее старого учителя. Но самое забавное, что при всем том у этой тихони есть свой поклонник и что в их чувствах друг к другу (а я думаю, что влюблены они оба) немало самой увлекательной романтики. Как ты, вероятно, знаешь, она была богатой наследницей, но расточительность ее отца и подлость негодяя, которому он доверился, их разорили. И вот некий юный красавец из местных дворян влюбился в нее; но, так как он из очень богатой семьи, она не поощряет его ухаживания, считая, что теперь она ему не пара.

При всей своей скромности, самоотверженности и прочих качествах Люси все-таки плутовка — я уверена, что она любит молодого Хейзлвуда и что тот об этом догадывается и, может быть, даже вырвал бы у нее признание, если бы отец мой или она сама дали ему хоть какой-то повод. Но надо тебе сказать, что полковник сам оказывает мисс Бертрам различные знаки внимания. Если бы он не оспаривал этого

права у Хейзлвуда, тот имел бы возможность незаметно для других объясниться с Люси. Любезному папеньке не мешало бы понять, что за такое вмешательство в чужие дела он может поплатиться. Могу тебя уверить, что, будь я на месте Хейзлвуда, я бы не могла спокойно смотреть, как отец любезничает с ней, как он подает ей накидку или платок и помогает сесть в карету; по-моему, и Хейзлвуд начинает уже на это поглядывать косо. А теперь представь только, какая глупая роль отводится во всем этом твоей бедной Джулии! С одной стороны — отец, который ухаживает за подругой, с другой — Хейзлвуд, который следит за каждым ее словом, за каждым взглядом. А у меня такое чувство, что мной никто не интересуется, даже это заморское чудо — Сэмсон, потому что и он сидит перед ней с раскрытым ртом и пялит свои неподвижные, как у изваяния, глаза, приходя в восторг от каждого движения «месс Бартрам», как он ее называет.

Все это меня иногда раздражает, даже злит. Недавно, когда отец и эта влюбленная парочка, казалось, совершенно исключили меня из своего общества, мне стало так обидно, что я начала нападать на Хейзлвуда, и ему нелегко было отделаться от этой атаки, не нарушая правил приличия. Защищаясь, он незаметно для себя разгорячился, и, знаешь, Матильда, он очень умен и хорош собой, и я, пожалуй, не помню, чтобы он когда-нибудь еще бывал так интересен. Но в самый разгар этого спора я была приятно поражена донесшимся до моего слуха легким вздохом мисс Люси. Я оказалась достаточно великодушной и не стала добиваться дальнейших успехов, да к тому же я побаивалась отца. На мое счастье, он в это время углубился в подробное описание нравов и обычаев какого-то племени, живущего в глубине Индии, и рисовал иллюстрации к этому труду на вышивальных узорах, взятых у Люси; штуки три он совершенно испортил, вплетая в изгибы их линий контуры восточной одежды. Но в эту минуту индийские тюрбаны ей были так же безразличны, как ее собственное платье. Для меня, во всяком случае, было

большим облегчением, что он не видел моей проделки, — он ведь зорек, как коршун, и черной ненавистью ненавидит малейшее кокетство.

Ну так вот, Хейзлвуд тоже уловил этот еле слышный вздох и сразу же стал раскаиваться, что обратил свое внимание на такой недостойный предмет, каким была твоя Джулия. С виноватым выражением лица, которое делало его очень смешным, он подошел к рабочему столику Люси. Он сказал ей что-то ничего не значащее, а в ответе ее прозвучали сухость и холодок, уловить которые мог только или влюбленный, или любопытный наблюдатель вроде меня. Но это был упрек, брошенный герою, который и сам обвинял себя и стоял теперь, смущенно потупив глаза. Согласись, великодушные требовало, чтобы я помогла им помириться. Я очень хладнокровно вмешалась в их разговор, как человек посторонний и потому незаинтересованный, и вернула обоих к их прежней веселой болтовне. Став на некоторое время посредницей, через которую они общались друг с другом, я усадила их за шахматы, эту глубокомысленную игру, и с чувством исполненного долга отправилась подразнить папеньку, который все еще занимался рисованием. Теперь представь себе: игроки расположились у камина за маленьким рабочим столиком; на доске расставлены шахматные фигуры. Отец сидит в отдалении за освещенным письменным столом — это ведь старинная комната с разными нишами, и стены ее увешаны мрачными гобеленами, на которых изображено неведомо что.

— Скажите, папенька, шахматы — интересная игра?

— Говорят, что да, — ответил отец, не устаивая меня большим.

— Да, я тоже думаю, если судить по тому, какое внимание уделяют ей мистер Хейзлвуд и Люси.

Он поспешно поднял голову и на мгновение оторвал карандаш от рисунка. Вероятно, он не увидел ничего, что могло бы вызвать подозрение, потому что рука его снова стала спокойно выводить складки тюбана. Я еще раз отвлекла его и спросила:

— А сколько лет мисс Бертрам, папенька?

— Откуда я знаю! По-моему, она твоих лет.

— А мне думается, что она старше. Вы вот всегда мне твердите, насколько она лучше меня умеет хозяйничать за чайным столом. Знаете, папенька, что, если бы вам сделать ее и в самом деле здесь хозяйкой?

— Джулия, милая моя, — ответил отец, — ты или совсем дуручка, или много злее, чем я считал.

— Толкуйте это как хотите, папенька, только я ни за что на свете не соглашусь, чтобы меня считали дуручкой.

— Тогда что же ты говоришь такие глупости? — сказал отец.

— Честное слово, папенька, в том, что я сказала, нет ничего глупого. Все знают, что вы очень хороши собой (тут он улыбнулся), то есть, конечно, для своего возраста (улыбка исчезла), далеко еще не столь преклонного, и я, право же, не вижу, почему вы не должны жить в свое удовольствие, если вам этого хочется. Я знаю, что я всего-навсего легкомысленная девчонка, и если бы подруга, более рассудительная, чем я, могла составить ваше счастье...

Он взял меня за руку так, что я сразу почувствовала, что он не только раздражен, но и серьезно опечален моими словами, и это было для меня жестоким наказанием за то, что я позволила себе шутить с его чувствами.

— Джулия, — сказал он, — я терплю твои выходки только потому, что, мне кажется, я в какой-то мере их заслужил: я в свое время недостаточно занимался твоим воспитанием. Но я не позволю тебе шутить с такими серьезными вещами. Если ты не способна уважать чувств твоего отца к памяти той, которая нам обоим дорога, не посягай по крайней мере на священные права людей в несчастье: пойми, что, если даже малейший намек на такую вот шутку достигнет слуха мисс Бертрам, это неизбежно заставит ее покинуть наш дом и опять остаться одной, без покровителей, в обществе, неприязнь которого она уже имела случай испытать.

Что мне было ответить на это, Матильда? Только заплакать. Я попросила прощения и обещала впредь вести себя лучше. И вот я снова не при чем. Хотя Люси и не очень-то откровенна со мной, с моей стороны было бы просто бесчеловечно привлекать к себе сейчас внимание Хейзлвуда и этим ее мучить. А после такой отповеди отца я и с ним не могу больше завести разговор на эту щекотливую тему. И вот я скручиваю бумажки, жгу их на свече и обгорелым концом рисую на визитных карточках разных турок — вчера вот, например, мне удался чудесный портрет Хайдер-Али, — бренчу на моих несчастных клавишках и начинаю читать серьезную книгу с конца. Больше всего меня беспокоит молчание Брауна. Если бы ему пришлось куда-нибудь уехать из наших краев, он безусловно бы мне написал. Неужели отец перехватил его письма? Нет, это не в его правилах; даже если бы он знал, что, вскрыв письмо, он может помешать мне завтра утром выскочить из окна, он и то не стал бы его трогать. Подумай только, что у меня вдруг вырвалось из-под пера! Пусть это шутка, мне все равно совестно, даже перед тобой, Матильда. Но я поступаю так, как должна поступать, и не могу считать это своей заслугой. Мистер Ванбест Браун не настолько страстно влюблен, чтобы действовать опрометчиво. Надо признаться, что он оставляет мне немало досуга для размышлений. Но я не хочу обвинять его раньше времени и потому не позволяю себе сомневаться в твердости его характера, которую я несколько раз тебе сама расхваливала. Если бы я знала, что он подвержен даже малейшим колебаниям, сомнениям, страху, мне особенно не о чем было бы и жалеть.

Но ты спросишь, почему же, если я требую от своего возлюбленного такой стойкости и непоколебимой верности, почему сама я озабочена тем, что делает Хейзлвуд и за кем он ухаживает? Я задаю себе этот вопрос по сто раз в день и всегда отвечаю на него очень глупо: хоть я и вовсе не желаю склонить его к сколько-нибудь серьезной измене, мне все же неприятно бывает видеть, как мною пренебрегают.

Я пишу тебе обо всех этих пустяках, потому что, судя по твоим словам, они тебе интересны, но меня, по правде сказать, это, пожалуй, даже удивляет. Я помню, что, когда мы с тобой украдкой читали романы, ты была поклонницей всего высокого и романтического. Тебе не давали покоя легенды о рыцарях, карликах, великанах, красавицах, попавших в беду, о прорицателях, привидениях, призраках, о чьих-то руках, обогранных кровью, в то время как меня привлекали разные запутанные положения семейной жизни, а из области чудесного — разве только волшебства восточного джина или доброй феи. Тебе жизнь представлялась огромным океаном, с его мертвенной тишиной и с ревом бурь, с его вихрями, высокими волнами, а я... я мечтала плавать по какому-нибудь озеру или тихому заливу при легком дуновении ветерка, где отдельные трудности могли только сделать эту поездку интересной и потребовать от кормчего умения, но где не было бы настоящей опасности. И мне кажется, Матильда, что тебе больше подходил бы такой отец, как мой: гордый своими подвигами и древностью своего рода, с его рыцарским представлением о чести, его великим умом и знанием тайных наук; тебе нужна была бы и Люси Бертрам, чьи предки, с именами, не укладывающимися ни в какую орфографию и ни в какую память, властвовали некогда над этой романтической страной и которая родилась, как мне говорили, при самых необычайных и знаменательных обстоятельствах. Тебе надо было бы жить в нашем шотландском поместье, окруженном горами, и гулять со мной среди этих зловещих развалин, где живут привидения. А мне, напротив, следовало бы поселиться среди лужаек, кустарников, теплиц и оранжерей вашего ларка с твоей доброй, тихой и снисходительной тетушкой, с ее утренними молитвами, послеобеденным сном и вечерним вистом, выездами упитанных лошадей и еще более упитанным кучером. Но ты видишь, Брауна я в этот обмен не включаю; его живость и непринужденность, его веселый и общительный нрав, его благородство и смелость вполне соответствуют моему идеалу, а в его

атлетическом телосложении, в его красоте и мужестве есть даже что-то рыцарское. Ну, а раз мы не можем совершить полного обмена, не лучше ли тогда каждой оставаться с тем, что у нее есть.

Глава XXX

Я не принимаю твоего вызова; если ты будешь так дерзко говорить со мной, я велю закрыть перед тобой ворота. Видишь вон то окно? Что ж, иди на приступ. Мне дела нет, я служу доброму герцогу Норфолку.

«Веселый черт из Эдмонта»

Джулия Мэннеринг — Матильде Марчмонт

Я только что встала после болезни, милая Матильда, и теперь могу рассказать тебе, какие у нас произошли за эти дни ужасные события! Увы! Как надо остерегаться шутить с будущим! Прошлый раз я дописывала тебе письмо в самом веселом настроении и еще посмеялась над твоим вкусом к романтике и ко всему необыкновенному. Могла ли я тогда думать, что все это приключится именно со мной, и всего через несколько дней. Читать о разных ужасах или увидеть их воочию — не то же ли это самое, что висеть над пропастью, вцепившись в какой-нибудь жалкий кустик, или восхищаться той же пропастью на пейзаже Сальватора Розы? Но не буду забегать вперед.

Первая часть рассказа страшна сама по себе, хоть непосредственно и не затрагивает моих собственных чувств. Ты, вероятно, знаешь, что наши края часто посещаются кочтрабандистами с острова Мэн, который находится неподалеку отсюда. Их немало, и все это люди без страха и совести; стоит кому-нибудь начать им противодействовать, как они становятся грозой всей округи. Местные власти из боязни или из других, еще менее благородных побуждений не хотят с ними связываться, а безнаказанность делает этих

людей еще более дерзкими и отчаянными. Казалось бы, что отец мой, человек здесь совсем новый и не занимающий никакой официальной должности, не имеет ко всему этому ни малейшего отношения. Но, как и сам он утверждает, он действительно родился в тот момент, когда Марс достиг своего апогея в небе, и в самые тихие и мирные периоды своей жизни он неожиданным образом становится участником и битв и кровопролитий.

Во вторник, около одиннадцати часов утра, когда отец собрался пойти вместе с Хейзлвудом к небольшому озеру, милях в трех отсюда, поохотиться на диких уток и в то время, как мы с Люси обсуждали, чем мы будем без них заниматься, мы вдруг услышали топот лошадей, очень быстро приближавшихся к дому. Земля затвердела от сильного мороза, и стук копыт был от этого еще громче и отчетливее. Через несколько мгновений перед домом появились двое или трое вооруженных всадников, причем каждый вел за собой в поводу по навьюченной лошади. Подъехали они не по дороге, которая ведет к дому, а, минуя ее, напрямик по газону. Вид у них был в высшей степени измученный и растерянный, они часто оглядывались, как будто ждали погони. Отец и Хейзлвуд поспешили к парадной двери узнать, кто они такие и что случилось. Прибывшие заявили, что они таможенные чиновники и захватили этих лошадей с контрабандой где-то в трех милях отсюда. Но контрабандисты получили подкрепление и теперь гнались за ними с явным намерением отобрать назад свое добро, а их самих убить. Они сказали, что, так как им пришлось вести за собою навьюченных лошадей и преследователи легко могли их нагнать, они решили искать убежища в Вудберне, полагая, что отец мой, как верноподданный короля, не откажется защитить людей, которые находятся сейчас под угрозой смерти за то, что честно выполнили свой служебный долг.

Отец мой, для которого воинская дисциплина всегда священна и который встал бы, вероятно, на защиту любой собаки, если бы только она явилась к нему от имени короля, немедленно отдал приказ спря-

тать товары, вооружить всех слуг и защищать дом в случае нападения. Хейзлвуд усердно ему помогал, и даже это чудище Сэмсон вышел из своего логова и схватил охотничье ружье. Отец хотел было взять это ружье сам, но потом раздумал и выбрал вместо него другое — карабин, с которым он на Востоке охотился на тигров, а это отставил в сторону. Так вот, не удалось ружье попасть в нескладные руки злополучного Сэмсона, как оно вдруг разрядилось и пуля чуть было не убила одного из таможенных. Пораженный этим неожиданным и произвольным выстрелом, Домини (таково его прозвище) только воскликнул: «У-ди-ви-тель-но!» — обычный способ, которым он выражает свое изумление. Но никакая сила не могла его заставить расстаться со своим разряженным ружьем, и поэтому отбирать его не стали и приняли только меры, чтобы к нему в руки не попали патроны. Я лично ничего этого не видела и не слышала, если не считать общего переполоха, вызванного выстрелом, но когда Хейзлвуд мне потом об этом рассказывал, он очень потешался над неуклюжим и не в меру ретивым Домини.

Когда отец привел все в готовность для защиты и у всех окон были расставлены вооруженные слуги, он хотел укрыть нас куда-нибудь от опасности, кажется в погреб, но мы ни за что на это не соглашались. Хотя я и была в эту минуту напугана до смерти, во мне вдруг пробудилась отцовская отвага: мне легче видеть перед собой грозящую беду, чем слышать о ней на расстоянии и не знать в точности, что происходит на самом деле. Люси, бледная как мрамор, глядела на Хейзлвуда и, казалось, даже не слышала, как он умолял ее уйти в дальние комнаты. Но, по правде говоря, пока дверь была цела, нам ничего особенного не грозило; окна были наглухо заложены подушками и, к большому огорчению Домини, фоллиантами, поспешно принесенными из библиотеки; оставлены были только щели, через которые из дома можно было стрелять по нападающим.

Отец мой закончил все распоряжения, и мы сидели затаив дыхание в затемненной комнате, а мужчины

молча стояли на своих постах, с беспокойством ожидая приближающейся опасности. Полковник, который всегда чувствует себя при подобных обстоятельствах как нельзя лучше, расхаживал из угла в угол и повторял свой приказ ни в коем случае не открывать огонь, пока не будет дана команда. Хейзлвуд, который, казалось, черпал из его взоров мужество, был у него на положении адъютанта: он с удивительной быстротой передавал его приказания то одним, то другим и потом проверял исполнение. Наши силы, включая сюда и таможенных, насчитывали до двенадцати человек.

Наконец это мучительное ожидание нарушилось звуком, который издали казался шумом водяного потока, но постепенно превращался в тяжелый топот быстро приближавшихся коней. Я проделала себе щелочку, сквозь которую могла видеть врага. Шум усилился и стал слышен все ближе, и наконец человек тридцать, а может быть, и больше, стремительно мчавшихся всадников очутилось перед самым домом. Ты не можешь себе представить, что это был за ужас. Невзирая на холодное время, все почти были только в одних рубашках и штанах; головы они повязали шелковыми платками; все они были хорошо вооружены карабинами, пистолетами и тесаками. Я дочь солдата и с самого детства привыкла к войне, но я никогда в жизни не испытывала такого страха, как тут, увидав этих негодяев на взмыленных бешеной скачкой лошадях, услышав их злобные крики и угрозы, когда они поняли, что добыча от них ускользнула. Однако, заметив, какую им приготовили встречу, они остановились и с минуту, по-видимому, совещались между собой. Наконец один из них, с лицом, вымазанным порохом, чтобы его не узнали, выехал вперед, размахивая белым платком, нацепленным на конец карабина, и заявил, что хочет говорить с полковником Мэннерингом. К моему безграничному ужасу, отец распахнул окно, около которого стоял, и спросил незнакомца, чего он хочет.

— Мы хотим, чтобы нам отдали наше добро, которое у нас забрали эти собаки, — сказал он, — и наш

главный велел сказать, что, если нам его отдадут, мы уберемся отсюда и не станем рассчитывать с этими подлецами; если же нет, то дом мы сейчас спалим, а вы все будете плавать в крови.

Угрозу эту он повторил несколько раз, сопровождая ее все новыми проклятиями и самыми ужасными оскорблениями, на которые только способна жестокость.

— А где ваш главный?

— Там вон, на серой лошади, красным платком повязан, — ответил бандит.

— Так будьте любезны сказать этому молодцу, что если он со всей шайкой сейчас же отсюда не уберется, я без предупреждения открою огонь. — С этими словами отец захлопнул окно, и на этом переговоры окончились.

Не успел посланец вернуться к своим, как те с громким криком «ура», или, скорее, с диким ревом, дали залп по нашему гарнизону. Стекла посыпались во все стороны, но благодаря принятым предосторожностям все находившиеся в доме остались целы и невредимы. За этим залпом последовало еще два, а с нашей стороны ответа не было. Тогда отец, увидев, что они вооружились ломами и топорами и собираются, по-видимому, взламывать дверь, приказал: «Не стрелять никому, кроме меня и Хейзлвуда; Хейзлвуд, стреляйте в парламентаря!» Сам же он прицелился в сидевшего на серой лошади атамана, который тут же упал, сраженный его пулей; столь же удачным оказался и выстрел Хейзлвуда: он уложил парламентаря, который уже спешил и шел вперед с топором в руке. Участь этих двух внесла замешательство в ряды разбойников, и они стали поворачивать лошадей; несколько выстрелов заставили их ускакать прочь, захватив с собой убитых и раненых. Много ли их было, нам разглядеть не удалось. Вскоре после того, как они скрылись, к моей безграничной радости, к нам прибыл отряд солдат. Они стояли в ближайшей деревне и, как только услышали звуки выстрелов, немедленно двинулись сюда. Солдаты отправились сопровождать таможенных чиновников вместе

с отобранкой ими контрабандой в один из ближайших портов, где они могли чувствовать себя в безопасности, а несколько человек, по моей настоятельной просьбе, остались на два дня у нас в доме на случай, если бы разбойники решили вдруг отомстить.

Вот, милая Матильда, первое событие! Надо еще добавить, что негодяи эти оставили в хижине у дороги человека с вымазанным лицом, вероятнее всего потому, что его нельзя было уже дальше везти. Он умер через полчаса. Когда осмотрели труп, выяснилось, что это был отъявленный негодяй, известный по всей округе как браконьер и контрабандист. Многие соседи нас поздравляли, и все считали, что, если бы эти подлые люди еще раз-другой встретили такой отпор, у них пропала бы охота бесчинствовать. Отец наградил слуг и превозносил до небес хладнокровие и мужество Хейзлвуда. Часть этих похвал досталась также на долю Люси и на мою, потому что мы стойко выдержали огонь, и он ни разу не слышал от нас ни жалоб, ни крика. Что касается Домини, то отец решил просить его по этому случаю обменяться с ним табакерками. Почтенный учитель был очень польщен этим предложением и не мог нарадоваться красоте своей новой табакерки. «Она так блестит, — говорил он, — как будто это настоящее офирское золото». Странно, если бы это было иначе, так как табакерка действительно золотая, но надо отдать справедливость этому доброму существу: даже если бы он узнал, что это всего только позолоченный томпак, он бы высоко ценил ее как знак расположения к нему отца, и чувства его нисколько бы не изменились, если бы он узнал ее настоящую цену. Ему пришлось немало потрудиться, расставляя по местам фолианты, из которых были сооружены баррикады, разглаживая загибы, «ослиные уши» и исправляя разные другие повреждения, полученные книгами во время их участия в сражении. Он принес нам несколько кусочков свинца и несколько пуль, засевших в увесистых томах, откуда он их с большой осторожностью извлекал. Если бы на душе у меня было повеселее, я могла бы посмеить тебя, рассказав о том, как его пора-

жало, что мы равнодушно слушали его повествования о ранах и увечьях Фомы Аквинского или высокочтимого Златоуста. Но сейчас у меня не такое настроение, и мне надо сообщить тебе о другом, еще более значительном событии. Только я так устала сейчас, что раньше завтрашнего дня просто не в состоянии взяться за перо. Но я не буду пока отсылать это письмо, чтобы тебе не пришлось понапрасну беспокоиться о твоей

Джулии Мэннеринг.

Глава XXXI

Вот штука-то!
А ты об этом знаешь?
«Король Иоанн»

Джулия Мэннеринг — Матильде Марчмонт

Продолжаю мой рассказ, милая Матильда, с того, на чем я остановилась вчера.

Два или три дня у нас только и было разговора, что об осаде Вудберна и о том, какие она еще может иметь последствия; мы прожужжали папеньке все уши, прося его поехать с нами в Эдинбург или хотя бы в Дамфриз, где все же есть светское общество, и побыть там до тех пор, пока контрабандисты не перестанут думать о мести. На это он очень хладнокровно отвечал, что не собирается оставлять на произвол судьбы ни нанятый дом, ни свое имущество. Он сказал, что его всегда считали человеком, способным стать на защиту своей семьи, и если он спокойно останется дома, то, после всего что было, негодяи вряд ли отважатся на новое нападение. Если же он выкажет хоть малейшие признаки тревоги, то это будет вернейшим средством навлечь на себя ту опасность, которой мы все страшимся. Успокоенные его доводами и удивительным безразличием, с которым он говорил об этой возможной опасности, мы несколько приободрились и возобновили наши обычные прогулки. Разница была только в том, что мужчины

сопровождали нас вооруженными и отец обращал особое внимание на охрану дома в темные ночи, требуя, чтобы слуги всегда держали оружие наготове.

Но три дня тому назад произошло событие, встревожившее меня гораздо больше, чем нападение контррабандистов.

Я уже писала тебе, что неподалеку от Вудберна есть небольшое озеро, куда мужчины ходят стрелять диких уток. Как-то однажды, во время завтрака, я сказала, что мне хотелось бы пойти туда теперь, когда озеро покрыто льдом, и посмотреть, как там катаются на коньках. Снегу, правда, выпало много, но на морозе он затвердел, и я считала, что мы с Люси сумеем добраться до озера, тем более что туда ведет тропинка, по которой всегда ходит много народу. Хейзлвуд сразу же вызвался проводить нас. Тогда мы обе стали настаивать, чтобы он захватил с собой ружье. Он сначала порядочно посмеялся, что придется идти с ружьем по снегу теперь, когда никто не охотится, но, ради нашего спокойствия, распорядился, чтобы следом за нами шел слуга с ружьем, тот самый, которого он обычно берет с собой на охоту. Ну, а полковник Мэннеринг, тот не любит толпы и никаких зрелищ, где принимает участие множество народу, если, конечно, это не какой-нибудь военный смотр; поэтому он остался дома.

Вышли мы ранним морозным утром. Солнце ярко светило. Свежий разреженный воздух придавал бодрость и силу. Идти до озера было просто наслаждением; разные препятствия на пути только забавляли нас: приходилось то спускаться по крутому обледенелому спуску, то переходить замерзший ров — здесь уже нельзя было обойтись без помощи Хейзлвуда. Я думаю, что и для Люси прогулка от этого была только приятнее.

Озеро удивительно красиво. С одной стороны его обрамляют отвесные скалы, украшенные огромными ледяными сосульками, сверкающими на солнце, с другой — причудливые очертания леса, сосен, одетых снегом. На катке собралось множество народу: одни носились быстро, как птицы, другие вычерчивали

на льду круги, третьи глазели. Многие столпились вокруг места, где жители двух соседних приходов боролись за первенство в фигурном катании, завоевать которое было честью немалой, если судить по азарту как самих конькобежцев, так и зрителей. Мы обошли вокруг озера. Хейзлвуд взял нас обеих под руки. Он приветливо разговаривал там со всеми, со старым и малым, и повсюду его хорошо встречали. Наконец мы уже стали подумывать о возвращении.

Зачем я пишу обо всех этих ничего не значащих вещах? Видит бог, вовсе не потому, что они интересуют меня сейчас; просто, должно быть, как утопающий хватается за соломинку, я теперь готова схватиться за что угодно, лишь бы как-то отдалить страшную часть моего рассказа, которая за этим последует. Но надо говорить и об этом — пусть хоть один друг посочувствует мне в горе, от которого просто разрывается сердце.

Мы возвращались по тропинке, пролегающей через еловую рощу. Люси отпустила руку Хейзлвуда: она только в самых крайних случаях решалась согласиться на его помощь. Я же все еще опиралась на его руку. Люси шла за нами, а еще в нескольких шагах шел слуга. Вдруг на повороте как из-под земли перед нами вырос Браун. Одет он был очень просто, можно даже сказать — не лучше, чем обыкновенный крестьянин, и вид у него был крайне встревоженный и странный. Я вскрикнула и от удивления и от испуга. Хейзлвуд совсем по-иному воспринял мой крик, и, когда Браун приблизился ко мне, он высокомерно приказал ему отойти и не пугать дам. Браун не менее сурово ответил, что не собирается учиться у него, как надо вести себя в дамском обществе. Очевидно, Хейзлвуд, решив, что имеет дело с каким-нибудь контрабандистом, явившимся сюда с дурными намерениями неправильно истолковал смысл его слов. Он выхватил ружье из рук слуги, подоспевшего в эту минуту, и, направив дуло на Брауна, под страхом смерти запретил ему подходить к нам. От испуга я не могла произнести ни слова и стала кричать, но это только ускорило трагическую развязку. Взмешенный угрозой

Хейзлвуда, Браун бросился прямо на него, схватился с ним и чуть было не вырвал у него ружье, как вдруг оно неожиданно выстрелило, и Хейзлвуд тут же упал: пуля пробила ему плечо. Больше я ничего не видела, все поплыло у меня перед глазами, и я потеряла сознание. Но Люси рассказала мне потом, что виновник происшествия несколько мгновений еще смотрел на всю эту картину, пока наконец на крики не стал сбегаться народ. Тогда он перепрыгнул через изгородь, вдоль которой шла тропинка, скрылся с глаз, и с тех пор никто ничего о нем не слышал. Слуга не сделал ни малейшей попытки остановить или догнать его и, когда сбежались люди, стал звать к их милосердию, чтобы они помогли привести меня в сознание, а отнюдь не к храбрости, необходимой, чтобы поймать разбойника, которого он им описал как человека чудовищной силы и хорошо вооруженного.

Хейзлвуд был благополучно доставлен домой, то есть в Вудберн; надеюсь, что рана его окажется неопасной, хотя сейчас она причиняет ему сильные боли. Но для Брауна это может иметь самые ужасные последствия. Он уже навлек на себя гнев моего отца, а теперь ему грозит еще преследование по закону и в довершение всего — месть старика Хейзлвуда, который грозит перевернуть весь мир, чтобы только отыскать и наказать человека, ранившего его сына. Как же он теперь спасется от преследований и от мести? Или как он защитит себя от карающей руки правосудия? Мне сказали, что даже жизнь его может оказаться под угрозой. И как мне теперь дать ему знать о нависшей опасности? К тому же ранен ведь не кто иной, как возлюбленный бедной Люси, и ее горе, которое она не в состоянии скрыть, служит для меня еще новым источником печали, как будто все вокруг обвиняет меня в нескромности, которая и послужила причиной этой катастрофы.

На два дня я совсем слегла. Потом я узнала, что Хейзлвуд поправляется. О человеке, стрелявшем в него, нет ни слуху ни духу, но все уверены, что это кто-то из главарей шайки контрабандистов. Эти известия немного меня приободрили. Если подозрение

пало на этих людей, именно их начнут преследовать, тогда Брауну легче будет бежать, и я думаю, что он уже далеко отсюда. Но пешие и конные дозоры разосланы по всей стране; множество долетевших до нас слухов, путаных и недостоверных, о том, что кого-то нашли и арестовали, не дает мне покоя.

А пока меня больше всего утешает великодушие и честность Хейзлвуда, который продолжает утверждать, что, с каким бы намерением ранивший его незнакомец ни подошел к нему, он убежден, что ружье выстрелило во время схватки само и что ранен он не преднамеренно. Слуга же, однако, считает, что ружье было выхвачено из рук Хейзлвуда и нарочно направлено прямо на него; того же мнения держится и Люси. Я ни минуты не думаю, что они нарочно хотят все так изобразить, — это только лишний пример ненадежности всех свидетельских показаний вообще: ясно ведь, что ружье выстрелило случайно. Может быть, лучше всего было бы рассказать обо всем Хейзлвуду, но он молод, и я ни за что не решусь признаться ему в своем безрассудстве. Как-то я подумала о том, чтобы поделиться всем с Люси, и стала спрашивать ее, не помнит ли она, как выглядел незнакомец, сыгравший столь печальную роль во всем этом деле. Но, описывая черты лица и весь облик разбойника, она представила его таким чудовищем, что у меня просто духу не хватило говорить ей о своих чувствах к нему. Надо сказать, что мисс Бертрам находится во власти страшного предубеждения, потому что человека такой красоты, как Браун, найти нелегко. Я ведь давно его не видела, но даже в эту злополучную минуту, когда он так внезапно появился перед нами и обстоятельства были столь невыгодны для него, и то, мне кажется, он выглядел даже прекраснее, чем раньше, и взгляд его был преисполнен достоинства. Встретимся ли мы еще когда-нибудь с ним? Кто знает! Порадуй меня хоть чем-нибудь, милая Матильда. Ноты ведь всегда радуешь меня своими письмами. И все-таки напиши поскорее, поласковее. Сейчас я в таком состоянии, что ни советы, ни упреки мне пользы не принесут, и я не могу, как бывало, весело смеяться

над ними. Я сейчас совсем как маленькая девочка, которая, расшалившись, пустила в ход огромный механизм, — и вот теперь вокруг нее стучат колеса, гремят цепи, кружатся валы, а она стоит, пораженная тем, что она, такое слабенкое создание, привела в движение эту страшную машину, и в ужасе ждет тех последствий, отворотить которые уже невозможно.

Должна еще сказать тебе, что отец очень добр и ласков со мной. Мое нервное состояние он, видимо, приписывает страху. Вся моя надежда только на то, что Браун спасся от преследования и бежал куда-нибудь в Англию, или в Ирландию, или на остров Мэн. При всех обстоятельствах он может спокойно и терпеливо ждать, пока Хейзлвуд поправится, потому что, на наше счастье, в местах этих судебные власти не очень-то сумели наладить связь с Шотландией. Если бы он был сейчас задержан, это могло бы иметь для него страшные последствия. Я стараюсь не поддаваться отчаянию и доказываю себе, что этого не случится. Увы! Как быстро, как жестоко настоящее горе и настоящий страх сменили мирную и спокойную жизнь, на которую я последнее время уже готова была сетовать. Но я не буду больше докучать тебе своими жалобами. Прощай, милая Матильда!

Джулия Мэннеринг.

Глава XXXII

— Не надо и глаз, чтобы разобрать, как все на свете делается.

— А ты ушами смотри. Глянь, как этот судья издевается над простаком вором. Прислушайся. А ну-ка, поменяйтесь местами. Раз, два, три; теперь скажи-ка, кто судья, кто вор.

«Король Лир»

В числе лиц, настойчиво стремившихся узнать, кто ранил молодого Чарлза Хейзлвуда, был Гилберт Глоссин, эсквайр, бывший писец в ***, а ныне лэрд

Элленгауэн и один из мировых судей *** графства. Основания у него к этому были различные, но читатели наши, которые уже немного знают этого господина, пожалуй поймут, что он вряд ли был особенно ревностным поборником справедливости.

В действительности, после того как все махинации Глоссина позволили ему завладеть имением своего благодетеля, этот почтенный джентльмен оказался в худшем положении, чем он мог ожидать. В самом деле, внутри дома слишком многое напоминало ему о былом, и эти воспоминания подчас отравляли ему радость от успеха его предприятия. За пределами же имения он не мог не чувствовать, что, несмотря на купленное им дворянство, соседи исключили его из своего общества. В дворянские клубы его не допускали, а на общественных собраниях, посещать которые он имел право, его встречали холодно, презрительно и даже враждебно. Этому содействовали как предрассудки, так и принципы: местные дворяне презирали его за плебейское происхождение, а за те средства, которыми он составил себе богатство, его попросту ненавидели. Простолюдины относились к нему еще хуже. Они не только не хотели величать его Элленгауэном, по названию поместья, но даже и мистером Глоссином; для них он был всего-навсего Глоссин, и его мелочное тщеславие так от этого страдало, что однажды он дал нищему полкроны за то лишь, что тот, вымаливая у него подавание, трижды назвал его Элленгауэном. Он очень болезненно воспринимал этот недостаток уважения к собственной персоне, особенно же когда сравнивал свое положение в обществе с тем, которое занимал в нем Мак-Морлан. Последний, располагая гораздо меньшими средствами, чем Глоссин, снискал себе, однако, и уважение и любовь как богатых, так и бедных и хотя медленно, но все же успешно сколачивал себе небольшое состояние, окруженный доброжелательным отношением со стороны всех, кто его знал.

Глоссин, хотя и досадовал про себя на то, что называл предрассудками и предвзятым к себе отношением, был все же слишком умен, чтобы жаловаться

открыто. Он понимал, что его возвышение еще совсем свежо у всех в памяти и что средства, к которым он прибегал, сами по себе были до того отвратительными, что простить его было нельзя. Но он считал, что время сглаживает углы и покрывает грехи. Изучая человеческие слабости, этот ловкий пройдоха умел каждый раз извлечь из них выгоду и решил не упустить ни одного случая оказать какую-нибудь услугу даже тем, кто относился к нему с явной ненавистью. Он надеялся на собственные способности и на склонность местных дворян впутываться в тяжбы, зная, что именно тогда совет законоведа особенно нужен, а также и на тысячу других возможностей. Он полагал, что, если он использует их искусно и терпеливо, соседни начнут относиться к нему с большим уважением, и, может быть, это даже возвысит его в их глазах: ведь случалось же иногда, что какой-нибудь хитрец и проныра, снискавший доверие местных помещиков, становился, выражаясь словами Бернса,

Для всех их просто язычком варгана.

Нападение на дом полковника Мэннеринга, а потом ранение Хейзлвуда как раз и представилось Глоссину подходящим случаем, чтобы доказать всем окрестным помещикам, какую службу может сослужить энергичный судья (в течение некоторого времени он был уже мировым судьей), знающий все повадки контрабандистов, а также притоны, в которых укрываются эти люди. Познания эти он вынес из прежних своих связей кое с кем из самых отчаянных контрабандистов; он в свое время либо действовал заодно с ними, либо оказывал им помощь компетентными советами. Но связи эти оборвались уже несколько лет тому назад, и, прикинув в уме, как эти отчаянные люди недолговечны и как часто им приходится менять арену действия, он пришел к выводу, что теперешние его розыски вряд ли смогут задеть его старых друзей и навлечь на него их месть. Он считал, что его бывшее участие в их деле ни в коей мере не помешает ему воспользоваться своим опытом для общего блага или, что вернее, для его же собственной корысти.

Для человека, который так домогался возможности быть принятым в светском обществе, приобрести поддержку и расположение полковника Мэннеринга значило очень много; еще важнее было заручиться благосклонностью старика Хейзлвуда, который пользовался в этом обществе особым весом. И, наконец, если бы ему удалось обнаружить, задержать и осудить виновных, он этим задел бы Мак-Морлана и даже в какой-то мере унизил его. Мак-Морлан был помощником шерифа графства, и производить дознания было его обязанностью. Его авторитет был бы неминуемо подорван, если бы все узнали, что Глоссин его опередил.

Приободренный этими соображениями, Глоссин поставил на ноги блюстителей закона — а он их всех хорошо знал, — чтобы только разыскать и, по возможности, задержать разбойников, принимавших участие в нападении на Вудберн, в особенности же человека, ранившего Чарлза Хейзлвуда. Он пообещал высокие награды, составил различные планы действий и использовал свое личное влияние среди старых знакомых, которые были иногда склонны помогать контрабандистам, настоятельно убеждая их, что им лучше пожертвовать одним или двумя из этих низких людей, чем навлечь на себя всеобщую ненависть за покровительство столь ужасным преступлениям. Но первое время все его усилия ни к чему не приводили. Местное население то ли сочувствовало контрабандистам, то ли в такой степени их боялось, что не решалось никого выдать. Наконец наш дотошный чиновник узнал, что человек, приметы которого подходили к приметам негодяя, ранившего Хейзлвуда, остановился накануне в гостинице «Гордонов щит» в Кипплтрингане. Туда-то и направился Глоссин, чтобы расспросить обо всем нашу старую знакомую миссис Мак-Кэндлиш.

Читатель, вероятно, помнит, что, как явствовало из слов самой этой женщины, Глоссин отнюдь не пользовался ее расположением. Поэтому она очень не скоро и неохотно явилась по его вызову в комнату, поздоровалась с ним крайне холодно. Тут между ними произошел следующий разговор:

— Хорошая сегодня погода, миссис Мак-Кэндлиш.

— Да, погода ничего себе, — сухо отвечала хозяйка.

— Миссис Мак-Кэндлиш, мне хотелось бы знать: что, во вторник после заседания судьи у вас будут обедать?

— Думаю, что будут, всегда ведь обедают. (Она хотела уйти.)

— Минуточку подождите, миссис Мак-Кэндлиш, вы что-то очень торопитесь! По-моему, неплохо было бы, если бы раз в месяц весь наш клуб к вам на обед собирався, не правда ли?

— Да, конечно, если бы собирався клуб людей почтенных.

— Верно, верно, — сказал Глоссин, — я ведь и имею в виду помещиков и всех достойных джентльменов нашего края, и мне бы хотелось положить этому начало.

Короткий сухой кашель, которым миссис Мак-Кэндлиш встретила это предложение, никак не означал, что она против него в целом, но, казалось, ставил под вопрос успешность этого предприятия в случае, если оно будет возглавлено ее теперешним собеседником. Это был не кашель отрицания, но кашель сомнения, и Глоссин это хорошо понял; но он считал, что сейчас не время обижаться.

— Ну как, миссис Мак-Кэндлиш, народу приезжало много?

— Да, немало. Но мне пора идти.

— Нет, нет, подождите минутку. Не можете вы, что ли, старому клиенту одолжение сделать? Помните, тут у вас как-то на прошлой неделе высокий такой молодой человек ночевал?

— Честное слово, не могу сказать, — мне-то совсем неважно, высокий ли он сам вырос, только бы счет его рос.

— Ну, если счет не дорос, так вы уж как-нибудь его натянете, не так ли, миссис Мак-Кэндлиш? Ха-ха-ха! Но этот молодой человек, про которого я вас спрашиваю, был ни много ни мало шести футов ростом и одет в темный кафтан с металлическими пуго-

вицами, волосы у него светлые и не напудренные, глаза голубые, нос прямой, путешествовал он пешком, без вещей и без слуги. Ну что, помните такого?

— Буду я еще помнить всякую ерунду, — ответила миссис Мак-Кэндлиш, стараясь избежать дальнейших расспросов. — Знаете, я и так по горло занята, а тут, извольте видеть, замечай, какие у твоих постояльцев волосы, да глаза, да носы.

— Так вот, миссис Мак-Кэндлиш, я должен вам прямо сказать, что человека этого подозревают в преступлении, и я, как судья, требую, чтобы вы мне сообщили о нем все, что вам известно; если вы откажетесь, я должен буду привести вас к присяге.

— Что вы! Не могу я никак присягать.¹ Правда, пока мой милый муженек, бейли Мак-Кэндлиш, жив был (царство ему небесное), мы еще ходили в пресвитерианскую церковь, ему там и по должности быть полагалось, но, с тех пор как господь отозвал его в лучший мир, я опять стала ходить к преподобному Мак-Грейнеру. Словом, вы видите, что я никак не могу к присяге идти, пока с пастором сначала не посоветуюсь, особенно же против бедного молодого человека, у которого нет здесь ни друзей, ни защиты.

— Может быть, ваши сомнения и без мистера Мак-Грейнера рассеются, если я скажу вам, что человек, про которого я спрашиваю, стрелял в приятеля вашего, Чарлза Хейзлвуда.

— Боже мой! Кто бы мог подумать, что это возможно? Нет, будь это за долги или за какую-нибудь ссору с таможенными, тогда сам черт не мог бы заставить Нелли Мак-Кэндлиш говорить против него. Но если он и вправду стрелял в молодого Хейзлвуда... Только не так оно было, мистер Глоссин, знаем мы ваши проделки. Ни за что я не поверю, чтобы этот славный парень... Да нет, все это ваши выдумки, вам бы только схватить его.

— Я вижу, что вы мне не верите, миссис Мак-Кэндлиш; взгляните тогда на эти вот показания, под-

¹ Некоторые из последовательных диссидентов отказываются принимать присягу перед гражданскими лицами. (*Прим. автора.*)

писанные очевидцами происшествия, и теперь ответьте мне, не похож ли ваш гость на описанного здесь негодяя.

Глоссин передал ей бумаги, и она очень внимательно стала их читать, то и дело снимая очки, чтобы обратить взгляд к небесам или смахнуть наворачнувшуюся слезу, потому что молодой Хейзлвуд был ее любимцем.

— Ладно же, ладно, — сказала она, прочтя все до конца, — раз так, то я наведу вас на след этого негодяя. Но до чего же легко ошибиться в людях! Он такой обходительный был, такой любезный! Я думала, что это джентльмен какой-нибудь в несчастье... Нет, я его покрывать не стану, подлеца такого, — подумайте только, стрелять в Чарлза Хейзлвуда, да еще при барышнях!.. Бедняжки они! Я его покрывать не стану!

— Так, значит, действительно этот человек накануне здесь ночевал?

— Да, это так, и он здесь всему дому понравился, это был такой милый, такой любезный молодой человек. Не то чтобы он много всего заказывал, нет, он взял только кусок баранины, кружку пива, стакан другой вина, да я его пригласила чаю попить с нами, это я ему даже в счет не поставила. А от ужина он отказался: устал, говорит, всю ночь в дороге... Видно, за чем-то на добычу ходил.

— Так вы, верно, знаете, как его зовут?

— Как же, знаю, — ответила хозяйка, теперь уже сама стремясь сообщить все, что ей было известно, так же как перед этим стремилась все скрыть. — Он сказал мне, что его зовут Браун, да еще говорил, что его, может быть, будет спрашивать старуха такая, на цыганку похожая. Ну-ну! Скажи мне, кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты! Ах, он, подлец этакий... Утром, правда, перед тем как уйти, он все сполна заплатил по счету, да еще что-то служанке подарил; от меня ведь она только пару башмаков в год получает, да еще разве когда на рождество ей что-нибудь подарю.

Тут Глоссин нашел нужным остановить ее и перевести разговор на прежнюю тему.

— Ну так вот, он и говорил, что, если эта старуха придет и спросит Брауна, скажите ей, что я пошел на озеро Криран, как оно тут зовется, поглядеть, как там на коньках катаются, а к обеду вернусь. Но он так и не вернулся, хоть я и ждала его, даже еще цыпленка сама зажарила да рыбы головы нафаршировала, а я это не каждому готовлю, мистер Глоссин. Только не думала, не гадала, какое у него катанье на уме, — в такую овечку, в бедного мистера Чарлза стрелять!

Как и подобало умному следователю, Глоссин, дав сперва свидетельнице высказать все свое удивление, начал теперь расспрашивать ее, не оставил ли этот человек в гостинице каких-нибудь вещей или бумаг.

— Как же, оставил маленький узелок да еще дал мне денег, чтобы я заказала ему полдюжины сорочек с манжетами, Пег Пэсли их шить взяла; пригодятся, может быть, они теперь этому проходимцу, когда его по Лонмаркету поведут.¹

Глоссин попросил показать ему этот узелок, но хозяйка заколебалась.

— Этого я не могу, — сказала она. — Не то чтобы я решила супротив властей поступать, но только раз уж мне доверие оказали, так я и отвечать за вещи перед тем человеком должна. Я вот пошлю за церковным старостой Берклифом, а вы, мистер Глоссин, при нем составите опись вещей и расписку дадите. Тогда я спокойна буду; я хочу, чтобы все по закону делалось.

Как врожденная осторожность, так и благоприобретенная подозрительность миссис Мак-Кэндлиш были непоколебимы. Поэтому Глоссин послал за Берклифом «на предмет беседы с ним о преступнике, стрелявшем в Чарлза Хейзлвуда». Берклиф незамедлительно явился; парик его был сдвинут набок, потому что, спеша на зов судьи, он еле успел нахло-

¹ В старые времена именно этим путем преступников вели к виселице, как об этом поется в школьной песенке: «Вверх по Лонмаркету, вниз по Уэст Боу, вверх по длинной лестнице, вниз по короткой веревке». (Прим. автора.)

бучить его на голову вместо килмарнокского колпака, в котором он обычно обслуживал своих покупателей. Тогда миссис Мак-Кэндлиш вытащила узелок, оставленный Брауном. В нем нашли кошелек цыганки. Увидев, сколько там было драгоценных вещей, миссис Мак-Кэндлиш обрадовалась, что приняла все необходимые меры предосторожности перед тем, как сдать эти вещи Глоссину. С видом человека совершенно честного и чуждого соблазну, Глоссин предложил тщательно переписать драгоценности и оставить их на хранение Берклифу, чтобы потом переслать прямо в суд.

— Я не могу взять на себя ответственность, — сказал он, — за такие ценные вещи, которые, вне всякого сомнения, приобретены нечестным путем.

Потом он внимательно рассмотрел бумагу, в которую был завернут кошелек. Оказалось, что это кусок письма; на обратной стороне его было написано: «В. Брауну, эсквайру», адрес, однако, был оторван. Хозяйка, которая только что с особенной осторожностью обходила молчанием все обстоятельства бегства преступника, стала теперь, напротив, особенно словоохотливой, а взглянув на кошелек, она еще больше прониклась убеждением, что дело тут было нечисто. И тогда миссис Мак-Кэндлиш дала понять Глоссину, что и кучер ее и конюх — оба видели незнакомца на льду утром того дня, когда ранили молодого Хейзлвуда.

Первым был вызван уже хорошо известный нашему читателю Джок Джейбос, который прямо признался, что он не только видел незнакомца на льду, но даже разговаривал с тем человеком, который, по всей видимости, ночевал в гостинице «Гордонов щит».

— Ну, и как же обернулся ваш разговор? — спросил Глоссин.

— Обернулся? Да он никуда не оборачивался, мы шли прямо по льду.

— Да, но о чем же вы все-таки говорили?

— Ну, он, как человек приезжий, все меня спрашивал, — неохотно отвечал Джок, как будто вся медлительность и молчаливость, только что владевшие его хозяйкой, теперь передались ему.

— Но о чем же он расспрашивал? — домогался Глоссин.

— Да вот, спрашивал обо всем народе, что на льду был, да насчет старого Джона Стивенсона, да про молодых леди... и все такое...

— Про каких это молодых леди? И что он о них спрашивал? — любопытствовал Глоссин.

— Про каких леди? Да про мисс Джулию и про мисс Люси Бертрам, которых вы хорошо знаете, мистер Глоссин. Они как раз гуляли с молодым лэрдом Хейзлвудом по льду.

— И что ты ему про них сказал?

— Как что? Что есть, то и сказал. Вот это, мол, мисс Люси Бертрам Элленгауэн, что когда-то была наследницей большого поместья, а та — мисс Джулия Мэннеринг, невеста молодого Хейзлвуда. Ишь, как она к нему прильнула. Ну, и о разных наших деревенских делах мы с ним тоже потолковали. Славный это человек был.

— Ну, а он-то что на все это отвечал? — спросил Глоссин.

— Он? Он долго-долго на молодых леди глядел и опять спросил, верно ли, что мисс Мэннеринг замуж за Хейзлвуда выходит, а я отвечал, что это дело решенное, да оно и на самом деле так — ведь моя сестра троюродная Джин Клейверс (Джин-то вы знаете, да она будто и вам родня, мистер Глоссин?), так вот она с ключницей в Вудберне тоже в родстве состоит. И она мне говорила, что дело там совсем уже на мази.

— Да, но что же все-таки сказал на это приезжий? — опять спросил Глоссин.

— Сказал... — повторил Джок, — да ничего он не сказал, он только так смотрел на них, когда они вокруг озера по льду ходили, будто сожрать хотел, все-то время с них глаз не спускал, а сам слова не вымолвил, а туда, где народ катался, так даже и не взглянул, а тогда как раз самые большие искусники на лед вышли. Так он стоял, а потом повернулся да пошел по тропинке, по той, что в Вудберн ведет, через еловую рощу, только его и видели.

— Подумать только, — сказала миссис Мак-Кэндлиш, — совсем в человеке совести нет: тут же, прямо на глазах у невесты, жениха убивать.

— О миссис Мак-Кэндлиш, подобные случаи у нас бывали. Он, конечно, ему мстил, а такая-то месть ведь слаще всего.

— Помилуй господи, — сказал церковный староста Берклиф, — какие мы все грешные создания, когда предоставлены самим себе! Он, должно быть, забыл, что в писании сказано: «Мне отмщение, и аз воздам».

— Послушайте, — сказал Джейбос, который, по своей неотесанной простоте, попадал иногда, что называется, не в бровь, а в глаз, — послушайте, тут дело что-то не так, я ни за что не поверю, чтобы кому-нибудь пришло в голову человека застрелить его же собственным ружьем. Я ведь сам на Острове помощником лесничего служил, так вот ручаюсь вам, что первый силач в Шотландии, и тот у меня ружья не отнимет: я сначала в него все пули всажу. А я ведь, видите, какой, одна кожа да кости, и я только и знаю, что сидеть да лошадей погонять. Нет, чего там говорить, на такое дело никто не пойдет. Да я самые лучшие мои сапоги в заклад ставлю, новые, на ярмарке в Керккудбрайте купил, что это чистый случай. Но если я вам больше не нужен, так я пошел поглядеть, как там, кормят лошадок или нет. — И он вышел.

Конюх, явившийся вместе с ним, показал то же самое, и его и миссис Мак-Кэндлиш снова стали допрашивать, не было ли при Брауне в это злополучное утро какого-нибудь оружия.

— Не было, — сказали оба, — один только тесак у него на ремне висел.

— Ну вот видите, — заявил Берклиф, держа Глоссина за пуговицу (заявившись разрешением столь сложного вопроса, он позабыл о том, что Глоссин был уже в новом звании), — все это очень сомнительно, мистер Гилберт; просто невероятно, чтобы он решился нападать так, ничего при себе не имея.

Глоссин постарался избавиться от крепкой руки Берклифа и от спора с ним, но действовал все же

очень осторожно; ведь теперь он был крайне заинтересован в том, чтобы самые разные люди составили о нем хорошее мнение. Он спросил, какие сейчас цены на чай и сахар, и сказал, что хочет купить про запас того и другого, попросил миссис Мак-Кэндлиш приготовить в следующую субботу хороший обед на пять человек, которых он собирался сюда пригласить, и, наконец, дал полкроны Джоку Джейбосу, которого конюх послал поддержать лошадей.

— Ну вот, — сказал Берклиф, взяв из рук миссис Мак-Кэндлиш стакан пива, — не так страшен черт, как его малюют. Приятно видеть, что мистер Глоссин принимает такое близкое участие во всем, что у нас тут делается.

— Это сущая правда, мистер Берклиф, — ствечала трактирщица, — но все-таки я удивляюсь, что наши знатные господа, вместо того чтобы самим свои обязанности выполнять, их на такого человека возложили. Но, видно, пока монета в ходу, никто не будет задумываться, что там на ней изображено.

— А по-моему, так скоро все разглядят, что такая монета, как Глоссин, из чего угодно, только не из благородного металла чеканена, — сказал Джейбос, проходя в эту минуту по комнате. — Зато вот эти полкроны — монетка что надо.

Глава XXXIII

Человеку этому умереть — все равно что уснуть с перепоя. Живет он без забот, без совести и без страха; прошлое, настоящее, будущее — для него все нипочем, да и смерть сама тоже; а ведь кто же здесь и смертен, если не он?

«Мера за меру»

Глоссин тщательно сопоставил все полученные им сведения. Ему они, правда, не очень-то объясняли существо дела. Но читателю, который все знает лучше,

стало теперь понятно, что было с Брауном с тех пор, как мы расстались с ним по дороге в Кипплтринган, и до той злосчастной минуты, когда, терзаемый ревностью, он так неожиданно появился перед Джулией Мэннеринг и когда его ссора с Хейзлвудом так быстро привела к роковой развязке.

Глоссин медленно возвращался в Элленгауэн; он размышлял о том, что слышал, все больше и больше утверждаясь в мысли, что деятельным и успешным расследованием этого таинственного происшествия он приобретет себе расположение как Мэннеринга, так и Хейзлвуда-отца, что для него было весьма важно. Его профессиональный интерес судьи, может быть, тоже побуждал его во что бы то ни стало довести дело до конца. Поэтому он очень обрадовался, когда по его возвращении из Кипплтрингана домой слуги незамедлительно доложили ему, что сыщик Мак-Гаффога со своими помощниками задержал какого-то неизвестного и теперь дожидается его на кухне.

Глоссин сразу соскочил с лошади и поспешно вошел в дом.

— Пришли сюда сию минуту моего писца — он в зеленой гостинной бумаги переписывает. Прибери все у меня в кабинете, подкати большое кожаное кресло к столу, — скомандовал он, — и стул поставь для мистера Скрау.

— Скрау! — обратился он к писцу, который вошел в приемную. — Принесите сюда труды сэра Джорджа Мэкензи о преступлениях, откройте главу «*Vis Publica et Privata*»¹ и загните страницу «О незаконном хранении оружия». Теперь помогите мне снять кафтан, повесьте его в передней и велите привести арестанта. Как-нибудь я уж разберусь в этом деле; только сначала Мак-Гаффога позовите. Эй, Мак-Гаффога, где ж ты раздобыл этого молодца?

Мак-Гаффога был здоровенный детина с кривыми ногами, бычьей шеей и багрово-красным лицом; левым глазом он косил. После всевозможных ужимок и

¹ Насилие, причиняющее ущерб государству и частному лицу (лат.).

поклонов Мак-Гаффог приступил к своему рассказу; то и дело кивая головой и подмигивая, он как бы утверждал, что между ним и его главным слушателем существует полное взаимопонимание.

— Видите ли, ваша милость, я пошел туда, куда ваша милость приказать изволили, к той самой хозяйке, что ваша милость знает, там, на берегу моря. Так вот, она меня и спрашивает: «Чего тебе надо? Верно, с каким поручением от Элленгауэна?» — «Да, отвечаю я, иначе какого черта мне было сюда идти, ты же знаешь, что его милость Элленгауэн и сам-то в прежние времена...»

— Ладно, ладно, — перебил Глоссин, — нечего там распространяться, ты самое главное говори.

— Ну вот, тогда я сказал, что купить водки хочу, и мы стали об этом говорить. И вдруг он входит.

— Кто он?

— Да вот этот, — повторил Мак-Гаффог, указывая большим пальцем на кухню, где в это время находился арестованный. — На нем был плащ накинут, и я подумал, что, наверно, он не с голыми руками сюда пришел. Тогда я решил, что лучше всего прямо к делу перейти. Ну вот, он вообразил, что я с острова Мэн, а я все время держался между ним и хозяйкой, чтобы та, чего доброго, не шепнула ему, кто я. И вот мы с ним выпивать вместе начали, и я побился об заклад, что ему чарки голландской водки никак за один присест не выпить. Он возьми да и попробуй, ну а тут как раз Джок Слаунджинг и Дик Спурем пришли, мы надели на него наручники и как миленького его забрали. А теперь уж он проспался и свеж как майский цвет. Теперь он на все вопросы вашей милости отвечать может.

Окончив рассказ, который он все время сопровождал разными гримасами и ужимками, Мак-Гаффог действительно получил и похвалу и благодарность, которых ему хотелось.

— А оружия при нем не было? — спросил судья.

— Ну конечно, было, этот народ без ножа да пистолета никуда не ходит.

— А бумаги какие были?

— Да вот они, — и сыщик протянул Глоссину засаленный бумажник.

— Ступай вниз пока, Мак-Гаффо, и жди там, — приказал судья.

Мак-Гаффо ушел.

На лестнице послышался лязг цепей, и минуты через две в комнату ввели арестанта, скованного по рукам и ногам. Это был крепкий, мускулистый человек, и хотя его косматые и тронутые сединой волосы говорили о том, что он уже не молод, и роста он был скорее небольшого, это все же был детина, с которым, пожалуй, никто не захотел бы мериться силой. Его распухшее красное лицо и осоловевшие глаза носили следы недавней попойки, которая и помогла так легко его захватить. Но, с разрешения Мак-Гаффо, ему удалось все же немного соснуть, и теперь сознание угрожавшей опасности вернуло ему самообладание. Наш почтенный судья и достойный не меньшего уважения подсудимый не произнесли ни слова и только долго глядели друг на друга. Глоссин, по видимому, узнал своего пленника, но никак не мог решить, с чего начинать допрос. Наконец он первым нарушил молчание:

— Так это вы, капитан? Давненько же вы в наши края не заглядывали!

— Не заглядывали? Да я и вообще-то сюда в первый раз в жизни попал.

— Ну, этому мы не поверим, капитан.

— Придется поверить, господин судья.

— Так как же вам будет угодно назвать себя сейчас, — спросил Глоссин, — пока я не подыщу людей, чтобы напомнить вам, кто вы такой или хотя бы кем вы были?

— Кем я был? *Donner und Blitzen!* Я Янс Янсон из Куксхавена, кем же я еще могу быть?

Глоссин достал из ящика пару карманных пистолетов и с нарочитой тщательностью их зарядил.

— Можете идти, — сказал он писцу. — Заберите всех этих людей с собой, Скрау, только оставайтесь в прихожей и будьте наготове.

Писец попробовал было убедить своего патрона, что оставаться с глазу на глаз с таким отчаянным человеком, даже теперь, когда он закован в кандалы, весьма опасно, но нетерпеливый жест Глоссина вынудил его тут же уйти. Когда дверь за ним закрылась, судья прошелся два раза взад и вперед по комнате, а потом сел на стул прямо против арестанта, с тем чтобы ясно видеть его лицо, положил перед собою заряженные пистолеты и твердым голосом сказал:

— Вы Дирк Хаттерайк из Флиссингена, не так ли?

Арестант инстинктивно повернулся к двери, словно опасаясь, что кто-нибудь их подслушает. Глоссин встал, распахнул дверь, чтобы его пленник мог со своего места увидеть, что поблизости никого нет, хлопнул ее снова, вернулся на прежнее место и повторил свой вопрос:

— Вы Дирк Хаттерайк, бывший капитан «Юнгфрау Хагенслапен», так или нет?

— Тысяча чертей! А если вам это известно, то чего же вы спрашиваете? — сказал арестант.

— Просто я очень удивлен, что вы угодили сейчас в такое место, куда вам уж никак не следовало попадать, если бы вы хоть немного о своей безопасности думали, — холодно заметил Глоссин.

— *Der Deyvil!*¹ Тот, кто затеял этот разговор со мной, тоже, видно, о своей безопасности позабыл.

— Как, с безоружным, да еще с закованным в цепи? Вот это здорово, капитан! — иронически заметил Глоссин. — Только особенно-то все-таки не грозиться. Трудновато вам будет уйти отсюда, не рассчитавшись за одно дельце, которое несколько лет назад у Урохской скалы было.

Хаттерайк помрачнел как ночь.

— Что до меня, — ответил Глоссин, — я не хочу особенно жестоко со старыми знакомыми поступать, но я обязан выполнять мой служебный долг. Поэтому я отправлю вас сегодня же на почтовых в Эдинбург.

¹ Черт! (нем., диал.).

— Potz Donner!¹ Этого вы не сделаете, — сказал Хаттерайк уже более тихим и смирным голосом. — А кому же как не вам я отдал стоимость половины груза чеками Ванбеста и Ванбрюггена?

— Это было так давно, капитан Хаттерайк, что я даже позабыл, какую награду я тогда получил за свои труды.

— За труды? За ваше молчание, вы, верно, хотите сказать?

— Тогда этого требовало дело, — ответил Глоссин, — а сейчас я давно уже от дел отошел.

— Да, но мне вот сдается, что я сумею вас опять на старую дорожку толкнуть, — сказал Дирк Хаттерайк, — и провалиться мне на этом месте, если я не собирался вас навестить и рассказать вам кое о чем, что вас очень близко касается.

— Что, насчет ребенка? — взволнованно спросил Глоссин.

— Да, mijnheer,² — хладнокровно ответил капитан.

— Так ведь он же умер? Или что, жив?

— Живехонек, так же как мы с вами, — ответил Хаттерайк.

— О господи! Но он сейчас в Индии? — вскричал Глоссин.

— Нет же, тысяча чертей! Здесь! На вашем чертовом берегу, — ответил Дирк.

— Слушайте, Хаттерайк, это... если это так, только я не верю, это же нас обоих погубит. Не может быть, чтобы он забыл, какую вы с ним штуку тогда сыграли. А для меня последствия будут самые тяжелые! Говорю вам, мы оба погибли, вот и все.

— А я говорю, — возразил ему моряк, — что это погубит только вас одного, я-то уж и без того попался; теперь вот, когда меня вздернут, все наружу и выйдет.

— Какого же дьявола вас принесло сюда, на этот берег, с ума вы, что ли, спятили?

¹ Гром! (нем.).

² Сударь (голл.).

— Деньги вышли, дела расстроились, а я думал, что здесь все давным-давно позабылось и быльем поросло, — отвечал достойнейший капитан.

— Послушайте, но что же теперь делать? — сказал Глоссин в тревоге. — Освободить вас я не имею права. Но, может быть, вы сумеете как-нибудь освободиться по дороге? Да и в самом-то деле, словечко только черкнуть лейтенанту Брауну, и я пошлю с вами своих людей и скажу, чтобы они вас береговой дорогой вели.

— Нет, где там, из этого ничего не выйдет. Браун умер, застрелен и в земле лежит: черт о нем уже позаботился.

— Умер? Застрелен? Наверно, в Вудберне? — спросил Глоссин.

— Да.

Глоссин замолчал. От ужаса холодный пот выступил у него на лбу, в то время как суровое лицо сидевшего напротив него моряка оставалось невозмутимым. Хаттерайк с прежним спокойствием жевал табак и сплевывал в камин.

«Кончено теперь, — думал Глоссин. — Если только объявится наследник, то всему конец, и во что тогда выльется все мое попустительство этим контрабандистам? Да, но времени совсем мало, и надо что-то делать».

— Слушайте, Хаттерайк, освободить вас я не могу, но я вас в такое место определю, что вы сами на свободу вырветесь; я радехонек буду приятелю помочь. Я запру вас на ночь в старом замке, а охране всей дам по двойной порции грога. Мак-Гаффог попадетсЯ в свою же ловушку. В «крепкой» комнате, как они ее называют, решетки все уж поразвалились, до земли оттуда футов двенадцать, не больше, а снег глубокий.

— А с браслетами как же? — спросил Хаттерайк, глядя на кандалы.

— А вот как, — сказал Глоссин, подошел к ящику с инструментом, достал оттуда маленький напильник и протянул ему. — Вот это вас выручит, а дорогу по лестнице к морю вы знаете,

Хаттерайк радостно потряс своими цепями, как будто был уже на свободе, и попытался протянуть своему покровителю закованную в цепи руку. Глоссин приложил палец к губам, осторожно поглядывая на дверь, и продолжал свои наставления:

— Когда вы уйдете, лучше всего вам укрыться в Дернклю.

— Donner! Это место уже завалили.

— Вот черт! Ну, если так, можете взять мою лодку там вон, на берегу, и ступайте себе. Только на Уорохском мысу вам придется меня подождать.

— На Уорохском мысу? — пробормотал Хаттерайк, и лицо его снова помрачнело. — В пещере, что ли? Нельзя ли где в другом месте: es spruckt da,¹ все говорят, что он там ходит. Только, Donner und Blitzen, я никогда его живого не боялся, так что он мне теперь мертвый-то сделает? Strafe mich Helle!² Нет, Дирк Хаттерайк никогда не боялся ни черта, ни дьявола. Значит, мне вас поджидать там?

— Ну да, — ответил Глоссин, — а сейчас я пойду позову людей.

— Ничего у меня не получается, Мак-Гаффог, с этим капитаном Янсоном, как он себя именует, а сегодня поздно уже его в тюрьму везти. Не найдется ли надежной комнаты там, в старом замке?

— Да, конечно, есть; мой дядя, констебль, еще при жизни старика Элленгауэна как-то трое суток одного арестованного там держал. Но и пыли же там теперь набралось, дело-то его ведь в суде еще до пятнадцатого года разбиралось!

— Ну, не беда, этому ведь долго там сидеть не придется, его надо только до следующего допроса где-то подержать. Рядом есть маленькая каморка; вы можете там себе огонь разложить, а я туда еще пришло кое-чего, чтобы ночью вам не скучно было. Только дверь хорошенько закройте, и пусть у него там тоже огонь разведут, время сейчас холодное. Может, на завтра он и образумится.

¹ Там место нечистое (нем.).

² Да накажет меня ад! (нем., диал.).

Отдав все эти распоряжения и щедро снабдив стражников едой и выпивкой, судья отправил всех в старый замок; он был совершенно уверен, что ночью они ни сторожить, ни молиться не будут.

Но зато самому Глоссину в эту ночь не спалось. Опасность нависла над ним. Козни, которые он строил людям в течение всей своей преступной жизни, обернулись сейчас против него самого, и все его замыслы рушились. Он улегся в постель, но понапрасну только ворочался с боку на бок. Наконец он все же уснул. И ему тут же привиделся покойный Элленгауэн таким, каким он видел его в последний раз, со смертельной бледностью на лице, а потом он же, только молодой и полный сил, выгонял его, Глоссина, из своего родового гнезда. Потом ему снилось, что он долго бродил по диким болотам и наконец добрался до постоянного двора; слышно было, что там идет пирушка. И, войдя в дом, он сразу же натолкнулся на Фрэнка Кеннеди; тот был весь искалеченный и окровавленный, такой, каким Глоссин оставил его на берегу под Усрохской скалой, но в руке у него была чаша пенистого пунша. Потом вдруг Глоссин очутился в тюрьме и услышал, как Дирк Хаттерайк, будто бы уже приговоренный к смерти, исповедовался перед овященником. «После того как это кровавое дело свершилось, — говорил он, — мы укрылись в пещере среди скал. Об этой пещере знал только один-единственный человек. Там мы толковали о том, что делать с ребенком, и думали отдать его цыганам, как вдруг услышали, что в лесу перекликается посланная за нами погоня. И тут кто-то пробрался в нашу пещеру: это был тот самый единственный человек, который о ней знал. Тогда мы отдали ему половину того, что спасли с корабля, и заставили его действовать заодно с нами. По его совету мы увезли ребенка в Голландию на судне, которое на следующую ночь пришло за нами. Этого человека звали...» — «Нет, это не я, меня там не было!» — уже чуть ли не вслух проговорил Глоссин и, всеми силами стараясь убедить кого-то в своей невинности, проснулся.

Но вся эта фантазмагория была творением ожившей в нем совести. В действительности, зная много лучше, чем кто бы то ни было, все убежища контрабандистов, он, в то время как погоня устремилась в разные стороны, пошел прямо в пещеру. Это было еще до того, как он узнал об убийстве Кеннеди. Глоссин считал, что таможенный мог попасть к ним в плен. Он явился туда с мыслью стать посредником, но увидел, что все находящиеся там охвачены тревогой и что та ярость, которая толкнула их на убийство, теперь у всех, кроме самого Хаттерайка, уступила место раскаянию и страху. Глоссин в то время был еще беден и весь в долгах, но уже успел приобрести доверие Бертрама. Зная слабый характер лэрда, Глоссин решил, что сумеет обогатиться за его счет, если только убрать наследника, так как тогда все состояние останется в руках лэрда, человека слабого и щедрого. Все это сулило ему такую выгоду и в настоящем и в будущем, что он согласился принять от перепуганных контрабандистов взятку, которую они ему предложили. И тогда он помог им и даже, должно быть, сам убедил их куда-нибудь увезти маленького Бертрама: тот ведь уже достаточно понимал, чтобы рассказать о кровавом преступлении, свидетелем которого он был. Чтобы заглушить сейчас укоры совести, изобретательный Глоссин мог найти только одно-единственное оправдание: он вспоминал, что искушение было тогда слишком велико. Все, о чем он только мог мечтать, предстало перед ним, и он увидел, что, заключив эту сделку, он сможет избавиться от невзгод, которые неминуемо должны были его постичь. К тому же он считал, что должен поступить так уже из одних соображений собственной безопасности. Он все же в какой-то мере находился во власти разбойников и теперь старательно убеждал свою совесть, что, если бы он отклонил предложения контрабандистов, то, может быть, не сумел бы спастись: помощь, как бы близка она ни была, могла запаздать, оставив его в руках тех, кому ничего не стоило убить человека даже и по менее значительному поводу.

Одолеваемый мучительными предчувствиями нечистой совести, Глоссин поднялся с постели и подошел к окну. Местность, которую мы описывали в третьей главе романа, была теперь покрыта снегом, и ослепительная белизна пустынного берега придавала океану мрачный свинцовый колорит.

Зимний, снежный пейзаж, как бы он ни был сам по себе прекрасен, в силу сочетания холода с безлюдьем и всей необычности подобной картины для наших краев, кажется нам и диким и унылым. Предметы, очертания, к которым привык наш глаз, либо совсем исчезли, либо до неузнаваемости изменились, и кажется, что глядишь на мир совершенно новый и незнакомый. Но совсем не такими мыслями был занят этот злой человек.

Взгляд его был устремлен на огромные мрачные стены старого замка, где в окнах неимоверно высокой и толстой башни мерцали два огонька: один горел в помещении, куда был посажен Хаттерайк, другой — в соседнем, где на ночь расположилась стража. «Убежал ли он, а если нет, то есть ли надежда, что убежит? Или эти люди, которые в обычное время не привыкли бодрствовать по ночам, теперь, как нарочно, не спят и сторожат его мне на погибель? Если он останется там до утра, его придется отправить в тюрьму; этим делом займется Мак-Морлан или еще кто-нибудь, в результате его узнают, уличат, и в отместку он меня выдаст!»

В то время как эти мучительные мысли проносились в голове Глоссина, он заметил, что в одном из окон свет стал слабее, как будто что-то темное и непрозрачное его загородило. Страшная минута! «Он скинул с себя кандалы! Он выламывает решетки в окне, они совсем ветхие и, конечно, поддадутся. О боже! Вот они упали вниз; я слышал, как они ударились о камни, и теперь этот шум разбудит сторожей. Черт бы побрал этого голландского увальня! Огонь опять ярко горит! Ну, конечно, они оттащили его от окна и теперь снова надевают на него кандалы! Нет! Это он только на минуту отбежал, когда падали

железные прутья. Вот он снова в окне, и теперь свет едва виден — он уже слезает вниз».

Глухой звук, как будто что-то тяжелое упало в снег, возвестил о том, что Хаттерайк бежал, и вскоре Глоссин заметил темную фигуру, которая как тень кралась по заснеженному берегу и достигла того места, где была лодка. Новая беда! «У него не хватит сил спустить ее на воду, — подумал Глоссин. — Надо пойти помочь этому подлецу. Ну, наконец-то! Он оттолкнул лодку от берега, слава богу, вот уже и парус виден. Луна его озарила. Как раз и ветер попутный... Эх, поднялась бы сейчас буря да утонул бы он!»

Пожелав ему этого от всего сердца, он продолжал следить за лодкой, направлявшейся в сторону Уорохского мыса, до тех пор, пока уже больше не мог разглядеть ее темный парус среди мрачных волн, по которым она скользила. Довольный тем, что непосредственная опасность миновала, он уже без прежнего страха положил голову на подушку и успокоил сном свою нечистую совесть.

Глава XXXIV

Так помоги мне, вызволи меня
Из этой мерзостной кровавой ямы.
«Тит Андроник»

Велики были смятение и тревога сторожей на следующее утро, когда они обнаружили, что арестант бежал. Мак-Гаффог предстал перед Глоссином, ошеловенный от страха и от выпитого за ночь вина, и получил строжайший выговор за упущение по службе. Потом гнев судьи ненадолго улегся, но, казалось, только затем, чтобы уступить место хлопотам по розыску беглеца. Поимщики, двинувшиеся по самым разным направлениям (кроме того только, которое избрал преступник), рады были убраться с глаз раздраженного начальника. Глоссин особенно настаивал на тщательном обследовании Дернклю, места, где нередко по ночам укрывались разного рода бродяги.

Разослав, таким образом, во все стороны своих мирмидонян, Глоссин отправился сам окольным путем по Уорохскому лесу на свидание с Хаттерайком, от которого он рассчитывал там, на свободе, подробнее разузнать, как и при каких обстоятельствах вернулся на родину наследник Элленгауэнов.

Кидаясь туда и сюда, подобно лисице, которая старается сбить с толку собак, Глоссин устремился к месту свидания и принял все меры, чтобы запутать свои следы.

«Дал бы бог снегу, — подумал он, поглядев на небо, — да чтобы все кругом замело. Стоит кому-нибудь из сыщиков напасть на след, как узнают, где мы, и нас накроют. Надо спуститься к берегу и ползти потом под скалами».

Он не без труда сошел вниз по крутому спуску и пополз между скалами и надвигающимся приливом, то поглядывая наверх, не следит ли кто-нибудь за ним со скалы, то бросая беспокойный взгляд на море, нет ли там какой лодки и не видят ли его отсюда.

Но даже и это чувство страха за свою жизнь оставило Глоссина в ту минуту, когда он проходил местом, где некогда было найдено бездыханное тело Кеннеди. Эту часть берега можно было узнать по отломившемуся куску скалы, которая рухнула с вершины вместе с телом или вслед за ним. Сейчас этот обломок покрылся уже ракушками и порос водорослями и морской травой, но все же и очертаниями и цветом он отличался от других камней, которыми был усеян берег. Понятно, что в течение долгих лет Глоссин всячески избегал этих мест, и теперь, когда он очутился там впервые после катастрофы, вся эта картина всплыла в его памяти во всех своих ужасающих подробностях. Он вспомнил, как, выйдя тогда из пещеры, он, будто преступник, крался среди скал и как поспешно, но вместе с тем и осторожно смешался с толпою объятых ужасом людей, собравшихся вокруг трупа, как он боялся, что кто-нибудь спросит его, откуда он сюда пришел. Вспомнилось ему и то, с каким страхом он отшатнулся от этой зловещей

картины. В ушах его звучал душераздирающий крик его покровителя: «Малютка мой, где мой малютка!»

— Боже праведный! — проговорил он. — Стоит ли все мое богатство той муки, которую я испытал тогда, и тех страхов и ужасов, которые потом отравили мне жизнь! О, до чего мне хотелось бы покоиться в земле, как тот несчастный, и чтобы он стоял здесь, на моем месте, целый и невредимый! Но сожалеть обо всем уже поздно.

И вот, подавив в себе эти чувства, он пополз к пещере; эта пещера находилась так близко от места, где был обнаружен труп Кеннеди, что контрабандисты могли тогда, укрываясь в ней, слышать все разноречивые толки сбежавшихся на берег людей. Но входа в пещеру нигде не было видно. Здесь в скале было отверстие, узкое как лисья нора, заслоненное черной каменной глыбой, которая одновременно и делала его незаметным для глаз и служила опознавательным знаком для тех, кто здесь постоянно бывал. Проход между этим громадным камнем и горой был очень узок и к тому же засыпан песком и щебнем, так что даже самые тщательные поиски не обнаружили бы никаких признаков лазейки: для того чтобы попасть в пещеру, приходилось сначала разгрести все эти кучи песку и груды щебня, нанесенные сюда приливом. Чтобы еще лучше скрыть свое убежище, контрабандисты, входя туда, закладывали отверстие ворохом полусгнивших водорослей, как будто их случайно забросило сюда морем. Дирк Хаттерайк не забыл об этой предосторожности. Едва только Глоссин вступил в этот тайный притон, куда он пришел совещаться с одним из самых закоренелых преступников, как он, при всей своей храбрости и хладнокровии, почувствовал, что у него забилося сердце и задрожали колени. «Но ведь ему нет никакого смысла вредить мне», — успокаивал себя Глоссин. Впрочем, сначала он все-таки проверил, заряжены ли его карманные пистолеты, и только после этого раздвинул морскую траву и влез на четвереньках в пещеру. Проход, который вел внутрь пещеры, вначале был низок и тесен, так что человек мог пробираться по нему только полз-

ком, но через несколько ярдов переходил в высокий и довольно широкий свод. Пол пещеры, постепенно поднимавшийся все выше, был посыпан мелким песком. Едва только Глоссин смог выпрямиться, до слуха его донесся резкий, но в то же время слегка приглушенный голос Хаттерайка:

— Hagel und Donner, bist du? ¹

— Чего это вы впотьмах сидите?

— Впотьмах? Der Deyvil! А где же мне свету взять?

— Вот, я принес, — сказал Глоссин, вытащил трут и кремень и зажег маленький фонарик.

— Огонь тоже разложить надо, потому что; hold mich der Deyvil, ich bin ganz gefroren! ²

— Здесь и в самом деле холодно, — сказал Глоссин, собрав обломки бочек и щепки, которые, должно быть, оставались в пещере с тех пор, как Хаттерайк был здесь в последний раз.

— Холодно?.. Schneewasser und Hagel! ³ Я только тем и жив, что из угла в угол хожу да вспоминаю, как весело нам тут когда-то было.

Костер меж тем разгорелся; Хаттерайк склонил над ним свое загорелое лицо и протянул к огню грубые, жилистые руки с такой жадностью, с какой голодный накидывается на еду. Пламя освещало дикие и мрачные черты его лица, а едкий дым, который он, иззябший до мозга костей, готов был глотать без конца, лишь бы немного согреться, клубился над его головой, а потом поднимался к неровному потолку и уходил из пещеры через скрытые наверху щели; через эти-то трещины и проникал сюда, должно быть, воздух в часы прилива, когда вход в пещеру бывал затоплен.

— Я вам и завтрак принес, — сказал Глоссин, доставая кусок холодного мяса и флягу с водкой. Хаттерайк жадно выхватил из его рук флягу и приложил ее к губам. Глотнув из нее порядком, он восторженно воскликнул:

¹ Град и гром, это ты? (нем.)

² Черт поberi, я совсем замерз! (нем., диал.)

³ Талый снег и град! (нем.)

— Das schmeckt! ¹ Эх, хорошо, все нутро прогревает! — И он запел отрывок песенки на верхненемецком наречии:

— Saufen Bier und Brante-wein,
Schmeissen alle die Fenstern ein;
Ich bin liederlich,
Du bist liederlich;
Sind wir nicht liederlich Leute a! ²

— Вот это здорово, молодец, капитан! — вскричал Глоссин и, подделываясь под тот же мотив, затянул:

— Нам вино в бокалы лейте,
Стекол в доме не жалеите.
Здесь трое было нас, удальцов,
Да, трое на всей земле.
Тебя не найдут, и спрятан я тут,
А Джек, тот висит в петле.

Так-то вот, друг милый, ну теперь вы, кажется, немножко ожили. Давайте-ка поговорим о нашем деле.

— О вашем деле, — сказал Хаттерайк, — с моим уже покончено, раз я из колодок вылез.

— Терпение, любезный, сейчас вы увидите, что интересы у нас общие.

Хаттерайк глухо кашлянул. Глоссин, помолчав, продолжал:

— Как же это вы мальчишку выпустили?

— А очень просто, Fluch und Blitzen! ³ Я-то за ним не смотрел. Лейтенант Браун отвез его к своему родственнику, представителю торгового дома «Ванбест и Ванбрюгген», что в Мидлбурге, и наговорил ему разных разностей о том, что ребенка подобрали в

¹ Это вкусно (нем.).

² Разопьем вдвоем вино,
Вместе посадим окно;
Ведь пропойца я,
Ведь пропойца ты;
Мы пропойцы оба с тобой! (верхненем.).

³ Проклятие! (нем.)

схватке с береговой охраной; тот и взял мальчишку к себе в услужение. Я его, видите ли, выпустил! Да будь я над ним хозяин, так этот заморыш в два счета бы у меня за борт вылетел!

— Ну и что ж, выходит из него лакея сделали?

— Nein, nein,¹ мальчуган пришелся старику по душе, и он дал ему свою фамилию, воспитал его, а потом отправил в Индию. Он бы, наверно, сюда его обратно спровадил, да племянник сказал ему, что если только этот молодец опять в Шотландии появится, так всей вольной торговле каюк.

— А как вы думаете, знает он что-нибудь насчет своего происхождения?

— Deyvil, откуда я знаю, что он теперь помнит? — ответил Хаттерайк. — Но тогда еще кое-что у него в памяти оставалось. Ему десять лет было, и вот они с другим таким же собачьим последышем из Англии сговорились украсть лодку с моего люгера, чтобы, как бы это сказать, на родину вернуться. Чтоб ему сдохнуть! Так вот, пока мы их нагнали, они уже до самого Дейрлю добраться успели, еще бы немного — и лодку бы потопили.

— Хорошо, кабы потопили, да и сами туда же.

— Да, уж и зол же я был тогда, Sapperment!² Я его тогда в воду спустил, и, надо же, этот хитрый чертенок поплыл как утка. Так вот, я заставил его целую милю проплыть, а когда он уже пузыри пускать начал, тут я его и подобрал. Клянусь самим чертом, малый вам еще насолит теперь, раз уж он сюда явился. Когда этот бесенок еще под стол пешком ходил, с ним и то сладу не было.

— А как он из Индии вернулся?

— Почему я знаю? Компания обанкротилась, и нам в Мидлбурге тоже от этого туго пришлось. И вот они меня послали поглядеть, не выйдет ли чего здесь, где старые знакомые водились. Мы уверены были, что с тем уж совсем покончено и всё забыто. И два рейса у меня прямо на славу вышли. А теперь вот эта

¹ Нет, нет (нем.).

² Проклятие! (искаж. нем.)

собака Браун попал под пулю полковника и этим все дело испортил.

— А вас почему с ним не было?

— Почему? Sapperment! Я ведь не из трусливого десятка. Только надо было далеко от моря уходить, а там кто-нибудь мог пронюхать, что я с ними.

— Да, это верно. Ну, а ребенок...

— А пошли вы, Donner und Blitzen! Ребенок — это ваше дело, — ответил капитан.

— Но откуда вы все-таки знаете, что он здесь?

— Как откуда? Да Габриель его недавно в горах встретил.

— Габриель, кто это?

— Да тут одного цыганенка лет восемнадцать тому назад этому черту Притчарду на корвет в юнги отдали. Он тогда нас и предупредил, что таможенные за нами охотятся; это было как раз в тот день, когда с Кеннеди рассчитались. Он нам и сказал, что это Кеннеди их на след навел. К тому же Кеннеди ведь и с цыганами тоже повздорил. Ну так вот, этот парень прибыл в Индию на одном корабле с нашим мальчонкой и хорошо его в лицо знал, Sapperment, а тот его совсем не помнил. Габриель все-таки старался ему особенно на глаза не попадаться, он ведь как-никак служил на голландском судне и воевал против Англии, а сейчас оказался дезертиром; Габриель нам и дал знать, что молодчик этот теперь тут; да нам-то на это плевать.

— Так, выходит, он действительно цел и невредим и сейчас здесь, в Шотландии. Скажите по дружбе, Хаттерайк, это правда? — озабоченно спросил Глоссин.

— Wetter und Donner!¹ Да за кого вы меня принимаете?

«За кровопийцу, за проходимца без стыда и совести», — подумал Глоссин, но вместо ответа он громко спросил:

— А кто же это из вас стрелял в молодого Хейзлвуда?

¹ Буря и гром! (нем.)

— Sturmwetter! ¹ — ответил капитан. — Вы что думаете, мы с ума спятили? Ни один из нас этого бы делать не стал. Gott! ² Нам и без этого досталось на орехи, после того как этому идиоту Брауну взбрело в голову на Вудберн нападать.

— А мне говорили, — сказал Глоссин, — что в Хейзлвуда стрелял Браун.

— Только не наш лейтенант. Насчет этого уж будьте уверены, он еще накануне в сырой земле лежал. Tausend Deyvils! ³ Вы что думаете, он мог из могилы встать да еще в кого-то стрелять?

Глоссин начал понемногу что-то соображать.

— Вы, кажется, сказали, что тот юнец, как бишь он там у вас зовется, тоже носил фамилию Браун.

— Браун? Да, Ванбест Браун; старик Ванбест Браун из торгового дома «Ванбест и Ванбрюгген» дал ему свое имя.

— Если так, — сказал Глоссин, потирая руки, — то, ей-богу же, это не кто иной, как он!

— А нам-то что до этого? — спросил Хаттерайк.

Глоссин помолчал немного и, быстро прикинув что-то в своем хитром уме, подошел совсем близко к контрабандисту и сказал ему вкрадчивым голосом:

— Знаете что, любезный, это же наше прямое дело его убрать.

— Гм! — отвечал Дирк Хаттерайк.

— Не то что, — продолжал Глоссин, — не то что я хотел бы его смерти, может быть... может быть... мы могли бы и без этого обойтись. Нет, у нас есть право сейчас арестовать его, хотя бы потому, что он носит ту же фамилию, что и ваш лейтенант, который устроил нападение на Вудберн, да и за то также, что он стрелял в молодого Хейзлвуда и хотел убить его или ранить.

— Эх вы, — сказал Дирк Хаттерайк, — а вам-то что от этого пользы будет? Его сразу же выпустят, как только увидят, что это не того поля ягода.

¹ Буря! (нем.)

² Боже! (нем.)

³ Тысяча чертей! (нем., диал.)

— Верно, дорогой мой Дирк, вы совершенно правы, друг мой Хаттерайк! Но есть все основания, чтобы посадить его в тюрьму на то время, пока придут бумаги, подтверждающие, кто он такой, из Англии, что ли, или еще там откуда. В законах я разбираюсь, капитан Хаттерайк, и уж мое дело, дело Гилберта Глоссина Элленгауэна, мирового судьи ***ского графства, не принять за него никакой поруки до тех пор, пока ему не устроят второго допроса. Только куда же нам его лучше посадить?

— *Hagel und Wetter*, не все ли мне равно?

— Погодите, друг, не может это быть все равно. Известно ли вам, что все ваши товары, которые отобрали и отвезли в Вудберн, сейчас лежат в таможне в Портанферри? ¹ Я посажу этого молодца...

— Надо его сначала поймать.

— Да, да, когда поймаю. За этим дело не станет. Я помешу его там в исправительный дом, а это рядом с таможней.

— Как же, знаю я эту тюрьму.

— Я уж позабочусь о том, чтобы красные мундиры там не торчали. Слушай, ночью ты приходишь туда со своими ребятами, забираешь все свои товары, и вы увозите этого молодчика Брауна с собой во Флиссинген. Идет?

— Так что, свезти его во Флиссинген, — спросил капитан, — или куда-нибудь в Америку?

— Да хоть бы и в Америку.

— Или в Иерихон?

— Тьфу ты пропасть, да куда хочешь!

— Н-да, или спровадить его за борт?

— Нет, лучше обойтись без насилия.

— *Nein, nein*, это ты уж мне предоставь. *Sturm-wetter!* Я тебя давно знаю. Но послушай, мне-то, Дирку Хаттерайку, какая от этого польза будет?

— А что, разве это не в твоих интересах, так же как и в моих? — сказал Глоссин. — К тому же ты забыл, что я тебя сегодня утром отпустил на свободу.

¹ Небольшой приморский городок. (Прим. автора.)

— Ты меня отпустил! Donner und Deyvill!¹ Я сам себя освободил. Притом все это было тебе же нужно, да и давно это было. Ха-ха-ха!

— Ладно, ладно. Шутки в сторону; я ведь не прочь тебе что-нибудь подкинуть, но это дело так же тебя касается, как и меня.

— Какого черта это меня касается? Разве не все состояние этого лоботряса перешло к тебе? Дирк Хаттерайк со всех этих доходов и ломаного гроша не получил.

— Тише, тише! Говорят же тебе, всё будем вместе делать.

— И все пополам поделим.

— Как, поместье пополам? Ты что же, хочешь поселиться со мною в Элленгауэне и разделить со мной баронство?

— Sturmwetter, нет! Но ты мог бы мне просто половину отдать деньгами. С тобой вместе жить? Nein. Я свой особнячок заведу где-нибудь в Мидлбурге, с цветником в саду, как у бургомистра какого.

— И деревянного льва у двери поставишь, а в саду — раскрашенную фигуру часового с трубкой в зубах!.. Но послушай, Хаттерайк, к чему тебе все тюльпаны, и цветники, и загородные дома где-то в Голландии, когда здесь, в Шотландии, тебя повесят?

Хаттерайк помрачнел:

— Der Deyvill! Неужели повесят?

— Да, повесят, meinheer!² капитан. Сам дьявол не спасет Дирка Хаттерайка от виселицы, если элленгауэнское отродье здесь водворится и если наш бравый капитан зашьется здесь со своими торговыми делами! А так как теперь уже поговаривают о мире, то, может быть, и высокочтимой Голландии захочется тогда своим новым союзникам угодить. Боюсь, как бы она тогда не выдала им нашего капитана, хоть она ему и родиной доводится.

— Potz Hagel, Blitzen und Donner!³ Да, может быть ты и прав.

¹ Гром и дьявол! (нем.)

² Сударь (искаж. нем.).

³ Град, молния и гром! (нем.)

— Только ты не думай, что я... — сказал Глоссин, видя, что слова его произвели нужное впечатление, — что я ничем тебя не отблагодарю, — и он сунул Хаттерайку в руку крупную ассигнацию. Тот принял ее совершенно равнодушно.

— Так это все? — спросил капитан. — А ты сам получил тогда половину всего груза за то лишь, чтобы не мешал нам дела делать; да мы еще вдобавок и твоим делом занялись.

— Друг мой, ты об одном позабыл: теперь ты все свое добро назад получишь.

— Да, если все мы себе шею на этом не свернем. Это мы могли бы как-нибудь и без тебя обделать.

— Сомневаюсь, капитан Хаттерайк, — сухо сказал Глоссин. — Там таможеню человек двенадцать солдат караулит, и вот если мы договоримся, так это уж мое дело будет их оттуда убрать. Ладно, ладно, я в долгу не останусь, но надо же и совесть знать.

— Ах, *strafe mich der Deyfel!*¹ Ты меня в конце концов из терпения выведешь! Ты и грабишь и убиваешь, и хочешь, чтобы я тоже убивал и грабил; ты не в первый раз берешься за нечистые дела, как ты их называешь, и вдруг, *Hagel und Windsturm*,² у тебя хватает еще духу говорить о совести! Что, ты больше ничего не можешь придумать, чтобы от этого несчастного мальчонки избавиться?

— Нет, *mein heet*, но раз я его тебе поручаю... то...

— Ах, *мне* поручаешь, это чтобы порох и пуля о нем позаботились! Ну что же, чему быть, того не миновать, но ты-то хорошо понимаешь, чем это все кончится.

— Знаешь, любезный, по-моему, прибегать к жестокости здесь совсем ни к чему, — ответил Глоссин.

— К жестокости! — сказал Дирк с каким-то стоном в голосе. — Поспал бы ты тут в пещере да видел бы ты все, что мне здесь привиделось, когда я на этой вот морской траве всю ночь ворочался и уснуть не мог! Он ведь, проклятый, снова приходил, и с перело-

¹ Пусть черт меня накажет! (нем., диал.)

² Град и буря! (нем.)

манным хребтом, и руки и ноги растопырены, как тогда, когда я на него камень свернул. Ха-ха-ха! Да я бы головой поручился, что он там вон, где ты сейчас стоишь, в судорогах, как раздавленная лягушка, корчился, потом...

— И с чего это ты, друг, об этом заговорил, — прервал его Глоссин, — или ты сам мокрой курицей стал? Ну, раз так, то наша песенка спета, и твоя и моя.

— Я мокрой курицей? Нет, я свой век прожил не для того, чтобы теперь кого-нибудь испугаться, будь он хоть черт, хоть человек.

— Ну, раз так, выпей еще глоток: ты, видно, еще не отогрелся. А теперь скажи, из прежних твоих ребят кто-нибудь есть здесь?

— Nein, все мертвы, убиты, повешены; все пошли кто ко дну, кто к черту. Браун последний был. Никого теперь в живых нет, один только цыган Габриель, да и тот, если его подмазать, уберется отсюда; но он и так молчать будет, это ему на руку. Старуха Мер, его тетка, не допустит, чтобы он проговорился.

— Какая Мер?

— Мер Меррилиз, цыганка, ведьма старая.

— А что, она жива еще?

— Жива.

— И она здесь?

— Здесь. Она тут недавно в Дернклю была, когда Ванбест Браун там кончался, и с ней было двое моих ребят да еще какие-то цыгане несчастные.

— Вот еще новая загвоздка, капитан! А как ты думаешь, она не продаст нас?

— Ну, она-то поклялась семгой,¹ что, если мы ничего дурного мальчишке не сделаем, она насчет истории с Кеннеди ни словом не обмолвится. И видишь, хоть я ее тогда сгоряча и ножом полоснул, и руку ей поранил, и долго ее потом в тюрьме держали там у вас, der Deyvil, — старая Мер Меррилиз была тверда как сталь.

¹ Великая и нерушимая клятва кочующих племен. (Прим. автора.)

— Да, это верно, — ответил Глоссин. — А все-таки, если бы ее переправить хотя бы в Зеландию, или в Гамбург, или еще там куда-нибудь, дело было бы лучше.

Хаттерайк быстро вскочил и оглядел Глоссина с головы до ног.

— Козлиных копыт я у тебя не вижу, и все-таки ты не кто иной как сам дьявол! Но Мег Меррилиз, та подружнее с сатаной живет, чем ты: ни разу ведь еще такой бури не было, как в тот день, когда я ее кровь пролил. Nein, nein, с ней я больше не хочу связываться. Настоящая ведьма, да и самому черту сродни, ну ладно, это ее дело. Donner und Wetter! С ней я больше связываться не стану, пусть делает как хочет. Ну, а насчет остального, так что же, если это на моей торговле не отразится, я тебя скоро от этого молодчика избавлю — дай мне только знать, когда его возьмут.

Шепотом, понимая друг друга с полуслова, оба достойных сообщника договорились между собой обо всем и условились, где в случае надобности можно будет найти Хаттерайка. Люгер же его мог спокойно стоять возле берега, так как ни одного королевского судна там в это время не было.

Глава XXXV

Вы из числа тех людей, что не станут служить богу, даже если сам черт им велит. Мы пришли оказать вам услугу, а вы принимаете нас за каких-то буянов.

«Отелло»

Вернувшись домой, Глоссин среди полученных на его имя писем нашел одно весьма для него важное. Единбургский адвокат, мистер Протокол, извещал его, как управляющего делами покойного Годфри Бертрама Элленгауэна и его наследников, о внезапной кончине миссис Маргарет Бертрам из Синглсайда

и просил уведомить об этом его клиентов на случай, если они сочтут нужным послать кого-нибудь от своего лица в Эдинбург, чтобы присутствовать при вскрытии завешания покойной. Глоссин сразу понял, что адвокат ничего не знал о размолвке между ним и его покойным патроном. Он сообразил, что состояние покойной леди должна была унаследовать Люси Бертрам. Однако, зная странности старой леди, можно было легко предвидеть, что девятьсот девяносто девять шансов из тысячи возможных были за то, что все обернется по-другому. Устремив свой изобретательный ум на все обстоятельства этого дела, чтобы решить, какую пользу он сумеет извлечь из них для себя, он увидел, что самое лучшее было бы вернуться к своему старому плану восстановить или, вернее, создать себе то положение в обществе, которое ему нужно, и сейчас больше чем когда-либо. «Мне надо иметь твердую почву под ногами, — думал он. — А нужно это для того, чтобы, в случае если предприятие Дирка Хаттерайка не удастся, общественное мнение все же было на моей стороне». Но надо отдать Глоссину справедливость: при всей его низости ему, может быть, даже хотелось чем-нибудь вознаградить мисс Бертрам за то безграничное зло, которое он причинил ее семейству, тем более что собственных его интересов это ни в какой мере не задевало. И вот он решил, что на следующий день рано утром поедет в Вудберн.

Глоссин долго колебался, прежде чем принял это решение. Почему-то ему все же не хотелось встретиться с полковником Мэннерингом; такое чувство испытывают обычно плуты и подлецы, когда им предстоит столкнуться лицом к лицу с человеком честным и благородным. Но он очень полагался на свое *savoir faire*.¹ Ему подолгу приходилось жить в Англии, и в манерах его не было ни деревенской грубости, ни свойственного всем судейским педантизма; он был ловок в обращении и красноречив, и все эти качества сочетались в нем с безграничной наглостью, которую

¹ Умение устраивать дела (франц.).

он всячески старался скрыть под личиной простодушия. Вполне уверенный в себе, он явился около десяти часов утра в Вудберн, где изъявил желание видеть мисс Бертрам и был принят.

Глоссин не стал называть себя, пока не очутился в дверях столовой. Только тогда слуга, по его просьбе, громко доложил: «Мистер Глоссин желает видеть мисс Бертрам». Люси, вспомнив, какая сцена разыгралась перед самой кончиной отца, побледнела как смерть и едва не упала со стула. Джулия Мэннеринг поспешила к ней на помощь и тут же увела ее. В комнате остались полковник Мэннеринг, Чарлз Хейзлвуд с рукой на перевязи и хмурый Домини, который, узнав Глоссина, враждебно взглянул на него своими тусклыми глазами.

Наш почтенный судья, хотя и смущенный немного тем впечатлением, которое произвел на всех его приезд, все же не потерял самообладания и вежливо спросил, не побеспокоил ли он молодых леди. Полковник Мэннеринг холодно и с достоинством осведомился, чему он обязан чести видеть у себя мистера Глоссина.

— Гм... гм... я взял на себя смелость явиться к мисс Бертрам, господин полковник, по поводу одного дела.

— Мне думается, что мисс Бертрам было бы приятнее, если бы вы нашли возможным изложить это дело ее поверенному, мистеру Мак-Морлану.

— Извините меня, господин полковник, — сказал Глоссин, напрасно стараясь казаться развязным, — вы бываете в свете и знаете, что есть дела, при которых гораздо лучше обходиться без посредников.

— В таком случае, — ответил Мэннеринг, давая понять, что ему неприятен этот разговор, — если вы, мистер Глоссин, возьмете на себя труд изложить ваше дело в письменном виде, я послежу за тем, чтобы мисс Бертрам уделила ему должное внимание.

— Конечно, — пробормотал Глоссин, — но есть дела, где нужны бывают переговоры *viva voce*.¹ Гм!

¹ Устные (итал.).

Я вижу... я понимаю, что вы, господин полковник, составили обо мне превратное мнение, а если так, то и само посещение мое может показаться вам навязчивым; но я полагаюсь на то, что здравый смысл подскажет вам, следует ли отпускать меня, так и не узнав цели моего посещения и той большой важности, которое оно имеет для молодой девушки, находящейся сейчас под вашим покровительством.

— Нет, разумеется, я не собираюсь этого делать, — ответил полковник. — Я сейчас же поговорю с мисс Бертрам и сообщу вам ее ответ, если у вас есть время немного подождать. — С этими словами полковник вышел из комнаты.

Глоссин продолжал стоять посреди гостиной. Полковник Мэннеринг даже не пригласил его сесть, да и сам разговаривал с ним тоже стоя. Но едва только он вышел, Глоссин схватил стул и поспешил на него усесться; лицо его выражало при этом и наглость и замешательство. Молчание всех присутствующих показалось ему тягостным и неприятным, и он решился прервать его:

— Прекрасная сегодня погода, мистер Сэмсон.

Домини что-то пробурчал в ответ так, что нельзя было понять, то ли он соглашается с ним, то ли выражает свое негодование.

— Вы что-то никогда не заедете к старым знакомым в Элленгауэн, мистер Сэмсон. Ведь почти все прежние арендаторы там остались. Я слишком уважал покойного лэрда, чтобы теперь тревожить старожил, даже если надо будет что-нибудь перестраивать. К тому же это не в моей натуре, я таких вещей не люблю: ведь и священное писание особо осуждает тех, кто притесняет бедняков и притязает на чужие земли.

— И тех, кто оставляет сирот без крова, — добавил Домини. — Анафема! Мараната! — С этими словами он встал, взял под мышку фолиант, который только что читал, и своим гренадерским шагом вышел из комнаты.

Глоссина это не смутило, во всяком случае он сумел принять равнодушный вид и повернулся к моло-

дому Хейзлвуду, который сидел, не отрывая глаз от газеты.

— Ну, что нового, сэр?

Хейзлвуд поднял глаза, взглянул на него и, ни слова не говоря, протянул ему газету, как будто передавал ее первому встречному где-то в кофейне. Потом он встал, чтобы уйти.

— Извините, мистер Хейзлвуд, но мне хочется поздравить вас с тем, что вы так счастливо отделались от последствий этой ужасной встречи.

Хейзлвуд ответил на это только едва заметным и очень сдержанным кивком головы. Тем не менее наш почтенный судья воспользовался этим и продолжал:

— Могу вас уверить, мистер Хейзлвуд, что вряд ли кто принял во всей этой истории такое участие, как я, и не только ради благополучия нашей страны, но также из особого уважения к вашей семье, которую это так близко задело. А ведь ее это действительно близко касается, мистер Фезерхед уже стар становится, и теперь вот с ним еще один удар случился, и говорят, что он оставит свое кресло и уйдет на покой; вам стоило бы серьезно об этом подумать. Говорю вам это все как друг, мистер Хейзлвуд, и как человек, который разбирается в делах, и если бы мы с вами вместе...

— Извините меня, сэр, но у меня нет никаких целей, для достижения которых мне понадобилась бы ваша помощь.

— Ну что же, может быть вы и правы, времени впереди еще достаточно, и это, пожалуй, даже хорошо, что вы так молоды и вместе с тем так осторожны. Ну, а вот что касается вашего ранения, то, по-моему, я уже напал на верный след, и я не я буду, если виновник не ответит у меня за все по закону...

— Еще раз прошу вас извинить меня, сэр, но, по-моему, вы немного перестарались. У меня есть все основания думать, что ранили меня случайно и что острел не был преднамеренным. Вот если бы вы обнаружили в ком-нибудь неблагодарность и заранее

обдуманное предательство, поверьте, что я бы осудил и то и другое заодно с вами, — ответил Хейзлвуд.

«Опять осечка, — подумал Глоссин. — Надо с другой стороны зайти».

— Вы правы, сэр, это хорошо сказано! Человека неблагодарного жалеть нечего, все равно что вальдшнепа на охоте. А вот насчет охоты нам действительно поговорить надо. (Так переводить разговор с одного предмета на другой Глоссин выучился у своего патрона.) Я часто вас встречаю с ружьем, и теперь вы, наверно, опять уже скоро сможете на охоту ходить. Только вы за свои границы почему-то никогда не переступаете. Сделайте мне одолжение, охотьтесь без всяких церемоний и на земле Элленгауэна, там дичи, пожалуй, еще побольше будет, хоть, правда, и у вас ее немало.

На это предложение Хейзлвуд ответил одним лишь холодным и сдержанным поклоном. Глоссин был вынужден замолчать и почувствовал некоторое облегчение, когда вернулся полковник Мэннеринг.

— Я, кажется, задержал вас, сэр, — сказал полковник, обращаясь к Глоссину. — Я хотел уговорить мисс Бертрам отказаться от своей неприязни и все же выслушать вас ввиду важности обстоятельств, которые вы имеете сообщить ей. Но я убедился, что после недавних событий, которым не так легко изгладиться из памяти, личная встреча с мистером Глоссином для нее невозможна, и с моей стороны было бы жестокостью на этом настаивать; поэтому мисс Бертрам и поручила мне выслушать ваши притязания или предложения — словом, все, что вы хотели сообщить ей.

— Гм! Гм! Очень жаль, сэр, очень жаль, господин полковник, что у мисс Бертрам могло появиться такое предубеждение против меня, даже одна только мысль, что я...

— Сэр, — сказал непоколебимый Мэннеринг, — там, где никого не обвиняют, нет надобности и в оправданиях. Есть ли у вас возражения против того, чтобы сообщить мне, как временному опекуну мисс

Бертрам, те обстоятельства, которые, судя по вашим словам, ее близко касаются?

— Нет, что вы, господин полковник! Вряд ли она могла бы избрать для этой цели человека более достойного и вряд ли мне хотелось бы с кем-нибудь, кроме вас, поговорить обо всем с полной откровенностью.

— Не угодно ли вам перейти прямо к делу?

— Право же, не так легко все рассказать сразу... Но мистеру Хейзлвуду вовсе незачем уходить отсюда, я ведь желаю только добра мисс Бертрам и хочу, чтобы весь свет об этом узнал.

— Мой друг мистер Чарлз Хейзлвуд вряд ли захочет слушать то, что никак его не касается, и теперь, когда он нас оставил одних, я попрошу вас покороче изложить мне суть вашего дела. Я солдат и не терплю разных вступлений и обиняков. — С этими словами он выпрямился, сел и стал ждать, что ему скажет Глоссин.

— Сделайте милость, взгляните на это письмо, — сказал Глоссин и передал полковнику послание мистера Протокола, решив, что этим путем он скорее сможет перейти к сути дела.

Мэннеринг прочел письмо и тут же вернул его, записав себе в памятную книжку фамилию адвоката.

— Об этом нам говорить нечего. Я позабочусь об интересах мисс Бертрам.

— Но... но знаете, господин полковник, есть еще одно обстоятельство, о котором только я один вам могу рассказать. Эта леди, миссис Маргарет Бертрам, как мне доподлинно известно, сделала завещание в пользу мисс Люси Бертрам в то время, когда она гостила в Элленгауэне у моего покойного друга, мистера Бертрама. Домини — так мой покойный друг всегда называл мистера Сэмсона — и я, мы вдвоем были тогда свидетелями. И она имела полное право так поступить, потому что она тогда уже унаследовала поместье Синглсайд, хотя оно и было передано в пожизненное пользование старшей сестре. Такова уж была прихоть старика Синглсайда. Чудак стравил

на этом деле своих двух дочерей, как двух кошек. Ха-ха-ха!

— Пусть это и так, — сказал Мэннеринг, даже не улыбувшись, — но давайте вернемся к делу. Вы говорите, что эта леди имела право завещать свои владения мисс Бертрам и что она так и сделала?

— Это доподлинно так, господин полковник, — ответил Глоссин. — Должен сказать, что я разбираюсь в законах: я их много лет изучал, и, хотя я теперь от этого отошел и решил пожить в свое удовольствие, я никак не могу пренебрегать знанием, которое для меня дороже всех земель и всех замков, — знанием законов. Ведь еще в старой песенке говорится:

...Совсем не вредно
Вернуть добро, пропавшее бесследно.

Ничего, не все еще потеряно. Законы нам еще пригодятся, чтобы друзьям помочь.

Глоссин продолжал говорить в таком же духе, считая, что произвел благоприятное впечатление на Мэннеринга, и действительно, полковнику стало казаться, что все это весьма важно для мисс Бертрам; поэтому он преодолел искушение вышвырнуть Глоссина через дверь или через окно. Усилием воли он обуздал свое негодование и решил все выслушать хоть и холодно, но терпеливо. Поэтому он дал Глоссину возможность закончить свои хвастливые излияния и тогда только спросил, не знает ли он, где в настоящее время находится завещание.

— Знаю... то есть, по-моему... словом, я рассчитываю найти его... В таких случаях душеприказчики ставят обычно некоторые условия...

— За этим дело не станет, — сказал полковник, доставая бумажник.

— Нет, сэр, вы меня не так поняли. Я сказал, что кое-кто *мог бы предъявить* такие требования, то есть оплату своих расходов, беспокойства и прочего, но я, со своей стороны, хотел бы только, чтобы мисс

Бертрам и ее друзья уверились, что в ее деле я руководствуюсь благородными намерениями. Вот это завешание, господин полковник! Я почел бы за счастье лично передать его в руки мисс Бертрам и поздравить ее с приобретением всех благ, которые оно сулит ей. Но коль скоро она так предубеждена против меня, то мне остается только передать мои пожелания через вас, господин Мэннеринг, и заявить, что, если понадобится, я смогу засвидетельствовать это завешание сам. Имею честь откланяться, сэр.

Эта заключительная речь была так искусно составлена и в ней так убедительно звучал голос несправедливо оскорбленной невинности, что она в небольшой степени поколебала дурное мнение, которое у Мэннеринга сложилось о Глоссине. Полковник даже проводил гостя немного вниз по лестнице и, прощаясь, разговаривал с ним хоть и сухо, но все же учтивее, чем вначале. Глоссин уехал, с одной стороны — довольный тем впечатлением, которое он произвел, а с другой — несколько уязвленный холодной осторожностью и гордым недоброжелательством, с которыми его приняли в Вудберне. «Полковник Мэннеринг мог бы быть со мной и повежливее, — подумал он. — Не каждый ведь способен беспокоиться о том, чтобы молодая и бедная девушка получила четыреста фунтов годового дохода. Один Синглсайд дает не меньше четырехсот фунтов, а ведь есть еще Рейладжеганбег, Гиллифиджет, Лаверлес, Лайелон и Спинстерс-Ноу — все это даст тоже добрых четыреста фунтов в год. Другой на моем месте постарался бы, может быть, все это себе забрать, хотя, по правде говоря, это вряд ли бы ему удалось».

Не успел Глоссин сесть на лошадь и уехать, как полковник послал слугу за ~~Мак-Морланом~~ **Мак-Морланом**. Мэннеринг передал ему завешание и спросил, не окажется ли оно полезным для Люси Бертрам. Мак-Морлан пробежал текст завешания; глаза его заблестели от радости, он прищелкнул пальцами и наконец воскликнул:

— Да, разумеется! Будто прямо по заказу для нее сделано, один Глоссин мог так устроить... если только

у него какой-нибудь задней мысли при этом не было. Только знаете что (улыбка сошла с его лица), эта старая карга, вы уж простите меня, что я ее так называю, могла ведь потом десять раз изменить свое решение.

— Ах, вот оно что! Ну, а как же мы тогда об этом узнаем?

— Надо, чтобы при вскрытии бумаг покойной обязательно присутствовал кто-нибудь от мисс Бертрам.

— А вы не могли бы туда поехать? — спросил полковник.

— Боюсь, что нет, — ответил Мак-Морлан, — мне надо будет присутствовать здесь на суде.

— В таком случае я еду туда сам, — сказал полковник. — Завтра я выезжаю. Я возьму с собой Сэмсона: он был свидетелем, когда составляли это завешание. Но ведь нужен будет и адвокат?

— Бывший шериф нашего графства пользуется репутацией хорошего адвоката; я дам вам к нему письмо.

— Чем вы мне нравитесь, мистер Мак-Морлан, — сказал полковник, — так это тем, что вы всегда хватаете быка за рога. Пишите же письмо. А мисс Люси мы скажем, что она может получить наследство?

— Конечно, скажем, вам ведь нужно будет взять от нее доверенность. Сейчас я ее составлю. И, ругаясь вам, мисс Бертрам окажется благоразумной и отнесется к этому совершенно спокойно.

Мак-Морлан оказался прав. Узнав эту неожиданную новость, Люси ничем не выдала ни своего волнения, ни своих надежд, если вообще они у нее были. Она, правда, в тот же вечер спросила Мак-Морлана, как бы ненароком, сколько приблизительно годового дохода дает имение Хейзлвуда. Но только позволено ли делать из этого вывод, что ей непременно хотелось узнать, сможет ли она, наследница четырехсот фунтов стерлингов годового дохода, составить подходящую партию для молодого лэрда?

Глава XXXVI

Налей мне кружку хереса,
пусть глаза мои покраснеют...
Мне надо говорить со всем жа-
ром страсти, и я последую при-
меру тех, кто играет роль царя
Камбиза.

«Генрих IV», ч. I

Не теряя времени, Мэннеринг отправился вместе с Сэмсоном в Эдинбург. Ехали они в карете полковника. Зная рассеянность своего друга, Мэннеринг решил не отпускать его от себя ни на шаг и тем более не позволять ему садиться на лошадь: какому-нибудь озорнику конюху ничего не стоило усадить его лицом к хвосту. С помощью слуги, сопровождавшего их верхом, ему удалось довести Сэмсона до гостиницы в Эдинбурге, скорее, правда, напоминавшей постоялый двор, — таких гостиниц, как в наше время, тогда еще не было, — причем дорога прошла благополучно и без приключений, если не считать того, что Домини дважды пропадал. Один раз его отыскал знавший его повадки Барнс; наш латинист оказался у сельского учителя в Моффэте, с которым они обсуждали спорный вопрос о долготе и краткости одного слога в седьмой оде второй книги Горация, после чего незаметно перешли к спору о точном значении слова *Malobathro* в той же оде. Потом он вдруг устремился на поле Раллионгрин, которое было дорого его пресвитерианскому сердцу. Выйдя на минуту из кареты, он увидел памятник павшим, находившийся на расстоянии целой мили от дороги, — и был обнаружен Барнсом в тот момент, когда уже приближался к Пентлендским горам. Оба раза он совершенно забывал о существовании своего друга, покровителя и спутника, как будто тот находился по меньшей мере где-нибудь в Индии. Когда ему напомнили о том, что полковник Мэннеринг его ждет, он только воскликнул: «Удивительно! Я совсем позабыл», — и зашагал обратно к карете. Хорошо зная, что господин его не выносит ни неаккуратности, ни медлительности, Барнс в том и в другом случае поражался терпению Мэн-

неринга, но Домини пользовался особым расположением полковника, и никогда никаких столкновений с его новым патроном у него не было. Казалось, оба они просто созданы один для другого. Нужна ли была Мэннерингу какая-нибудь книга — Домини тут же приносил ее, надо ли было подытожить или проверить счета — Домини всегда был готов к услугам. Если, наконец, полковнику хотелось вспомнить какую-нибудь цитату из классиков, он мог быть уверен, что найдет ее в памяти Домини, как в словаре. И тем не менее это ходячее изваяние не способно было ни возгордиться, видя, что без него не могут обойтись, ни обидеться, когда о нем забывали.

В глазах гордого, осторожного и необщительного человека, каким был Мэннеринг, этот живой каталог, или, скорее, одушевленный механизм, обладал всеми качествами удобного автомага, да к тому же еще и ученого.

Итак, приехав в Эдинбург, они остановились в «Гостинице Георга» близ Бристопорта; хозяином ее в то время был старик Кокберн (мне хочется быть точным). Полковник попросил слугу проводить его к адвокату Плейделу, к которому у него было письмо от Мак-Морлана. Он велел Барнсу приглядывать за Домини, а сам отправился со своим провожатым в путь.

Близился конец американской войны. Стремление к простору, воздуху и комфорту в то время не очень-то еще себя проявило в столице Шотландии. В южной части города делались попытки строить настоящие дома, как их многозначительно называли, а Новый город в северной части Эдинбурга, столь разросшийся впоследствии, тогда еще только начинал строиться. Большая часть лиц высокопоставленных, и в частности законоведы, все еще продолжали жить в тесных домиках старого города. Да зачастую и сам образ жизни этих ветеранов закона не допускал никаких новшеств. Среди известных адвокатов того времени были даже один или два, которые встречались со своими клиентами в кабачках, как это было в обычае еще пятьдесят лет назад. И хотя молодое поколение уже перестало придерживаться этой тра-

диции, привычка разрешать серьезные вопросы за веселой пирушкой сохранилась еще у пожилых адвокатов; они продолжали идти по старой дороге — то ли в силу того, что она была старой, то ли просто потому, что они к ней привыкли. Среди этих поклонников прошлого, которые с удивительным упорством придерживались обычаев старого поколения, был и Паулус Плейдел, эсквайр, отличный, впрочем, знаток своего дела, человек очень начитанный и достойный.

Покружив по темным переулкам, провожатый вывел Мэннеринга на Главную улицу, где галдели торговки устрицами, а лотошники с пирожками звонили в свои колокольчики, потому что, как Мэннерингу объяснил его спутник, «на Тронской башне только что пробило восемь». Мэннеринг совсем отвык от многолюдных столичных улиц, с их шумом и криками, бойкой торговлей, с их разгулом и кутежами, с непрерывно снующей толпой, где каждый человек, взятый в отдельности, как будто назойлив и даже груб, но вся картина в целом, особенно при вечернем освещении, поражает своим удивительным многообразием. Дома были такие высокие, что огоньки, мерцавшие в окнах верхних этажей, казались звездами в небе. Этот *соур d'oeil*,¹ который в какой-то мере остался и сейчас, был тогда еще величественнее благодаря тому, что сплошные ряды зданий тянулись с той и с другой стороны, прерываясь только у Северного моста, где тогда была великолепная площадь, занимавшая все пространство от начала Локенбут и до самой середины Кэнонгейт; длина и ширина этой площади соответствовали необычайной высоте расположенных вокруг домов.

Но Мэннерингу некогда было всем этим любоваться; проводник быстро протасил его за собой сквозь толпу, и они неожиданно очутились на мощеной улочке, очень круто поднимавшейся вверх. Повернув направо, они стали взбираться по лестнице, на которой одним из своих пяти чувств Мэннеринг уловил что-то не очень приятное.

¹ Вид (франц.).

Когда, ступая с осторожностью, они поднялись уже довольно высоко, они услышали сильный стук в дверь еще двумя этажами выше. Дверь отворилась, и оттуда до слуха полковника донеслись пронзительный и нудный собачий лай, женский крик, душераздирающее мяуканье кошки и хриплый мужской голос, который кому-то приказывал:

— Куш, тебе говорят, куш сейчас же!

— Господи ты боже мой, — произнес женский голос, — если только теперь с котом что случится, мистер Плейдел мне этого в жизни не простит.

— Не бойся, милая, ничего с твоим котом не будет. Так дома, что ли, Плейдел или нет?

— Нет, мистер Плейдел никогда в субботу вечером дома не сидит.

— А в воскресенье утром его, верно, тоже не застать? — спросил клиент. — Что же мне теперь прикажешь делать?

К этому времени Мэннеринг уже поднялся наверх и увидел там рослого, дюжего фермера. Одет он был в кафтан цвета перца с солью, который украшали тяжелые металлические пуговицы; на голове у него была клеенчатая шляпа, на ногах — высокие сапоги; под мышкой был зажат длинный хлыст. Фермер разговаривал с растрепанной девицей, которая в одной руке держала ключ от двери, а в другой — ведро с разведенной известью; по этому ведру в Эдинбурге можно было узнать, что настала суббота.

— Послушай, милая, что, мистер Плейдел ушел куда-нибудь? — спросил Мэннеринг.

— Нет, никуда он не уходил, но дома его тоже нет; в субботу вечером его никогда дома не бывает.

— Да, но знаешь, я ведь издалека приехал, и дело у меня к нему срочное. А ты мне не скажешь, где его найти? — спросил Мэннеринг.

— Их милость сейчас, видно, где-нибудь в кабачке Клерихью, — сказал провожатый. — Девка могла вам и сама это сказать, да, верно, решила, что вам с ним дома говорить надо.

— Ладно, тогда пойдемте в этот кабачок. Я думаю,

если мистер Плейдел узнает, что я по важному делу приехал, он меня примет?

— Вот уж этого не скажу вам, сэр, — ответила девушка. — Он не любит, чтобы к нему по субботам с делами ходили. Но приезжего он, может, и уважит.

— Тогда я тоже пойду в кабачок, — заявил наш старый приятель, Динмонт, — я ведь тоже приезжий, и у меня до него тоже серьезное дело.

— Ну да, — ответила служанка, — коли он джентльмена в этот день примет, так примет и простого человека. Только, ради бога, не говорите, что это я вас туда послала!

— Право же, милашка, хоть человек я и простой, даром я его не заставлю на меня время тратить, — не без гордости заявил наш добрый фермер и уверенно зашагал вниз по лестнице. Полковник Мэннеринг и его провожатый последовали за ним. Мэннеринг не мог надивиться, с какой решимостью его новый знакомый протискивался сквозь толпу, расталкивая тяжелыми, напористыми движениями всех прохожих, и трезвых и пьяных.

— Видать, это тот баран из Тевiotдейла, — сказал провожатый, — так напролом и прет. Только далеко ему все же не уйти, зададут ему здесь по первое число.

Но его мрачное предсказание все же не исполнилось, — прохожие, отлетавшие в сторону под мощным нажимом Динмонта, глядели на его рослую, сильную фигуру и, по-видимому, решали, что с такими крепкими мускулами лучше дела не иметь; таким образом, он спокойно продолжал свой путь.

Мэннеринг следовал за ним по проложенной дороге, пока фермер наконец не остановился и, взглянув на провожатого, не спросил:

— Верно, это то самое место?

— Да, да, — ответил Доналд, — точно, это оно.

Динмонт уверенно спустился вниз, завернул в какой-то темный проход, потом поднялся по темной лестнице и вошел в открытую дверь. В то время как он пронзительно свистел, вызывая слугу, как будто это была собака, Мэннеринг осмотрелся вокруг, удивляясь тому, как Плейдел, человек мало того что

образованный, но даже светский, мог избрать себе подобное место для отдыха. Двери совершенно покоились, да и весь дом обветшал и наполовину развалился. Из коридора, где они ждали, в переулок выходило окно, через которое в дневные часы сюда проникал лишь скудный свет, но зато во всякое время дня и ночи, и особенно ближе к вечеру, доносилась смесь отвратительных запахов. По другую сторону коридора было еще одно окно, выходившее на кухню; других окон в кухне не было, свежий воздух туда совершенно не поступал, и в дневное время она освещалась только пробивавшимися из коридора узенькими полосками тусклого света. Теперь вся кухня была озарена ярким огнем печей. Это был настоящий пандемониум, где полуобнаженные мужчины и женщины суетились возле плиты; они что-то пекли, варили, приготавливали устрицы и поджаривали на рашпере посыпанные перцем куски говядины. Хозяйка этого заведения в стоптанных туфлях, с выбившимися из-под круглой шапочки волосами, которые развевались во все стороны, как у Мегеры, бегала, суетилась, бранилась, получала от кого-то приказа и кому-то приказывала сама и казалась первой колдуньей в этом царстве огня и мрака.

Громкие взрывы смеха, беспрестанно доносившиеся из разных концов дома, доказывали, что труды хозяйки не пропадают даром, а всячески поощряются ее щедрыми посетителями. Мэннеринг и Динмонт попросили одного из слуг проводить их в комнату, где находился законовед, веселившийся на традиционной субботней пирушке. Зрелище, которое предстало их глазам, и особенно состояние и вид самого адвоката, главного действующего лица во всем спектакле, привели его будущих клиентов в немалое замешательство.

Мистер Плейдел был подвижным, востроглазым господином, с профессиональной строгостью во взгляде и, пожалуй, даже с какой-то профессиональной церемонностью в обращении. Но все это вместе взятое, равно как и свой треххвостый парик и черный кафтан, он легко скидывал с себя в субботу вечером,

стоило ему только очутиться среди своих шумных собутыльников и настроиться, как он говорил, на веселый лад. В этот день пиршество началось с четырех часов, и в конце концов, под предводительством одного из почтеннейших гуляк, которому за свою жизнь приходилось делить игры и забавы целых трех поколений, собравшаяся там веселая компания принялась за старую и давно уже забытую игру хай-джинкс. В игру эту можно было играть по-разному. Чаще всего участники ее бросали кости, и те, кому выпал жребий, должны были в течение определенного времени разыгрывать какую-нибудь роль или повторять в определенном порядке известное число непристойных стихов. Если же они нечаянно сбивались со своей роли или память им вдруг изменяла, они подвергались штрафу — должны были выпить лишний бокал вина или заплатить небольшой выкуп. Этой-то игрой и была занята вся веселая компания в ту минуту, когда Мэннеринг вошел в комнату.

Советник Плейдел, внешность которого мы уже описали, изображал монарха, восседаая, как на троне, в кресле, водруженном на стол. Парик его съехал на сторону, голова была увенчана подставкою для бутылок, глаза блеснули от веселья и от винных паров; окружавшая его свита хором повторяла шуточные стишки:

Герунто где? Поплыл он и пропал.

Не жди Герунто, к ракам он попал...

Так, о Фемида, забавлялись некогда сыны твои в Шотландии! Динмонт вошел первым. С минуту он простоял неподвижно, совсем оторопев, а потом вдруг воскликнул:

— Ну да, это он самый и есть! Черт его возьми, никогда я еще его таким не видывал!

Едва только услышав слова: «Мистер Динмонт и полковник Мэннеринг желают говорить с вами, сэр», Плейдел обернулся. Вид и осанка полковника заставили его слегка покраснеть. Он, однако, последовал примеру Фальстафа, сказавшего: «Вон отсюда, негодяи, не мешайте нам играть пьесу», благоразумно

рассудив, что лучше всего будет не выказывать своего смущения.

— Где же наша стража? — спросил новоявленный Юстиниан. — Вы что, не видите разве, что странствующий рыцарь прибыл из чужих земель в Холируд, к нашему двору, вместе с Эндрю Динмонтом, нашим отважным иоменом, который так зорко следит за королевскими стадами в Джедвудском лесу, где благодаря нашей царственной заботе и попечению барашки пасутся не хуже, чем в пределах Файфа? Где же наши герольды и их помощники, наш Лайон, наш Марчмонт, наш Кэрик и наш Сноудаун? Пусть гостей усадят с нами за стол и угостят так, как подобает их достоинству. Сегодня у нас праздник, а завтра мы выслушаем их просьбы.

— Осмелюсь заметить, государь, что завтра воскресенье, — сказал один из придворных.

— Вот как, воскресенье? Если так, то мы не будем оскорблять святыни церкви, аудиенция будет дана в понедельник.

Мэннеринг, который вначале еще раздумывал, не лучше ли ему вообще удалиться, решил вдруг тоже войти в роль, в душе ругая, правда, Мак-Морлана за то, что тот направил его к этому чудаку. Он вышел вперед и, низко поклонившись три раза, попросил позволения повергнуть к стопам шотландского монарха свои верительные грамоты, чтобы его величество, когда сочтет возможным, ознакомился с ними. Серьезность, с которой он вошел в эту веселую игру и сначала низко поклонился и отказался от предложенного церемониймейстером стула, а потом с таким же поклоном согласился сесть, вызвала троекратно повторившийся взрыв рукоплесканий.

«Провалиться мне на этом месте, если они оба не тронулись! — подумал Динмонт, усаживаясь без особых церемоний на конце стола. — Или это у них святки раньше времени начались и они все ряженые?»

Мэннерингу поднесли большой бокал бордоского вина, и он тут же осушил его во здравие государя.

— Вы, без сомнения, знаменитый сэр Майлз Мэннеринг, столь прославившийся в войнах с Францией, —

сказал монарх, — и вы нам скажете, теряют ли гасконские вина свой аромат у нас на севере.

Мэннеринг, приятно польщенный намеком на славу своего знаменитого предка, заявил в ответ, что он всего лишь далекий родич этого доблестного рыцаря, но добавил, что, по его мнению, вино прекрасное.

— Для моего живота оно что-то слабовато, — сказал Динмонт, но тем не менее допил бокал до дна.

— Ну, это мы быстро исправим, — ответил король Паулус, первый из королей носивший это имя, — мы не забыли, что сырой воздух нашей Лидсдейлской равнины располагает к напиткам покрепче. Сенешаль, поднесите нашему доброму имену чарку водки, это ему придется больше по вкусу.

— А теперь, — сказал Мэннеринг, — раз уж мы так непрошенно вторглись к вашему величеству в часы веселья, то соизвольте сказать чужеземцу, когда ему может быть предоставлена аудиенция по тому важному делу, которое привело его в вашу северную столицу.

Монарх распечатал письмо Мак-Морлана и, быстро пробежав его, воскликнул уже своим обычным голосом:

— Люси Бертрам Элленгауэн, бедная девочка!

— Штраф, штраф! — закричал хором десяток голосов. — Его величество забыли о своем королевском достоинстве.

— Ничуть, ничуть, — ответил король. — Пусть этот рыцарь будет судьей. Разве монарх не может полюбить девушку низкого происхождения? Разве пример короля Кофетуа и нищенки не есть лучший довод в мою пользу?

— Судейский язык! Судейский язык! Опять штраф! — закричали разбушевавшиеся придворные.

— Разве у наших царственных предков, — продолжал монарх, возвышая голос, чтобы заглушить неодобрительные возгласы, — не было своих Джин Логи и Бесси Кармайл, разных Олифант, Сэндиленд и Уэйр? Кто же осмелится запретить нам назвать имя девушки, которую мы хотим отметить своей любовью? Нет, если так, то пусть гибнет государство и власть наша вместе с ним! Подобно Карлу Пятому,

мы отречемся от престола и в тиши домашней жизни обретем то счастье, в котором отказано трону!

С этими словами он скинул с себя корону и соскочил со своего высокого кресла быстрее, чем можно было ожидать от человека столь почтенного возраста, велел зажечь свечи, принести в соседнюю комнату умывальный таз, полотенце и чашку зеленого чая и подал Мэннерингу знак следовать за ним. Минуты через две он уже вымыл лицо и руки, поправил перед зеркалом парик и, к большому удивлению Мэннеринга, сразу же перестал походить на участника этой вакханалии и всех ее дурачеств.

— Есть люди, мистер Мэннеринг, — сказал он, — перед которыми дурачиться, и то надо с большою осторожностью, потому что в них, выражаясь словами поэта, или много дурного умысла, или мало ума. Лучшее свидетельство моего уважения к вам, господин полковник, то, что я не стыжусь предстать перед вами таким, каков я на самом деле, и сегодня я вам это, по-моему, доказал. Но что надобно этому долговязому молодцу?

Динмонт, ввалившийся в комнату вслед за Мэннерингом, переминался с ноги на ногу, почесывая затылок.

— Я Дэнди Динмонт, сэр, из Чарлиз-хопа, тот самый, из Лидсдейла, помните? Вы мне большое дело тогда выиграли.

— Какое там дело, дубина ты этакая, — ответил адвокат. — Неужели ты думаешь, что я помню всех болванов, которые мне голову морочат?

— Что вы, сэр, это же такая тогда история была насчет пастбища в Лангтехеде!

— Ну да ладно, черт с тобой, давай мне твои бумаги и приходи в понедельник в десять, — ответил ученый муж.

— Да нет у меня никаких бумаг, сэр.

— Никаких бумаг? — спросил Плейдел.

— Ни единой, сэр, — ответил Дэнди. — Ваша милость ведь тогда еще сказали, мистер Плейдел, что вы больше любите, чтобы мы, люди простые, вам все на словах передавали,

— Пусть у меня язык отсохнет, если я когда-нибудь это говорил! — сказал адвокат. — Теперь вот и ушам за это достается. Ну ладно, говори, что тебе нужно, только покороче, — видишь, джентльмен ждет.

— О сэр, если этому джентльмену угодно, пусть он первым говорит, для Дэнди все одно.

— Эх, остолоп ты этакий, не понимаешь ты, что ли: твое-то дело для полковника выеденного яйца не стоит, он, может быть, и не хочет, чтобы ты со своими длинными ушами в его дела совался?

— Ладно, сэр, поступайте как сами знаете и как полковнику сподручней, только чтобы и на мое дело у вас времени хватило, — сказал Дэнди, нимало не смущаясь грубостью адвоката. — Мы вот всё из-за дележа земли спорили, Джок О'Достон Ключ да я. Видите ли, наша межа идет по вершине Тутхопригга прямо за Поморагрейн; ведь и Поморагрейн, и Слэкенспул, и Бладилоз — они все туда входят и все принадлежат к Пилу. Ну так вот, межа идет прямо по верху горки, там, где водораздел, но Джон О'Достон Ключ, тот этого признавать не хочет и говорит, что она, межа, идет по старой проезжей дороге через Нот О'Гейт к Килдар Уорду, а это большая разница.

— А разница-то в чем? — спросил Плейдел. — Сколько на этой земле овец пасти можно?

— Да не больно много, — ответил Дэнди, почесывая затылок, — место высокое и открытое; свинка, может быть, и прокормится, а в хороший год и ягняток парочка.

— И из-за этого-то клочка, который, может быть, и пяти шиллингов в год не даст, ты хочешь просадить сотню-другую фунтов?

— Нет, сэр, тут не в траве дело, — ответил Динмонт, — это все ради справедливости.

— Послушай, милый, — сказал Плейдел, — справедливость, как и милосердие, должны начинаться у себя дома. Будь-ка ты лучше сам справедливей с женой и с детишками, а канитель такую нечего затевать. Динмонт все еще стоял и мял в руке шляпу.

— Не в том вовсе дело, сэр, а я просто не хочу, чтобы он так задавался: ведь он грозит, что два-

дцать человек свидетелей приведет, а то и больше, а я знаю, что не меньше людей за меня будет стоять, и таких, что всю жизнь в Чарлиз-хопе прожили; они не потерпят, чтобы у меня землю понапрасну отняли.

— Послушай, если дело касается чести, то почему же ваши лэрды в этом не разберутся?

— Не знаю, сэр (тут он снова почесал затылок), хоть они нам и соседи, мы с Дроком никак не можем уговорить их, чтобы они нашу тяжбу разобрали, но вот разве что мы за землю бы им платить перестали, тогда...

— Нет! Что ты! Можно ли так делать! — сказал Плейдел. — Что же вы тогда по хорошей дубинке не возьмете и не решите сами?

— Ей-богу же, сэр, у нас это уж раза три бывало, два раза так на самой этой земле дрались да раз на ярмарке в Локерби. Только кто его, впрочем, знает, силы ведь у нас у обоих во какие! Этим, видать, дело все равно не решится.

— Возьмитесь же тогда за шпаги, и черт с вами. Отцы ваши так делали!

— Что ж, сэр, коли вы не думаете, что это супротив закона будет, то по мне все одно.

— Постой, постой! — вскричал Плейдел. — Случится та же беда, что и с лэрдом Сулисом. Слушай, милейший, я одно хочу тебе в голову вдолбить — пойми ты, ведь дело ты затеял смешное и нелепое.

— Ах вот как, сэр, — разочарованно сказал Дэнди. — Так, выходит, вам не угодно потрудиться?

— Да, не угодно; по мне, так пошел бы ты домой, распили бы вы с ним вдвоем пинту пива и все между собой по-хорошему уладили.

Дэнди, однако же, этим не удовлетворился и продолжал стоять.

— Ну, чего ты еще от меня хочешь?

— Да вот еще что, сэр: тут насчет наследства старой леди, что на днях померла, мисс Маргарет Бертрам из Синглсайда.

— А что такое? — не без удивления спросил адвокат.

— Да у нас-то с Бертрамами родства нет. Это

ведь были люди знатные, не нам чета. А вот Джин Лилтуп, что ключницей у старого Синглсайда служила... у нее еще две дочери померли, вторая-то, сдается, в летах уже была... так вот, говорю, Джин Лилтуп была сама из Лидсдейла родом и сестрице моей сводной двоюродной сестрой приходилась. А о ту пору, когда она ключницей-то служила, она с Синглсайдом и спуталась, это уж как пить дать, вся родня так из-за нее тогда убивалась. Но потом он с ней повенчался в церкви, все как следует быть. Так вот я и хочу спросить, как насчет права нашего свою часть наследства по закону требовать?

— Полно, какое там право!

— Ну что же, мы от этого не обеднеем, — сказал Дэнди. — Но, может, она все-таки нас вспомнила, когда завешание писать собралась. Ну ладно, сэр, я все свое сказал, а теперь прощайте и... — Тут он полез в карман.

— Нет уж, милейший, по субботам я денег не беру, да еще когда бумаг нет. Прощай, Дэнди, Динмонт поклонился и ушел.

Глава XXXVII

Ни красоты в том фарсе не найдешь,
Ни правды — только выдумка да ложь.
Там что-то нагорожено без меры,
И все темно, и ничему нет веры,
И в чувствах нет сердечной глубины —
Они мертвы и холода полны.

«Приходские списки»

— Ваше величество ознаменовали свое отречение актом милосердия и любви, — смеясь сказал Мэннеринг, — теперь у этого молодца пропадет охота затевать тяжбу.

— О нет, вы ошибаетесь, — ответил ему наш искушенный адвокат. — Все свелось только к тому, что я потерял клиента и доход. Он ведь не успокоится до тех пор, пока кто-нибудь не поможет ему осуществить эту дурацкую затею. Нет, что вы! Я только показал

вам еще одну из моих слабостей: в субботу вечером я всегда говорю правду.

— Наверно, кое-когда и на неделе, — продолжал Мэннеринг в том же тоне.

— Ну да, насколько позволяет моя профессия. Говоря словами Гамлета, я сам по себе честен, и все дело в том, что мои клиенты и их поверенные заставляют меня повторять в суде свою двойную ложь. Но *oportet vivere*.¹ Это печальная истина. Давайте все же перейдем к нашему делу. Я рад, что мой старый друг Мак-Морлан послал вас ко мне; это энергичный, умный и честный человек. Сколько времени он был помощником шерифа в графстве ***, еще когда я там шерифом был, и теперь все на той же должности. Он знает, с каким уважением я отношусь к несчастной семье Элленгауэнов и бедняжке Люси. Последний раз я видел ее, когда ей двенадцать лет минуло, это хорошая, милая девочка была, а отец-то был совсем глупый. Но я начал принимать участие в ее судьбе еще раньше. Когда-то я был шерифом этого графства, и меня вызывали расследовать подробности убийства, которое было совершено неподалеку от имения Элленгауэнов в тот самый день, когда родилось это несчастное дитя. И, по странному стечению обстоятельств, выяснить которые мне, к несчастью, так и не удалось, в этот же день погиб или пропал без вести мальчик, ее единственный брат, которому было тогда лет пять. Ах, господин полковник, я вовек не забуду, в каком бедственном положении был в то утро дом Элленгауэнов! Мать умерла от преждевременных родов, отец чуть не рехнулся с горя, и эта беспомощная малютка, о которой почти некому было позаботиться, кричала и плакала, появившись на наш злосчастный свет в такую тяжелую минуту. Ведь мы, юристы, тоже не из железа и не из меди сделаны, как и вы, солдаты, не из стали. Нам приходится иметь дело с преступлениями и страданиями в повседневной жизни людей, так же как вы сталкиваетесь с тем и другим в военной обстановке, и, для того чтобы выполнить свой

¹ Надо жить (лат.).

долг, и нам и вам необходима, пожалуй, некоторая доля безразличия. Но черт бы побрал солдата, чьи чувства тверды, как шпага, и будь дважды проклят тот судья, которому вместо здоровой мысли дано холодное сердце! Однако послушайте, ведь так у меня совсем субботний вечер пропадет. Будьте любезны, дайте мне все бумаги, относящиеся к делу мисс Бертрам, и вот что: завтра уж вы как-нибудь придете ко мне, старику, на холостяцкий обед, и непременно. Обед будет ровно в три, а вы приходите на час раньше. Хоронить старую леди будут в понедельник. Так как дело касается сироты, то мы и в воскресенье часок найдем, чтобы обо всем переговорить. Но только, если старуха изменила свое решение, сделать ничего, пожалуй, не удастся... Разве только окажется, что шестидесяти дней не прошло, и в этом случае, если будет доказано, что мисс Бертрам — законная наследница...

Но послушайте, моим вассалам просто не терпится, у них сейчас *interregnum*...¹ Я не приглашаю вас в нашу компанию, полковник, это значило бы злоупотреблять вашей снисходительностью: вы же ведь не переходили, как мы, постепенно от мудрости к веселью и от веселья к... к сумасбродству. До свидания. Гарри! Проводи-ка мистера Мэннеринга домой. Итак, господин полковник, жду вас завтра в самом начале третьего.

Полковник возвратился к себе в гостиницу. Его удивили не только ребяческие забавы, за которыми сей ученый муж проводил свой досуг, но и его прямота и здравый смысл, мгновенно вернувшиеся к нему, едва только ему понадобилось снова предстать в образе адвоката, и то нежное чувство, с которым он говорил об одинокой сироте.

На следующее утро, когда полковник и его на редкость невозмутимый и молчаливый спутник, Домини Сэмсон, кончали завтрак, приготовленный Барнсом, который тот сам подал на стол, после того как Домини, пытаясь обойтись без его помощи, уже успел обварить себя кипятком, неожиданно явился мистер Плей-

¹ Междоуцствие (лат.).

дел. На голове у него был элегантный круглый парик, каждый волосок которого получил от заботливого и усердного цирюльника причитающуюся ему порцию пудры. Одет он был в тщательно вычищенный черный кафтан, на ногах у него красовались башмаки такой же удивительной чистоты; золоченые застёжки и пряжки блестели. В манерах его не было ни намека на развязность — он был подтянут, но при всем этом держал себя совершенно свободно. Выразительное и немного забавное лицо его стало теперь спокойным — словом, он был совершенно непохож на вчерашнего веселого чудака. И только вспыхивавший огнем пронзительный взгляд напоминал в нем гуляку «субботнего вечера».

— Я пришел сюда, — с изысканной вежливостью заявил он, — чтобы воспользоваться не только светской, но и духовной властью над вами. Куда вы позволите мне проводить вас: в пресвитерианскую церковь или в епископальный молитвенный дом? *Tros Tyriusve...*¹ Знаете, юристы ведь придерживаются обоих вероучений, или, лучше сказать, обеих форм нашей религии. Или, может быть, мы проведем утро как-нибудь иначе? Простите мою старомодную навязчивость. В мое время шотландец считал бы невежливым оставить своего гостя хоть на минуту одного, разве только ночью ему поспать бы дал. Только я вас очень прошу, если я вам надоем, сразу же мне скажите.

— Что вы, напротив! — отвечал Мэннеринг. — Я с наслаждением вверяю себя вам. Я бы очень хотел послушать кое-кого из тех шотландских проповедников, чье искусство так прославило вашу страну: вашего Блэйра, вашего Робертсона, вашего Генри, и я с величайшей радостью принимаю это любезное приглашение. Только...

Тут он отвел адвоката в сторону и, указывая ему на Сэмсона, сказал:

— Мой почтенный друг, который там вон стоит призадумавшись, часто бывает слегка рассеян и

¹ *Tros, Tyriusve, mihi nullo discrimine agetur* — я не делаю различия между троянцами и жителями Тира (лат.).

беспомощен. Мой слуга Барнс, его постоянный провожатый, на этот раз не может пойти с ним, а Сэмсон хочет как раз отправиться в одну из самых мрачных и дальних церквей.

Адвокат посмотрел на Домини Сэмсона.

— Такого редкостного человека надо беречь, — сказал он, — и я найду ему хорошего провожатого.

— Вот что, — обратился он к лакею, — сходи-ка к тетке Финлейсон в Каугейт за рассыльным Майлзом Мэкфином, он, наверно, сейчас там, и скажи ему, что он мне нужен.

Рассыльный не замедлил явиться.

— Вот кому я вверяю вашего друга, — сказал Плейдел. — Он присмотрит за ним и проводит его, куда тому захочется, хоть в церковь, хоть на рынок, хоть на собрание какое, или в суд, или еще куда; Мэкфину это совершенно все равно. Он доставит его отовсюду целым и невредимым к назначенному часу, так что мистер Барнс вполне может располагать собой как захочет.

Полковник дал свое согласие, и Домини был вверен попечению этого человека на все время их пребывания в Эдинбурге.

— А теперь, если хотите, пойдемте в церковь Грей-фрайерс, чтобы послушать там нашего знатока истории Шотландии, а также истории Европы и Америки.

Но их ожидало разочарование: проповеди Робертсона в этот день не было.

— Не беда, — сказал Плейдел, — минута терпения, и мы за все будем вознаграждены.

На кафедру взошел один из коллег доктора Робертсона. Наружность у него была не слишком внушительная. На редкость бледное лицо составляло разительный контраст с черным париком, на котором не было и следа пудры; грудь у него была узкая, спина сутулая; руки он выставил вперед по обеим сторонам пюпитра, будто подпорки, и казалось, они действительно скорее поддерживают его тело, чем помогают убедительности его речи. Отсутствие пасторского одеяния, даже такого, какое принято у кальвинистов, смятый воротник и какие-то словно

чужие движения — все это вместе взятое сразу же не понравилось полковнику.

— Какой-то он несуразный, — шепнул Мэннеринг своему новому другу.

— Пусть это вас не смущает, это сын отличного шотландского юриста, и вы еще увидите, на что он способен.

Наш ученый муж оказался прав: проповедь была полна новых, интересных взглядов на священное писание, на историю. Проповедник выступал в защиту кальвинизма и шотландской церкви и в то же время утверждал основы трезвой практической морали, которая не разрешила бы человеку грешить, прикрываясь положениями умозрительного вероучения или правом иметь собственные взгляды, но вместе с тем могла помочь ему противостоять всей пучине ересей и неверия. Его доказательства и сравнения уже несколько устарели, но это только придавало его красноречию особую оригинальность и остроту. Проповедь свою он не читал, а говорил, лишь изредка взглядывая на листок бумаги с заглавиями отдельных ее частей. Каждое новое положение, казавшееся вначале неясным и трудным, становилось, по мере того как проповедник все больше и больше воспламенялся, и отчетливым и живым. Хотя проповедь эту и нельзя было назвать образцовой и безукоризненной, Мэннерингу редко приходилось слышать столь остроумные рассуждения и столь убедительные доводы в пользу христианства.

— Такими, должно быть, были те бесстрашные проповедники, — сказал полковник, выходя из церкви, — чьи яркие, хоть, может быть, и несколько необузданные дарования и создали Реформацию.

— И все же в этом почтенном человеке, которого я люблю не только из уважения к памяти его отца, но и за его личные достоинства, нет и тени той фари-сейской гордости, которой, по-видимому, не был чужд кое-кто из ранних проповедников кальвинизма в Шотландии. Он и его коллега придерживаются разных точек зрения на некоторые церковные догматы, но они ни на минуту не забывают о взаимном

уважении и в своих спорах чужды всякой враждебности. И тот и другой спокойны, последовательны, и все поступки их свидетельствуют о том, что это люди убежденные.

— А как вы смотрите сами, мистер Плейдел, на предмет их разногласий?

— Я-то, господин полковник, считаю, что честный человек может попасть в рай, даже не задумываясь над этими вещами; к тому же, *inter pos*,¹ я принадлежу к гонимой в Шотландии епископальной церкви. Теперь от нее уже ничего почти не осталось, но, может быть, это к лучшему. Приятнее мне, конечно, молиться там, где молились мои предки, но ведь не буду же я осуждать пресвитерианские обряды за то лишь, что они не вызывают во мне этих воспоминаний.

На этом собеседники расстались до обеда.

Судя по неудобному входу в жилище нашего адвоката, Мэннеринг ожидал, что его встретит более чем скромный прием. При дневном свете улочка выглядела еще мрачнее. Она была так узка, что соседи, живущие на противоположных сторонах, могли, высушившись из окон, пожать друг другу руки; иные дома соединялись между собою крытыми деревянными галереями, которые совершенно загораживали проход. На лестнице была грязь; входя в квартиру, Мэннеринг поразился тому, до какой степени обшитый деревянной панелью коридор был узок и низок. Но библиотека, в которую его ввел старый, почтенного вида лакей, представляла собой полную противоположность тому, что можно было ожидать. Это была хорошая, просторная комната, где висели портреты знаменитых людей Шотландии кисти Джеймисона, этого каледонского Ван-Дейка. По стенам комнаты стояли шкафы с книгами — лучшими изданиями самых избранных авторов и в первую очередь восхитительным собранием классиков.

— Это мой рабочий инструмент, — заявил Плейдел. — Адвокат, не знакомый с историей и с литературой, похож на самого заурядного каменщика, в то

¹ Между нами (*лат.*),

время как с этими познаниями он вправе уже называть себя архитектором.

Мэннеринг в это время любовался из окна изумительной панорамой. Оттуда виден был Эдинбург, рядом — море и форт с его островами, залив, обрамленный грядой Нортбервикских гор, а дальше, к северу, — изрезанные берега Файфа, зубчатые очертания которых отчетливо выделялись на голубом небе.

Плейдел, терпеливо выждав, пока его гость насладится сполна этим зрелищем, заговорил с ним о деле мисс Бертрам.

— У меня была надежда, хоть и слабая, правда, — сказал он, — что мне удастся доказать ее неотъемлемые права на владение Синглсайдом, но все мои старания ни к чему не привели. Старая леди, конечно, была единственной владелицей этого поместья и могла располагать им по своему усмотрению. Нам остается только надеяться, что бес ее не попутал и она осталась верна своему прежнему решению. Завтра вам надо быть на похоронах. Я известил ее поверенного, что вы приехали сюда представлять интересы мисс Бертрам, и вам будет послано приглашение; мы с вами увидимся попозже в доме покойной, где я буду присутствовать при вскрытии завещания. У этой старой гримзы на положении компаньонки, а вернее всего служанки, жила девочка-сиротка, какая-то дальняя родственница. Так вот, я надеюсь, что в старухе напоследок заговорила совесть и она все же постаралась чем-нибудь вознаградить бедняжку за то *peine forte et dure*,¹ которому она подвергала ее при жизни.

Явилось трое гостей, которых представили полковнику. Это были люди неглупые, начитанные и к тому же веселые, и остаток дня прошел в приятной беседе. Мэннеринг просидел с ними до восьми часов вечера за бутылкой вина, поставленной хозяином, которая, разумеется, была тапнит.²

Вернувшись в гостиницу, он нашел письмо с приглашением прибыть на похороны мисс Маргарет Бер-

¹ Суровое и тяжкое наказание (*франц.*).

² Большая (*лат.*).

трам из Синглсайда, — хоронить ее должны были на кладбище Грейфрайерс, а вынос тела был назначен на час дня.

В указанное время Мэннеринг направился к небольшому домику на южной окраине города. Он узнал его по стоявшим перед дверьми двум печальным фигурам, одетым по шотландскому обычаю в черные плащи, отделанные белым крепом, с креповыми же повязками на шляпах и с жезлами в руках. Еще двое таких же молчаливых с печатью безысходного горя на лицах провели Мэннеринга в столовую, где уже собрались родные и близкие покойной.

В Шотландии до сих пор еще повсеместно сохранился давно позабытый в Англии обычай приглашать на похороны всех родственников умершего. Часто это производит потрясающее впечатление, но в тех случаях, когда человек при жизни никем не был любим и после смерти его никто не оплакивает, обычай этот становится только пустой и уродливой формальностью. Английская погребальная служба принадлежит к числу красивейших церковных обрядов и всегда оставляет неизгладимое впечатление; она способна сосредоточить на себе внимание собравшихся, объединить их мысли и чувства в наиболее подходящей для этих минут благоговейной молитве. Но в Шотландии все обстоит иначе: если близкие сами не чувствуют истинной скорби, ничто не восполнит там ее отсутствия и не сосредоточит на себе мыслей участников этой церемонии. Поэтому естественно, что последние чаще всего испытывают на похоронах только тягостное чувство стесненности и фальши. К сожалению, миссис Маргарет Бертрам была одной из тех несчастных женщин, чьи добрые качества не снискали всеобщего расположения. У нее не было близких, которые могли бы искренне о ней печалиться, и поэтому весь похоронный обряд превратился в какую-то показную манифестацию скорби.

Итак, Мэннеринг, пребывая в мрачном обществе всех этих троюродных, четвероюродных, пятиюродных и шестиюродных братьев и сестер, подобно всем им, заставил свое лицо принять приличествующее случаю выражение и старался казаться опечаленным кончи-

ною миссис Маргарет Бертрам, как будто усопшая приходилась ему матерью или сестрою. После длительного и тягостного молчания все присутствующие начали понемногу переговариваться вполголоса, как будто они находились в комнате умирающего.

— Наша дорогая миссис Бертрам, — произнес важного вида джентльмен, едва приоткрывая рот, чтобы не нарушить торжественности, которую он придавал лицу, и цедя слова сквозь почти совершенно сомкнутые губы, — наша дорогая покойница хорошо прожила свой век.

— Само собой разумеется, — ответил тот, к кому были обращены эти слова, чуть приоткрывая глаза, — наша бедная миссис Маргарет всю жизнь была очень бережлива.

— Что у вас нового, господин Мэннеринг? — спросил один из тех джентльменов, с которыми полковник обедал накануне, таким необычным голосом, как будто он извещал о смерти всех своих близких.

— Да ничего особенного, — сказал Мэннеринг тоном, который, как он заметил, был принят всеми оттого только, что в доме покойница.

— Я слышал, — продолжал первый многозначительно и с видом человека хорошо осведомленного, — я слышал, что было написано завещание.

— А что же оставили маленькой Дженни Гибсон?

— Сто фунтов, да еще большие старинные часы в придачу.

— Не очень-то о бедняжке позаботились; ведь туговато ей приходилось при покойнице. Что ж, на чужое добро всегда расчет плохой.

— Я думаю, — сказал стоявший рядом с Мэннерингом политикан, — что с Типу-Саибом мы окончательно не разделились, насолит он еще нам немало; да вот говорят еще — вы, верно, слышали, — что акции Ост-Индской компании что-то не поднимаются.

— Скоро, наверно, поднимутся.

— А у миссис Маргарет, — сказал еще один, вмешавшись в разговор, — были ведь акции Ост-Индской компании. Я это знаю, потому что я сам получал за нее проценты. Хорошо, если бы держатели

акций и все наследники посоветовались с полковником о том, как и когда их можно будет продать. По моему, так... Но вот идет мистер Мортклок, значит вынос сейчас начнется.

Гробовщик мистер Мортклок, распоряжавшийся похоронами, с вытянутой, как подобает лицам его профессии, физиономией и скорбной торжественностью в движениях роздал всем присутствующим маленькие карточки; каждому было назначено место, которое он должен занимать возле гроба. Порядок этот определялся близостью родства с покойной, и почтенный мистер Мортклок, как он ни был сведущ в этом мрачном церемониале, все же неминуемо должен был кого-то обидеть. Состоять в близком родстве с миссис Бертрам значило быть причастным к землям Синглсайда, и для каждого из собравшихся здесь родных это обстоятельство было особенно важно. Кое-кто, само собой разумеется, остался недоволен, а наш приятель Динмонт был не в состоянии ни подавить обиду, ни выразить ее с подобающей сдержанностью и выпалил все прямо.

— Мне бы хоть ногу дали понести! — воскликнул он более громко, чем это позволяло приличие. — О господи, если бы тут дело земли не касалось, я, пожалуй, взял бы гроб вместо всех этих господ да один и понес.

Несколько десятков укоризненно нахмуренных лиц обратились в сторону нашего бесстрашного фермера, который, высказав все накопившееся у него на душе недовольство, решительно зашагал вниз по лестнице со всеми остальными, не обращая ни малейшего внимания на тех, кого он оскорбил своей выходкой.

Наконец погребальная процессия двинулась в путь. Шествие возглавили факельщики со своими жезлами, украшенными перевязями из потускневшего белого крепа — эмблемой девственности покойной. Шестерка захудалых кляч, олицетворявших бренность всего земного, в перьях и попонах, медленно повезла на кладбище мрачно убранный катафалк. Впереди бежал Джейми Дафф, дурачок, без которого не обходились ни одни похороны, в белом бумажном галстуке и таких же бумажных нашивках на рукавах

в знак траура, а сзади тянулось шесть карет; в которых ехали все участники церемонии. Многие из них переговаривались между собой уже более непринужденно и с большим оживлением обсуждали вопрос о размерах наследства и о том, кому оно может достаться. Главные претенденты, однако, благоразумно молчали, стыдясь высказывать вслух надежды, которые могут потом не оправдаться.

А душеприказчик покойной, единственный человек, в точности знавший, как обстоит дело, сохранял таинственное выражение лица, как будто решив продлить, насколько возможно, и разгоравшееся во всех любопытство и напряженность ожидания.

Наконец они прибыли к воротам кладбища, где их встретила целая толпа женщин с детьми на руках; оттуда, в сопровождении десятков мальчишек, которые бежали вприпрыжку за похоронной процессией и громко кричали, они добрались до места, где были погребены представители рода Синглсайдов. Это было на кладбище Грейфрайерс. Участок был огорожен с четырех сторон; одна из них охранялась ангелом с отбитым носом и единственным уцелевшим крылом, который, однако, упорно стоял уже целое столетие на своем посту, в то время как его коллега херувим, некогда исполнявший ту же обязанность, красуясь рядом на каменном пьедестале, валялся теперь бесформенным обручком среди зеленой чащи крапивы, репейника и болиголова, пышно разросшихся вокруг стен мавзолея. Покрытая мхом и полустертая надпись возвещала, что в 1650 году капитан Эндрю Бертрам, первый владелец Синглсайда, отпрыск знаменитейшего и древнейшего рода Элленгауэнов, воздвиг этот монумент для себя и своих потомков. Изрядное количество кос, песочных часов, черепов и крестообразно сложенных костей обрамляло нижеследующий образец кладбищенской поэзии, сочиненный в честь основателя мавзолея:

Кроток как Натаньель, как Безальель умел,
Был ли в свете герой такой?
Жил он с нами. Под камнем сим
Он свой вечный обрел покой,

Сюда-то они и опустили тело миссис Маргарет Бертрам, в глинистую и жирную землю, которая приняла в себя прах ее предков. А потом, подобно солдатам, возвращающимся с военных похорон, ближайшие родственники, заинтересованные в завещании, пустились погонять вовсю несчастных наемных кляч, чтобы поскорее положить конец обуревавшему их всех нетерпению.

Глава XXXVIII

Коту иль колледжу все деньги завещай.

Поп

Лукиан рассказывает в одной из своих правдивых историй, как труппа обезьян, искусно выдрессированных своим предприимчивым хозяином, с большим успехом исполняла какую-то трагедию и как все они сразу позабыли свои роли, стоило только какому-то повесе бросить на сцену горсть орехов: природные инстинкты актеров взяли верх над выучкой, и буйное соперничество их перешло все границы пристойного. Так вот приближение решающего момента вселило во всех претендентов на наследство чувства, весьма отличные от тех, которые они, следуя примеру мистера Мортклока, только что старались на себя напустить. Глаза, которые совсем еще недавно то с благоговением устремлялись к небесам, то смиренно потуплялись долу, теперь тревожно и жадно впились в сундуки, шкатулки и ящики комодов, заглядывая в самые потаенные уголки старушечьих комнат. Хоть сами по себе эти поиски, может быть, и не были лишены интереса, завещания все же нигде не оказалось.

Где-то среди вещей была обнаружена расписка на двадцать фунтов за подписью священника неprisягающей секты, с отметкой о том, что проценты получены сполна по день святого Мартина прошлого года; документ этот был старательно завернут в бумагу с новым текстом старой песни «Через море к Карлу». В другом месте нашли занятную любовную переписку

между покойницей и неким лейтенантом пехотного полка О'Кином. В пачку его писем была вложена бумажка, сразу же объяснившая родственникам, почему эта привязанность, не предвещавшая им ничего хорошего, вдруг окончилась: это была закладная на двести фунтов, за подписью лейтенанта, по которой, по-видимому, никогда никакие проценты не поступали. Обнаружены были и другие счета и закладные на значительно большие суммы и за подписью лиц более положительных (разумеется, только в смысле их состоятельности), чем почтенный священнослужитель и галантный воин. Все эти бумажки валялись в одной куче с монетами самых различных достоинств и размеров, с ломаными золотыми и серебряными вещами, старыми серьгами, крышкой от табакерки, оправой от очков, и пр. и пр. Завещание, однако, так и не находилось, и полковник Мэннеринг начал уже надеяться, что то, которое он получил от Глоссина, действительно выражало последнюю волю старой леди. Но его друг Плейдел, который теперь вошел в комнату, предупредил его, что дело обстоит иначе.

— Человек, который руководит осмотром вещей, — сказал он, — мне хорошо известен, и по его поведению я догадываюсь, что он знает об этом больше, чем все мы.

Пока поиски завещания продолжаются, взглянем на кое-кого из лиц, особенно в нем заинтересованных.

О Динмонте, который, зажав под мышкой хлыст, просовывал свою круглую голову через плечо суетившегося *homme d'affaires*,¹ говорить не приходится. Вот этот худошавый пожилой мужчина в безукоризненном траурном костюме — это Мак-Каскуил, бывший владелец Драмкуэга; он разорился на двух полученных им в наследство акциях Эрского банка. Надежда его основана на том, что он хотя и отдаленная, но все же родня покойной, на том, что он сживал с ней по воскресеньям на одной скамье в церкви, а по субботам всегда играл с ней вечером

¹ Поверенного (франц.).

в крибедж, причем неизменно старался ей проигрывать. А вон тот простоватого вида человек с косичкой жирных волос, обернутых в кусок кожи, — это табачник, родственник миссис Бертрам с материнской стороны; торговля принесла ему порядочные барыши, и когда разразилась колониальная война, он утроил для всех цены на табак, сделав исключение для одной только миссис Бертрам. Черепаховая табакерка старухи каждую неделю наполнялась лучшим нюхательным табаком, и с нее брали все время прежнюю цену только потому, что горничная, приходя в лавку, каждый раз передавала мистеру Кvidу привет от его двоюродной сестрички миссис Бертрам. А вон тот парень, который не потрудился даже скинуть верхнюю одежду и грязные сапоги, мог так же, как и все его сверстники, снискать расположение старой леди, любившей видеть у себя дома красивых молодых людей. Говорят только, что он упустил благоприятный случай, потому что подчас пренебрегал ее торжественными приглашениями, а иногда вдруг являлся, уже пообедав перед этим где-нибудь на стороне, с компанией повеселее; к тому же он два раза наступил на хвост ее коту и однажды рассердил ее поугая.

Внимание Мэннеринга привлекла бедная девушка, которая была у покойницы чем-то вроде компаньонки, так что старуха в любое время могла срывать на ней свое дурное настроение. Для того чтобы заставить девушку присутствовать при оглашении завещания, любимая служанка покойной должна была чуть ли не насильно притащить ее в комнату. Там она поскорее забилась в угол, удивленно и испуганно глядя на то, как незнакомые люди роются в вещах, на которые она с самого детства привыкла глядеть не иначе как с благоговейным трепетом. За исключением нашего доброго Динмонта, все отнеслись к ее появлению недружелюбно: они видели в ней опасную соперницу и считали, что признание ее прав на наследство могло помешать им и уменьшить их шансы.

И все же это было единственное живое существо, которое искренне горевало по усопшей. При всем

своем себялюбии миссис Бертрам как-никак была ее покровительницей. И теперь капризы и тирания взбалмошной старухи были забыты, и бедная сирота заливалась горькими слезами.

— Очень уж соленой воды много, — сказал табачник бывшему владельцу Драмкуэга. — Это ничего хорошего не предвещает. Плачут так обычно неспроста.

Мистер Мак-Каскуил ответил кивком головы, не желая уронить свое высокое достоинство в глазах мистера Плейдела и полковника Мэннеринга.

— Странная все-таки штука будет, если так и не найдут завещания, — сказал поверенному Динмонт, начинавший уже терять терпение.

— Потерпите, пожалуйста, немного, миссис Маргарет Бертрам была добрая и разумная женщина, да, добрая и рассудительная, и умела выбирать друзей и душеприказчиков. Возможно, что завещание, выражающее ее последнюю волю, или, лучше сказать, распоряжение относительно имущества *mortis causa*,¹ она поручила какому-нибудь надежному другу.

— Голову даю на отсечение, — шепнул Плейдел полковнику, — что завещание у него в кармане. — Потом, обращаясь к поверенному, он заявил: — Ладно, сэр, вопрос решается просто. Вот завещание, составленное несколько лет тому назад: поместье Синглсайд отказано в нем мисс Люси Бертрам.

Слова эти поразили всех как гром среди ясного дня.

— Но, может быть, вы, мистер Протокол, можете сообщить нам о каком-нибудь более позднем распоряжении?

— Разрешите, я взгляну, мистер Плейдел, — и с этими словами Протокол взял бумагу из рук ученого адвоката и пробежал ее глазами.

— Слишком уж он спокоен, — сказал Плейдел, — удивительно спокоен. Не иначе как у него в кармане еще одно завещание.

— Что же он его тогда не выкладывает, черт побери? — сказал полковник, выходя из себя.

¹ На случай смерти (*лат.*).

— Откуда я знаю? — отвечал наш ученый законовед. — Почему кошка не задушит мышь сразу? Нет ли здесь уверенности в своей силе и желания немного подразнить всех, кто ждет? Итак, мистер Протокол, что вы скажете насчет завешания?

— Что ж, мистер Плейдел, оно хорошо написано, составлено по форме и заверено по всем правилам.

— Но оно аннулируется другим, позднейшим распоряжением, которое сейчас в ваших руках, не так ли? — спросил адвокат.

— Должен признаться, что это похоже на правду, мистер Плейдел, — ответил Протокол, доставая пачку бумаг, перевязанных тесемкой и опечатанных на каждом узле и сгибе черными сургучными печатями. — То завешание, которое вы, мистер Плейдел, только что предъявляли, помечено первым июня тысяча семьсот... года, а на этом, — заявил он, срывая печати и медленно развертывая бумагу, — стоит пометка двадцатого, впрочем нет, двадцать первого апреля сего года, то есть на десять лет позднее. .

— Чтоб она повесилась! — воскликнул наш советник, заимствуя это выражение у сэра Тоби Белча. — Месяц и год как раз те, когда с Элленгауэном беда стряслась. Но послушаем все же, что она там пишет.

Тогда мистер Протокол попросил присутствовавших соблюдать тишину и медленным, ровным и внятным голосом стал читать завешание.

Столпившиеся вокруг него люди, в чьих глазах то загоралась, то снова гасла надежда и которые старались среди окутавшего все и вся густого тумана разных юридических формулировок во что бы то ни стало разглядеть настоящую волю покойной, являли собою зрелище, достойное кисти Хогарта.

Завешание всех поразило. После перечисления в соответственном порядке всех строений и всех земель Синглсайда и других поместий, как-то: Лаверлеса, Лайелона, Спинстерс-Ноу и бог знает еще каких, сообщалось, что все передается (тут голос чтеца понизился до скромного пиано) Питеру Протоколу, адвокату, как лицу, способностям и честности которого она вполне доверяет (наша высокочтимая и дорогая

покойница настояла на том, чтобы указать это именно в таких выражениях), на сохранение (здесь к нашему чтецу вернулись и прежний голос и прежнее выражение лица, а лица некоторых слушателей, которые перед этим так вытянулись, что им мог бы позавидовать сам мистер Мортклок, заметно укоротились) — *на сохранение*, имея в виду нижеследующие обстоятельства, соображения и цели.

В этих «нижеследующих обстоятельствах, соображениях и целях» и заключалась вся суть дела. Первым пунктом было вступление, утверждавшее, что завещательница происходит из старинного рода Элленгауэнов и что ее почтенный прадед, блаженной памяти Эндрю Бертрам, первый владелец Синглсайда, был вторым сыном Аллана Бертрама, пятнадцатого по счету барона Элленгауэна. Далее утверждалось, что, хотя и было известно, что Генри Бертрам, сын и наследник Годфри Бертрама, ныне Элленгауэна, был в раннем детстве украден у родителей, она, завещательница, *твердо убеждена, что он жив и находится где-то на чужбине и что божественное провидение может ему вернуть все свои земли.*

В этом случае он, Питер Протокол, обязывается — и сам подтверждает это, приняв на хранение настоящее завещание, — вернуть означенные земли, как Синглсайд, так и остальные, равно как и все прочие виды владений (исключив, разумеется, причитающееся ему вознаграждение за труды), вышеупомянутому Генри Бертраму, когда тот возвратится на родину. А на время пребывания последнего на чужбине и в случае, если он вообще никогда не вернется в Шотландию, ее душеприказчик, мистер Питер Протокол, которому вверено все имение, обязан разделить доходы с земель и проценты с капитала (опять-таки удержав из них соответственное вознаграждение за свои труды) на равные части между четырьмя благотворительными учреждениями, поименованными в завещании. Право управлять имением, отдавать земли в аренду, занимать и давать займы деньги — словом, полное владение всеми видами собственности предоставляется указанному доверенному

лицу, а в случае его смерти переходит к другим лицам, имена которых также упоминаются в духовной. Сверх этого были отказаны только две суммы: сто фунтов любимой горничной и приблизительно столько же Дженни Гибсон (которую, как это утверждалось в духовной, завещательница держала у себя из милости), с тем чтобы она могла на эти деньги обучиться тому или иному приличному ремеслу.

Завещание, по которому состояние умершего передается в собственность какого-либо общественного учреждения, называется в Шотландии *мортификацией*, и в одном из больших городов (в Эбердине, если память мне не изменяет) есть государственный чиновник, который занимается этой статьей общественного дохода и который, в силу этого, называется чиновником по *мортификациям*. Можно даже предположить, что сама эта процедура получила свое название от того убийственного впечатления, которое подобное завещание обычно производит на близких родственников покойного. В данном же случае *мортификация* по меньшей мере неприятно поразила все общество, собравшееся в гостиной покойной миссис Маргарет Бертрам, которое никак не ждало, что все синглсайдские владения может постигнуть подобная участь. По-этому, после того как воля покойной была оглашена, в комнате воцарилось глубокое молчание.

Первым заговорил Плейдел. Он попросил разрешения взглянуть на духовную и, удостоверившись, что она была составлена по всем правилам, молча возвратил ее и только тихо шепнул Мэннерингу:

— Протокол, по-моему, ничуть не хуже других. Но старая леди распорядилась так, что если он в итоге не сделается мошенником, то вовсе не потому, что не представилось к этому случая.

— Право же, я думаю... — сказал Мак-Каскуил из Драмкуэга; проглотив половину своей обиды, он решил высказать вторую: — Право же, я думаю, что это случай необыкновенный. Мне хотелось бы только узнать от мистера Протокола, который, являясь единственным душеприказчиком покойной и располагая всеми полномочиями по этому делу, может нам

кое-что об этом рассказать, — так вот, хотелось бы узнать, как могла миссис Бертрам верить, что мальчик жив, когда всему свету известно, что он убит, и уже очень давно.

— Знаете, сэр, — ответил мистер Протокол, — я не считаю возможным объяснять это обстоятельство более подробно, чем это сделала сама покойница. Наша всеми уважаемая Маргарет Бертрам была женщиной доброй, набожной и могла иметь свои основания, непостижимые для нас, считать, что мальчик жив.

— Н-да, — сказал табачник, — я хорошо знаю, откуда это все идет. Вон там сидит миссис Ребекка (горничная), и она уже сто раз говорила в моей собственной лавке, что никто не может знать, как ее госпожа распорядится своим состоянием, потому что какая-то старая цыганка, колдунья, сказала ей в Гилсленде, что этот молодчик, как его там, Гарри Бертрам, что ли... что он жив и еще вернется. Верно ведь, Ребекка? Ты, правда, забыла напомнить своей госпоже, о чем я тебя просил, помнишь, я тебе тогда еще полкроны дал. Верно ведь все, что я сейчас сказал?

— Ничего я не знаю, — угрюмо отвечала Ребекка, глядя куда-то в пространство с видом человека, не расположенного вспоминать больше, чем ему хочется.

— Ловко сказано, Ребекка! Тебе, видно, только бы свою долю получить, и дело с концом, — ответил табачник.

Щеголеватый парень — ему хотелось казаться заправским щеголем, но он им все-таки не был, — хлопывал себя хлыстиком по сапогам с видом избалованного ребенка, которого вдруг оставили без ужина. Однако свое неудовольствие он высказывал или про себя, или по большей части в виде монологов вроде следующего:

— Вот обида-то, черт возьми, ведь сколько я со старухой возился... чтоб ее черты взяли. Помню, я как-то раз сюда вечером чай пить приехал и бросил Кинга и Уила Хэка, герцогского фореитора. И покатались же они тогда! Честное слово, я бы свободно мог

на скачках вместе с ними быть, а она, видите ли, мне даже и сотни фунтов не оставила.

— Все положенное будет своевременно уплачено, — сказал мистер Протокол, которому в эту минуту не хотелось увеличивать возникавшей вокруг неприязни. — А теперь, господа, по-моему, ждать уже больше нечего. Завтра я велю снять копию с завешания нашей драгоценной миссис Бертрам, и каждый сможет ознакомиться с этим документом и сделать все необходимые выписки, и... — Тут он начал запира́ть все шкафы и шкатулки покойной быстрее, чем перед этим их отпирал. — Миссис Ребекка, я думаю, вы не откажетесь присмотреть за тем, чтобы все было в порядке, пока мы не сдадим дом... Сегодня тут уже один человек хотел его нанять, разумеется если такое решение будет принято и если меня на это уполномочат.

Наш приятель Динмонт, у которого, как и у всех остальных, тоже были свои надежды, все это время сидел с довольно сердитым видом в любимом кресле миссис Бертрам; покойница, вероятно, была бы возмущена, увидев, как удобно развалился в нем этот огромный, неуклюжий мужлан. Он занялся тем, что долго скручивал змейкой длинный ремешок своего хлыста, а потом одним быстрым движением разворачивал его на полу. Когда Динмонт сообразил, что дело его провалилось, его охватил вдруг порыв великодушия, и, сам того не замечая, он высказал свою мысль вслух:

— Что же, кровь не вода, окороков да сыров нам для родных не жалко.

Но когда поверенный, как мы только что сказали, дал понять всем собравшимся, что их присутствие здесь уже излишне, и стал говорить о сдаче дома внаем, наш честный Динмонт поднялся с места и поразил все общество прямым вопросом:

— А что же станет с бедняжкой Дженни Гибсон? Пока наследство у нас на уме было, мы все себя родными называли; ведь могли бы мы что-нибудь все сообща для нее сделать.

Услыхав это предложение, большинство собравшихся заторопились уйти, хотя после слов мистера

Протокола они все еще медлили, как будто им всем хотелось подольше постоять над могилой своих несбывшихся надежд. Драмкуэг что-то сказал, или, скорее, пробормотал, о том, что у него есть своя семья, и, как приличествовало его благородной крови, поспешил удалиться первым. Табачник уверенно шагнул вперед и заявил:

— Девчонку и так уж хорошо всем обеспечили, а коль скоро наследство поручено мистеру Протоколу, так он и о ней позаботится. — Высказав свое мнение спокойным и решительным голосом, он тоже встал и ушел.

Развязный щеголь попробовал было отпустить какую-то грубую и плоскую шутку насчет обучения девушки приличному ремеслу, но уничтожающий взгляд ледяных глаз полковника Мэннеринга (к которому, по своему незнанию хорошего общества, он даже обратился за сочувствием) обдал его всего холодом, и он постарался поскорее убраться.

Протокол, который действительно оказался человеком порядочным, выразил желание взять на себя временное попечение о молодой девушке, объявив однако, что с его стороны это будет просто актом благотворительности. Тогда Динмонт наконец встал и, отряхнув свой огромный плащ из толстого сукна, точь-в-точь как ньюфаундлендская собака, когда она отряхивается, выходя из воды, воскликнул:

— Клянусь вам душой своей, мистер Протокол, никакой печали у вас с ней не будет, пусть она только согласится ко мне поехать. Вот что я вам скажу. Мы-то с Эйли уж как-нибудь проживем, а вот хотелось бы нам, чтобы девочки наши не такие неучи были и не хуже, чем соседские дети... Вот дело-то какое... Дженни, та, конечно, и обхождение знает, и книжки читала, и шить может... раз она столько лет с леди Синглсайд, с такой знатной дамой, жила. Но ежели бы она даже ничего этого не умела, детишкам моим она все одно по душе придется. Я уж как-нибудь и одену ее и денег ей на все припасу, а эти сто фунтов пусть у вас пока остаются, мистер Протокол, да я еще чего-нибудь к ним подкину к той поре, когда она

молодца себе сыщет, а тому деньжата нужны будут, чтобы овец купить. Ну, что ты на это скажешь, милая? Возьму-ка я тебе билет, и до Джетарта ты поедешь в почтовой карете. Ну, а там через Лаймстейнриг придется уж верхом добираться: в Лидсдейл¹ сам черт на колесах не проедет. И я буду очень рад, если миссис Ребекка с тобой поедет, дорогая моя, и побудет месяц-другой, пока ты у нас не обживешься.

Пока миссис Ребекка приседала и благодарила и заставляла бедную сиротку тоже благодарить и не плакать и пока простодушный Дэнди уговаривал обоих с ним ехать, старый Плейдел вытащил свою табакерку.

— Для меня просто удовольствие, господин полковник, на этого шута полюбоваться, — сказал он, немного успокоившись, — надо его за это на его же лад отблагодарить — помочь ему поскорее разориться; иначе нельзя... Послушай-ка, ты, Лидсдейл... Дэнди... Чарлиз-хоп... как там тебя зовут?

Фермер несказанно обрадовался уже тому, что его называли по имени, — ведь в глубине души после своего лэрда он больше всего уважал именитых адвокатов.

— Так, значит, ты все-таки не бросишь этой тяжбы из-за межи?

— Нет, нет, сэр... Кому же это охота свое право терять, да чтобы потом над тобой же еще смеялись всюю? Но коль скоро ваша милость не соглашаетесь и, может, уже с соседом договорились, так я себе другого адвоката возьму.

— Ну вот, не говорил ли я вам, господин полковник? Слушай, если ты уж решил сделать глупость, то надо по крайней мере, чтобы тебе это удовольствие

¹ Во времена Дэнди Динмонта дорог на Лидсдейл, можно сказать, не было вовсе, и в эти места можно было попасть, только пробираясь через огромные болота. Лет тридцать тому назад автор был первым человеком, проехавшим по этим диким местам в небольшой открытой коляске. Прекрасные дороги, которые существуют теперь, тогда еще только начинали прокладывать. Местные жители не без удивления глазели на экипаж, которого им никогда не приходилось видеть. (*Прим. автора.*)

подешевле обошлось и чтобы ты свою тяжбу выиграл. Пусть мистер Протокол пришлет мне твои бумаги, и я дам ему совет, как вести дело. В конце концов, отчего вам не решать ваши тяжбы и споры в суде, так же как ваши предки решали их, убивая друг друга и поджигая дома.

— Ну конечно, сэр. Мы бы все по-старому решили, ежели б закона не было. А уж коль закон нас связал, так закон и развязать должен. Да к тому же у нас всегда больше того человека уважают, который в суде побывал.

— Здорово же ты рассудил, дружок! Ну ладно, ступай теперь, а бумаги пришли. Пойдемте, полковник, нам здесь больше нечего делать.

— Что ж, Джок О'Достон Клю, поглядим, чья теперь возьмет! — воскликнул Динмонт, в восторге хлопывая себя по бедрам.

Глава XXXIX

...иду в парламент я.

Припомни, друг, коль там какое
дело

Есть у тебя, скажи мне поскорей
Да заплати что надо.

«Маленький французский адвокат»

— А как вы думаете, что с этим славным малым будет, удастся вам его дело выиграть? — спросил Мэннинг.

— Право, не знаю, сражение не всегда кончается победой сильнейшего, но, если только мы сумеем все доказать, дело, конечно, решится в его пользу. Кстати, я ему кое-чем обязан. Проклятие нашей профессии в том, что мы редко видим лучшую сторону человеческой природы. Люди приходят к нам со своими эгоистическими чувствами, свежееотточенными и свежееотшлифованными; все их личные счеты и все предрассудки выпячиваются, как шипы на зимних подковах. Ко мне вот в мою башенку приходило немало таких людей, которых мне сначала хотелось просто в окно

вышвырнуть. И все-таки я в конце концов убеждался, что они поступали точно так же, как поступил бы на их месте я сам, то есть если бы я чем-нибудь был рассержен и перестал бы рассуждать здраво. Я убедился, что люди нашей профессии видят больше человеческой глупости и человеческого лукавства, чем кто бы то ни было, и только потому, что эти пороки мы наблюдаем там, где они больше всего сгущены, перед тем как вырваться наружу. В цивилизованном обществе закон — это печная труба; через нее-то и вылетает весь тот дым, который недавно еще расходился по дому и разъедал людям глаза; не удивительно, что в эту трубу попадает и сажа. Но мы позаботимся, чтобы дело нашего лидсдейлского приятеля велось как следует и чтобы при этом ему не пришлось делать излишних затрат, — наживаться мы на нем не будем.

— Разрешите мне пригласить вас к себе на обед, — сказал Мэннеринг, когда они прощались. — Мой хозяин уверяет, что у него есть оленина и превосходное вино.

— Оленина? Вот как! — откликнулся сразу наш адвокат, но тут же спохватился: — Нет, это невозможно!.. И вас я к себе не могу пригласить... Этот понедельник у меня — день неприкосновенный... да, впрочем, и вторник тоже. В среду я должен выступать по важному делу. Но, постойте, сейчас ведь стоят морозы, и, если вы будете еще в Эдинбурге, оленина долежит до четверга.

— А в четверг вы придете?

— Непременно.

— Ну и прекрасно, я все равно рассчитывал здесь с неделю побыть. Если даже оленина и не долежит до этого дня, хозяин наш что-нибудь другое сообразит.

— Ничего, долежит, — сказал Плейдел. — Ну, а пока до свидания. Кстати, вот вам несколько рекомендательных писем; если хотите, можете сходить по этим адресам. Я еще утром все это для вас написал... Ну, до свидания, мой секретарь уже целый час меня дожидается, чтобы мне это чертовое дело докладывать.

Плейдел заторопился и вскоре уже пробирался по разным крытым переходам и лестницам, чтобы выйти

на Главную улицу путем, который в сравнении с обычной дорогой был тем же, чем Магелланов пролив в сравнении с более открытым, правда, но значительно более длинным обходом вокруг мыса Горн.

Когда Мэннеринг взглянул на рекомендательные письма, он очень обрадовался, увидев, что они были адресованы литературным знаменитостям Шотландии: Дэвиду Юму, эсквайру, Джону Хому, эсквайру, доктору Фергюсону, доктору Блэку, лорду Кеймсу, мистеру Хаттону, Джону Кларку, эсквайру элдинскому, Адаму Смиту, эсквайру, доктору Робертсону.

«Право же, мой друг законовед недурно выбирает знакомых — все это очень известные имена. Человеку, прибывшему из Индии, надо немного проветрить мозги и привести себя в порядок, прежде чем появляться в таком обществе».

Мэннеринг с радостью воспользовался этими письмами. Очень жаль, что мы не можем рассказать читателю о том, сколько удовольствия и пользы он почерпнул от общения с этими людьми. Дома их всегда бывали открыты людям образованным и умным, откуда бы те ни приезжали, и, пожалуй, вряд ли еще где-нибудь можно было сыскать столько разнообразных и глубоких дарований, как в Шотландии того времени.

В четверг, как и было условлено, мистер Плейдел явился в гостиницу, где жил полковник. Оленина отличным образом его дождалась, бордоское вино было превосходно, и наш ученый адвокат, большой любитель покушать, отдал должное и тому и другому. Трудно только сказать, что ему доставило больше удовольствия — вкусный обед или присутствие Домини Сэмсона. Ловким, профессиональным остроумием он сумел вызвать его на реплики, которые рассмешили и самого адвоката и еще двух гостей полковника. Простота, лаконизм и необычайная серьезность, с которой Сэмсон отвечал на лукавые вопросы адвоката, позволили Мэннерингу лучше чем когда-либо почувствовать всю *bonhomie*¹ его характера. При этом Домини извлек из себя целый арсенал вся-

¹ Добродушие (франц.).

ческих познаний, редкостных и разнообразных, хотя, по правде говоря, совершенно бесполезных. Плейдел сравнивал потом его голову с кладовой богатого ростовщика, где собраны всевозможные вещи, но где, однако, все они свалены в кучу в таком беспорядке, что хозяин никогда не может в нужную минуту ничего найти.

Потешаясь над Сэмсоном, адвокат дал ему в то же время возможность поупражнять свои умственные способности. Когда Плейдел все больше и больше воспалялся и шутки его, в обычное время сухие и чопорные, стали живее и остроумнее, Домини посмотрел на него с каким-то особым удивлением; так дрессированный медведь оглядывает только что приведенную обезьяну, с которой ему предстоит потом выступать перед публикой. Зная, что Домини будет непременно оспаривать то или иное положение, мистер Плейдел особенно настойчиво его выдвигал. Для него было большим удовольствием наблюдать, каких невероятных усилий стоило нашему добросовестному Домини собрать свои мысли для ответа и как он принуждал свой сонный и неповоротливый ум сдвигать всю тяжелую артиллерию учености, чтобы изничтожить какую-нибудь ложную догму или ересь, которые выдавались за истину. И вдруг — подумать только!.. — до того как орудия успевали дать залп, неприятель неожиданно покидал все прежние позиции, чтобы потом атаковать бедного Домини с фланга или с тыла. Сколько раз бывало, что, ведя наступление и уже уверенный в своей близкой победе, Сэмсон вдруг видел, что враг исчез с поля битвы. Тогда он вскрикивал: «Удивительно!» и тратил потом немало труда, чтобы расставить свои силы на новых тактических позициях.

— Совсем как туземные индийские войска, — говорил полковник. — Тут и обилие солдат и огромное количество пушек, но весь строй сразу же приходит в невероятное смятение, стоит только обойти его с фланга.

Но в общем, хоть Домини и устал от этих умственных упражнений, которые ему приходилось выпол-

нять с необычной быстротой, да еще по заказу, он все же запомнил этот день как один из лучших в своей жизни и всегда потом говорил о Плейделе как о человеке очень ученом и очень ве-се-лом.

Мало-помалу гости разошлись, и они остались втроем. Тогда разговор перешел на завещание миссис Бертрам.

— И как только этой старой карге взбрело в голову, — сказал Плейдел, — лишить бедную Люси Бертрам наследства, отказав его мальчику, которого давно уже нет на свете?.. Извините меня, мистер Сэмсон, я забыл, сколько горя это вам причинило... Я вспоминаю, как я вас тогда допрашивал. У меня до того никогда в жизни не было случая, чтобы человек так вот от волнения даже двух слов вымолвить не мог. Рассказывайте мне сколько угодно, полковник, о своих пифагорейцах или о молчаливых браминах, — уверяю вас, что этот ученый муж предан молчанию больше, чем все они. Но слова мудрецов особенно ценны, и к ним надо прислушиваться.

— Конечно, — сказал Домини, отнимая от глаз голубой клетчатый платок, — вот уж поистине тяжелый был для меня день, легко ли такое горе пережить! Но тот, кто ниспосылает бремя, дает и силу нести его.

Полковник Мэннеринг решил воспользоваться случаем и попросил мистера Плейдела рассказать ему подробно об исчезновении мальчика. Наш адвокат любил рассказывать разные уголовные происшествия, а особенно те, с которыми он сталкивался сам в своей практике, и поэтому он очень обстоятельно все ему изложил.

— А какого вы сами мнения об этом деле?

— Я считаю, что Кеннеди был убит. Такие вещи не раз уже бывали в наших местах и прежде: контрабандисты *versus*¹ таможенных.

— А что вы думаете насчет ребенка?

— Ну, ясное дело, убит, — ответил Плейдел. — Он был в таком возрасте, когда мог рассказать обо всем, что видел, а эти изверги ни на минуту не оста-

¹ Против (лат.).

новились бы и перед избиением младенцев, если бы им это было выгодно.

Домини тяжко застонал и воскликнул:

— Удивительно!

— Но цыгане будто бы в этом деле тоже замешаны, — сказал Мэннеринг, — если верить тому, что после похорон говорил этот простак...

— Убеждение миссис Бертрам, что ребенок жив, было основано на словах цыганки, — сказал Плейдел, ловя его намек на лету. — Я завидую логичности ваших суждений, полковник, мне стыдно, что я сам до этого не додумался. Мы сейчас же разберемся в этом деле. Эй, послушай, милый, сходи-ка ты к тетушке Буд в Каугейт. Там сейчас мой писец Драйвер. Не иначе как он играет в хай-джинкс (я и мои подчиненные, полковник, в свободные от наших прямых обязанностей дни находим себе обязанности другие). Пусть он сию же минуту придет, и я заплачу за него все штрафы.

— Надеюсь, он явится сюда не ряженым? — спросил Мэннеринг.

— Ах, довольно об этом, если ты меня любишь, Хел, — сказал Плейдел. — Но надо постараться кое-что разузнать об этих выходах из Египта. Эх, кабы мне в этом путаном деле хоть за самую тоненькую ниточку ухватиться, посмотрели бы вы, как бы я тогда все распутал! Я бы добился правды от ваших *bohémien*s,¹ как их называют французы, и с бóльшим успехом, чем *Monitoire*² или *Plainte de Tournelle*.³ Я ведь умею допрашивать неподатливых свидетелей.

Пока мистер Плейдел хвалился своими профессиональными талантами, слуга вернулся, ведя за собой Драйвера, который так спешил, что на подбородке у него остались еще следы бараньего жира, а на верхней губе — пена от пива.

— Драйвер, вы должны немедленно разыскать бывшую горничную старой миссис Бертрам. Ищите

¹ Цыган (*франц.*).

² Увещательное послание (*франц.*).

³ Жалоба в уголовную судебную палату (*франц.*).

ее где хотите, но если вы увидите, что нужно обратиться к Протоколу, табачнику Квиду или еще к кому-нибудь из этих людей, сами туда не суйтесь, а пошлите какую-нибудь свою знакомую... у вас они есть, и они охотно для вас все сделают. Когда вы ее найдете, велите ей прийти ко мне завтра ровно в восемь.

— А если она захочет узнать зачем, что я ей скажу? — спросил наш адъютант.

— Что хотите, — ответил Плейдел. — Неужели вы думаете, я вас еще учить буду, что соврать. Но пусть она только будет *in praesentia*,¹ как я уже сказал, к восьми часам.

Писец усмехнулся, откланялся и ушел.

— Это парень полезный, — сказал адвокат, — для нашего дела лучше и не подберешь. Он три ночи в неделю может не спать и писать под мою диктовку, или, что то же самое, он и во сне и наяву одинаково хорошо и правильно пишет. И притом он человек очень постоянный; есть ведь такие, что то и дело из одной пивной в другую переходят, и надо человек двадцать посыльных, чтобы за ними гоняться, вроде тех молодцов, что сэра Джона Фальстафа в истчипских тавернах искали. Нет, этот так не носится, он всегда у одной только тетушки Вуд; зимой он у очага сидит, а летом — у окна, и дальше он ни за что не уйдет: в любое время, хоть днем, хоть ночью, как освободится — так только туда. По-моему, он никогда и не раздевается и спать не ложится — доброе пиво ему все на свете заменит, ему тогда ни есть, ни пить, ни спать, ничего не надо.

— Неужели он действительно в любую минуту готов трудиться? Что-то не верится, раз он такую жизнь ведет.

— Полноте, полковник, никогда еще ему пиво не мешало. После того как он говорить уже не в состоянии, писать он еще часами может. Помню, раз меня неожиданно вызвали написать прошение. Это было в субботу вечером, я сидел за обедом и не испыты-

¹ В наличности (лат.).

вал ни малейшего желания браться за это дело: Однако они затащили меня в Клерихью, и там мы стали пить, пока я целую хохлатую курицу в себя не влил; тогда они принялись уговаривать меня, чтобы я составил эту бумагу. Надо было разыскать Драйвера; единственное, что мы могли сделать, это принести его туда. Ни говорить, ни двигаться он не мог. Но едва только ему в руку сунули перо, положили перед ним бумагу и он услышал мой голос, как он начал писать; и знаете — не хуже любяго каллиграфа, если не считать того, что пришлось к нему отдельного человека приставить, чтобы перо в чернила макать, а то он никак чернильницу разглядеть не мог. Право же, я в жизни не видел красивее почерка.

— Ну, и как же выглядел наутро плод ваших совместных усилий? — спросил полковник.

— Как? Отлично, даже трех слов менять не пришлось; в тот же день мы эту бумагу почтой отправили. Так вы, надеюсь, придете завтра ко мне позавтракать и послушать, что нам эта женщина скажет?

— Очень уж рано.

— А позднее никак нельзя. Если я завтра ровно в девять не буду в суде, то все подумают, что со мной удар приключился, а это и на ходе дела скажется.

— Ну хорошо, постараюсь завтра утром у вас быть. На этом они расстались.

Наутро, проклиная, правда, в душе сырые шотландские зимы, полковник Мэннеринг явился к адвокату. Плейдел к этому времени успел усадить миссис Ребекку у огня, угостить ее чашкой шоколада и теперь разговаривал с ней об интересовавшем его деле.

— Нет же, уверяю вас, миссис Ребекка, ни у кого и в мыслях нет изменить волю вашей покойной госпожи; слово вам даю, что к завещанной вам сумме это никакого отношения не имеет. Вы ее заслужили тем, что ухаживали за покойной, и я был бы рад, если бы она была вдвое больше.

— Знаете, сэр, совсем негоже рассказывать то, что при тебе господа говорили. Слыхали вы, как этот противный Квид попрекал меня тем, что когда-то мне подарок преподнес, и всякую ерунду повторял,

какую я по простоте ему наболтала; а ежели еще с вами тут поболтаешь, то кто знает, чем все это кончится.

— Уверю вас, милейшая Ребекка, и ваш возраст и мое положение порукой тому, что, даже если вы будете говорить со мной так же откровенно, как в стихках говорят о любви, ничего худого для вас не будет.

— Ну, раз ваша милость считает, что ничего со мной не случится, тогда слушайте: дело было так... Знаете, с год назад, а может и меньше, моей госпоже посоветовали ненадолго в Гилсленд съездить поразвлечься. Тогда о беде, что с Элленгауэном стряслась, все уже говорить начали, и она, бедная, так убивалась, — ведь она привыкла своим родом гордиться. Раньше они, бывало, с Элленгауэном то в ладу жили, то нет, а последние два-три года так совсем разошлись. Он собирался денег у нее занять, а она ему отказывала, да сама хотела старые долги с него получить, а лэрд — тот не платил. Так вот в конце концов они и разошлись. А потом вдруг в Гилсленде кто-то сказал, что имение Элленгауэн будут продавать. И вот с этой минуты она словно совсем вдруг мисс Люси Бертрам разлюбила. Она мне частенько говорила: «Ах, Ребекка, Ребекка, если бы не эта ничемная девчонка... Ведь она даже отца вразумить не может... Если бы мальчик был жив, никогда бы не пришлось за долги этого дурака имение продавать». И пойдет, и пойдет, так что прямо слушать тошно, так бедняжку честит, будто та виновата, что не мальчиком родилась и что отцовского имения не уберегла. И вот раз как-то возле родника, что над скалой в Гилсленде, она увидала славных мальчуганов, детей Мак-Кроски... И тут она как начнет... «Подумать только, что у каждого проходимца есть сын и наследник, а род Элленгауэнов без мужчины остался!» А сзади-то стояла цыганка и все это слышала, высоченная, страшная баба, я таких в жизни не видывала. «Кто это смеет говорить, — сказала она, — что в роду Элленгауэнов мужчин не стало и весь род на нет сойдет?» Моя госпожа тут же обернулась. Она была женщиной не робкого десятка и за словом в карман не лезла. «Это я говорю, — сказала моя гос-

пожа, — и сердце у меня кровью обливается». Тогда цыганка схватила ее за руку: «Хоть ты меня и не знаешь, — говорит она, — я-то тебя хорошо знаю... Слушай же. Так, как это солнце светит на небе и эта река течет к морю, и так же, как есть око, что нас с тобой видит, и ухо, что нас с тобой слышит, так же верно, что Гарри Бертрам, хоть и считается, что он погиб у Уорохского мыса, жив-живехонек. Тяжко ему до двадцати одного года на свете жить, но, если мы с тобой живы будем, ты еще этой зимой о нем узнаешь, раньше чем снег успеет два дня на полях Синглсайда пролежать... Не надо, говорит, мне твоих денег. Ты думаешь, я обмануть хочу? Прощай теперь, а как Мартинов день настанет, так еще раз встретимся». И с этими словами ушла.

— Она что, очень высокая была? — прервал ее Мэннеринг.

— Черноволосая, черноглазая и со шрамом на лбу? — спросил адвокат.

— Такой высоченной женщины я в жизни не видала, а волосы у нее были черны как ночь, кое-где только седые, и над бровью у нее, помнится, рубец был, примерно в палец шириной. Кто хоть раз ее видел, тот никогда не забудет. И я доподлинно знаю, что после слов этой цыганки моя госпожа и составила завещание; она ведь и так невзлюбила молодую леди Элленгауэн, а тут сироте надо было еще двадцать фунтов посылать... Вот она и говорила: не только, мол, по милости мисс Бертрам все имение теперь в чужие руки отдается, из-за того что девочки наследства не получают, но и сама молодая леди теперь так обеднела, что стала обузой для Синглсайда. Но, по моему, завещание по всем правилам составлено, и деньжат своих я бы не хотела лишаться, ведь я ей почти что даром служила.

Адвокат рассеял опасения Ребекки на этот счет, а потом спросил ее о Дженни Гибсон и из ответа понял, что та согласилась на предложение Динмонта.

— Я тоже туда поеду, раз он такой добрый, что и меня приглашает, — добавила старая служанка. — Динмонты ведь люди очень порядочные, хоть покой-

ная госпожа и не любила об этом родстве вспоминать. Но зато она любила чарлиз-хопские сыры, око-рока и птицу; они ведь ей все посылали, и чулки и рукавички из овечьей шерсти, — это ей по душе было.

Плейдел отпустил Ребекку. Когда она ушла, он сказал полковнику:

— Мне кажется, я знаю эту цыганку.

— Я то же самое подумал, — сказал Мэннеринг.

— А зовут ее... — продолжал Плейдел.

— Мег Меррилиз, — ответил полковник.

— А вы-то откуда знаете? — спросил адвокат, с комическим удивлением глядя на Мэннеринга.

Мэннеринг ответил, что знал эту женщину, когда был в Элленгауэне еще двадцать лет тому назад, и рассказал своему ученому другу подробно о том, как он в первый раз приехал в поместье Бертрама.

Мистер Плейдел очень внимательно его слушал, а потом сказал:

— Я радовался тому, что познакомился со столь ученым богословом в лице вашего капеллана, но я никак не рассчитывал встретить в лице его патрона ученика Альбумазара и Мессагалы. Мне думается, однако, что эта цыганка могла бы кое-что нам рассказать, и не только из области астрологии и ясновидения. Один раз она уже была у меня в руках, но тогда я многого от нее не добился. Надо написать Мак-Морлану, пускай он всех на ноги поднимет, только бы ее разыскать. Я сам охотно поеду в *** графство, чтобы присутствовать при ее допросе. Хотя я больше и не шериф, я по-прежнему состою там в мировых судьях. И ничто меня так всю мою жизнь не тяготило, как это нераскрытое дело и судьба ребенка. Надо будет написать также шерифу графства Роксбург и какому-нибудь толковому мировому судье в Камберленде.

— Надеюсь, что, когда вы приедете в наши края, штаб-квартиру свою вы расположите в Вудберне?

— Ну конечно. Я боялся, что вы не позволите... Но пойдемте завтракать, а то я опоздаю.

На следующий день новые друзья расстались, и полковник вернулся домой без каких-либо приключений, о которых стоило бы здесь упоминать.

Глава XL

Ужели на земле покоя не найду я,
И беды, будто псы, меня затравят?
О юноша безумный, где ж от смерти
Прибежище ты в нашем мире сыщешь?

«Довольные женщины»

Вернемся на минуту к тому дню, когда был ранен молодой Хейзлвуд. Едва только это случилось, Браун сразу же представил себе, какие это происшествие может иметь последствия для Джулии и для него-самого. Правда, дуло оружия было направлено так, что опасаться рокового исхода особенно не приходилось. Но ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы его арестовали в чужой стране, где у него не было возможности доказать ни кто он такой, ни какого он звания. Ввиду этого он решил бежать на берег Англии, и, если удастся, укрываться там до тех пор, пока его однополчане не напишут ему, а поверенный не пришлет денег, и тогда уже только явиться под своим настоящим именем и предложить Хейзлвуду и его друзьям любое объяснение или удовлетворение, которого те пожелают. С этой целью он преспокойно добрался до деревни, которую мы назовем Портанферри (но которую, однако, под этим названием наш читатель напрасно будет искать на карте графства). Большая открытая лодка должна была вот-вот отчалить от берега, чтобы идти в морской порт Эллонби в Камберленде. Туда-то и отправился Браун, решив остаться в этом городке до тех пор, пока не получит писем и денег из Англии.

Во время этого короткого путешествия он вступил в разговор с сидевшим на руле хозяином лодки, веселым стариком, которому, как и большинству рыбаков на этом побережье, не раз случалось помогать контрабандистам. Поговорив о том о сем, Браун попытался повернуть разговор на Мэннеринга и его семью. Старик слышал о нападении на Вудберн и осуждал контрабандистов.

— Не дело это — рукам волю давать. Черт бы их побрал! Так они весь край против себя восстановят.

Ну уж нет! Когда я этим занимался, у меня с таможенными было просто: нашел — так твое, забрали товар — ну что ж поделать, их счастье, значит. А коли обмануть удалось, то, выходит, я в барыше... Нет, ворон ворону глаз не выклюет.

— Ну, а полковник Мэннеринг? — спросил Браун.

— Да и он тоже не очень умно поступил, что вмешался. Вы не подумайте, что я его ругаю за то, что он таможенных спас; это он правильно сделал. Только нечего было джентльмену из-за бочек водки да ящиков с чаем, что для бедного люда привезены были, тут у нас сражение устраивать. Но что там говорить, он человек знатный, да еще военный, а такие с нашим братом что хотят, то и делают.

— А что дочь его? — спросил Браун и почувствовал, как сердце заколотилось. — Она, говорят, тоже за кого-то знатного замуж выходит?

— Это за Хейзлвуда, что ли? — сказал рулевой. — Да нет, все брехня одна. Сколько времени уже, как каждое воскресенье Хейзлвуд непременно дочку покойного Элленгауэна из церкви домой отвозит. Ведь моя-то дочка Пегги в Вудберне служит. Так вот, она уверяет, что молодому Хейзлвуду не больше дела до мисс Мэннеринг, ну чем вам, что ли.

Горько раскаяваясь в том, что он так опрометчиво поверил слуху, Браун все же обрадовался, что подозрения, толкнувшие его на столь необдуманный поступок, были, по-видимому, лишены всякого основания и Джулия ему верна. «Но какого же она теперь будет мнения обо мне? И как она отнесется к моему поведению? Она ведь, должно быть, уверена, что я сознательно не пощадил ни ее душевного покоя, ни ее чувств ко мне...»

Старик был связан с обитателями Вудберна. Собразив, что он может быть удобным посредником, Браун решил прибегнуть к его помощи.

— Так, говоришь, дочь твоя в Вудберне служанкой? А я знал мисс Мэннеринг еще в Индии, и, хотя последнее время мне в жизни не везет, я все же думаю, что она обо мне не забыла. На мое несчастье, я поссорился с ее отцом, который был тогда моим

начальником, и я уверен, что мисс Мэннеринг поставится теперь помирить меня с ним. Может быть, дочка твоя согласится передать ей от меня письмо, только так, чтобы полковник не знал.

Старик, приятель всяких контрабандистов, с готовностью обещал ему, что письмо его будет обязательно доставлено, а тайна сохранена. Едва только они прибыли в Эллонби, Браун написал письмо Джулии, в котором глубоко сожалел о своем безрассудстве и умолял выслушать его и простить. Он не считал возможным подробнее рассказывать об обстоятельствах, которые ввели его в заблуждение, и старался вообще выражать свои мысли так туманно, что, если бы письмо это даже и попало не по назначению, постороннему человеку трудно было бы понять, о чем в нем идет речь и кто его писал. Старик заверил его, что передаст это письмо дочери в Вудберн и, так как по своим делам ему снова придется возвратиться в Эллонби, он привезет ему туда ответ от мисс Мэннеринг.

А покамест, укрываясь от преследований, наш путник высадился в Эллонби и постарался снять там скромную комнату, которая была бы ему по средствам при его теперешней бедности и где он мог бы жить, не обращая на себя внимания. С этой целью он решил выдать себя за художника Дадли; он достаточно владел кистью, чтобы хозяин дома в Эллонби мог этому поверить. Он сказал, что вещи его должны прибыть из Уигтона, и, стараясь по возможности не выходить из дома, стал ждать, пока придут ответы на письма, посланные поверенному, Деласеру и подполковнику — его начальнику по службе. Первого он просил прислать ему денег, Деласера — если возможно, встретиться с ним в Шотландии, подполковника же он просил письменно засвидетельствовать его военное звание и безупречность его поведения на службе, для того чтобы и как офицер и как дворянин он мог быть вне всяких подозрений. Отсутствие денег причиняло ему такие неудобства, что он даже написал Динмонту, прося одолжить ему небольшую сумму. Он не сомневался в том, что, находясь всего в каких-нибудь

шестидесяти — семидесяти милях от него, фермер сразу же удовлетворит его просьбу, которую он мотивировал тем, что его ограбили, после того как они расстались. И тогда хоть и нетерпеливо, но все же совершенно спокойно он стал ждать ответа на эти письма.

В оправдание его корреспондентов следует сказать, что почта тогда доставлялась гораздо медленнее, чем со времени остроумного нововведения Палмера. Что же касается, например, Динмонта, то он никогда почти не получал писем чаще, чем раз в три месяца (кроме того периода, когда он был занят своей тяжбой и по этой причине регулярно посылал на почту); все адресованные ему письма месяц, а то и два оставались лежать у почтового чиновника на окне вместе с разными брошюрами, пряниками, булками и балладами, смотря по тому, чем этот чиновник торговал. К тому же существовал обычай, в те времена еще не изжитый: письмо, посланное из одного города в другой, находящийся милях в тридцати от него, шло круговым путем и, таким образом, проделывало не менее двухсот миль и тогда только вручалось адресату. Преимуществом такого способа доставки было то, что дорогой письмо хорошо проветривалось, почтовые доходы каждый раз увеличивались на сколько-то пенсов, а сам адресат имел случай поупражняться в терпении. В силу этих обстоятельств Браун прожил несколько дней в Эллонби и за это время ни от кого не успел получить ответа; деньги его, несмотря на строжайшую экономию, подходили к концу. В один из таких дней молодой рыбак принес ему письмо. Вот что он прочел в нем:

Вы поступили и нескромно и жестоко. Вы доказали, как мало можно верить вашим заявлениям, что вам дорого мое счастье и мой покой. Ваше безрассудство чуть не стоило жизни человеку достойному и благородному. Что мне еще к этому добавить? Упомянуть ли о том, что после вашего дерзкого поступка и всего, что за этим последовало, я серьезно заболела? И увы! — сказать ли, что я мучилась, думая о том, как это все должно было отразиться на вас, хоть ваше

поведение и было таково, что мучиться, вероятно, не стоило? П. уехал на несколько дней; Х. почти совсем поправился. У меня есть основания думать, что поиски ведутся не там, где следовало бы. Но не вздумайте только приезжать сюда. И вашу и мою жизнь потрясли столь жестокие и роковые события, что нечего и думать о возобновлении наших отношений, не раз угрожавших нам катастрофой. Поэтому прощайте и поверьте, что никто не может желать вам счастья искреннее, чем

Д. М.

В письме этом содержался такого рода совет, какие даются обычно для того, чтобы, получив его, человек поступал как раз наоборот. Так по крайней мере показалось Брауну, и он сразу же спросил молодого рыбака, не из Портанферри ли он.

— Да, — ответил тот, — я сын старого Уила Джонстона, и письмо это мне дала моя сестра Пегги, что в Вудберне прачкой.

— А когда ты, дружок, обратно поедешь?

— Сегодня же вечером с приливом.

— Я поеду с тобой, только в Портанферри: я не хочу попадать; хорошо, если бы ты меня посадил где-нибудь в другом месте.

— Что же, это нам труда не составит, — сказал парень.

Хотя съестные припасы и все остальное были тогда очень дешевы, плата за квартиру, разные другие издержки и новое платье, которое пришлось приобрести не только из соображений безопасности, но хотя бы уже для того, чтобы иметь более приличный вид, — все эти расходы окончательно опустошили кошелек Брауна. Он отправился на почту и попросил пересылать все письма, которые поступят на его имя, в Кипплтринган, куда он собирался поехать с тем, чтобы востребовать у миссис Мак-Кэндлиш сданные ей на хранение ценности. Он считал также, что, когда он получит свои документы, его долг, как офицера королевской армии, надлежащим образом объясниться с молодым Хейзлвудом. «Если он рассудит

здорово, — подумал Браун, — он поймет, что мой поступок был всего только неизбежным следствием его собственного надменного поведения».

Итак, Браун снова плыл по Солвейскому проливу. Начался дождь. Они шли против ветра, и прилив не помогал им бороться с волнами. Лодка была полна тяжелого груза (часть которого, вероятно, составляла контрабанда) и сидела глубоко. Браун, выросший на море и отличавшийся выносливостью и физической силой, то греб, то брался за руль, то давал указания, как лавировать, а это было делом особенно трудным: усилившийся ветер погнал лодку навстречу приливу, который в этих местах поднимается очень быстро, и положение путешественников стало опасным. Наконец, проведя целую ночь на воде, к утру они увидели вдалеке прекрасную бухту на шотландском берегу. Погода немного прояснилась. Ветер, поднявшийся ночью, смел с берега весь зимний покров. В отдалении горы были еще одеты в белое, но равнины совершенно очистились, и только кое-где в глубоких впадинах виднелись островки снега. Даже и в этом зимнем обличье берег был удивительно хорош. Вся линия побережья с ее углублениями, изгибами и бухточками и с той и с другой стороны уходила вдаль извилистыми, причудливыми и в то же время легкими, воздушными очертаниями, которые всегда так радуют глаз. Изрезанные берега сочетались с живописно громоздившимися поодаль холмами; нависавшие над самым морем отвесные скалы чередовались с отлогими склонами, незаметно переходившими в песчаные отмели. Там и сям различные постройки, озаренные утренним декабрьским солнцем, отражали его лучи, а темные деревья леса, хоть и совсем голые, придавали пейзажу разнообразие и еще больше оттеняли его красоту. Браун проникся тем особым чувством, которое люди впечатлительные и тонкие испытывают всегда перед утренним великолепием природы, открывающимся вдруг глазу после темноты и уныния ночного моря. Может быть, — ибо кто в силах объяснить это удивительное чувство, которое привязывает человека, выросшего в горах, к родным местам, — может быть,

к радости его, когда он взирал на эту картину, при-
мешивались впечатления далекого детства, все еще
живые, хотя то, что когда-то вызывало их, теперь уже
было давно позабыто.

— А как называется этот мыс, вот тут, с отлогими
лесистыми склонами, что вдается в море и огибает за-
лив справа? — спросил Браун лодочника.

— Это Уорохский мыс, — ответил тот.

— А эти древние развалины и новый дом как раз
под ними? Отсюда кажется, что это очень большое
здание.

— Это старый замок, а пониже, вон там, новый
дом. Если хотите, я вас высажу здесь.

— Да, мне бы очень этого хотелось. Надо взгля-
нуть на эти развалины, прежде чем я поеду дальше.

— Эх, старина-то какая, — сказал рыбак. — Что
за махина эта башня! Ее ведь и с Рэмзея на острове
Мэн видать и с мыса Эр. И крови же тут в былые
времена пролито...

Браун не прочь был бы разузнать обо всем по-
дробнее, но рыбаки ведь редко интересуются стари-
ной. Все, что парень знал об этой местности, исчер-
пывалось его словами: «Эту башню и с Рэмзея видать»,
и «Крови же тут в былые времена пролито».

«Я узнаю все подробнее, когда высажусь на бе-
рег», — подумал Браун.

Лодка продолжала плыть у подножия горы, на ко-
торой высился замок, хмуро взиравший со скалистой
вершины на все еще бушевавшее внизу море.

— Здесь вам удобнее всего будет на берег сой-
ти, — сказал рыбак, — тут вы и ног не замочите. Тут
раньше всегда причаливали их лодки и галеры, как
они у них назывались, но сейчас они больше сюда не
заходят, несподручно им такую тягу по узенькой
лесенке наверх поднимать да по скалам с грузом ла-
зять. А ведь и мне сюда в лунную ночь кое-что при-
везти случалось.

В это время они обогнули выступ скалы и зашли
в крохотную бухточку, созданную как силами самой
природы, так и упорным трудом давних обитателей
замка, которые, как сказал рыбак, сочли это место

удобным для стоянки лодок и шлюпок, хотя ни одно большое судно войти сюда не могло. У входа в эту бухту по обеим сторонам ее высились скалы, которые сходились так близко, что между ними могло одновременно пройти не более одной лодки. На обеих скалах уцелели глубоко забитые в крепкий камень увесистые железные кольца. Сквозь эти кольца по ночам продевали огромную цепь с тяжелым замком, чтобы защитить гавань и все, что в ней находилось. В скале с помощью долота и кирки была высечена площадка, нечто вроде набережной. Скала была настолько тверда, что, по словам рыбака, каменотес, трудившийся там с утра до вечера, мог сложить себе в шапку все обломки, отбитые за день. Эта узенькая набережная сообщалась с крутой лесенкой, спускавшейся сюда из старого замка; о лесенке этой мы уже не раз упоминали. Можно было подняться туда и другим путем, карабкаясь прямо на скалы.

— Высаживайтесь-ка лучше здесь, — сказал рыбак, — у Шелликотской скалы такой сейчас прибой, что, пока мы вылезем, на нас и ниточки сухой не останется. Нет, что вы! — запротестовал он, когда Браун стал давать ему деньги. — Вы все время гребли, да и гребли-то так, как нашим бы не под силу было. Прощайте, счастливого вам пути!

С этими словами он оттолкнул лодку от скалы, а сам потом причалил к противоположному берегу бухты, где и выгрузил свой товар. Браун же с небольшим узелком в руках, в котором были купленные им в Эллонби самые необходимые вещи, остался один на скалистом берегу неподалеку от развалин замка.

Так, никому не ведомым чужеземцем и при обстоятельствах если и не самых отчаянных, то, уж во всяком случае, весьма незавидных, не имея ни единого друга на сотни миль кругом, обвиненный в тяжком преступлении и, в довершение всего, совсем без денег, наш злополучный странник впервые после стольких лет вступил в пределы замка, где в давние времена жили его предки, наделенные чуть ли не королевскою властью.

Глава ХLI

...Я снова среди стен,
Покрытых мхом, среди безлюдных башен,
И стыдно вдруг мне стало. Где ж вы, люди?
Где некогда гремевшие пиры?
Где предков наших доблестная сила,
Гроза врагов?

«Таинственная мать»

Войдя в замок Элленгауэн через заднюю дверь, по всем признакам когда-то очень тщательно запиравшуюся, Браун (которого, коль скоро он уже вступил на землю своих предков, мы с этих пор будем называть его родовым именем Бертрам) стал бродить среди развалин, поражаясь тому, сколько безмерной мощи было в одних частях здания, сколько потрясающего великолепия в других и как широко раскинулись стены и башни замка.

В двух его комнатах, примыкавших друг к другу, он обнаружил следы недавнего пребывания людей. В одной из них, совсем маленькой каморке, оказались пустые бутылки, обглоданные кости и куски черствого хлеба. В соседней сводчатой комнате с крепкой, теперь настезь открытой дверью он нашел большую кучу соломы; и там и тут были следы недавнего огня. Могло ли Бертраму прийти тогда в голову, что все эти самые обычные вещи были связаны с событиями, от которых зависели его благополучие, его честь, а может быть, и жизнь?

Удовлетворив свое любопытство и быстро оглядев все покои замка, Бертрам прошел через главные ворота и остановился, любуясь величественной картиной, расстилавшейся перед ним. После того как он тщетно старался определить, в какой стороне находился Вудберн, и только приблизительно установил место расположения Кипплтрингана, он обернулся, чтобы на прощание взглянуть на могучие руины, стены которых он только что покинул. Его восхищал грандиозный и живописный вид огромных круглых башен, которые, выступая по обе стороны ворот, придавали еще больше глубины и величия их высокому,

но мрачному своду. Высеченный из камня щит с родовой эмблемой — тремя волчьими головами — висел наискось; над ним красовался шлем, на котором был изображен лежащий волк, пронзенный стрелой. С каждой стороны герб поддерживали фигуры в человеческий рост или даже больше. Они изображали дикого вида людей, подпоясанных и с венками на головах; каждый из них держал в руках вырванный с корнем дуб.

«А где же теперь могущественные бароны, которым принадлежали эти гербы, — подумал Бертрам, отдаваясь потоку мыслей, который в подобных случаях неизбежно охватывает человека, — по-прежнему ли их потомки владеют землями, на укрепление которых положено столько труда, или они странствуют где-нибудь далеко и, может быть, даже не знают о могуществе и о славе своих прапрадедов, а их родовые владения захвачены совсем чужими людьми? Почему это так бывает? — думал он, продолжая предаваться ходу мыслей, навеянных всем, что он здесь увидел. — Почему иные картины пробуждают в нас мысли, связанные с далекими детскими снами, вроде тех, которые мой старый брамин Мунши приписал бы одному из наших прежних земных воплощений? Или это образы сновидений, которые где-то смутно реют в нашей памяти и оживают снова при виде картин действительности, чем-то напоминающих этот фантастический мир? Часто ведь, попадая в какой-нибудь дом, где мы окружены людьми, с которыми никогда и нигде до этого не встречались, мы с необъяснимой, странной ясностью чувствуем, что и эта обстановка, и люди, и слова, которые говорятя там, уже откуда-то нам знакомы, даже больше того — мы как бы предугадываем ту часть разговора, которая еще только должна начаться. То же самое чувство испытываю сейчас и я, глядя на эти вот развалины; я никак не могу отделаться от мысли, что эта могучая башня и этот мрачный вход, уводящий вглубь под огромные стрельчатые своды и только тускло освещенный изнутри, — что все это мне уже как-то знакомо. Может быть, я действительно все это видел в детстве и где-

нибудь поблизости могу еще встретить прежних друзей, о которых эта счастливая пора жизни оставила мне хоть и слабые, но полные нежности воспоминания, друзей, на смену которым так рано пришли суровые и жестокие хозяева. Но ведь Браун — а ему незачем было меня обманывать — всегда говорил мне, что меня привезли с восточного берега Шотландии после схватки, в которой был убит мой отец; ужасная картина убийства, которую я смутно припоминаю, подтверждает его слова».

Случилось так, что площадка, на которую вышел Бертрам, чтобы лучше оглядеть замок, была тем самым местом, где умер его отец. Там, под тенью развесистого старого дуба, Элленгауэны в былые времена устраивали расправы со своими подчиненными, и дуб этот с тех пор прозвали Деревом Правосудия. Случилось также — и это совпадение довольно примечательно, — что в то же самое утро Глоссин беседовал с человеком, с которым всегда в подобных случаях советовался, о перестройке дома. Недолгобывшая руины, напоминавшие ему о величии былых обитателей Элленгауэна, его теперешний владелец решил снести все, что осталось от старого замка, а камень употребить для нового флигеля. Он как раз поднимался наверх в сопровождении землемера, о котором уже была речь; этот землемер в случае необходимости мог заменить и архитектора. Что же касалось чертежей, планов и всего остального, то Глоссин, как всегда, взял это на себя. В то время как они поднимались, Бертрам стоял к ним спиной и был совершенно скрыт от них ветвями широко разросшегося дуба, так что Глоссин даже и не заметил его до тех пор, пока не приблизился к нему вплотную.

— Да, я вам это давно уже говорю, камень весь отлично еще пойдет в дело. Самое лучшее — поскорее снести эти развалины, да и государству от этого только польза будет: тут ведь постоянно укрываются контрабандисты.

При этих словах Бертрам подошел прямо к Глоссину, от которого его отделяли каких-нибудь два ярда, и спросил его:

— Неужели вы собираетесь разрушить этот чудесный старый замок?

Фигурой, лицом и голосом Бертрам до такой степени походил на отца, что едва только Глоссин услышал эти слова, как ему показалось, что он видит перед собой покойного лэрда, и чуть ли не на том самом месте, где старик умер, и он готов уже был подумать, что это вставший из гроба мертвец. Глоссин подался на несколько шагов назад, еле держась на ногах, как человек, которого неожиданно ранили, и ранили насмерть. Однако он вскоре пришел в себя и сообразил, что перед ним не выходец с того света, а человек, незаслуженно им обиженный, и что малейшая неловкость с его стороны может повести к тому, что пришелец узнает, как велики его права, и тогда, начав отстаивать их, неизбежно его, Глоссина, погубит. Но мысли его так спутались от этой неожиданной встречи, что в первом вопросе, который он задал Бертраму, слышалась уже тревога.

— Скажите, ради всего святого, как вы сюда попали?

— Как я сюда попал? — переспросил Бертрам, пораженный торжественным тоном этого вопроса. — Четверть часа тому назад я пристал в маленькой бухточке внизу и воспользовался свободным временем, чтобы поглядеть на эти развалины. Надеюсь, что я не совершил ничего непозволительного?

— Непозволительного, сэр? Нет, — ответил Глоссин, начав приходить в себя, и тут же что-то шепнул землемеру, после чего тот сразу направился к дому. — Непозволительного? Нет, я могу только радоваться, когда какой-нибудь джентльмен вроде вас хочет удовлетворить свою любознательность.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Бертрам. — Скажите, это и есть так называемый *старый замок*?

— Да, сэр, в отличие от *нового замка*, дома, где я живу, здесь внизу.

Надо сказать, что в продолжение всего разговора Глоссину, с одной стороны, хотелось выведать, что из связанных с этими местами воспоминаний могло сохраниваться в памяти молодого Бертрама, а с другой

стороны — ему приходилось быть чрезвычайно осторожным в своих ответах, чтобы случайно названным именем, нечаянно вырвавшимся словом или упоминанием о каком-нибудь событии не пробудить дремавших в нем воспоминаний. Вот почему эти минуты принесли Глоссину одни мучения, мучения, которые он вполне заслужил. Но гордость и расчет заставили его с мужеством североамериканского индейца выдержать всю пытку, на которую его обрекли нечистая совесть, ненависть, подозрительность и страх.

— Мне хотелось бы знать, — сказал Бертрам, — кому принадлежат развалины этого великолепного замка.

— Они принадлежат мне; меня зовут Глоссин.

— Глоссин? Глоссин? — повторил Бертрам, как будто он ждал на свой вопрос другого ответа. — Извините меня, мистер Глоссин, я иногда бываю очень рассеян. Разрешите спросить вас, давно ли этот замок принадлежит вашему роду?

— Насколько я знаю, он был построен давно родом Мак-Дингауэв, — ответил Глоссин, не упоминая по вполне понятным причинам более известного всем имени Бертрамов — ведь имя это могло пробудить в пришельце воспоминания, которые ему как раз хотелось в нем усыпить.

— А как читается этот полустертый девиз вон там на свитке, под гербовым щитом?

— Я... я... право, я точно не знаю, — ответил Глоссин.

— Кажется, там написано: «Сила наша в правоте».

— Да, что-то в этом роде, — согласился Глоссин.

— Позвольте спросить, это что девиз вашего рода?

— Н-н-н-нет... не нашего. По-моему, это девиз прежних владельцев. Мой... мой девиз... Да, я писал мистеру Каммингу, управляющему герольдией в Эдинбурге, насчет моего девиза. Он ответил мне, что у Глоссинов в прежние времена был девиз: «Кто силен, тот и прав».

— Раз это еще не совсем достоверно, то, будь я на вашем месте, я предпочел бы старый девиз: по-моему, он лучше.

Глоссин, у которого язык, казалось, присох к нёбу, только кивнул в ответ головой.

— Как это странно, — продолжал Бертрам, не отрывая глаз от герба над воротами замка и не то обращаясь к Глоссину, не то разговаривая сам с собою, — какие странные вещи случаются иногда с нашей памятью. Этот девиз вдруг напомнил мне какое-то старое предсказание, а может быть, песенку, или даже простой набор слов:

И солнце взойдет,
И сила придет,
Если право Бертрамово верх возьмет
На хребтах...

Не могу последнего стиха вспомнить... *высот*, каких-то высот: рифму я твердо помню, а вот что перед этим — забыл.

«Черт бы тебя побрал с твоей памятью, — пробормотал про себя Глоссин, — очень ты что-то много всего помнишь!»

— Есть еще другие песенки, которые я помню с детства, — продолжал Бертрам. — Скажите, сэр, а не поют ли тут у вас еще песню про дочь короля острова Мэн, которая убежала с шотландским рыцарем?

— Право, я меньше всего в старых легендах разбираюсь, — ответил Глоссин.

— В детстве я знал эту балладу от начала до конца, — продолжал Бертрам. — Знаете, я ведь уехал из Шотландии ребенком, а воспитатели старались подавить все воспоминания о моей родине, и все это, наверно, из-за того, что однажды, еще мальчишкой, я пытался удрать от них домой.

— Очень может быть, — сказал Глоссин, но говорил он так, как будто только с величайшим усилием мог разжать челюсти, и то меньше чем на палец, так что все его слова были каким-то сдавленным бормотанием, сильно отличавшимся от его всегдашнего зычного и решительного, можно сказать, наглого голоса.

Действительно, во время этого разговора он как будто даже сделался меньше ростом и превратился

в собственную тень. Он то выдвигал вперед одну ногу, то другую, то вдруг наклонялся и шевелил плечом, то крутил пуговицы жилета, то складывал руки — словом, вел себя как самый последний и самый отъявленный негодяй, который, весь дрожа, ждет, что его вот-вот схватят. Но Бертрам не обращал на это ни малейшего внимания: поток нахлынувших воспоминаний захватил его целиком. Хоть он и обращался все время к Глоссину, он о нем не думал, а скорее рассуждал сам с собой, перебирая собственные чувства и воспоминания. «Да, — думал он, — находясь среди моряков, большинство которых говорит по-английски, я не забыл родной язык, и, забравшись куда-нибудь в уголок, я пел эту песню с начала и до конца; сейчас я забыл слова, но мотив хорошо помню и теперь, хоть и не могу понять, почему именно здесь он так отчетливо вспоминается мне».

Он вынул из кармана флажолет и начал наигрывать простенькую мелодию. Должно быть, мотив этот что-то напомнил девушке, которая полоскала в это время белье у источника, расположенного на половине спуска и некогда снабжавшего замок водой. Она сразу же запела:

По хребту ль, где темен Урохский бор,
По долине ль, где вьется Ди,
По волне ль морской у подножья гор
Так тоскует сердце в груди?

— Ей-богу же, это та самая баллада! — вскричал Бертрам. — Надо узнать у этой девушки слова.

«Проклятье! — подумал Глоссин. — Если я не положу этому конец, все пропало. Черт бы побрал все баллады и всех сочинителей и певцов! И эту чертову кобылу тоже, которая тут глотку дерет!»

— Мы успеем поговорить об этом в другой раз, — сказал он громко, — а сейчас (он увидел, что посланный возвращается и с ним еще несколько человек), сейчас нам надо поговорить кое о чем другом.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Бертрам, оборачиваясь к нему и несколько задетый его тоном.

— А вот что: вас, кажется, зовут Браун, не так ли? — в свою очередь, спросил Глоссин.

— Ну, и что же?

Глоссин обернулся, чтобы посмотреть, насколько близко подошли его люди: они были уже в нескольких шагах.

— Ванбест Браун, если не ошибаюсь?

— Ну, и что же? — переспросил Бертрам с возрастающим изумлением и недовольством.

— А вот что, — сказал Глоссин, видя, что в эту минуту его помощники совсем близко, — если это так, то именем короля я вас арестую!

В то же мгновение он вцепился Бертраму в ворот, а двое из подошедших схватили его за руки. Бертрам, однако, освободился от всех одним отчаянным рывком — так, что толкнул наиболее упорного из своих противников вниз под откос и, вытащив тесак, приготовился к дальнейшей обороне, в то время как все они, уже успев испытать на себе его силу, отступили на почтительное расстояние.

— Имейте в виду, — крикнул Бертрам, — что я не собираюсь сопротивляться властям! Докажите мне, что у вас есть распоряжение о моем аресте и что вы на это уполномочены, и я вам сдамся сам. Но пусть ни один человек не думает подходить ко мне до тех пор, пока мне не скажут, по чьему приказанию и за какую вину меня хотят арестовать.

Глоссин велел тогда одному из своих подчиненных принести приказ об аресте Ванбеста Брауна по обвинению в том, что он выстрелил в молодого Чарлза Хейзлвуда, имея заранее обдуманное злое намерение убить его. Одновременно Брауну предъявлялось обвинение в других преступных деяниях. Предлагалось препроводить Брауна в суд для допроса. Приказ этот был составлен по всем правилам, и обвинения нельзя было отрицать. Поэтому Бертрам бросил оружие и подчинился сподвижникам Глоссина, кинувшимся на него с решимостью, не уступавшей той трусости, которую они перед этим проявили; они собирались заковать его в кандалы, оправдывая это жестокое поведение его строптивостью и недюжин-

ной силой. Но Глоссин не то стыдился, не то боялся применить без надобности эту оскорбительную меру и приказал обращаться с арестантом с такой мягкостью и даже уважением, какие только можно было допустить, соблюдая требования безопасности. Но, боясь все же вводить его в свой дом, где многое могло еще больше напомнить ему о былом, и заботясь о том, чтобы его, Глоссина, действия были прикрыты санкцией какого-нибудь более авторитетного лица, он приказал приготовить карету (он недавно обзавелся каретой) и накормить стражу и арестованного, помещенного перед отправкой на суд в одной из комнат старого замка.

Глава XLII

...свидетелей введите!
Ты, в мантии судейской; сядь сюда,
Ты рядом с ним — ведь ты его
 помощник,
А ты у нас присяжный заседатель;
Садись и ты.

«Король Лир»

Пока закладывали лошадей, Глоссин сочинял письмо, над которым потрудился немало. Оно было адресовано его соседу (как он любил его называть), сэру Роберту Хейзлвуду из Хейзлвуда, представителю древнего и могущественного рода, который после падения Элленгауэнов унаследовал значительную часть их влияния и власти. Главой этой семьи был старик, не чаявший души в своих детях — их у него было двое, сын и дочь, — и стоически равнодушный к судьбе всего человечества. Вообще же в поступках своих он старался проявить благородство, потому что дорожил мнением света, да и не только поэтому. В нем было много фамильной гордости и чувства собственного превосходства над всеми, которое особенно выросло после того, как ему было присвоено звание баронета Новой Шотландии. Он ненавидел род Элленгауэнов, а когда рода уже не стало — то даже и вос-

помянутое о нем; потому что один из Элленгауэнов, как гласило предание, садясь на лошадь, заставил первого Хейзлвуда держать ему стремя. В обращении он был важен и высокомерен и выражался очень цветисто, причем речь его нередко становилась смешной из-за того, что он пересыпал ее разного рода триадами и кватернионами, далеко не всегда уместными.

Ему-то и писал сейчас Глоссин, стараясь всячески польстить его дворянской гордости и тщеславию. Вот как выглядело это письмо:

Гилберт Глоссин (ему хотелось добавить — Элленгауэн, но благоразумие одержало верх, и он обошелся без этого слова) имеет честь засвидетельствовать свое глубочайшее уважение сэру Роберту Хейзлвуду и сообщить ему, что сегодня утром ему посчастливилось арестовать человека, который ранил мистера Чарлза Хейзлвуда. Так как сэру Роберту Хейзлвуду, может быть, угодно будет допрашивать преступника самому, то Гилберт Глоссин готов направить его или в Кипплтринган, или в замок Хейзлвуд, в зависимости от того, как на этот счет распорядится сэр Роберт Хейзлвуд. С соизволения сэра Роберта Хейзлвуда Гилберт Глоссин явится к нему в любое из назначенных им мест со всеми доказательствами и документами, которые он имел счастье собрать по этому ужасному делу.

Адресовано:

*Сэру Роберту Хейзлвуду из Хейзлвуда, баронету.
Замок Хейзлвуд и пр. и пр.*

Элленгауэн, Глоссин

Вторник

Послав это письмо с верховым, он приказал двум судейским везти Бертрама в карете, а сам сел на лошадь и поехал шагом до перекрестка, где расходились дороги на Кипплтринган и в замок Хейзлвуд. Там он стал дожидаться возвращения своего

посланца с ответным письмом от баронета, с тем чтобы поступить в соответствии с указанием сэра Роберта.

Через полчаса слуга вернулся со следующим письмом, аккуратно сложенным и запечатанным гербовой печатью Хейзлвуда, на которой красовалась эмблема.

Сэр Роберт Хейзлвуд свидетельствует свое почтение мистеру Гилберту Глоссину и благодарит его за участие, которое он принял в деле, касающемся благополучия семьи Хейзлвуд. Сэр Роберт Хейзлвуд просит мистера Гилберта Глоссина доставить арестованного в замок Хейзлвуд для допроса вместе со всеми упомянутыми доказательствами и документами. А по окончании дела, если только мистер Гилберт Глоссин никуда в другое место не приглашен, сэр Роберт и леди Хейзлвуд просят его отобедать с ними.

Адресовано:

Мистеру Гилберту Глоссину и пр.

Замок Хейзлвуд

Вторник

«Ага! — подумал Глоссин. — Палец уже пролез, теперь можно будет и всю руку запустить. Но сначала надо как-то сбыть этого молодца. Сдается мне, что сэра Роберта я сумею обработать. Он чванлив, но неумен и примет во внимание все, что я ему скажу, чтобы потом действовать в соответствии с моими соображениями, но уже от своего имени. Таким образом, фактически судьей буду я, а вся ответственность падет на него».

С этими надеждами и упованиями Глоссин подъезжал к замку Хейзлвуд по прекрасной аллее вековых дубов, которые укрывали от глаз старинное здание, походившее на аббатство. Это был большой замок, который строился в различные периоды; часть его действительно была когда-то аббатством. После того как в царствование королевы Марии аббатство это было уничтожено, глава рода Хейзлвудов получил в дар от королевы замок и все прилегающие к нему земли. Замок был окружен прекрасным пар-

ком, широко раскинувшимся по берегам реки, о которой мы уже говорили. У всех окрестностей был мрачно-торжественный и даже, пожалуй, слегка грустный вид, под стать архитектуре самого замка, но поместье содержалось в образцовом порядке и свидетельствовало о богатстве и знатности его владельца. Едва только карета Глоссина остановилась у подъезда, как сэр Роберт стал разглядывать ее из окна. Дворянская гордость заставляла его несколько пренебрежительно относиться к этому *novus homo*,¹ этому Гилберту Глоссину, недавно еще писцу в***, который посмел вдруг обзавестись таким экипажем. Но гнев его смягчился, когда он увидел, что на дверцах кареты были только две буквы: Г. Г. Эта кажущаяся скромность на деле объяснялась только задержкой со стороны мистера Камминга из герольдии, который был в это время занят составлением гербов для двух североамериканских интендантов, трех англо-ирландских пэров и двух богатых ямайских купцов и проявил не свойственную ему медлительность в создании гербового щита для новоиспеченного лэрда Элленгауэна. Задержка эта послужила только на пользу Глоссину — по этой причине баронет отнесся к нему более благожелательно.

Арестованный вместе со стражей был оставлен в одной из людских, а Глоссина провели в так называемый большой дубовый зал — длинную комнату, отделанную лакированной резной панелью и украшенную угрюмыми портретами предков сэра Роберта Хейзлвуда. Глоссину, не обладавшему чувством собственного достоинства, которое в данном случае одно могло уравновесить его незнатное происхождение, стало не по себе, и его низкие поклоны и заискивающие манеры показывали, что на какое-то время из лэрда Элленгауэна он снова превратился в недавнего канцеляриста со всеми привычками последнего. Ему, правда, хотелось убедить себя, что он только льстит этим гордому баронету ради своей же собственной выгоды, но чувства его говорили совсем

¹ Выскочке (лат.).

другое, и он в полной мере испытывал на себе влияние тех же самых предрассудков, которым рассчитывал польстить в старике.

Баронет принял гостя с той снисходительной любезностью, которая должна была одновременно и подтвердить его превосходство и показать, что сам он настолько великодушен и мил, что может пренебречь этим превосходством и снизойти до обыкновенного разговора с обыкновенным человеком. Он поблагодарил Глоссина за то, что тот с таким вниманием отнесся к делу, столь близко касающемуся «молодого Хейзлвуда», и, указав на висевшие на стене фамильные портреты, с приятной улыбкой заметил:

— Почтенные предки мои, мистер Глоссин, так же благодарны вам, как и я сам, за все труды, заботы и беспокойство, которые вы взяли на себя в этом деле, и я уверен, что если бы они могли говорить, то они вместе со мной принесли бы вам свою благодарность за услугу, которую вы оказали дому Хейзлвудов, обременив себя этими трудами и хлопотами, а также за то участие, которое вы приняли в молодом джентльмене, продолжателе их славного рода.

Глоссин трижды поклонился, и с каждым разом кланялся все ниже и ниже; первый свой поклон он отвесил в честь стоявшего перед ним баронета, второй — в знак почтения перед молчаливыми фигурами, которые спокойно и терпеливо взирали на него с украшенных резьбою стен, и третий — в честь юноши, достойного носителя их благородного имени. Сэр Роберт был чрезвычайно польщен учтивостью, проявленной таким *gentleman*,¹ как его гость, и с дружественной любезностью продолжал:

— Ну, а теперь, мистер Глоссин, мой добрейший друг, вы должны разрешить мне воспользоваться вашим знанием законов, чтобы приступить к этому делу. Судебная деятельность не очень-то мне по душе, она больше под стать людям, которым не приходится уделять своим семейным делам столько времени, внимания и забот, сколько мне.

¹ Плебеем (франц.).

Глоссин отвечал, что, как ни скромны его собственные знания, он всегда готов к услугам господина баронета, но, коль скоро имя сэра Роберта Хейзлвуда стоит одним из первых в списке судей, он, Глоссин, никак не может считать, что его помощь окажется нужной или полезной.

— Ну, разумеется, дорогой мой Глоссин, я только имел в виду, что я практически этим не занимался и могу не знать кое-каких мелочей судопроизводства. Я ведь обучался юриспруденции и даже одно время мог похвалиться своими успехами в области умозрительных, отвлеченных и туманных положений нашего административного права. Но в нынешнее время у человека семейного и состоятельного так мало возможностей для продвижения в этой области; она стала достоянием всяких проходимцев, готовых ратовать за какого-нибудь Джона или Джека с тем же рвением, что и за самого знатного дворянина, и потому адвокатура, откровенно говоря, мне очень скоро опротивела. Действительно, первое дело, которое мне пришлось разбирать, просто вывело меня из себя. Надо было разрешить спор мясника со свечником, и я увидел, что от меня хотят, чтобы я испоганил свои губы не только их низкими именами, но и разными техническими названиями и словечками их нечистого ремесла. Поверьте, что с тех пор мне даже запах сальных свечей опротивел.

Выразив сожаление, которое Хейзлвуд, должно быть, ожидал от него услышать, что способностям баронета было найдено столь недостойное применение в этом прискорбном деле, Глоссин сказал ему, что Хейзлвуд может использовать его либо в качестве секретаря, либо как заседателя, словом — распорядиться им так, как ему будет угодно.

— А что касается самого дела, — добавил Глоссин, — то доказать, что из этого несчастного ружья стрелял именно он, а не кто другой, по-моему, будет нетрудно. Если же он станет отрицать этот факт, то я думаю, что мистер Хейзлвуд сумеет его уличить.

— Молодого Хейзлвуда сегодня нет дома, мистер Глоссин.

— Но мы можем привести к присяге слугу, который был с ним, — сказал находчивый Глоссин. — Право же, вряд ли стоит об этом сейчас говорить. Меня больше всего смущает, что мистер Хейзлвуд, как мне стало известно, по своей мягкости и снисходительности склонен смотреть на это покушение как на случайное и никак не злонамеренное, в силу чего виновник его может оказаться отпущенным на свободу и наделать еще больше зла.

— Я не имею чести знать того, кто состоит в настоящее время в должности королевского адвоката, — с важностью ответил сэр Роберт, — но я думаю, я вполне уверен, что самому факту ранения Хейзлвуда, даже если увидеть в нем одну только простую неосторожность, то есть если подойти к делу с нарочитой мягкостью и представить его в самом благоприятном для виновника свете и в то же время в самом неправдоподобном виде... так вот, я уверен, что он сочтет преступника заслуживающим не только тюремного заключения, но скорее всего даже и ссылки.

— Вот именно, сэр Роберт, — ответил, соглашаясь с ним, его коллега по судебным делам, — я целиком разделяю ваше мнение; только не знаю, почему так получается, но мне приходилось видеть, как эдинбургские судьи, а иногда и королевские чиновники, хвастаясь своим беспристрастием, разбирают судебные дела невзирая на происхождение и звание человека; поэтому я опасаясь...

— То есть как это невзирая на происхождение или звание? Вы что, хотите меня уверить, что таких взглядов придерживаются люди благородные, да еще ученые законоведы? Нет, сэр, если вещь на улице украдена, то это воровство, а если это содеяно в церкви, это уже святотатство, поэтому, следуя существующей в обществе иерархии, оскорбление тем значительнее, чем выше лицо, во вред которому оно учинено, нанесено или задумано.

Глоссин низко поклонился этой речи, произнесенной *ex cathedra*,¹ но заметил, что в самом худшем

¹ Авторитетно (лат.).

случае, то есть если власти станут на ту неправильную точку зрения, на которую он только что намекал, закон неминуемо должен осудить Ванбеста Брауна еще и за другие преступления.

— Ванбест Браун! Его так зовут? Боже праведный, чтобы жизнь молодого Хейзлвуда из Хейзлвуда оказалась в опасности, чтобы пуля разможила его правую ключицу, чтобы несколько дробинok попало в акромион, как об этом пишет домашний врач, и чтобы все это было делом рук какого-то нечестивца без рода и племени по имени Ванбест Браун!

— Действительно, сэр Роберт, этому даже поверить трудно, но я должен попросить у вас тысячу извинений и вернуться к тому, о чем начал говорить. Одноименное лицо, как явствует из этих бумаг (тут он вытащил бумажник Дирка Хаттерайка), — контрабандист с того самого судна, люди с которого напали на Вудберн; я уверен, что это одно и то же лицо; впрочем, вы сами можете в этом убедиться.

— Ну разумеется, это и должно быть одно лицо; было бы оскорбительно даже для людей самого низкого звания, если бы среди них двое носили такое отвратительное для слуха имя, как Ванбест Браун.

— Вы правы, сэр Роберт, это, безусловно, так, в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но вы увидите далее, что именно это обстоятельство и объясняет его отчаянное поведение. Вы увидите, сэр Роберт, что толкнуло его на преступление. Говорю вам, как только вы займетесь этим делом, вам все станет ясно. Что до меня, то я твердо убежден, что главной причиной, побудившей его напасть на мистера Хейзлвуда, было желание отомстить ему за доблесть, достойную его знаменитых предков, которую мистер Хейзлвуд проявил при защите Вудберна от этого негодяя и его сообщников.

— Я всем этим займусь, — сказал ученый баронет. — Но даже теперь я беру на себя смелость утверждать, что я уже принимаю то объяснение этого непонятного дела, этой загадки, этой тайны, которое вы пытались сегодня обосновать. Да! Это не иначе как месть... И, боже правый, месть кого, кому? Месть

задуманная, затеянная, подготовленная против молодого Хейзлвуда из Хейзлвуда и частично уже осуществленная, приведенная в исполнение, совершенная рукою Ванбеста Брауна! В какие страшные дни мы живем, мой уважаемый сосед (этот эпитет свидетельствовал о том, что Глоссин быстро начал приобретать расположение баронета), в дни, когда общественные устои сотрясаются до их мощного фундамента и благородное имя, которое являлось лучшим, прекраснейшим украшением всего общественного здания, смешено, смешано с самыми ничтожными частями постройки. О мой добрый мистер Гилберт Глоссин, в мое время право братья за шпагу, за пистолет и за другое благородное оружие принадлежало одной только знати, а все ссоры людей низких решались оружием, данным самою природой: дубинами, сломанными или срубленными где-нибудь в лесу. А теперь, сэр, подбитый гвоздями сапог простолюдина наступает на мозоль придворного. У мужланов тоже теперь свои ссоры, и своя оскорбленная честь, и свое мщение! И они, видите ли, тоже решают свой спор поединком. Однако я теряю время, давайте позовем сюда этого негодяя, этого Ванбеста Брауна, и покончим с его делом хоть на сегодня!

Глава XLIII

...сам ведь он
Нанес обиду первым. И, как порох,
Негаданно взорвавшийся, его же
Обида обожгла. Но позади
Теперь беда, и рана заживает.

«Красотка из харчевни»

Арестованного привели к обоим почтенным судьям. Глоссин, то ли терзаемый какими-то укорами совести, то ли решив, осторожности ради, предоставить все ведение дела сэру Роберту Хейзлвуду, наклонился над столом и стал перебирать и читать разные документы. Когда же он замечал, что у главного

судьи, который и должен был быть главным действующим лицом во всей этой сцене, возникала какая-нибудь заминка, он с готовностью вставлял нужное слово. Что же касается сэра Роберта Хейзлвуда, то он напускал на себя приличествующий судье суровый вид, который хорошо сочетался с важностью, присущей баронету — представителю древнейшего рода.

— Вот так, констебли, поставьте его там, у края стола. Будьте добры теперь смотреть мне прямо в глаза и громко отвечать на вопросы, которые я вам сейчас задам.

— Позвольте мне сначала осведомиться, сэр, кто берет на себя труд меня допрашивать? — ответил арестованный. — Джентльмен, который привез меня сюда, не счел нужным мне это сообщить.

— А какое отношение имеет мое имя и звание к тем вопросам, которые я собираюсь вам задать?

— Может быть, и никакого, — ответил Бертрам, — но они могут повлиять на мое желание отвечать на них.

— Так знайте же, что перед вами сэр Роберт Хейзлвуд из Хейзлвуда и еще один судья нашего графства, вот и все.

Так как известие это не произвело на арестованного того ошеломляющего впечатления, на которое рассчитывал судья, сэр Роберт с чувством еще большей неприязни к подсудимому возобновил вопрос:

— Вас зовут Ванбест Браун, не правда ли?

— Да.

— Ну, хорошо, а кто же вы такой? — спросил судья.

— Капитан его величества *** кавалерийского полка, — ответил Бертрам.

Баронет был поражен, но, встретив недоверчивый взгляд Глоссина и услышав, как тот издал какой-то неопределенный звук, означавший презрение, сэр Роберт приободрился и сказал:

— Мне кажется, что теперь мы подыщем для вас другое звание, и попроще.

— Если вы сумеете это сделать, — отвечал арестованный, — то я охотно подвергнусь любому наказанию, которого заслуживает подобное самозванство.

— Ну что же, посмотрим, — продолжал сэр Роберт. — Известен ли вам молодой Хейзлвуд из Хейзлвуда?

— Я видел джентльмена, которого, судя по всему, зовут Хейзлвуд, всего только раз, и я жалею, что это произошло при столь печальных обстоятельствах.

— Значит, вы признаете, — сказал баронет, — что это вы нанесли молодому Хейзлвуду из Хейзлвуда опасную для жизни рану, которая сильно повредила ему правую ключицу, причем, как установил наш домашний врач, несколько дробинок застряло в отростке акромион.

— Я не знаю, сэр, насколько опасна его рана, но могу только сказать, что я искренне сожалею обо всем происшедшем. Я встретил этого джентльмена на узкой тропинке с двумя дамами и слугой. Прежде чем я успел пройти мимо или вымолвить слово, молодой Хейзлвуд выхватил из рук слуги ружье, наставил его на меня и самым надменным тоном приказал мне отойти. Я не собирался ни повиноваться ему, ни подвергать себя опасности, оставив в его руках оружие, которое он с такой горячностью был готов пустить в ход, поэтому я кинулся к нему, чтобы его обезоружить. И в тот момент, когда ружье было почти в моих руках, оно случайно выстрелило, и молодой джентльмен, к моему большому огорчению, понес более суровое наказание, чем я того хотел. Меня, однако, обрадовало известие о том, что рана его оказалась неопасной и он получил лишь то, что заслужил своим безрассудством.

— Так значит, сэр, — сказал баронет, причем лицо его перекошилось от гнева, — так значит, вы сами признаете, что вашим намерением и вашей прямою целью было вырвать из рук Хейзлвуда его ружье, охотничье или какое другое, или огнестрельное оружие, называйте его как хотите, и не где-нибудь, а на

королевской дороге? Кажется, этого достаточно, почтенный сосед. Его следует отправить в тюрьму!

— Вы лучше меня это знаете, сэр Роберт, — сказал Глоссин самым заискивающим тоном, — но я позволю себе напомнить вам, что дело касается еще и контрабандистов.

— Совершенно верно. Да к тому же, Ванбест Браун, хоть вы и называете себя капитаном королевской армии, вы самый последний негодяй — контрабандист.

— Если бы не ваши преклонные годы, сэр, и если бы вы сейчас не находились под влиянием какого-то странного заблуждения, я ответил бы вам по-другому.

— Преклонные годы! Странное заблуждение! — сказал сэр Роберт, краснея от негодования. — Так вот, я заявляю вам... Скажите, а есть у вас какие-нибудь документы или письма, чтобы подтвердить то звание, положение и состояние, которое вы себе приписываете?

— При себе у меня ничего нет, — ответил Бертрам, — но с ближайшей почтой...

— А как же это могло случиться, что, будучи капитаном на службе его величества, вы разъезжаете по Шотландии без всяких рекомендательных писем, без свидетельств, без вещей — словом, без всего того, что вам положено иметь по вашему званию, положению, состоянию, как я уже сейчас говорил?

— В дороге со мной случилась беда: у меня украли всю одежду, все мои вещи.

— Ах, так это вы наняли почтовую карету из *** в Кипплтринган, бросили кучера на дороге и прислали двух своих сообщников, чтобы те избили мальчишку и забрали ваши вещи?

— Я действительно ехал в карете, о которой вы говорите, мне пришлось выйти из нее, чтобы отыскивать дорогу в Кипплтринган, и я заблудился в снежных сугробах. Хозяйка постоялого двора может подтвердить вам, что, когда я пришел туда на следующий день, я прежде всего стал узнавать о кучере.

— В таком случае разрешите спросить вас, где вы

провели ночь?.. Не в снегу же, надеюсь? Неужели вы полагаете, что всё это примут на слово, что с вами согласятся, что вам поверят?

— Я прошу разрешить мне, — сказал Бертрам, вспоминая старуху цыганку и обещание, данное ей, — я прошу разрешить мне не отвечать на этот вопрос.

— Ну, оно и понятно, — сказал сэр Роберт. — Вы, верно, провели эту ночь где-нибудь в Дернклю... Да, в развалинах Дернклю.

— Я уже сказал вам, что не намерен отвечать на этот вопрос, — заявил Бертрам.

— Ну, так вас заключат в тюрьму, вот и все. Взгляните, пожалуйста, на эти бумаги. Вы что, тот самый Ванбест Браун, о котором здесь упоминается?

Надо сказать, что Глоссин сунул в папку какие-то бумаги, действительно принадлежавшие Брауну. Их нашли вместе с его чемоданом в развалинах старой башни.

— Некоторые из этих бумаг, — сказал Бертрам, — действительно принадлежат мне и находились в моем бумажнике, который украли из кареты. Все это записки, не имеющие особого значения, и я вижу, что из всех моих бумаг со всей тщательностью отобрали именно те, которые не могут установить мое звание и положение, а остальные, более важные для меня, все исчезли. Эти записки перемешаны с судовыми счетами и разными другими документами; по-видимому, они принадлежат какому-нибудь однофамильцу.

— Так ты что же, дружок, собираешься уверить меня, что здесь есть два человека с одной и той же столь необычной для нашего уха фамилией?

— Право, не знаю, сэр, но, точно так же как здесь есть старый Хейзлвуд и молодой Хейзлвуд, почему же не быть старому и молодому Ванбесту Брауну. И уж если говорить правду, то я воспитывался в Голландии, и как бы необычно это имя ни звучало для англичанина, там оно...

Глоссин, видя, что разговор начинает принимать опасный оборот, вмешался в него, хотя этого вовсе не

требовалось, с тем чтобы отвлечь внимание сэра Роберта Хейзлвуда, который вышел из себя, услышав из уст Бертрама столь дерзкое сравнение. Все жилы на его шее и на висках налились кровью, в глазах его были гнев, негодование, а вместе с тем и растерянность, и он сидел как человек, получивший смертельную обиду от лица, отвечать которому было бы унижительно для его достоинства.

В то время как Хейзлвуд хмурил брови и гневно сверкал глазами, медленно и важно вбирая в себя воздух и потом торжественно и мерно выдыхая его полной грудью, Глоссин поспешил ему на помощь.

— Дозвольте мне заметить, сэр Роберт, что на этом, по-моему, допрос можно закончить. В добавление к уже приведенным веским доказательствам один из констеблей готов подтвердить под присягой, что холодное оружие, отобранное сегодня утром у преступника (кстати, именно тогда, когда он пустил его в ход, сопротивляясь властям), — его собственный тесак, который у него отняли контрабандисты в схватке, предшествовавшей нападению на Вудберн. И все-таки, — прибавил он, — я не хочу, чтобы вы делали из этого слишком поспешные выводы. Может быть, молодой человек объяснит нам, как к нему попал этот тесак?

— На этот вопрос я тоже не желаю отвечать, — сказал Бертрам.

— Есть еще одно обстоятельство, на которое я, с вашего позволения, сэр Роберт, хотел бы обратить внимание, — сказал Глоссин. — Арестованный передал в руки миссис Мак-Кэндлиш в Кипплтрингане узелок, в котором вместе с золотыми монетами находились различные драгоценные вещи. Может быть, вы найдете нужным спросить его, сэр Роберт, как столь редкостные предметы попали в его руки.

— Мистер Ванбест Браун, вы слышали вопрос, который вам задает этот джентльмен?

— И на этот вопрос, — отвечал Бертрам, — у меня есть свои причины не отвечать.

— Ну, раз так, то боюсь, что нам придется подписать приказ о заключении вас в тюрьму, — сказал Глоссин, который к этому и вел свои речи.

— Как вам будет угодно, — отвечал Бертрам, — только хорошенько подумайте о том, что вы делаете. Имейте в виду, я заявил вам, что я капитан его величества *** полка; что я только что вернулся из Индии, а поэтому никак не могу быть связан с теми контрабандистами, о которых вы говорите; что наш командир полка сейчас находится в Ноттингеме, а майор с офицерами нашей части — в Кингстоне-на-Темзе. Я готов подвергнуться любому самому унижительному наказанию, если по прибытии почты из Кингстона и Ноттингема я не смогу доказать вам, кто я такой. Но вы можете и сами обратиться в полк и...

— Все это так, — сказал Глоссин, начиная опасаться, как бы решительный тон Бертрама не произвел впечатления на сэра Роберта, который, вероятно, умер бы со стыда, если бы ему довелось учинить такую несообразность, как посадить в тюрьму вместо настоящего преступника кавалерийского капитана, — все это так, но разве нет никого поближе, к кому вы могли бы за этим обратиться?

— Здесь есть только два человека, которые меня знают, — ответил Бертрам. — Один из них — Динмонт из Чарлиз-хопа, простой фермер-скотовод, но он знает обо мне только то, что я ему о себе говорил и что я сказал вам сейчас.

— Ну, вот и прекрасно, сэр Роберт! — сказал Глоссин. — Теперь он, наверно, захочет, чтобы этот олух под присягой расписался в своем легковерии. Ха-ха-ха!

— А кто же ваш другой свидетель? — спросил баронет.

— Один джентльмен, которого сейчас по некоторым причинам мне не очень хочется называть. Но я служил под его начальством в Индии, а это человек чести, и он, во всяком случае, не откажется подтвердить, кто я такой.

— Кто же этот достойный свидетель? — спросил сэр Роберт. — Наверно, какой-нибудь вахмистр или сержант?

— Полковник Гай Мэннеринг, бывший командир *** полка, в котором, как я вам уже говорил, я служу.

«Полковник Мэннеринг! — подумал Глоссин. — Черт возьми, кому бы это пришло в голову?»

— Полковник Гай Мэннеринг! — повторил баронет, уверенность которого сразу поколебалась. — Знаете что, — сказал он тихо Глоссину, — при всем том, что у этого молодого человека такое плебейское имя и очень неприятный вид, в манерах и в чувствах у него есть что-то от джентльмена или по крайней мере от человека, привыкшего бывать в хорошем обществе; там, в Индии, чины ведь дают очень легко, случайно и без разбора. По-моему, нам лучше всего было бы дожидаться возвращения полковника Мэннеринга; сейчас он, кажется, в Эдинбурге.

— Я во всем полагаюсь на ваше усмотрение, сэр Роберт, — отвечал Глоссин, — решительно во всем. Осмелюсь только доложить вам, что мы вряд ли имеем право отпускать его по личному заявлению, не подтвержденному никакими доказательствами, и что, если мы не отправим его в тюрьму, а будем просто содержать его где-то под стражей, вся ответственность потом ляжет на нас... Но я полагаюсь на вас, сэр Роберт, со своей стороны я только добавлю, что недавно я имел большие неприятности из-за того, что держал одного преступника в месте, считавшемся совершенно надежным и где его охраняли верные люди. Он бежал и этим, несомненно, повредил моей репутации осторожного и предусмотрительного судьи. Но я это только между прочим заметил, я все равно поступлю так, как вы найдете наиболее уместным.

Глоссин, однако, хорошо понимал, что этого «замечания» было достаточно, чтобы повлиять на решение его самонадеянного, но отнюдь не самостоятельного коллеги. И сэр Роберт Хейзлвуд закончил дело речью, которую он основывал, с одной стороны,

на предположении, что арестованный действительно капитан королевской армии, с другой — на убеждении, что это плебей и убийца.

— Мистер Ванбест Браун... Я сказал бы — капитан Браун, если бы у меня были хоть малейшие основания, причина или повод думать, что вы командуете частью упомянутого вами полка или каким-либо иным подразделением королевских войск. Но что касается последнего обстоятельства, то прошу вас считать, что у меня на этот счет твердое, крепкое и неизменное мнение, уверенность или убеждение. Так вот, объявляю вам, мистер Браун, что мы решили, учитывая неприятное положение, в котором вы теперь находитесь, после того как вас, судя по вашим словам, ограбили — обстоятельство, высказываться о котором я пока не стану, — и ввиду того, что у вас обнаружено много драгоценных вещей и тесак с медной рукояткой, о происхождении которого вы ничего не соизволили сообщить нам, — так вот, объявляю вам, что, принимая во внимание все вышеупомянутое, мы сочли нужным, и определили, и решили заключить вас в тюрьму, или, лучше сказать, отвести вам помещение в тюрьме, с тем чтобы вы могли быть допрошены вторично, как только полковник Мэннеринг вернется из Эдинбурга.

— Позвольте мне покорнейше спросить вас, сэр Роберт, — сказал Глоссин, — не собираетесь ли вы отправить этого джентльмена в тюрьму графства? Если вы этого определенно еще не решили, то я позволю себе заметить, что безопаснее было бы отправить его в Брейдвел, в Портанферри, где заключение его не станет достоянием гласности, а это было бы особенно неприятно, если, паче чаяния, все, что он рассказал о себе, окажется правдой.

— Ну да, в Портанферри отряд солдат охраняет товары в таможне, и в целом, полагая, что место это — место неплохое, и принимая все это во внимание, мы поместим его, или, лучше сказать, дадим свое согласие на то, чтобы его поместили в исправительный дом в Портанферри.

Тут же было составлено соответствующее предписание, и Бертраму сообщили, что наутро его отведут в тюрьму; сэр Роберт не решился отправить его туда ночью, боясь побега, и до рассвета арестованный должен был пробыть в замке Хейзлвуд.

«Не может быть, чтобы эта новая тюрьма оказалась тяжелее моего плена у лутиев в Индии, — подумал Бертрам, — да и не может все это столько времени продолжаться. Но черт бы побрал этого старого буквоеда и его хитрого помощника-шептуна! Они не понимают самых простых вещей, которые им говорят».

Тем временем Глоссин, прощаясь с баронетом, отвешивал бесчисленные поклоны и подобострастно просил извинить его за отказ от приглашения к обеду, выражая надежду, что в будущем искупит свою вину и докажет свое уважение к баронету, к его супруге и к молодому мистеру Хейзлвуду.

— Ну, разумеется, — ласково сказал ему старик. — По-моему, представителей нашего рода никогда нельзя было упрекнуть в недостатке учтивости к соседям, и вы будете иметь случай убедиться в этом, когда я приеду к вам как-нибудь совсем запросто, то есть так, как тому и полагается, следует и надлежит быть.

«Ну, а теперь, — подумал Глоссин, — надо найти Дирка Хаттерайка и его людей, удалить солдат из таможни и тогда все поставить на карту! Все дело в быстроте. Какое счастье, что Мэннеринг сейчас в Эдинбурге! Для меня страшнее всего то, что он знает этого молокососа». Тут он отпустил поводья. «А что, если мне предложить этому наследнику сделку? Он, пожалуй, согласился бы порядочно заплатить за восстановление своих прав, тогда мне и Хаттерайк не нужен... Но нет, нет, нет! Слишком уж много народу об этом знает: и сам Хаттерайк, и цыган, что был раньше матросом, и эта старая ведьма. Нет, нет, надо делать так, как я уже решил».

И тут он прищипорил лошадь и поскакал во весь опор, чтобы по приезде немедленно приступить к делу.

Глава XLIV

Тюрьма — всегда страдания дом,
Здесь все страшит вокруг.
Но только здесь ты узнаешь,
Кто настоящий друг.

Иной сидит по заслугам,
Другой — по злобе судей;
Сидят здесь плуты и воры
И сколько честных людей!

Надпись на Эдинбургской тюрьме

На другой день рано утром Бертрам был отправлен в тюрьму в Портанферри в той же карете и в сопровождении тех же двух молчаливых и угрюмых констеблей, которые привозили его в замок Хейзлвуд. В этом портовом городке тюрьма была расположена по соседству с таможней; оба здания находились так близко от моря, что их с этой стороны пришлось укрепить бруствером, или валом, из огромных камней, который спускался к самой воде. Во время прилива морские волны часто набегали на эти камни и разбивались о них. Спереди здание было окружено высокой стеной, а внутри был маленький дворик, где несчастным узникам время от времени разрешалось погулять на свежем воздухе. Помещение это, служившее в обычное время исправительным домом, иногда заменяло и настоящую тюрьму графства, которая, помимо того что она стала совсем ветхою, была расположена слишком далеко от Кипплтрингана. Мак-Гаффог, тот самый, который задержал Бертрама, был смотрителем этого не очень-то уютного заведения. Он велел подъехать вплотную к воротам, вышел из кареты и стал вызывать стражу. Стук этот всполошил добрых два десятка оборванных ребятишек. Побросав свои кораблики, которые плавали в лужах, оставшихся после морского прибоя, они мигом облепили приехавших, чтобы взглянуть, какому несчастному выпало на долю путешествовать в «дикийной» новой карете Глоссина». После тяжелого лязга цепей и скрипа засовов ворота наконец отворились. Открыла их миссис Мак-Гаффог, грозная женщина, сила и ре-

шительность которой позволяли ей призывать к порядку ее строптивых постояльцев и управлять «домом», как она называла это заведение, в дни, когда ее супруг отсутствовал или когда ему случалось хватить лишнего. Свирепый голос этой амазонки, соперничавший своими модуляциями со скрипучей музыкой болтов и засовов, скоро разогнал всех маленьких чертенят, собравшихся вокруг кареты. Эта почтенная дама обратилась тогда к своей дражайшей половине со следующими словами:

— А ну, поворачивайся, да поживее! Тащи сюда своего молодчика!

— Попридержи язык, чертова баба! — ответил ее нежный супруг и присовокупил к этому еще два крепких словца, которые мы просим позволения у читателя здесь не воспроизводить.

Потом она обернулась к Бертраму:

— Ну как, сам, что ли, выйдешь или нам тебя тащить?

Бертрам вышел из кареты. Не успел он ступить на землю, как констебль схватил его за ворот и, хотя он и не сопротивлялся, потащил его во двор под крики маленьких *sans culottes*,¹ которые стояли кругом и глазели, стараясь преодолеть страх перед миссис Мак-Гаффо и подойти поближе. Едва только Бертрам переступил роковой порог, как привратница снова навесила цепи, задвинула засовы и, повернув обеими руками огромный ключ, вынула его из замка и сунула в свою объемистую сумку из красного сукна, которая болталась у нее на поясе.

Бертрам очутился теперь на маленьком дворике, о котором уже упоминалось. Несколько арестантов бродили там взад и вперед; они как будто почувствовали себя бодрее от того, что на мгновение увидели через раскрывшиеся ворота противоположную сторону грязной улицы. И в этом нет ничего удивительного, если только представить себе, что все остальное время взгляд их был ограничен железными решетками, высокими и мрачными стенами тюремного

¹ Оборванцев (франц.).

двора, кусочком неба над головой и булыжником под ногами. Это однообразие, которое, по словам поэта, «лежало камнем на глазах усталых», рождает в одних тупую и безысходную мизантропию, в других — уныние, и столь глубокое, что оно заставляет человека, заживо замурованного в этой могиле, мечтать о другой, более спокойной и уединенной.

Когда они вошли во двор, Мак-Гаффог дал Бертраму постоять с минуту и посмотреть на своих товарищей по несчастью. Как только он огляделся вокруг и перед ним предстали лица, на которых лежала печать преступления, подавленности и низменных страстей: растратчики, мошенники, воры, несостоятельные должники, и его поразил «и взгляд бессмысленный и смех безумный» — людей, чья низкая корысть обрекла их на пребывание в этом мрачном месте, — он почувствовал, что сердце его замирает: так омерзительна была для него мысль о том, что ему придется соприкоснуться с этими людьми даже на мгновение.

— Надеюсь, — сказал он, обращаясь к Мак-Гаффogu, — что вы поместите меня в отдельную комнату.

— А чего это ради я буду стараться?

— Да, но ведь я пробуду здесь всего день или, может быть, самое большее — два, и мне было бы крайне неприятно находиться вместе со всеми этими людьми.

— А мне-то какое до этого дело?

— Ну, тогда я объясню так, чтобы вы поняли, — сказал Бертрам. — Я сумею как следует отблагодарить вас за эту услугу.

— Да, капитан, но когда и как? Вот в чем вопрос, нет, даже два вопроса, — ответил тюремщик.

— Когда меня освободят и я получу деньги из Англии, — сказал Бертрам.

Мак-Гаффог недоверчиво покачал головой.

— Послушайте, неужели вы думаете, что я и на самом деле преступник? — продолжал Бертрам.

— Этого я не знаю, — ответил Мак-Гаффог, — но если даже это и так, то соображения у вас никакого нет, это уж видать.

— А почему вы думаете, что у меня нет соображения?

— А вот почему: самый набитый дурак, и тот не отдал бы им кошелек с деньгами, что вы в «Гордоновом щите» оставили, — сказал тюремщик. — Уж я бы на вашем месте его с мясом у них вырвал! Какое они право имели деньги у вас отнимать, в тюрьму сажать и ни пенса вам не дать, чтобы за свое содержание заплатить? Если им улики нужны были, могли вещи себе оставить. Но какого же лешего вы у них своих гиней не спросили? Я-то вам и мигал и головой кивал, а вы, залагая вас лягушки, ни разу даже в мою сторону не взглянули!

— Вот что, — сказал Бертрам, — если у меня есть право потребовать с них эти деньги, то я их все равно получу. А там уж с избытком хватит, чтобы весь ваш счет оплатить.

— Ну, этого я никак знать не могу, — сказал Мак-Гаффог. — Может быть, вы здесь порядком еще поживете. Тогда я и в долг поверю. Но все равно, мне сдается, что человек вы неплохой, а коли так, то, хоть жена и твердит мне, что я из-за доброты своей все теряю... так вот, если вы мне дадите доверенность, чтобы я мог из этих денег взять, что мне там причитаться будет... Глоссин-то мне уж как-нибудь не откажет. Я ведь тут кое-что знаю насчет беглеца одного, что в замке Элленгауэн сидел... Да, да, он рад будет меня задобрить, мы ведь с ним жили в дружбе.

— Я согласен, — ответил Бертрам. — Если дня через два деньги не придут, я вам выдам такую доверенность.

— Ну вот, тогда я вас тут по-королевски устрою, — сказал Мак-Гаффог. — Только слушайте, любезный, чтобы нам потом с вами не ссориться, вот какую я беру плату с тех молодчиков, кому отдельные помещения даются: тридцать шиллингов в неделю за комнату, еще гинеею вступительных, полгиней за отдельную кровать и... Да ведь я не все себе беру, мне из этого полкроны надо Доналду Лейдеру заплатить, что здесь за кражу овец сидит; ему ведь с вами спать положено, и теперь он себе чистой

соломы потребует, а может, еще и чарку виски в придачу. Так что мне-то из этого не так уж много и достанется.

— Ладно, продолжайте!

— Ну, а насчет еды и питья, так я буду вам самое лучшее приносить, а я никогда больше двадцати процентов выше гостиничных цен не беру, я людям благородным всегда готов услужить, а это совсем не высокая цена, когда весь день туда-сюда приходится бегать. Одних башмаков сколько девчонка износит. Да к тому же, коли скучно вам будет, так я вам вечером компанию составлю, мы разопьем с вами бутылочку-другую. Сколько вина мы тут выпили с Глоссином, с тем, что вас сюда упек; теперь-то он судьей стал. Ну, да вам, конечно, еще захочется, чтобы огонь развели, а то ночи теперь холодные; свечку я вам тоже дам, хоть это и дороговато немножко обойдется, потому вещь запрещенная. Ну вот, все цены я вам теперь сказал и, кажись, ничего не забыл. Только ведь, знаете, мало ли чего еще понадобится может, наперед ведь никак не скажешь.

— Ладно, я положусь на вашу совесть, если вы вообще-то знаете, что это такое,— сам ведь я себе ничего тут достать не могу.

— Нет, нет,— ответил осторожный тюремщик,— этого вы мне не говорите, я вам ничего не навязываю: не подходит цена, так не берите, я никого не принуждаю. Я только хотел, чтобы вы знали, во что хороший уход встанет. Ну, а если хотите, чтобы вас как всех устроили, что ж, дело ваше, мне же меньше хлопот будет, вот и все.

— Нет, почтеннейший. Поймите же, что торговаться я с вами вовсе не намерен,— ответил Бертрам.— Покажите мне, где я буду жить, мне сейчас хочется побыть одному.

— Идемте сюда, за мной, капитан,— сказал Мак-Гаффог с гримасою, которая должна была означать улыбку.— Вот что я вам теперь скажу, чтобы вы знали, что у меня есть то, что вы называете совестью: так вот, будь я проклят, если я с вас больше шести пенсов в день возьму за то, чтобы по двору гулять,

а гулять вы можете часа три в день, да и в мяч играть и в орлянку — словом, во что хотите.

Посулив Бертраму столько приятных вещей, тюремщик повел его в дом, и они поднялись наверх по крутой и узкой каменной лестнице, кончавшейся массивной, обитой железом дверью. За нею был узкий коридор, или галерея; с каждой стороны этого коридора было по три сводчатых камеры очень убогого вида, с железными койками и соломенными матрацами. Но в глубине коридора находилась настоящая комната, вернее такое же помещение, только лучше обставленное и менее похожее на тюремное; если бы не тяжелый замок, не цепь на двери и не тяжелые железные решетки в окне, можно было бы подумать, что это какая-нибудь самая захудалая комната в самой захудалой гостинице. Помещение это должно было служить лазаретом для арестантов, которые по состоянию здоровья нуждались в улучшенных условиях. И верно, с одной из коек только что стянули Доналда Лейдера, — того самого, который должен был разделить одиночество Бертрама, — в надежде, что чистая солома и виски окажутся более действенными средствами против лихорадки.

Выселением его занялась сама миссис Мак-Гаффог: в то время как во дворе супруг ее разговаривал с Бертрамом, эта милая дама сразу сообразила, что должно было последовать за их беседой. Видимо все же, чтобы извлечь оттуда недвижимое тело Доналда, понадобилось применить силу: один из столов, на которых был укреплен полог над койкой, оказался отломанным и повис вместе с самим пологом посреди комнаты, будто знамя полководца, поваленное набок в пылу сражения.

— Тут не все еще в порядке, но это не беда, капитан, — сказала миссис Мак-Гаффог, входя с ним в комнату.

Потом, повернувшись спиною к Бертраму, она со всею деликатностью, которую допускала ее поза, нагнулась, сорвала с ноги подвязку и скрепила ею сломанную подпорку; потом она обобрала с себя все булавки и сколола полог фестоном; потом взбила

матрац и, постелив поверх всего рваное лоскутное одеяло, объявила, что теперь «все в порядке».

— А вот это ваша постель, — сказала она, указывая на четырехногую махину, которая из-за неровностей пола (хоть дом был и новый, строился он по подряду) держалась только на трех ногах и стояла так, что четвертая висела в воздухе, а вся кровать походила на слона, каких иногда изображают на гербах, украшающих дверцы кареты. — Вот постель и все принадлежности, но если вам угодно получить простыни, подголовники, подушку, скатерть на стол и полотенце, то об этом вы мне скажите, муж в эти дела не входит, и он этого никогда в счет не ставит. (Мак-Гаффог в это время ушел, и, по всей вероятности, именно для того, чтобы избежать разговора об оплате этих дополнительных услуг.)

— Дайте мне ради бога все, что полагается, и возьмите с меня сколько хотите, — сказал Бертрам.

— Ладно, ладно, мы с вами как-нибудь сочтемся; хоть таможенные нам соседями приходится, лишней пошлины с вас тут не возьмут. Надо еще вам огонь развести да пообедать дать. Обед, правда, у вас сегодня будет неважный, не ждала я такого благородного гостя. — С этими словами миссис Мак-Гаффог поспешно сходила за горячими углями, и, высыпав их на «решетку ржавую, остывшую давно», еще, должно быть, месяц или два тому назад, она немывтыми руками начала стелить белье (увы, как оно было непохоже на то, что стелила Эйли Динмонт!), бормоча что-то себе под нос, как будто закоренелая брюзгливость заставляла ее роптать даже на то обстоятельство, что ей за все платят. Наконец она ушла, ворча про себя, что лучше стеречь целую роту солдат, чем возиться с неженкой, которому все равно ничем не угодишь.

Оставшись один, Бертрам не знал, что ему делать: расхаживать ли взад и вперед по своей маленькой комнате, глядеть ли на море сквозь узкое запыленное окно, загороженное толстой решеткой, или погрузиться в чтение разных грубых острот, которые дове-

денные до отчаяния люди нацарапали на этих кое-как побеленных стенах. Звуки, доносившиеся до него, были столь же неприятны для слуха, как все, что он видел вокруг, — для глаза; глухой шум отлива и скрип отворявшихся и снова закрывавшихся дверей, сопровождаемый грохотом замков и засовов, сливался по временам с монотонным рокотом океана. Иногда до слуха его долетало хрипкое ворчание тюремщика или более пронзительные ноты, исходившие из уст его супруги и помощницы; в голосах обоих почти всегда слышались недовольство, наглость и гнев. Иногда же со двора доносился неистовый лай огромного пса, которого от нечего делать дразнили гулявшие по двору арестанты.

Наконец это однообразие было нарушено неряшливо одетой девицей, которая пришла и постелила грязную скатерть на грязный стол. Ножи и вилки, которым отнюдь не грозило прийти в негодность от слишком усердной чистки, заняли место рядом с надтреснутой фаянсовой тарелкой; с одной стороны красовалась почти совсем пустая горчишница, с другой — солонка с какой-то сероватой, а скорее даже черноватой гущей; та и другая были из глины, и по виду обеих можно было заключить, что ими только что пользовались. Вскоре та же самая Геба принесла тарелку поджаренной на сковороде говядины с немалым количеством жира, плавающего в целом море тепловатой воды; ко всем этим яствам она добавила ломоть грубого хлеба и спросила Бертрама, что он будет пить. Видя, что обед выглядит не очень-то аппетитно, Бертрам попробовал исправить положение, заказав себе бутылку вина, которое неожиданно оказалось совсем неплохим, и, закусив черным хлебом и безвкусным сыром, не стал больше ничего есть. Затем та же служанка пришла передать ему привет от хозяина и спросила, не угодно ли ему провести с ним вечер. Бертрам поблагодарил и, отказавшись от приятного общества Мак-Гаффога, попросил прислать ему бумагу, перо, чернила и свечи. Ему принесли огарок оплывшей свечи в залитом салом подсвечнике. Что же касается письменных принадлежно-

стей, то сказали, что он может послать за ними в лавку, но только завтра утром. Тогда Бертрам попросил принести ему какую-нибудь книгу и подкрепил эту просьбу, вручив служанке шиллинг. Служанка снова куда-то надолго ушла, а потом явилась с двумя томами «Ньюгетского календаря», который она одолжила у Сэма Силверквила, бездельника подмастерья, посаженного в тюрьму за мошенничество. Положив оба тома на стол, она ушла и оставила Бертрама за чтением книги, которая пришлась как раз под стать его плачевному положению.

Глава XLV

Когда к позорному столбу
Прикован будешь ты судьбой,
Найдется где-то верный друг,
Чтоб жребий разделить с тобой.

Шенстон

Погруженный в тяжелые мысли, вызванные чтением мрачной книги и отчаянным положением, в которое он теперь попал, Бертрам впервые в жизни почувствовал, что можно потерять присутствие духа. «Но ведь мне же приходилось бывать в худших положениях, — подумал он, — и в более опасных, тогда как здесь никакая опасность мне не грозит. Там меня ждала неизвестность, а здесь, при всех обстоятельствах, долго я не пробуду. Условия там были нестерпимы, а тут есть по крайней мере огонь, пища и крыша над головой. Но когда я читаю эти повести о кровавых преступлениях и о горе именно здесь, в этом месте, которое само по себе навевает столь мрачные мысли, меня охватывает такая грусть, какой я, кажется, еще не испытывал в жизни».

— Но я не поддамся ей! Прочь от меня, образы злодеяний и порока! — сказал он и швырнул книгу на пустую кровать.

«Не может быть, чтобы шотландская тюрьма с самого первого дня сломила человека, сумевшего спра-

виться и с губительным климатом, и с нуждой, и с болезнью, и с заточением на чужбине. Немало сражений выиграл я у госпожи Судьбы; ей не сломить меня и сейчас».

Собравшись с мыслями, он попытался представить себе свое положение в самом благоприятном свете. Деласер скоро будет в Шотландии; свидетельство от его начальника тоже должно прийти скоро; даже если бы в первую очередь пришлось обратиться к Мэннерингу, кто знает, не последует ли за этим примирение с ним? Он часто имел случай видеть, что, когда его бывший начальник брал кого-нибудь под свое покровительство, он никогда не останавливался на полпути и, казалось, особенно благоволил тем, кто был ему обязан. Теперь же, если он попросит его заступничества в деле чести, полковник, несомненно, придет ему на помощь, и это может даже примирить их друг с другом. Затем его мысли естественно обратились к Джулии. Не задумываясь над тем, какое расстояние отделяет его, неизвестного искателя приключений, которого теперь вмешательство его бывшего начальника может освободить из-под стражи, от единственной дочери и наследницы этого богатого и знатного человека, он начал строить великолепные воздушные замки, расцвечивая их всеми красками летнего заката. Вдруг его мечтания были прерваны громким стуком в ворота и ответным лаем худого, изголодавшегося пса, который, оставаясь на ночь во дворе, помогал охранять тюрьму.

С большими предосторожностями ворота открыли и кого-то впустили во двор. Потом стали отпирать двери, снимать засовы и цепи; слышно было, как маленькая собачонка побежала по лестнице, стала скрестись в дверь и жалобно заскулила. Затем Бертрам услышал тяжелые шаги на лестнице и голос Мак-Гаффога: «Сюда, сюда, осторожно, здесь ступенька, вот эта дверь». Потом дверь к Бертраму отворилась, и, к его несказанному удивлению и радости, маленький Шмель ворвался в комнату и кинулся к нему с бурными ласками. Вслед за ним ввалилась грузная фигура его друга из Чарлиз-хопа,

— Боже ты мой, боже ты мой! — воскликнул наш добрый фермер, оглядев жалкое помещение и увидав неприглядную обстановку, среди которой находился его друг. — Что ж это за напасть такая!

— Просто проделки фортуны, мой любезный друг, — сказал Бертрам, вставая и горячо пожимая ему руку, — только и всего.

— Но что теперь с вами будет и как вас из беды вызволить? — спросил наш добрый Дэнди. — За что ж это, за долги, что ли?

— Нет, вовсе не за долги, — ответил Бертрам. — Если у вас есть время, садитесь, и я вам расскажу все, что сам знаю.

— Как это — если у меня есть время? — громко рявкнул Дэнди, причем в словах его прозвучала даже насмешка. — Какого же черта я сюда приехал, коли не затем, чтобы все разузнать? Но только вам, пожалуй, и подзакусить бы не мешало, час-то уже поздний; я таможенных попросил — я ведь у них Дампла оставил, — чтобы мой ужин сюда принесли, а Мак-Гаффог, тот ничего не скажет, с ним мы поладим. Ну, так рассказывайте, в чем дело. Тише ты, Шмель! Эх, радуется-то как, бедняга!

Бертрам поведал ему вкратце свою историю, причем ограничился лишь рассказом о случае с Хейзлвудом и о том, как его по недоразумению спутали с его однофамильцем-контрабандистом, участником нападения на Вудберн. Динмонт слушал очень внимательно.

— Ну так что же, — сказал он, — это все яйца выеденного не стоит, у Хейзлвуда рана уже зажила; подумаешь, беда какая, что три дробинки в плечо попали. Вот кабы глаз ему высадили, тогда другое дело. Эх, был бы сейчас здесь старик Плейдел, наш бывший шериф! Он-то бы уж им мозги вправил; вы такого дошлого, как он, верно еще и не видавали!

— А теперь скажите, мой дорогой друг, как вы узнали, что я здесь?

— Занятно это вышло, — ответил Дэнди, — но я вам расскажу после, когда поедим; не стоит и раз-

говора затевать, пока эта длинноухая стерва туда-сюда шныряет.

Любопытство Бертрама немного улеглось, когда принесли заказанный его другом ужин; все выглядело скромно, но приготовлено было очень чисто, а ведь кухне миссис Мак-Гаффог недоставало именно чистоты. По словам Динмонта, он с самого утра был в дороге и ничего, «о чем стоило бы говорить», не ел, причем говорить не стоило о трех фунтах холодной баранины, которую он упел не так давно. Поэтому он приналег на ужин и, наподобие одного из гомеровских героев, не говорил ничего, ни хорошего, ни плохого, пока голод и жажда не были утолены. Наконец, хлебнув домашнего пива, он сказал:

— Добрая курятинка-то, добрая, — и поглядел на жалкие остатки того, что еще недавно было жирной птицей. — Да, для города курочка неплоха, хоть и не такая, каких мы в Чарлиз-хопе выкармливаем; я рад, что эта беда вам аппетит не испортила.

— Право же, Динмонт, не такой у меня сегодня был обед, чтобы ужинать потом не захотелось.

— Понимаю, понимаю, — сказал Дэнди, — только слушай ты, милая, теперь ты нам водку, и кипятку, и сахару принесла, ну и ступай себе, можешь запереть дверь, а у нас тут свои дела есть.

Девица тут же вышла и заперла дверь, а потом снаружи предусмотрительно наложила засов.

Как только она ушла, Дэнди огляделся вокруг и приложил ухо к замочной скважине, как будто прислушиваясь, не бежит ли где выдра. Удостоверившись, что никто его не слышит, он вернулся к столу и, налив себе порядочную чарочку грога, помешал уголья и начал свой рассказ важным и серьезным тоном, который в обычное время ему был не свойствен.

— Знаете, капитан, я тут намерен в Эдинбург ездил, надо было родственницу одну похоронить, да надеялся я, что, может, и на мою долю кое-что перепадет; ничего только из этого не вышло. Ну, что ж поделаешь! Были у меня еще там с судом делишки, ну да об этом в другой раз. Словом, я со всем этим управился — и домой, а на зорьке пошел

поглядеть, как там мои овечки, да думаю, дай-ка я пройду на Тутхопский гребень, ну, на тот участок, что нам с Джоком Достоном никак не поделить. И не успел я до места дойти, как вижу — впереди человек какой-то, да и не из наших пастухов, а чужим тут делать нечего. Ну, я, значит, подошел и вижу — это Тод Габриель, что на лисиц охотится. Ну, я и спрашиваю его:

«С чего это ты в такую высь забрался, где птицы одни, да еще и без собак? Лису, что ли, без собаки выследить хочешь?»

А он и отвечает:

«Нет, старина, это я тебя ищу».

«Вот как, спрашиваю. Дров тебе, что ли, надобно или на зиму заготавливаешь?»

«Нет, говорит, не в дровах дело, а вот у вас приятель есть, капитан Браун, что у вас жил, верно ведь?»

«Ну, есть, говорю, и что же?»

Тогда он и говорит:

«О нем тут еще кое-кто печется, и пуще вашего, и такой человек, что я его слушаться должен, и сюда-то я тоже не по своей воле пришел теперь неприятные вести вам про него передавать».

«Ну, конечно, уж если с ним худое что стряслось, так мне от этого еще горше, чем ему самому».

«Раз так, говорит, то уж придется вас огорчить: он, видно, в Портанферрийскую тюрьму попадет, ежели только сам о себе не позаботится; дали приказ арестовать его, как только он из Эллонби прибудет. И коли вы, милейший, ему добра желаете и окажется, что он там под стражей, не покидайте его ни ночью, ни днем: ему там и доброе сердце и твердая рука нужны будут; сделайте, как я вам говорю, не то потом всю жизнь раскаиваться придется».

«Но, послушай, откуда же ты все это разузнал? Портанферри ведь так далеко».

А он тогда и скажи:

«Тот, кто мне эту весть принес, день и ночь с седла не слезал, и вам тоже надо сию же минуту ехать, чтоб делу помочь, вот и все».

Тут он сел на землю, да так по горе вниз и съехал, а мне уж с лошадей-то никак нельзя было туда податься. Я тогда в Чарлиз-хоп вернулся с женушкой покумекать, а то я и сообразить не мог, что делать. Чудно уж очень бродягу слушаться да куда-то к черту на рога нестись. Но — боже ты мой! — жена как начнет меня срамить, что вот с вами, может, что случилось, а мне тут и горя мало. Да и письмецо ваше кстати пришло. Тут я полез в шкатулку да денегат прихватил, думаю, может понадобятся, а ребяташки все побежали Дампла седлать — счастье еще, что я в Эдинбург на другом коне ездил, так что Дампл у меня свежихонек стоял. Ну, я и поскакал, а Шмель, тот за мной увязался, будто чуял, бедняжка, куда я еду. Ну вот, миль шестьдесят я отмахал, и все в порядке. Потом только я Шмеля к себе на седло взял; я всю дорогу то рысью, то галопом скакал, а он, песик бедный, что ребеночек со мной трясся.

Выслушав этот странный рассказ, Бертрам сразу же понял, что, если верить предостережению незнакомца, ему грозит не одно только тюремное заключение, но и другая, и действительно серьезная, опасность. В то же время он мог убедиться, что некий неизвестный друг ему помогает.

— Так вы говорили, что этот Габриель из цыган? — спросил он Динмонта.

— Да, говорят, — ответил Дэнди, — и я тоже так думаю, потому они всегда знают, где другие таборы стоят, и для них сущий пустяк из конца в конец известие передать. Да, чуть было не забыл: помните старуху, что мы в Бьюкасле видели? Так вот, ее теперь всюду ищут. Шериф, тот своих людей разослал в Лаймстейн-Эдж и в Лидсдейл — словом, во все стороны; кто найдет, тому награду назначили пятьдесят фунтов, не меньше. А судья Форстер, что в Камберленде, тот издал приказ ее задержать, ну а когда искать начали, так все просто с ног сбились; да только ежели она сама в руки не дастся, так ее никак не возьмешь.

— Почему? — спросил Бертрам.

— А кто ее знает? Я-то думаю, это все чепуха, но, говорят, у нее есть семена папоротника, и она может невидимой делаться и куда хочет попадать, вроде как в балладе про Джона, убийцу великанов, поется, что в семимильных сапогах да в шапке-невидимке ходил. Одним словом, она там у них, у цыган, вроде королевы какой; говорят, ей уж сто лет с лихвой и она помнит еще время смут, когда Стюартов прогнали и в этих местах разбойники водились. Ну, а коль она сама не может невидимкой стать, так она кое-кого знает, кто ее всегда спрячет, это уж как пить дать. Эх, кабы я только знал, что старуха та, что нам ночью на постоялом дворе встретилась, — Мег Меррилиз, я бы с ней был пообходительней.

Бертрам очень внимательно слушал рассказ, который во многом удивительно совпадал с тем, что он сам знал об этой цыганской сивилле. Подумав, он решил, что не нарушит слова, если поделится всем, что видел в Дернклю, с другом, который так почтительно относился к старой цыганке, и рассказал ему всю свою историю, а Динмонт часто прерывал его восклицаниями вроде: «Вот это да!» или: «Вот дело-то какое, черт возьми!»

Когда наш лидсдейлский приятель дослушал все до конца, он покачал своей большой черной головой и сказал:

— Вот я и говорю, среди цыган есть и худые и добрые, а ежели они с нечистой силой якшаются, так это уж их дело, а не наше. Я доподлинно знаю, как они покойника убирают. Эти черти контрабандисты, когда кого-нибудь из них ухлопают, посылают за старухой вроде Мег, чтобы та покойника придела. И все их похороны в этом; потом они мертвеца просто как собаку в землю зарывают. Ну, а насчет того, чтобы одеть как надо, это верно, так уж у них заведено. Кончается человек, они сразу старуху берут, чтобы при нем сидела, и песни пела, и заклинания разные читала; это они куда больше любят, чем когда священник молится, — так у них повелось. И я думаю, что умер-то в ту ночь кто-нибудь из тех, кого в Вудберне подстрелили, когда дом спалили.

— Да что вы, Вудберна никто не спалил, — сказал Бертрам.

— Ну и слава богу! — ответил фермер. — А у нас молва пошла, что там камня на камне не осталось. Но что дрались там, так это верно, и потешились, видно, здорово. И что одного там уложили, так это точно, и что чемодан ваш цыгане забрали, когда карета в снегу увязла, так насчет этого тоже будьте спокойны. Они мимо того, что плохо лежит, не пройдут, им чужое взять ничего не стоит.

— Но если эта старуха их повелительница, то почему же она не заступилась за меня открыто и не заставила их вернуть мне вещи?

— Почему знать? Мало ли чего она им приказать может, да они все по-своему сделают, когда на них такой стих нападет. Да и потом тут еще эти контрабандисты ввязались. С ними ей нелегко договориться, а они ведь вместе дела обделывают. Я слышал, что цыгане всякий раз знают, когда контрабандисты приедут и где высадятся, лучше даже, чем те, с кем они торговлю ведут. Да к тому же она иногда не в своем уме бывает, ей дурь разная в голову заходит; говорят, что всегда, что бы она кому ни наворожила, правду или чушь какую, сама она в это дело крепко верит, и когда что-нибудь задумает, так всегда смотрит сначала, что ей покажет гаданье. Она ведь и к колодцу прямой дорогой никогда не пойдет. Но черт бы побрал всю эту историю и с ворожбой, и с мертвецами, и с метелью — такого и в сказке не прочтешь. Тсс! Тюремщик идет.

Мак-Гаффог прервал их беседу душераздирающей музыкой замков и засовов. Оплывшее лицо его появилось в дверях.

— Идите, Динмонт, мы и так уж ради вас сегодня на час позже ворота запираем; пора вам домой убираться.

— Как это домой? Я здесь буду ночевать. У капитана в комнате лишняя кровать есть.

— Этого нельзя, — возразил тюремщик.

— А я говорю, что можно, и с места не сойду; а ты вот лучше выпей стаканчик.

Мак-Гаффог выпил залпом водку и стал снова излагать свои возражения:

— Говорю же вам, что это не положено: вы никакого преступления не совершили.

— Да я тебе сейчас башку разобью, — сказал наш упрямый фермер, — если ты мне еще слово скажешь, и тогда мне по закону здесь ночевать придется.

— Но, говорю вам, мистер Динмонт, — повторил тюремщик, — не разрешают же этого. Я место могу потерять.

— Слушай, Мак-Гаффог, — сказал фермер, — я тебе только вот что скажу: ты хорошо знаешь, что я человек порядочный и что из тюрьмы я никого не выпущу.

— А почему я знаю? — в свою очередь спросил Мак-Гаффог.

— Ну, коли не знаешь, так я с тобой по-другому говорить буду, — продолжал наш решительный Динмонт. — Приходится ведь тебе по делам в наши края заглядывать; так вот, ежели ты дашь мне сегодня спокойно на ночь здесь с капитаном остаться, я тебе вдвойне за комнату заплачу, а если нет, то попробуй тогда нос свой в Лидсдейл сунуть, я из тебя там такую котлету сделаю...

— Ну, ладно, ладно, друг, — сказал Мак-Гаффог, — упряма не переспоришь, пусть будет по-вашему; только, если это до суда дойдет, я ведь знаю, кому тогда все расхлебывать придется.

И, в подкрепление своих слов, он крепко выругался, а потом тщательно запер все двери тюрьмы и пошел спать. Едва только все стихло, часы на городской башне пробили девять.

— Хоть и рановато сейчас, — сказал фермер, обратив внимание на то, что приятель его совершенно побледнел от усталости, — по мне, капитан, если только вы выпить еще не хотите, так нам лучше спать залечь. Но вот, истинный бог, пить-то вы, я вижу, не больно горазды, да, впрочем, и я такой же, разве только вот когда в дороге или у соседей на пирушке...

Бертрам охотно согласился с предложением своего друга, но стоило ему взглянуть на «чистое» белье,

постепенное миссис Мак-Гаффо, как он потерял всякое желание раздеваться.

— Я вот тоже так думаю, капитан, — сказал Дэнди. — Черт, у этой постели такой вид, будто все сэнкуэрские углекопы на ней вместе лежали. Но через мою-то одежду это не пройдет.

С этими словами он бухнулся на шаткую кровать так, что дерево затрещало, и вскоре тишина огласилась звуками, по которым можно было определить, что он уже крепко спит. Бертрам скинул кафтан и сапоги и улегся на другой кровати. Лежа, он все еще никак не мог отделаться от мыслей о странных превратностях судьбы и о тайнах, окружавших его со всех сторон. Неведомые враги преследовали его, и столь же неведомые друзья — выходцы из простого народа, с которым ему никогда раньше не приходилось сталкиваться, — выручали его теперь из беды. Наконец чувство усталости взяло верх, и вслед за своим другом он крепко уснул. Теперь, когда они оба погрузились в приятное забытие, мы должны покинуть их и познакомить нашего читателя с другими событиями, происходившими в то же самое время.

Глава XLVI

...откуда этот дар
Прозренья вешего? И почему
Вы ночью нас в степи остановили
Пророческими страшными словами?
Все расскажите, заклинаю вас!

«Макбет»

Вечером того дня, когда допрашивали Бертрама, полковник Мэннеринг вернулся из Эдинбурга в Вудберн. Он нашел всех домашних в прежнем состоянии, что, конечно, нельзя было бы сказать о Джулии, если бы ей к тому времени довелось узнать об аресте Бертрама. Но так как в отсутствие полковника обе молодые девушки вели крайне уединенный

образ жизни, весть эта, по счастью, еще не долетела до Вудберна. Из письма Мэннеринга мисс Бертрам уже знала о том, что надежды на завещание ее родственницы не оправдались. Но каковы бы ни были ее чаяния, которым это письмо положило конец, разочарование не помешало ей приветливо встретить полковника, и она всячески старалась отблагодарить своего покровителя за его отеческую заботу. Она выразила сожаление по поводу того, что в эту холодную погоду ему пришлось понапрасну совершить из-за нее столь длинное путешествие.

— Я очень огорчен, что оно оказалось напрасным для вас, — сказал Мэннеринг, — но что касается меня, то я познакомился там с интересными людьми и очень доволен тем, как я провел время в Эдинбурге. Даже друг наш Домини, и тот вернулся оттуда раза в три учнее, чем был, и ум его стал еще острее от состязания в красноречии со знаменитостями северной столицы.

— Разумеется, — учтиво заметил Домини, — я старался как мог, и, хоть противник мой был очень искусен, победить меня ему не удалось.

— Но сражение это, по всей вероятности, вас утомило? — спросила мисс Мэннеринг.

— Конечно, и даже немало, но я препоясал чресла и не сдавался.

— Могу подтвердить, — вставил полковник, — что мне ни разу не приходилось видеть, чтобы так хорошо отбивали атаку. Противник был похож на маратхскую конницу; он нападал со всех сторон, артиллерия просто не знала, куда целить; однако мистер Сэмсон выставил свои тяжелые орудия и палил сначала по врагу, а потом по пыли, которую тот поднял. Но сегодня уже не стоит больше ломать копий, мы обо всем поговорим утром, за завтраком.

Но утром к завтраку Домини не явился. Слуга сообщил, что он вышел из дому очень рано. Позабыть о завтраке или обеде было для него делом самым обыкновенным; поэтому отсутствие Домини никогда никого не беспокоило. Экономка, почтенная пресви-

терианка старого уклада, относившаяся с большим уважением к богословским занятиям Сэмсона, всегда заботилась о том, чтобы он не пострадал из-за своей рассеянности, и, когда он возвращался, всегда напоминала о том, что и брэнному телу тоже надо воздать должное. Но почти никогда не бывало, чтобы он пропускал подряд и завтрак и обед, как случилось в тот день. Объясним же, чем было вызвано столь необычное поведение Сэмсона.

Разговор Плейдела с Мэннерингом о судьбе маленького Гарри Бертрама пробудил в Сэмсоне тягостные воспоминания. Доброе сердце бедного Домини постоянно упрекало его в том, что он доверил ребенка Фрэнку Кеннеди и оплошность его послужила причиной убийства таможенного, исчезновения мальчика, смерти миссис Бертрам и разорения всей семьи его патрона. В разговоре он, правда, если можно вообще назвать разговором те слова, которые он из себя извлекал, никогда не вспоминал об этом событии, но зато мысли его неотступно к этому возвращались. Уверенность, что мальчик жив, которая была так ясно и решительно высказана в последнем завещании миссис Бертрам, пробудила какую-то надежду и в сердце Домини, и он был просто в отчаянии от того, что Плейдел отнесся к этой надежде столь пренебрежительно. «Конечно, — думал Сэмсон, — адвокат — человек ученый и хорошо разбирается в самых трудных законах, но он в то же время крайне легкомыслен и говорит часто совсем необдуманно и бессвязно; чего же это ради он стал бы *ex cathedra* подвергать сомнению надежду, высказанную почтенной Маргарет Бертрам».

Так, повторяю, думал Домини; если бы он даже и половину своих мыслей выразил вслух, у него от непривычных усилий потом целый месяц болели бы челюсти. Все эти мысли привели к тому, что ему захотелось посетить те места, где разыгралась трагедия Уорохского мыса и где он не был уже много лет, пожалуй с того самого времени, когда случилось это роковое событие. Путь был дальний, Уорохский мыс находился у самых границ поместья Элленгауэн, так

что Домини, который шел из Вудберна, должен был пройти все владения Бертрама. К тому же он не раз сбивался с дороги — ведь там, где, по своей наивности, он ожидал увидеть одни только маленькие ручейки, как летом, теперь с шумом неслись бурные потоки.

Наконец он добрался до леса, который и был целью его похода, и осторожно вступил в его пределы, стараясь восстановить в памяти все обстоятельства катастрофы. Легко себе представить, что все то, что он там видел и припоминал, не могло привести его ни к каким выводам, кроме тех, которые он сделал тогда еще под непосредственным впечатлением страшного события. И вот «со вздохом тяжким и со стоном» наш бедный Домини завершил свое бесплодное странствие и устало поплелся обратно в Вудберн, задавая своей смятенной душе один и тот же вопрос, который подсказывало ему довольно сильное чувство голода, а именно — завтракал он утром или нет? В этом хаосе чувств и воспоминаний, думая то о потере ребенка, то вдруг устремив мысли на столь далекие от всего этого предметы, как говядина, хлеб и масло, он на обратном пути свернул в сторону от дороги, которой шел поутру, и незаметно очутился близ небольшой полуразрушенной башни, или даже, можно сказать, развалин башни, в месте, которое здешние жители называли Дернклю.

Читатель вспомнит описание этих развалин в двадцать седьмой главе нашего романа; под их сводами молодой Бертрам был свидетелем смерти одного из сподвижников Хаттерайка и нашел себе покровительницу в лице Мег Меррилиз. Уже один вид этих руин внушал страх, а местные легенды утверждали, что там водятся привидения; возможно, что цыгане, так долго жившие по соседству, придумали это сами и, во всяком случае, распространяли эти слухи ради собственной выгоды.

Говорили, что во времена независимости Гэллоуэя Хэнлон Мак-Дингауэй, брат правившего страной Кнарта Мак-Дингауэя, убил брата своего, госу-

даря, и хотел захватить власть, принадлежавшую по праву малолетнему племяннику. Верные союзники и слуги убитого короля, которые стали на сторону законного наследника, преследовали убийцу своей местью, и он вынужден был с немногочисленной свитой, соучастниками его заговора, бежать и скрыться в неприступной крепости, носившей название Дернклюйской башни. Там они и защищались, пока их не одолел голод. Тогда они подожгли здание, а сами предпочли погибнуть от собственных мечей, лишь бы не сдаться своим заклятым врагам. Случилось это очень давно. В основе этого трагического события, может быть, и лежала какая-то правда, но потом все переплелось с легендами, в которых было столько веры в нечистую силу и самого фантастического вымысла, что крестьяне из ближайших деревень в вечернее время всегда рады бывали идти дальней обходной дорогой, лишь бы не проходить мимо этих зловещих стен. По ночам возле башни нередко загорались огни, так как место это не раз служило убежищем для разного рода подозрительных людей. Огни эти тоже считались колдовским наваждением; бандитам это было на руку, а местные жители считали такое объяснение вполне правдоподобным.

Надо сказать, что наш друг Сэмсон, хоть он и был человеком начитанным, да к тому же еще и математиком, все же не достиг в изучении философии тех глубин, когда существование призраков и могущество колдунов берется под сомнение. Рожденный в век, когда не верить в ведьм значило в глазах людей то же самое, что оправдывать их нечистые деяния, Домини сжился с этими легендами и верил в них так же свято, как верил в бога; усомниться в том и другом для него было одинаково трудно. Подобного рода чувства и привели к тому, что, когда в этот туманный день, уже склонявшийся к вечеру, Домини Сэмсон проходил мимо Дернклюйской башни, им овладел вдруг какой-то безотчетный страх.

Каково же было его изумление, когда, подходя к двери, которую навесил там, по преданию, один из последних лэрдов Элленгауэнов, чтобы ни одному

путнику не вздумалось зайти в это проклятое место, и которую постоянно держали на замке, спрятав ключ от него в приходской церкви, Домини увидел, что дверь, та самая дверь вдруг распахнулась и фигура Мег Меррилиз, столь хорошо ему знакомая, но нигде не появлявшаяся в продолжение стольких лет, предстала перед его изумленным взглядом! Она выросла прямо перед ним на тропинке, так что он никак не мог обойти ее, — он мог только повернуть назад, но его мужское достоинство этому воспротивилось.

— Отыди! — сказал Домини в испуге. — Отыди. *Conjuro te scelestissima — nequissima — spurcissima — iniquissima — atque miserrima — conjuro te!*¹

Мег устояла против этого страшного потока пресвосходных степеней, которые Сэмсон, казалось, извергал из необъятных глубин своего чрева и обрушивал на нее как раскаты грома.

— Что он, с ума, что ли, спятил со всеми своими трескучими заклинаниями? — сказала она.

— *Conjuro*, — продолжал Домини, — *abjuro*, *conp-
testor*, *atque viriliter empero tibi.*²

— И напугал же тебя, видно, дьявол, что ты такую тарабарщину понес! От нее ведь собака, и та сдохнет! Слушай, пустомеля ты этакий, что я тебе говорю, а не то до самой могилы жалеть будешь! Так вот, иди и скажи полковнику Мэннерингу: она, мол, знает, что он ее ищет. И он знает, и я знаю, что кровь кровью смоеся и потерянное найдется,

И право Бертрамово верх возьмет
На хребтах Элленгауэнских высот.

На, вот ему письмо; я хотела ему через другого послать, сама я писать не умею, но у меня есть кому и писать, и читать, и ехать, и скакать за меня. Скажи ему, что час пробил, судьба свершилась и колесо

¹ Преступнейшая, негоднейшая, нечистойшая, враждебнейшая и презреннейшая, заклинаю тебя! (лат.)

² Заклинаю тебя, призываю тебя, настоятельно тебе приказываю (лат.).

повернулось. Пусть он теперь на звезды глянет, как в былое время глядел. Запомнишь?

— Говорю тебе, что знать ничего не знаю, — сказал Домини. — Слова твои приводят душу мою в смущение, а тело в трепет.

— Никакого они тебе зла не сделают, а польза от них, может, большая будет.

— Отыди! Не хочу я никакой пользы, которая нечистым путем приходит.

— Дурак ты, вот ты кто! — сказала Мег в негодовании; она нахмурила брови, и глаза ее засверкали, как горящие уголья. — Дурак! Неужели ты думаешь, что, если бы я тебе зла хотела, я не могла бы тебя с этого утеса вниз спихнуть? И о твоей смерти не больше бы узнали, чем о смерти Фрэнка Кеннеди. Понял ты это, пугало огородное?

— Ради всего святого, — сказал Домини, отступая назад и наставляя на колдунью свою трость с оловянным набалдашником, как будто это было копье, — ради всего святого убери руки! Не придется тебе, негодяйка этакая, меня схватить, убирайся отсюда, если тебе жизнь дорога! Уходи, говорю, у меня хватит сил за себя постоять. — Но на этом слове речь его оборвалась. Мег, обладавшая поистине необыкновенной силой (как потом уверял Домини), отвела удар трости и втащила его в помещение так же легко, «как я бы унес атлас Китчена».

— Садись вот тут, — сказала она, крепко встряхнув нашего еле живого проповедника и водворив его на сломанную табуретку, — садись и отдышись теперь да с мыслями соберись, церковная галка. У тебя что, сегодня постный или скоромный день?

— Постный, да только все одно грешный, — ответил Домини, к которому вернулся дар речи. Заметив, что его заклинания только разозлили несговорчивую колдунью, он решил, что лучше будет притвориться ласковым и послушным, а заклинания твердить про себя; вслух он теперь их больше не осмеливался произносить.

Но, так как наш добрый Домини никак не мог уследить за двойным ходом своих мыслей, отдельные

слова его внутреннего монолога невольно произносились вслух, вклиниваясь неожиданным образом в его разговор со старухой, и каждый раз пугали Домини; бедняга боялся, чтобы, услышав какое-нибудь нечаянно вырвавшееся слово, колдунья не рассвирепела еще больше.

Меж тем Мег подошла к стоявшему на огне большому чугунному котлу, открыла крышку, и по всему помещению распространился удивительно вкусный запах. Он сулил нечто более соблазнительное, чем то варево, которое, как утверждают повара, обычно кипит в котле ведьм. Это был запах тушившихся зайцев, куропаток, тетерок и прочей дичи, смешанной с картофелем и щедро приправленной луком и пореем. Судя по размерам котла, все это готовилось не меньше чем человек на шесть.

— Так, значит, ты ничего сегодня не ел? — спросила Мег. Она положила порядочную порцию этого диковинного рагу в глиняную плошку, посолила его и поперчила.

— Ничего, — отвечал Домини, — *scelestissima*,¹ то есть добрая хозяйшка.

— На вот, ешь, — сказала она, пододвигая ему плошку, — согрейся.

— Да я не голоден, *malefica*,² я хотел сказать — миссис Меррилиз! — На самом деле он говорил про себя: «Пахнет действительно вкусно, но ведь варила-то это месиво Канидия или Эриктоя».

— Если ты сейчас же не станешь есть, чтобы сил набраться, я тебе все вот этой корявой ложкой прямо в глотку запихаю; все равно, хочешь не хочешь, открывай рот, грешная твоя душа, и глотай!

Сэмсон, боясь, что его накормят глазами ящерицы, лягушачьими лапками, внутренностями тигра и тому подобными яствами, сначала решил не притрагиваться к угощению, но от запаха тушеного мяса у него потекли слюнки, и упорство его поколебалось. Угрозы

¹ Преступнейшая (лат.).

² Злодейка (лат.).

старой ведьмы окончательно сломили его сопротивление, и он взялся за еду. Голод и страх — самые убедительные проповедники.

«И Саул ведь пировал с Эндорской волшебницей», — подсказывал ему Голод. «Солью посыпано, значит это не колдовская еда: колдуньи — те никогда ничего солить не станут», — добавил Страх. «Да к тому же, — сказал Голод, отведав первую ложку, — это вкусное и сытное блюдо».

— Ну что, тебе мясо нравится? — спросила хозяйка.

— Да, нравится, — отвечал Домини, — спасибо тебе большое, *sceleratissima!*¹ Я хотел сказать — миссис Маргарет.

— Ладно, ешь на здоровье; кабы ты знал, как это все достается, у тебя, может быть, и охота бы пропала есть.

При этих словах Сэмсон выронил ложку с едой, которую подносил ко рту.

— Да, пришлось не одну ночь не поспать, чтобы все это добыть. Те, кому я обед сготовила, не очень-то о ваших охотничьих законах беспокоились.

«Только и всего? — подумал Сэмсон. — Ну, из-за этого я есть не перестану».

— А теперь ты, может быть, выпьешь?

— Да, выпью, — изрек Сэмсон. — *Conjuro te,*² то есть спасибо тебе от всего сердца.

А про себя он думал: «Сказал «а», так говори и «б». И он преспокойно выпил за здоровье старой ведьмы целую чарку водки. Завершив таким образом свою трапезу, он почувствовал, как сам потом рассказывал, «необыкновенную бодрость» и «всякий страх потерял».

— Ну, а теперь ты запомнишь мое поручение? — спросила Мег Меррилиз. — Я по твоим глазам вижу, что, пока ты здесь со мной посидел, ты уже другим человеком стал.

— Исполню, миссис Маргарет, — храбро отвечал

¹ Окаяннейшая! (лат.)

² Заклинаю тебя (лат.).

Сэмсон. — Я вручу полковнику запечатанное письмо и на словах передам все, что вашей душе угодно.

— Так вот, слушай, — ответила Мег, — передай ему, чтобы он сегодня ночью обязательно посмотрел на звезды и сделал то, о чем я его прошу в этом письме, если он верит,

Что право Бертрамово верх возьмет
На хребтах Элленгауэнских высот.

Я его два раза в жизни видела, а он меня ни разу; я помню, когда он в наших местах в первый раз был, и знаю, что его сюда теперь привело. Ну, вставай живее, ты уж и так тут засиделся. Иди за мной!

Сэмсон последовал за старой сивиллой, и та провела его с четверть мили лесом по кратчайшей дороге, которую он один ни за что не нашел бы; потом они вышли в поле, причем Мег по-прежнему шла впереди большими шагами, пока они не добрались до вершины холмика, возвышавшегося над дорогой.

— Постой здесь, — сказала она, — погляди, как закат пробивается сквозь тучу, что целый день небо заволакивала. Погляди, куда упали первые лучи: они осветили круглую башню Донагилда, самую древнюю башню Элленгауэнского замка, и это не зря! Смотри, как темно на море, там, где лодка стоит в заливе, и это тоже неспроста. Тут вот я стояла, на этом самом месте, — сказала она, выпрямившись во весь свой необыкновенный рост и вытянув вперед длинную жилистую руку со сжатым кулаком, — вот здесь я стояла, когда я предсказала последнему лэрду Элленгауэну все, что стрясется над его домом. И разве не рухнул дом? И хуже еще случилось. И теперь на том самом месте, где я сломала над его головой жезл мира, я стою и молю господу: да благословит он настоящего наследника Элленгауэна, который скоро вернется в родной дом, и да ниспошлет он ему счастье! Он будет самым добрым лэрдом, которого за триста лет видели земли Элленгауэна. Я, может быть, до этого уже не доживу; но, когда мне закроют глаза, много еще останется открытых глаз, и они увидят. А теперь слушай

меня, Эйбл Сэмсон: если когда-нибудь тебе была дорога семья Элленгауэнов, беги с этим письмом к английскому полковнику, только торопись и помни, что от тебя теперь зависит жизнь и смерть!

С этими словами она покинула пораженного Домини и большими быстрыми шагами пошла назад, скрывшись в том самом лесу, из которого они вышли. Это было как раз там, где лес этот глубже всего вдавался в поле. Сэмсон в крайнем изумлении глядел ей вслед, а потом бросился исполнять ее приказание. Он понесся в Вудберн с быстротой, которая ему никогда не была свойственна, и дорогой трижды вскрикнул: «Удивительно! Удивительно! У-ди-ви-тель-но!»

Глава XLVII

...нет, не безумный
Вам это говорит, переспросите!
Я все опять дословно повторю.
Безумный обился б...

«Гамлет»

Когда Сэмсон появился в передней, дико озираясь по сторонам, навстречу ему вышла ожидавшая его экономка миссис Эллен — это была почтенная особа, исполненная к Домини того уважения, с которым в Шотландии всегда относятся к лицам духовного звания.

— Что это с вами такое, мистер Сэмсон, на вас просто лица нет!.. Да вы совсем извели себя своими постами, для желудка ничего нет вреднее. Хоть бы вы мятных лепешек с собой взяли или велели Барнсу для вас сандвич сделать.

— Отыди, — произнес Домини, весь еще под впечатлением разговора с Мег Меррилиз, и направился в столовую.

— Нет, туда не ходите, уже час, должно быть, как все отобедали, а сейчас полковнику туда вино подали. Зайдите ко мне, у меня для вас хороший кусочек мяса припасен, повар его мигом поджарит.

— Ehorciso te,¹ — сказал Сэмсон, — то есть я пообедал.

— Пообедали! Не может быть. У кого же вы могли пообедать, раз вы ни к кому не ходили?

— У самого Вельзевула, — сказал Домини.

— Ну, ясное дело, его околдовали, — сказала экомка, больше уже не удерживая Сэмсона, — его околдовали, или он просто рехнулся. Теперь только полковнику с ним справиться в пору! Господи, беда-то какая, вот до чего ученье людей доводит! — И, продолжая причитать, она ушла к себе.

Предмет ее сетований вошел тем временем в столовую и несказанно поразил присутствующих своим видом. Он был весь в грязи; лицо его, и всегда-то бледное, теперь, после перенесенных ужасов, волнений и усталости, осунулось, как у мертвеца.

— Да что с вами такое, Сэмсон? — спросил Мэннеринг, заметив, что мисс Бертрам не на шутку обеспокоена состоянием своего простодушного, но верного друга.

— Ehorciso, — сказал Домини.

— Что? — воскликнул изумленный полковник.

— Извините меня, сэр, но моя голова...

— Совсем уж, кажется, помутилась. Прошу вас, мистер Сэмсон, придите в себя и расскажите, что все это значит.

Сэмсон собирался было ответить, но, так как на языке у него все время вертелись одни только латинские заклинания, он почел за благо, не говоря ни слова, сунуть полковнику в руку клочок бумаги, полученный им от цыганки; полковник распечатал письмо и с удивлением прочел его.

— Это кто-то подшутил над вами, да к тому же довольно глупо.

— Тот, кто мне его дал, никакой не шутник.

— А кто же это такой? — спросил Мэннеринг.

Во всем, что сколько-нибудь касалось мисс Бертрам, Домини нередко становился и разборчивым и осторожным. Так и теперь, когда он припомнил все

¹ Заклинаю тебя (лат.).

печальные обстоятельства, связанные с именем Мег Меррилиз, он взглянул на молодых девушек и умолк.

— Мы сейчас к вам чай пить придем, Джулия, — сказал полковник. — Я вижу, что мистер Сэмсон хочет поговорить со мной наедине. Ну вот, они ушли. Скажите же мне теперь, ради бога, мистер Сэмсон, что все это значит?

— Может быть, это послание небес, но дала мне его служанка Вельзевула. Это та самая Мег Меррилиз, которую еще двадцать лет тому назад надо было сжечь, как шлюху, воровку, ведьму и цыганку.

— А вы уверены, что это она? — с любопытством спросил полковник.

— Как же не быть уверенным, сэр? Разве такую забудешь? Другой Мег, пожалуй, и в целом свете не сыскать.

Полковник начал быстро расхаживать взад и вперед по комнате; он все раздумывал: «Послать, чтобы ее арестовали? Но до Мак-Морлана скоро не добраться, а сэр Роберт — старый колпак; к тому же, может быть, ее уже и след давно простыл, или она снова будет молчать, как тогда. Нет, пусть уж лучше меня дураком считают, а я все-таки поступлю так, как она говорит. Из их племени многие ведь сначала людей обманывали, а кончали тем, что становились настоящими фанатиками своего суеверия или пребывали где-то на грани правды и лжи и вели себя столь непонятно, что никак нельзя было сказать, обманывают ли они себя самих или кого другого.

Да, но мне-то, во всяком случае, ясно, что я должен делать, и если все мои усилия окажутся бесплодными, то мне не придется упрекать себя в том, что я перемудрил».

Тут он позвонил и, вызвав Барнса к себе в комнату, отдал ему какое-то распоряжение, о котором читатель узнает позднее. Теперь же нам предстоит рассказать другое приключение, которое должно быть внесено в историю этого замечательного дня.

Чарлз Хейлзвуд не решался наведываться в Вудберн, пока полковник был в отъезде. Действительно, всем своим поведением Мэннеринг дал понять, что это

было бы ему неприятно, а влияние, которое оказывал на Чарлза полковник, сочетавший в себе воинские доблести с учтивостью джентльмена, было так велико, что молодой человек ни за что на свете не решился бы его огорчить. У него создалось впечатление, что Мэннеринг, вообще говоря, одобряет увлечение его мисс Бертрам. Но он в то же время отлично понимал, что между ними не должно быть никаких тайных отношений, хотя бы потому, что это не понравилось бы его родителям, а уважение к Мэннерингу и благодарность за его великодушие и за все заботы о мисс Бертрам не позволяли ему преступить те преграды, которые полковник поставил между ним и Люси. «Нет, — решил он, — я не позволю себе нарушить покой Люси до тех пор, пока она живет в доме полковника и я не имею возможности предоставить ей свой собственный кров».

Приняв это мужественное решение, которому он не хотел изменять, несмотря на то, что его конь, следуя старой привычке, поворачивал голову в сторону Вудберна, и несмотря на то, что ежедневно ему два раза приходилось проезжать мимо имения, Чарлз Хейзлвуд и в этот день сумел противостоять сильному желанию заехать туда, хотя бы просто для того, чтобы узнать, как чувствуют себя молодые леди и не нуждаются ли они в отсутствие полковника в его помощи. Но, когда он проезжал мимо Вудберна во второй раз, искушение оказалось настолько сильным, что он решил, что больше подвергаться ему не стоит. Поэтому, удовлетворившись тем, что послал в Вудберн приветы, пожелания и проч., он решил нанести давно обещанный визит одному семейству, жившему неподалеку, и на обратном пути рассчитать время так, чтобы одним из первых приветствовать Мэннеринга по его возвращении из долгого и нелегкого путешествия в Эдинбург. Он поехал в гости, и когда через несколько часов ему удалось узнать, что полковник вернулся, он стал прощаться с друзьями, у которых провел это время, с тем чтобы пообедать уже в Вудберне, где он всегда себя чувствовал как дома. Он уверил себя (и думал об этом, вероятно, гораздо больше, чем следовало бы), что так будет естественнее и проще.

Но судьба, на которую столь часто жалуются влюбленные, на этот раз не благоволила Чарлзу Хейзлвуду. Хозяйка дома, где он гостил, долго оставалась у себя в комнате и к завтраку вышла поздно. Приятель его хотел обязательно показать ему щенков, которых утром принесла его любимая легавая; они были разных мастей, и между приятелем Хейзлвуда и псарем возник спор насчет того, кто из кобелей был их отцом. Хейзлвуд должен был сказать по этому поводу свое слово, и от него зависело, каких из этих щенков утопить и каких оставить. Да и сам лэрд надолго задержал нашего влюбленного, весьма пространно рассказывая ему о своих планах устройства проезжей дороги, которые он просил его по приезде изложить сэру Роберту Хейзлвуду. К стыду молодого Хейзлвуда следует заметить, что, выслушав в десятый раз все его доводы, он все же никак не мог понять, в чем заключается преимущество предложенной лэрдом дороги, которая должна была проходить через Лэнгхерст, Уиндино, Гудхауз-парк, Хейлзикрофт, затем пересечь речку в Саймонспуле и продолжаться в направлении Кипплтрингана, и чем была хуже другая дорога, предложенная английским землемером, — дорога эта должна была пройти через главную усадьбу Хейзлвуда и пересечь ее в расстоянии около мили от дома и, как старался уверить его лэрд, неизбежно нарушила бы уединенную красоту этих мест.

Короче говоря, словоохотливый лэрд (интересы которого требовали, чтобы мост был построен возможно ближе к одной из его ферм) безуспешно старался привлечь к этому вопросу внимание молодого Хейзлвуда, пока он вдруг случайно не упомянул, что проект дороги был одобрен «этим самым Глоссином», который хотел, чтобы все делалось по его указке. Услыхав это имя, Хейзлвуд сразу насторожился и стал внимательно слушать. Поняв наконец, какую именно дорогу отстаивал Глоссин, он уверил старого лэрда, что если отец его и остановит свой выбор на другой, то это будет не по его вине.

Но все эти дела заняли целое утро. Хейзлвуд сел на коня по меньшей мере часа на три позже, чем собирался, и, проклиная дамские туалеты, легавых, щенков и парламентские дорожные законы, увидел, что все это его надолго задержало и являться в столь неурочный час в Вудберн было бы уже не деликатно.

Едва только он миновал поворот дороги на Вудберн, голубоватый дымок которого вился по светлому фону вечеряющего зимнего неба, как ему показалось, что он видит Домини, идущего лесною тропинкой по направлению к дому. Он окликнул его, но напрасно: наш добрый Домини и в обычное-то время никогда не обращал особенного внимания на все, что творилось вокруг; теперь же, только что расставшись с Мег Меррилиз, он глубоко погрузился в свои мысли, перебирая в уме ее прорицания, и не слышал оклика Хейзлвуда. Поэтому Чарлзу не удалось ни расспросить его о здоровье молодых девушек, ни задать ему какой-нибудь хитрый вопрос, на который мог бы последовать ответ с упоминанием имени мисс Бертрам. Теперь уже некуда было спешить, и, отпустив поводья, он позволил лошади свободно взбираться между двумя высокими холмами, по крутой песчаной тропинке, которая, поднимаясь все выше и выше, привела его к месту, откуда открывалась широкая панорама окрестностей.

Но Хейзлвуду, однако, было вовсе не до того, чтобы наслаждаться видом. Не думал он и о том, что чуть ли не все расстилавшиеся перед ним земли принадлежали его отцу и должны были потом достаться ему. Он продолжал путь, не сводя глаз с вившегося над лесом дымка и продолжая поворачивать голову назад в сторону Вудберна, хотя теперь это было уже трудно. Из этой задумчивости его вывел чей-то голос, чересчур низкий для женщины и слишком пронзительный для мужчины:

— Чего это ты так запоздал? Другие, что ли, должны за тебя дела делать?

Он поднял глаза: перед ним стояла женщина огромного роста; голова ее была повязана большим платком, из-под которого змейками выбивались седоватые волосы; одета она была в длинный красный плащ и в руках держала палку с заостренным концом. Одним

словом, это была Мег Меррилиз. Хейзлвуд видел ее необыкновенную фигуру впервые. В изумлении он натянул поводья и остановил лошадь.

— А я вот говорю, — продолжала она, — что тот, кому дороги Элленгауэны, и глаз сегодня сомкнуть не должен; трое тебя сегодня искали и найти не могли, а ты, оказывается, домой спать отправляешься. Ужели ты думаешь, что, коль с братом что стрясется, сестре покойнее будет? Ну, уж нет, этому не бывать!

— Я не могу понять, о чем ты, тетка, говоришь; если это о мисс... я хочу сказать — о ком-то из прежних Элленгауэнов, то скажи мне, что я должен сделать.

— Как это из прежних Элленгауэнов? — резко переспросила старуха. — Откуда это взялись прежние Элленгауэны? Разве были какие-нибудь Элленгауэны кроме тех, которые зовутся славным именем Бертрамов?

— Но что же это все значит, добрая женщина?

— Никакая я не добрая, вся округа знает, что я злая, и все могут только пожалеть об этом вместе со мной. Но зато я такое могу сотворить, что ни одной доброй на ум не придет, такое, что у тех, кто привык всю жизнь в горницах сидеть, да люльки качать, да за детишками ходить, вся кровь похолодеет. Слушай же, что я говорю! Твой отец приказал перевести караул из таможни, что в Портанферри, в замок Хейзлвуд; он решил, что контрабандисты собираются сегодня ночью напасть на замок. Никому это и в голову не придет. Он человек благородный, обходительный, ну да всё одно... какой бы он ни был, никто против него не пойдёт, вот и весь сказ. Отошли-ка ты солдат назад на старое место, только сделай это осторожно и шуму не поднимай, и вот увидишь: ночью им сегодня там работы хватит. Дай только луне взойти — и ружья запалят и шпаги засверкают.

— Боже милосердный, что же это такое? И слова твои и твой вид говорят за то, что ты рехнулась, но во всем этом есть какая-то странная связь.

— Ничуть я не рехнулась! — воскликнула цыганка. — Меня ведь и в тюрьму сажали, говорили, что я не в своем уме, били за это же и потом в изгнание

отправили, да только ничуть я не рехнулась. Скажи-ка, Чарлз Хейзлвуд из Хейзлвуда, осталось у тебя зло к тому, кто тебя ранил?

— Нет, боже сохрани; плечо у меня зажило, и я с самого начала говорил, что выстрел этот был чистой случайностью. Я хотел бы сам ему об этом сказать.

— Тогда делай все, как я тебе скажу, — сказала Мег Меррилиз, — и ему от тебя больше добра будет, чем он тебе зла причинил. Ведь если он лиходеям в руки попадет, так те живо его прикончат или совсем отсюда увезут. Но есть господь над нами! Сделай же, как я тебе говорю: отправь солдат сегодня же в Портанферри. Замку Хейзлвуд никакой беды не грозит.

И быстро, как всегда, Мег исчезла.

Весь облик этой женщины и смесь одержимости и воодушевления в ее словах и жестах неминуемо производили сильнейшее впечатление на всех, с кем она говорила. Речь ее, как бы дико она ни звучала, была слишком проста и понятна, чтобы думать, что старуха сошла с ума, и вместе с тем своей порывистостью и странностью была не похожа на речь обыкновенного человека. Казалось, что она действовала под влиянием силы воображения, которое было до крайности возбуждено, но отнюдь не расстроено. Просто удивительно, как эта разница всегда бывает ощутима для слушателя. Этим и объясняется, почему ее странные и таинственные вещания всегда выслушивались и выполнялись беспрекословно. Во всяком случае, ее неожиданное появление и властный голос произвели на молодого Хейзлвуда самое сильное впечатление. Он поспешно поскакал домой. Тем временем уже стемнело, и, подъехав к дому, он увидел нечто подтверждавшее слова старой сивиллы.

Под навесом стояло тридцать драгунских лошадей, связанных одна с другой поводьями. Человека четыре солдат стояли на часах, а остальные в своих тяжелых сапогах расхаживали возле дома взад и вперед; все они были вооружены саблями. Хейзлвуд спросил у унтер-офицера, откуда он прибыл.

— Из Портанферри.

— А там осталась еще стража?

— Нет, все были отозваны оттуда приказом сэра Роберта Хейзлвуда для защиты замка от контрабандистов.

Чарлз Хейзлвуд незамедлительно отправился к отцу и, поздоровавшись с ним, спросил, зачем ему понадобилось посылать за военным караулом. Сэр Роберт в ответ уверил сына, что «сообщения, донесения и сведения», которые он получил, заставляют его с полным основанием «думать, считать и полагать, что сегодня ночью контрабандисты, цыгане и разные другие бандиты предпримут и совершат нападение на замок Хейзлвуд».

— А скажите, отец, — спросил Чарлз, — почему же эти люди собираются обрушить весь свой гнев именно на наш дом, а не на какой другой?

— При всем моем уважении к твоим знаниям и к твоей проницательности я все же думаю, считаю, полагаю, — отвечал сэр Роберт, — что в таких случаях и положениях месть подобного рода проходимцев направляется, устремляется на людей самых выдающихся, именитых, знатных, благородных, которые мешали, препятствовали, противодействовали их бесстыдным, беззаконным и преступным деяниям и поступкам.

Молодой Хейзлвуд, знавший слабую струнку своего отца, ответил, что хоть он и расценивал положение вовсе не с этой точки зрения, он представить себе не может, чтобы вдруг кто-нибудь задумал напасть на замок, где столько слуг и откуда так легко дать сигнал соседям и получить от них сильное подкрепление. Он добавил, что опасается, не пострадает ли доброе имя Хейзлвудов. Ведь, отзывая из таможни солдат, чтобы защитить свой дом, они тем самым показывают, что недостаточно сильны и не могут сами отразить разбойников. Он даже дал отцу понять, что стоит только врагам Хейзлвуда провести об этих излишних мерах предосторожности, как ему прохода не будет от их насмешек. Последнее замечание немало смутило сэра Роберта Хейзлвуда. Как почти все тугодумы, он больше всего боялся показаться смешным. Он постарался напустить на себя важный вид, плохо скрывавший, однако, его замешательство; видно было, что он хочет

показать свое презрение к молве, которая в действительности его очень страшила.

— Право, мне думается, — сказал он, — что покушение, жертвой которого сделался ты, как наследник и как представитель фамилии Хейзлвудов, было не чем иным, как покушением на мой дом... Так вот, я считаю, что одно это уже может явиться в глазах большинства достойных уважения людей достаточным оправданием тех мер предосторожности, которые я принял, чтобы ничто подобное повториться не могло.

— Знаете, сэр, — сказал Чарлз, — я еще раз вам повторяю: выстрел произошел совершенно случайно, я в этом убежден.

— Никакой случайности тут не было, — гневно возразил старик, — ты просто хочешь казаться умнее старших.

— Да, но в том, что так близко касается меня самого...

— Тебя это совсем не так уж близко касается, то есть вовсе не касается тебя, молокососа, который любит во всем перечить отцу, но это касается всей страны, да, всего графства, и всего народа, и шотландского королевства, поелику здесь затронуты, и задеты, и оскорблены интересы всего рода Хейзлвудов, и все это из-за тебя, да. Преступник сейчас находится под надежной охраной, и мистер Глоссин думает...

— Глоссин?

— Да, тот джентльмен, который купил имение Элленгауэн; ты его, должно быть, знаешь?

— Да, знаю, — ответил Чарлз, — но я никак не ожидал, сэр, что вы будете опираться на такой сомнительный авторитет. Все на свете знают, что это низкий, бесчестный мошенник; да боюсь, что и еще того хуже. А сами-то вы разве когда-нибудь раньше называли его джентльменом?

— Конечно, Чарлз, я и не называю его джентльменом в самом прямом и настоящем смысле слова, но я употребляю это слово, желая сказать, что он сумел возвыситься и достичь... словом, просто чтобы подчеркнуть, что это богатый, порядочный и даже почтенный человек.

— Позвольте теперь спросить вас, по чьему же приказанию был отозван караул из Портанферри?

— Я думаю, что мистер Глоссин не только не осмелился бы отдавать приказания, но даже и высказывать свое мнение, не будучи спрошен, в таком деле, которое так близко касается и замка Хейзлвуд и замковых Хейзлвудов, разумея под первым дом, в котором живет моя семья, а под вторыми — в целом, иносказательно и метафорически — самую семью, в деле, которое, я говорю, так близко касается и самого замка Хейзлвуд и всех Хейзлвудов, живущих в замке.

— Но все же, сэр, насколько я могу судить, Глоссин одобрил эту меру?

— Сын мой, — ответил баронет, — как только известие о предполагаемом нападении достигло моего слуха, я счел нужным, уместным и своевременным посоветоваться с ним, как с ближайшим представителем судебной власти, и хотя, уважая и почитая меня и учитывая разницу нашего положения, он отказался сам подписать вместе со мной этот приказ, он тем не менее целиком и полностью его одобрил.

В это мгновение послышался громкий топот лошадиных копыт, все ближе и ближе. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел мистер Мак-Морлан.

— Я очень прошу вас извинить меня, сэр Роберт, я вам помешал, но...

— Милости просим, мистер Мак-Морлан, — сказал сэр Роберт, весь расцветая в приветливой улыбке, — вы никогда никому не можете помешать, потому что ваше положение помощника шерифа обязывает вас следить за порядком в графстве (а сейчас вы, должно быть, особенно озабочены безопасностью замка Хейзлвуд), и у вас есть безусловное, и всеми признанное, и неотъемлемое право явиться без приглашения в дом к самому высокопоставленному джентльмену в Шотландии — по той простой причине, что этого требует ваш служебный долг.

— Действительно, это мой служебный долг заставил меня помешать вашей беседе, — сказал Мак-Мор-

лан, который с нетерпением ждал, когда он наконец получит возможность вымолвить слово.

— Вы никому не помешали, — еще раз повторил баронет, приветливым жестом приглашая его садиться.

— Позвольте мне сказать вам, сэр Роберт, — обратился к нему помощник шерифа, — что я приехал не с тем, чтобы здесь оставаться, но чтобы отправить этих солдат в Портанферри; и заявляю вам, что всю ответственность за ваш замок я беру на себя.

— Как, увести караул из замка Хейзлвуд, — воскликнул неприятно удивленный баронет, — и вы будете за это отвечать! А разрешите спросить вас, кто вы такой, сэр, чтобы я мог принять ваше поручительство, официальное или неофициальное, в качестве залога, обеспечения, гарантии безопасности замка Хейзлвуд? Я думаю, сэр, и полагаю, сэр, и считаю, сэр, что, если кто-нибудь заденет, или попортит, или повредит хотя бы один из этих фамильных портретов, вам очень трудно будет возместить мне его потерю с помощью поручительства, которое вы так любезно мне предлагаете.

— Я буду крайне огорчен, если это случится, сэр Роберт, — ответил прямодушный Мак-Морлан, — но только у меня не будет повода сожалеть о том, что поступок мой послужил причиной столь невознаградимой утраты; могу вас уверить, что никакого покушения на замок Хейзлвуд не готовится и, по имеющимся у меня сведениям, слух об этом был пущен специально для того, чтобы караул был удален из Портанферри. Будучи в этом твердо уверен, я должен своею властью шерифа и начальника местной полиции вернуть туда всех солдат, или, во всяком случае, большую их часть. Мне очень жаль, что, из-за того что случайно меня здесь не было в это время, произошла задержка и теперь мы прибудем в Портанферри только ночью.

Так как Мак-Морлан занимал в суде положение более высокое, чем баронет, и решение его было непоколебимо, Роберту Хейзлвуду оставалось только сказать:

— Превосходно, сэр, превосходно. Вот именно, сэр, заберите их всех, сэр. Я не собираюсь здесь никого

оставлять. Мы сами себя защитить сумеем. Но помните только, что сейчас, сэр, вы действуете на свой страх и риск, сэр, и на свою гибель, сэр; вы ответственны, сэр, за все, что стряется или случится с замком Хейзлвуд, сэр, или с его обитателями, и с мебелью, и с картинами, сэр.

— Я поступаю так, как мне подсказывает мой разум и те сведения, которыми я располагаю, сэр Роберт, — сказал Мак-Морлан. — Прошу это помнить и потому извинить меня. Имейте в виду, что время уже позднее, и разговаривать далее нам не придется.

Но сэр Роберт не стал слушать его извинений и тут же с большой торжественностью вооружил и расставил своих слуг. Чарлз Хейзлвуд очень хотел сопутствовать собиравшимся в Портанферри солдатам, которые тем временем сели уже на коней и построились под командой Мак-Морлана. Но он знал, что уехать в такую минуту, когда отец его считал, что и сам он и замок Хейзлвуд находятся под угрозой нападения, значило бы обидеть и огорчить старика. Поэтому молодой Хейзлвуд только глядел на все эти сборы из окна, подавив в себе негодование и сожаление, пока наконец Мак-Морлан не командовал: «Справа по два, равняйся на головного, рысью марш!» Тогда весь отряд двинулся вперед ровным и быстрым шагом. Вскоре всадники скрылись за деревьями, и слышен был только стук лошадиных копыт, который потом замер вдалеке.

Глава XLVIII

Пустили в ход мы ножи и ломы,
А кто и молотом грохотал,
И так вот сбили засов железный
Тюрьмы, где О'Кинмонт дни коротал.

Старинная баллада

Возвратимся в Портанферри к Бертраму и к его верному другу, ни в чем не повинным обитателям здания, воздвигнутого для преступного люда. Наш фермер спал там сном праведника.

Но Бертрам проснулся после первого глубокого сна задолго до полуночи и больше уже не мог забыться. Душа его была охвачена каким-то смутным беспокойством, тело сковано тяжестью. Его лихорадило. Должно быть, причиной этого был спертый воздух в крохотной комнатке, где они спали. Помучившись некоторое время в этой немыслимой духоте, он встал и попытался открыть окно, чтобы освежить воздух. Увы! Первая же попытка напомнила ему, что он в тюрьме, что здание это строилось с расчетом на безопасность, а не на удобства и что никому не было дела до того, каким воздухом дышат томящиеся в нем люди.

После этой неудачи он постоял еще немного у неподатливого окна. Маленький Шмель, несмотря на усталость после дневного пути, вылез из постели; стоя около хозяина, он терся своей лохматой шубкой об его ноги и ласковым ворчанием выражал радость по поводу того, что они снова вместе. И так вот, ожидая, пока его перестанет лихорадить и ему снова захочется улечься в теплую постель и забыться сном, Бертрам стоял и глядел на море.

Это был час самого сильного прилива, и волны с ревом подкатывались к зданию. Время от времени высокая волна достигала бруствера, защищавшего фундамент, и разбивалась о него с гораздо большей силой и шумом, чем те, что падали на песок.

Вдалеке, при рассеянном свете тусклой луны, которую то и дело заволакивали облака, сталкивались, громоздились друг на друга и катились вперед огромные волны океана.

«Какое дикое и мрачное зрелище, — подумал Бертрам, — совсем как приливы и отливы судьбы, которая с самого детства кидала меня по свету. Когда же настанет конец этой неприкаянной жизни и когда я обрету тихое пристанище, где спокойно, без страха и без волнений смогу заниматься мирным трудом, от которого меня столько раз отрывали? Говорят, что, доверившись воображению, человек может в ревущих волнах океана различить голоса морских нимф и тритонов. Что, если бы это удалось и мне, и сирена или Протей, выпрыгнув из пучины, распутали бы этот

странный клубок судьбы, до такой степени запутавший мою жизнь! Какой ты счастливый! — подумал он, взглянув на кровать, где возлежало мощное тело Динмонта. — Твои заботы ограничиваются тесным кругом здоровых и полезных занятий! Ты можешь оставить их, когда захочешь, и после своих дневных трудов спать сном праведника».

Но маленький Шмель неожиданно прервал его размышления; он начал отчаянно лаять и выть, пытаясь кинуться на окно. Лай этот достиг слуха Динмонта, но тот продолжал, однако, оставаться во власти сновидения, перенесшего его из-под этих мрачных сводов на родные зеленые поля.

— Эй, Ярроу, куси его, куси! — бормотал он, все еще воображая очевидно, что натравливает свою овчарку на какую-нибудь чужую скотину, забравшуюся к нему на пастбище.

Шмелю сердито вторил дворовый пес, который за всю ночь не издал ни звука, если не считать, что он немного повыл, когда взошла луна. Но теперь он лаял яростно, и разъярило его, по-видимому, нечто совсем иное, а никак не голос Шмеля, который первым подал знак тревоги. Нашему арестанту едва удалось успокоить собаку; она немного притихла, хотя все еще продолжала глухо ворчать.

Наконец Бертрам, который теперь уже смотрел во все глаза, увидел на море лодку и среди шума волн мог ясно различить плеск весел и голоса людей. «Наверно, какие-нибудь запоздавшие рыбаки, — подумал он, — или, может быть, контрабандисты с острова Мэн. Какие они, однако, смелые, если так близко подходят к таможне, где расставлен караул. Да, это большая лодка, целый баркас, и в нем полно народа; должно быть, он везет таможенных». Последнее предположение казалось самым вероятным, особенно когда Бертрам увидел, что лодка причалила к небольшой пристани за таможней и все гребцы — двенадцать человек — высадились оттуда на берег, тихонько пробираясь маленькими переулочками, отделявшими таможню от тюрьмы, и скрылись из виду; только двое остались сторожить лодку.

Плеск весел, а потом приглушенный говор людей на берегу взбудоражили четвероногого сторожа во внутреннем дворе тюрьмы, и его зычное гавканье перешло теперь в такой страшный вой, что проснулся его хозяин, сам напоминавший цепного пса. Он закричал из окна:

— Что там, Терум, такое, в чем дело? Цыц, тебе говорю, цыц!

Эти слова несколько не утомили Терума; он лаял теперь с таким неистовством, что хозяин уже не мог услыхать те подозрительные звуки, которые и растревожили свирепого сторожа. Но у дражайшей половины этого двуногого цербера слух был острее. Она тоже выглянула в окно.

— Ступай вниз, черт лысый, да собаку спусти, — сказала она. — Слышишь, в таможене дверь ломают. А этот старый хрен Хейзлвуд всю стражу отозвал. Да что ты за мокрая курица такая! — И отважная амазонка отправилась вниз, чтобы распорядиться всем самой, в то время как ее почтенный супруг, который куда больше боялся бунта в стенах тюрьмы, чем любой бури за ее пределами, пошел с обходом по камерам проверить, все ли они хорошо заперты.

Шум, о котором только что была речь, возник в передней части здания, и Бертрам не мог слышать его ясно, так как его комната, как мы уже говорили, помещалась в задней половине и выходила на море. Он услыхал, однако, какую-то возню, совсем необычную для тюрьмы, особенно в ночное время, и, сопоставив всю эту тревогу с неожиданным прибытием вооруженных людей в лодке, сразу решил, что готовится нечто необыкновенное. Поэтому он начал трясти Динмонта за плечо.

— А? А? Что? Эйли, жена, куда ты, рань такая, — бормотал наш горец сквозь сон. Но когда его потрясли покрепче, он поднялся, протер глаза и спросил: — Что случилось, скажите, ради бога?

— Не знаю, — сказал Бертрам, — либо пожар, либо что-то совсем необыкновенное. Не слышите вы, что ли, как дымом пахнет? А как двери по всей тюрьме хлопают! И голоса какие-то грубые слышны

и бормотание, да и за воротами тоже крик поднялся! Уверю вас, это что-то из ряда вон выходящее. Ради самого создателя, вставайте сейчас же и давайте пока подготовимся.

При мысли об опасности Динмонт вскочил так же отважно и бодро, как вскакивали его предки, когда в знак тревоги зажигался костер.

— Эх, капитан, что это за место такое: днем отсюда никуда не выпускают, а по ночам спать не дают. Я бы тут, кажется, и двух недель не высидел. Но, господи, что же там такое творится? Эх, жалко, огня у нас нет. Шмель! Шмель!.. Тише ты, тише, дружок. Давай-ка послушаем, что они там творят. Да замолчишь ты или нет, черт тебя дер!

Напрасно они рылись в золе, чтобы отыскать горячий уголек и зажечь свечу. Шум меж тем не смолкал. Динмонт, в свою очередь, подошел к окну.

— Боже ты мой, поглядите, капитан, что они наделали: таможенно-то взломали!

Бертрам поспешил к окну и увидел целую ватагу контрабандистов и других проходимцев всех мастей; одни из них несли зажженные факелы, другие тащили ящики и бочки по спуску прямо к стоявшему на причале баркасу, к которому теперь присоединились еще две или три рыбацкие лодки. Они грузили туда свои товары. Одна лодка с грузом уже ушла в море.

— Ну, ясно, в чем дело, — сказал Бертрам, — но я боюсь, что этим еще все не кончится. Слышите, как дымом пахнет; неужели это мне чудится?

— Какое там чудится! — ответил Динмонт. — Дымище-то какой валит. Черт возьми, если они таможенно спалят, так пламя и сюда перекинется, и мы с вами тут как просмоленные бочки сгорим. Страшное дело, чтоб ни за что ни про что живыми сожгли, ровно колдунов каких! Эй, Мак-Гаффог, ты что, слышишь? — крикнул он во весь голос. — Если жить тебе не надоело, открывай двери! Открывай, говорю!

В это время показалось пламя, и густые клубы дыма взвились перед окном, у которого стояли Бертрам и Динмонт. Дым этот густою пеленой застилал все вокруг, временами же, когда ветер стихал, выры-

вавшееся пламя внезапно освещало и берег и море, бросая яркие отсветы на угрюмые и жестокие лица контрабандистов, которые с невероятной быстротой грузили лодки. Но вот пожар охватил все здание, языки пламени вырывались из окон, ветер перебрасывал снопы искр на тюрьму, а все окрестности были скрыты густою завесой дыма. Неистовые крики оглашали воздух; невзирая на ночное время, к контрабандистам присоединились подонки местного населения; вся эта толпа волновалась и шумела; одни были кровно заинтересованы в том, чтобы удался грабеж, других же сюда влекла столь свойственная этим людям страсть к зрелищам и к суматохе.

Бертрам начал не на шутку беспокоиться о том, что станется с ними двоими. В доме все стихло; можно было подумать, что смотритель тюрьмы покинул свой пост и отдал и само здание и всех несчастных арестантов на растерзание пожару, который распространялся все дальше. Тем временем ворота тюрьмы загремели под ударами топоров и ломов и вскоре поддались натиску. Заносчивый Мак-Гаффоу оказался большим трусом и бежал вместе со своей неистовой супругой; его подчиненные сразу же отдали все ключи. Выпущенные на волю узники с дикими криками присоединились к тем, кто даровал им свободу.

В разгар всей этой тревоги главари контрабандистов с горящими факелами, вооруженные тесаками и пистолетами, кинулись к помещению, где сидел Бертрам.

— Der Deyvill! — воскликнул их старший. — Вот он!

Двое других тут же схватили Бертрама. Один из них, однако, успел шепнуть ему на ухо:

— Не сопротивляйтесь, пока не выйдете из тюрьмы. — Потом, улучив минуту, он сказал Динмонту: — Следуйте за вашим другом и помогайте ему, когда придет пора.

Динмонт, ничего толком не поняв, все же послушался и старался не отставать. Контрабандисты потащили Бертрама по коридору, вниз по лестнице во двор, теперь уже освещенный отблесками пламени, и вывели его через ворота на узенькую улочку, — там

в общей суматохе разбойники смешались с толпой. Неожиданно послышался топот быстро приближавшихся лошадей. Переполох от этого еще усилился.

— Hagel und Wetter! ¹ Это что значит? — крикнул их атаман. — Держитесь, ребята, вместе, за пленным хорошенько глядите!

Но, несмотря на это приказание, те двое, которые вели Бертрама, почему-то отстали от всех.

Спереди донесся шум схватки. Поднялся страшный переполох, причем одни старались защищаться, другие — бежать. Началась стрельба, и драгунские сабли засверкали над головами бандитов.

— А теперь, — шепотом сказал Бертраму человек, который вел его с левой стороны, — отделайся от другого — и за мной!

Бертрам рванулся вперед и сразу же освободился от руки своего правого конвоира, державшего его за ворот. Тот схватился было за пистолет, но был тут же повален на землю кулаком Динмонта, перед которым, вероятно, не устоял бы и бык.

— Сюда! Скорее! — сказал Бертраму его новый покровитель и шмыгнул в узенький и грязный переулок, который сворачивал на главную улицу.

Никто за ними не погнался. Внимание контрабандистов было устремлено на Мак-Морлана и его конный отряд, с которым им пришлось вступить в весьма неприятную схватку. Слышно было, как громкий, решительный голос шерифа приказывал:

— Всем посторонним, под страхом смерти, разойтись!

Отряд этот явился бы сюда раньше и успел бы предотвратить налет, если бы Мак-Морлан не получил в пути лживое донесение, что контрабандисты собираются высадиться вблизи замка Элленгауэн. Наведенный на этот ложный след, шериф потерял почти два часа времени. Легко предположить, что исходило оно от Глоссина — человека, особенно заинтересованного в удаче дерзкого ночного нападения; едва только узнав, что солдаты покинули Хейзлвуд, — а известие это мгно-

¹ Град и буря! (нем.)

венно долетело до его чуткого слуха, — он постарался сбмануть Мак-Морлана.

Тем временем Бертрам следовал за своим проводником, а Динмонт шел за ними. Крик толпы; топот лошадей, выстрелы из пистолетов — все это стало понемногу стихать: они добрались до самого конца темного переулка. Там их ждала карета, запряженная четверкой лошадей.

— Бога ради, ты здесь? — окликнул кучера наш проводник.

— А то где же? — раздался из темноты голос Джока Джейбоса. — Дай бог только поскорее ноги отсюда унести.

— Открывай дверцы, а вы оба садитесь; скоро вы будете в безопасном месте, — сказал незнакомец, обращаясь к Бертраму, — только не забудьте, что вы обещали цыганке!

Бертрам, готовый слепо довериться человеку, оказавшему ему такую неоценимую услугу, сел в карету; Динмонт последовал за ним. Шмель, который от них не отставал, впрыгнул туда же, и лошади понеслись.

— Вот это действительно престранное дело! — сказал Динмонт. — Ну, ладно, хоть бы только не вывалили нас. Но что же теперь станет с моим Дамплом, да благословит его господь! Будь тут хоть самого герцога карета, мне и то поспорее бы на нем верхом скакать.

Бертрам заметил, что если они и дальше поедут так быстро, то скоро придется менять лошадей, а добравшись до первого постоянного двора, они смогут потребовать, чтобы их либо оставили на ночлег, либо по крайней мере сказали им, куда их везут, и тогда Динмонт сможет распорядиться насчет своего коня, который, по всей вероятности, целый и невредимый стоит себе в конюшне.

— Ну-ну, хорошо, коли так. Эх, господи, только бы дали выбраться из этого гроба на колесах, а уж против воли нас никуда не загонят.

Не успел он вымолвить эти слова, как лошади круто повернули, и из левого окна наши путники увидели вдали деревню, все еще охваченную огнем: это горел

водочный склад, и яркое пламя высоким колыхающимся столбом поднималось к небу. Но долго любоваться этим зрелищем им не пришлось: лошади снова повернули, и карета выехала на узкую, обсаженную деревьями дорогу, по которой они продолжали теперь мчаться с прежнею быстротою, но уже в полной темноте.

Глава XLIX

Пить и петь нам во тьме вольнее,
Да и пиво ночью пьянее.

«Тэм О'Шентер»

Вернемся теперь в Вудберн, который, как читатель помнит, мы оставили сразу же после того, как полковник отдал какое-то распоряжение слуге. Когда Мэннеринг вернулся в гостиную, молодых девушек поразил его рассеянный вид. Он был задумчив и, казалось, чем-то обеспокоен. Но такого человека, как Мэннеринг, даже самые близкие не решились бы расспрашивать ни о чем. Настало время вечернего чая, и все молча сидели за столом, как вдруг к воротам подкатила карета и звук колокольчика возвестил о приезде гостей.

«Нет, — подумал Мэннеринг, — для них еще рано».

Через минуту Барнс, отворив двери гостиной, доложил о приезде мистера Плейдела. Адвокат вошел; его старательно вычищенный черный кафтан и густо напудренный парик, кружевные манжеты, коричневые шелковые чулки — словом, весь его туалет свидетельствовал о том, сколько старику пришлось потрудиться, для того чтобы блеснуть перед дамами. Мэннеринг сердечно пожал ему руку.

— Вас-то я как раз и хотел сейчас видеть, — сказал он.

— Я ведь обещал вам, — ответил Плейдел, — что при первой возможности приеду, и вот я рискнул на целую неделю оставить суд, и как раз теперь, когда там идут заседания, а это жертва с моей стороны немалая. Но я подумал, что, может быть, сумею вам быть полезным, и притом мне еще надо допросить здесь

одного человека. Однако я льщу себя надеждой, что вы меня представите молодым леди!.. Ну, одну-то я сразу бы узнал по фамильному сходству! Дорогая мисс Люси Бертрам, я так рад вас видеть. — И, обняв Люси, он крепко поцеловал ее в обе щеки. Молодая девушка залилась румянцем, но приняла его ласку покорно.

— *On n'arrête pas dans un si beau chemin*,¹ — продолжал веселый старик и, когда полковник представил ему Джулию, позволил себе с такою же легкостью расцеловать и ее. Джулия засмеялась, покраснела и постаралась освободиться из его объятий.

— Приношу тысячу извинений, — сказал адвокат с поклоном, изящным и отнюдь не профессиональным. — И мои годы и старинные обычаи дают мне кое-какие привилегии, и я даже не знаю, сожалеть ли мне о том, что у меня уже есть это право, или радоваться тому, что мне представился столь приятный случай им воспользоваться.

— Если вы будете говорить нам такие любезности, — со смехом сказала мисс Мэннеринг, — то, уверяю вас, мы начнем сомневаться, следует ли разрешать вам пользоваться вашими привилегиями.

— Вот это правильно, Джулия, — сказал полковник. — Могу тебя уверить, что мой друг, господин адвокат, человек опасный. Последний раз, когда я имел удовольствие его лицезреть, я застал его в восемь часов утра *tête-à-tête* с одной прелестной дамой.

— Да, но только знаете, полковник, — сказал Плейдел, — вам надо было бы добавить, что этой милостью, которую я снискал у дамы столь безупречного поведения, как Ребекка, я был обязан не столько моим личным достоинствам, сколько моему шоколаду.

— А ведь это мне напоминает, мистер Плейдел, что пора вас угостить чаем, разумеется если вы уже обедали.

— Я готов принять все, что угодно, из ваших рук, — ответил наш галантный юрист. — Да, я действительно обедал, то есть так, как можно пообедать на шотландском постоялом дворе.

— А значит, довольно скверно, — сказал полков-

¹ На такой чудесной дороге нельзя останавливаться (*франц.*).

ник и взялся за звонок. — Позвольте же мне что-нибудь заказать для вас.

— По правде говоря, — ответил Плейдел, — надобности в этом нет. Вопросом этим я уже успел заняться сам. Я немного задержался внизу, пока стаскивал свои ботфорты, такие широкие для моих бедных ног, — тут он не без самодовольства поглядел на свои конечности, которые для его возраста выглядели совсем неплохо, — и я успел потолковать с вашим Барнсом и очень сообразительной женщиной, должно быть экономкой; так вот, мы пришли к соглашению *tota re perspecta*¹ — извините меня, мисс Мэннеринг, за мою латынь—чтобы эта почтенная дама добавила к вашему обычному ужину блюдо более существенное: парочку диких уток. Я сообщил ей (и очень почтительно) кое-какие соображения насчет соуса, и они в точности сошлись с ее собственными. Поэтому, если вы позволите, я уж подожду, пока уток изжарят, и плотно закусывать не буду.

— А мы и все сегодня поужинаем пораньше, — сказал полковник.

— Извольте, — согласился Плейдел, — но только чтобы я из-за этого не лишился раньше времени общества дам; имейте в виду, что я не поступлюсь ни одной минутой. Я придерживаюсь мнения моего старого друга Бернета: я люблю соепа, как древние называли ужин, вкусные блюда и беседу за бокалом вина, очищающую наш мозг от той паутины, которую за день свивают в нем и наше уныние и все деловые заботы.

Непринужденный вид мистера Плейдела и спокойствие, с которым он сумел позаботиться об удовлетворении своих эпикурейских желаний, позабавили молодых леди и особенно мисс Мэннеринг, которая сразу же почтила адвоката своим вниманием и благосклонностью. А во время чая они наговорили друг другу столько любезностей, что я сейчас уже не имею возможности их все пересказать.

Сразу же после чая Мэннеринг увел адвоката в свой маленький кабинет возле гостиной. По вечерам там обычно топили камин и зажигали свечи.

¹ Приняв все во внимание (лат.).

— Я вижу, — сказал Плейдел, — что вы хотели сообщить мне кое-что насчет элленгауэнского дела. Какие же у вас вести, земные или небесные? Чем порадует меня мой закаленный в боях Альбумазар? Удалось ли вам с помощью ваших вычислений узнать грядущее? Советовались вы или нет с вашими эфемеридами, с вашим альмоходеном, с вашим альмутеном?

— Говоря по правде, нет, — ответил Мэннеринг, — и вы тот единственный Птолемей, к которому я намерен в настоящем случае обратиться. Подобно Просперо, я сломал свой жезл и закинул книгу в такие морские глубины, куда не достанет лот. И все же у меня есть важные новости. Эта цыганская сивилла, Мег Меррилиз, явилась сегодня нашему Домини и, насколько могу судить, перепугала его не на шутку.

— Что вы говорите?

— Да, и она оказала мне честь вступить со мной в переписку, считая, что я и теперь столь же глубоко посвящен в тайны астрологии, как и в тот день, когда мы с ней встретились впервые. Вот ее послание, которое мне принес Домини.

Плейдел надел очки.

— Ничего себе каракули, а буквы-то унциальные или полуунциальные, как иногда называют крупный круглый почерк, и так все похоже на ребра жареного поросенка! Тут не сразу и разберешь!

— Читайте вслух, — сказал Мэннеринг.

— Попробуем, — ответил адвокат и стал читать: — «Ищешь хорошо, а найти не можешь. Взялся подпирать дом, что рушится, забыл, видно, что сам жизнь ему предсказал. Далеко было, глазами видел, теперь близко стало, руку протяни. Пошли сегодня к десяти часам карету в Портанферри на Крукедайкскую улицу, и пусть кучер привезет в Вудберн тех, кто попросит его *бога ради*». Позвольте, а тут еще какие-то стихи:

И солнце взойдет,
И правда придет,
Если право Бертрамово верх возьмет
На хребтах Элленгауэнских высот.

В самом деле, таинственное послание, и кончается оно стихами, достойными кумской сивиллы. Так как же вы поступили?

— Что ж, — с видимой неохотой ответил Мэннеринг. — Мне было жаль упустить случай, который мог бы пролить свет на это дело. Очень может быть, что старуха сумасшедшая и все ее словоизлияния навеяны расстроенным воображением, но ведь вы держались того мнения, что она больше знает об этом деле, чем говорит.

— Выходит, что вы послали туда карету? — спросил Плейдел.

— Можете смеяться надо мной — послал.

— Смеяться? — ответил адвокат. — Нет, что вы; по-моему, это было самое разумное, что можно было сделать.

— Ну, вот видите, — ответил Мэннеринг, очень довольный тем, что не попал в смешное положение, чего он боялся, — самое большее, что я рискую потерять на всем этом деле, это деньги, которые я за лошадей заплатил. Я послал из Кипплтрингана почтовую карету, запряженную четверкой, и дал кучеру точные указания, все как меня просили. Если все это окажется выдумкой, лошадям придется там порядочно померзнуть.

— А я думаю, что все может обернуться иначе, — сказал адвокат. — Эта цыганка разыгрывала роль до тех пор, пока в нее не поверила, и если даже она просто-напросто мошенница и сама знает, что всех обманывает, она, может быть, считает себя обязанной доиграть свою роль до конца. Я знаю только, что обычными методами допроса мне тогда ничего от нее узнать не удалось, и поэтому самое разумное, что мы можем сделать, — дать ей возможность самой открыть свою тайну. Вы еще хотели мне что-то сказать, или, может быть, вернемся к дамам?

— Знаете, меня все это очень тревожит, — ответил полковник, — и... но я, по-моему, все уже вам сказал. Мне остается только ждать возвращения кареты и считать минуты; ну, а вам-то волноваться особенно нечего.

— Конечно, нет, привычка ведь много значит, — сказал наш мудрый адвокат. — Разумеется, это дело меня очень занимает, но я думаю, что как-нибудь скоротаю эти часы, если наши дамы нам что-нибудь сыграют.

— Может быть, дикие утки тоже придутся кстати? — добавил Мэннеринг.

— Вы правы, полковник. Волнение адвоката за исход самого интересного дела вряд ли способно испортить ему аппетит или сон. Однако мне все же очень хочется поскорее услышать стук колес и узнать, что карета вернулась.

С этими словами он встал и пошел в соседнюю комнату, где мисс Мэннеринг по его просьбе села за клавикорды. Джулия вначале аккомпанировала Люси Бертрам, которая прелестно пела народные шотландские песни; потом она сама с блеском сыграла несколько сонат Скарлатти. Старый адвокат, который немного поигрывал на виолончели и состоял членом музыкального общества в Эдинбурге, был до такой степени пленен ее игрой, что, пожалуй, ни разу даже не вспомнил о диких утках, пока наконец Барнс не сказал, что ужин подан.

— Скажи миссис Эллен, чтобы она еще что-нибудь приготовила, — сказал полковник. — Я жду, то есть может статься, что вечером еще кто-нибудь подъедет; пусть лакеи пока не ложатся, и скажи, чтобы ворот не запирали, я потом распоряжусь.

— Господи, — сказала Джулия, — да кого же вы еще ждете сегодня?

— Кое-кого. Люди мне незнакомые собираются приехать сегодня сюда по одному делу, — не без некоторого замешательства ответил ей отец; он думал о том, как неприятно было бы очутиться в смешном положении, если бы все оказалось обманом. — Но это еще точно не известно.

— Ну, если они нам испортят сегодняшний вечер, мы им этого не простим, — сказала Джулия. — Впрочем, может быть это будут такие же веселые и симпатичные люди, как мистер Плейдел, мой друг и поклонник, как он себя сам отрекомендовал,

— Ах, мисс Джулия, — ответил Плейдел, любезно предлагая ей руку, чтобы вывести ее в столовую, — было ведь время... помню, я возвращался из Утрехта в тысяча семьсот тридцать восьмом году...

— Забудьте, пожалуйста, об этом, — прервала его Джулия, — вы нравитесь мне гораздо больше таким, как теперь... Утрехт, господи боже мой! Я уверена, что с тех пор вы только и делали, что старались загладить в себе все следы голландского воспитания.

— Простите, мисс Мэннеринг, — сказал адвокат, — голландцы на самом деле люди гораздо более воспитанные, чем думают их ветреные соседи. Они так же верны и постоянны, как часовой механизм.

— Мне бы это скоро наскучило, — сказала Джулия.

— У них всегда хорошее настроение, — продолжал Плейдел.

— А это еще того хуже, — ответила его собеседница.

— Зато в Голландии, — сказал старый beau garçon,¹ — не взирая на то, что поклонник ваш укутывал вам шею плащом, и согревал вам жаровней ноги, и катал вас в маленьких саночках по льду зимой и в кабриолете по пыльной дороге летом, — и все это в продолжение трехсот шестидесяти пяти дней, да еще помноженных на шесть, — когда на две тысячи сто девяностом дне, как я на скорую руку могу сосчитать, не сделав, правда, поправки на високосный год, окончится вдруг положенный период, в течение которого ему полагалось состоять при вас, вы можете дать ему отставку без всякой причины, без извинений, и вашей нежной душе не придется беспокоиться о том, какие это будет иметь последствия для минхера.

— Да, — ответила Джулия, — вот это действительно рекомендация для голландца, мистер Плейдел; хрусталь и сердце потеряли бы свою цену, если бы они не были хрупкими.

— Ну, уж если на то пошло, мисс Мэннеринг, сердце разбить трудно, это ведь не стакан. Ввиду

¹ Галантный кавалер (франц.).

всего этого я охотно бы порассказал вам о достоинствах моего собственного сердца, если бы мистер Сэмсон не зажмурил уже глаза и не сложил руки, ожидая конца нашего разговора, чтобы читать молитву. Да, по правде говоря, утки выглядят очень аппетитно.

С этими словами наш почтенный адвокат сел за стол и на время отложил свои любезные речи, чтобы воздать должное расставленным перед ним вкусным блюдам. От него можно было только услышать, что утка зажарена превосходно и что соус, который миссис Эллен приготовила из бургундского вина, лимона и кайенского перца, восхитителен; обо всем остальном он позабыл.

— Я вижу, — сказала мисс Мэннеринг, — что в первый же вечер, когда мистер Плейдел объяснился мне в своих чувствах, у меня появилась опасная соперница.

— Простите меня, моя прелестная дама, — ответил адвокат, — если я был столь неучтив и увлекся в вашем присутствии ужином: виной этому ваша неприступность. Может ли кто выдержать ваш суровый взгляд, не подкрепившись? По этой же причине, и не по какой другой, я прошу вас выпить со мной вина.

— Это тоже, вероятно, утрехтский обычай, мистер Плейдел?

— Простите меня, сударыня, — ответил адвокат, — сами французы, являющие собой образец галантности, называют своих трактирщиков *restaurateurs*,¹ несомненно намекая на то облегчение, которое они приносят безутешным юношам, сраженным жестокостью своих возлюбленных, и мне самому так нужна подобная помощь, что я побеспокою вас, мистер Сэмсон, и попрошу еще вот это крылышко. Это не помешает мне немного погодя попросить у мисс Бертрам кусок пирога; крылышко просто оторвите, мистер Сэмсон, резать не надо. Барнс вам поможет,

¹ *Restaurateur* — по-французски одновременно значит и «содержатель ресторана» и «восстанавливающий».

ну вот так, спасибо... А теперь, Барнс, стакан пива, пожалуйста.

В то время как наш седовласый кавалер, радуясь, что мисс Мэннеринг так весела и внимательна, без умолку болтал, развлекая ее и себя, полковник начал терять терпение. Он вышел из-за стола, сославшись на то, что никогда не ужинает, и быстрыми шагами стал ходить взад и вперед по столовой; он то открывал окно, чтобы взглянуть на погруженную во тьму лужайку, то как будто прислушивался, не едет ли кто вдалеке. Наконец он больше не мог себя сдерживать, вышел из комнаты, накинул плащ, надел шляпу и пошел по дороге, как будто это могло ускорить приезд людей, которых он ждал.

— И зачем это полковник в такую темь на дорогу выходит? — сказала мисс Бертрам. — Вы, наверное, слышали, мистер Плейдел, какое у нас тут ужасное происшествие было недавно.

— Ах, с контрабандистами! — ответил адвокат. — Это мои старые приятели; еще много лет тому назад, когда я здесь шерифом был, я кое-кого из них под суд отдал.

— А какая тут потом беда стряслась, — добавила мисс Бертрам, — когда один из этих негодяев решил отомстить.

— Когда ранили молодого Хейзлвуда? Да, я и об этом слышал.

— Можете себе представить, милый мистер Плейдел, — продолжала Люси, — в каком мы с мисс Мэннеринг были ужасе, когда на нас кинулся этот негодяй, человек неимоверной силы, с таким страшным лицом!

— Надо вам сказать, мистер Плейдел, — заметила Джулия, которая не могла подавить негодования, слыша, как незаслуженно чернят ее поклонника, — что молодой Хейзлвуд у наших девушек слышит таким красавцем, что рядом с ним кто угодно им чудовищем покажется.

«Однако, — подумал Плейдел, у которого была профессиональная привычка внимательно подмечать

выражение лица и интонации голоса, — тут, кажется, в молодых леди согласия нет».

— Знаете, мисс Мэннеринг, когда я видел молодого Хейзлвуда, он был еще мальчиком; может быть, все ваши соседки и правы, но уверяю вас, чтобы увидеть настоящих красавцев, вам надо поехать в Голландию; самый красивый юноша, которого я когда-либо видел, был именно голландец, хотя у него и было какое-то варварское имя, не то Ванбост, не то Ванбустер, неважно. Теперь он, верно, уж потерял всю прежнюю красоту.

При случайном упоминании этого имени Джулия, в свою очередь, слегка смутилась, но тут как раз вошел полковник.

— Все еще ничего не слышать, — сказал он, — но расходиться мы все-таки подождем. А где Домини Сэмсон?

— Я здесь, господин полковник.

— Что это за книга у вас в руках?

— Это труды известного ученого де Лиры, и я бы очень просил мистера Плейдела, чтобы он соизволил взглянуть на одно непонятное место.

— Сейчас мне не очень-то хочется этим заниматься, мистер Сэмсон, — ответил адвокат, — есть кое-что поинтереснее: я не теряю надежды уговорить молодых леди спеть нам какую-нибудь народную песню или плясовую, я готов даже исполнить басовую партию сам. Черт с ним, с де Лирой, подождет до другого раза.

Разочарованный Домини захлопнул тяжелый фолиант, в душе поражаясь тому, как такой ученый человек, как Плейдел, может увлекаться подобными пустяками. Но адвоката несколько не обеспокоило, что он роняет свой авторитет ученого; он налил себе полный бокал бургундского и, попробовав сначала свой голос, который, кстати сказать, не отличался звучностью, храбро предложил молодым девушкам спеть с ним «Как трое бедных моряков» и с блеском исполнил свою партию.

— Смотрите, не увяли бы розы на ваших щеках от таких ночных бдений, — пошутил полковник.

— Не беспокойтесь, папенька, — ответила Джулия, — ваш друг, мистер Плейдел, пригрозил, что завтра станет учеником мистера Сэмсона; поэтому сегодня мы должны воспользоваться нашей победой сполна.

После первой песни они спели вторую, а затем стали весело болтать. Наконец, когда давно уже пробило час и ночная тишина вот-вот должна была огласиться двумя ударами, Мэннеринг, нетерпение которого сменилось безнадежностью отчаяния, взглянул на свои часы и сказал: «Теперь уже ждать больше нечего», — в то же мгновение... Но о том, что тогда произошло, мы расскажем уже в следующей главе.

Глава I

Судья

Ведь верно, подтвердились ныне все
Слова цыганки!..
Не сирота ты больше и на свете
Не одинок. *Я* твой отец, *вот* мать
Твоя, *вот* дядя, брат — всё это
Здесь близкие твои!

«Критик»

Едва только Мэннеринг успел положить часы в карман, как послышался какой-то отдаленный глухой шум.

— Должно быть, это карета; впрочем, нет, это ветер воет среди голых деревьев. Идемте к окну, мистер Плейдел.

Адвокат, который в это время рассказывал Джулии что-то, по его мнению, интересное, повиновался, предварительно повязав шею платком, чтобы не простудиться. Стук колес был уже ясно слышен, и Плейдел, который, казалось, удерживал свое любопытство до этой последней минуты, бросился в переднюю. Полковник позвонил и приказал Барнсу проводить приехавших в отдельную комнату, так как не знал, кто будут его гости. Но он не успел всего

толком объяснить ему, как карета остановилась у двери. Через минуту Плейдел крикнул:

— Да это наш лидсдейлский приятель, и с ним еще один молодец вроде него.

Услышав знакомый голос, Динмонт остановился, одновременно и пораженный и обрадованный.

— Ах, вот оно что! Ну раз ваша милость здесь, значит и нам тут хорошо будет, что соломе в сарае!

Но в то время как фермер остановился, чтобы отвесить поклон, недоумевающий Бертрам, которого после езды в темноте яркий свет совершенно ослепил, вошел в гостиную и столкнулся с полковником, поднявшимся ему навстречу. Комната была настолько хорошо освещена, что у полковника уже не могло быть сомнений в том, кто стоит перед ним, а сам Бертрам был столь же смущен своим негаданным приездом в этот дом, как и обитатели Вудберна, перед которыми он появился. Надо помнить о том, что у каждого из них были свои причины взирать на него с ужасом, будто это было привидение. Мэннеринг видел перед собой человека, убитого им в Индии; Джулия — своего возлюбленного в самом странном и опасном положении, а Люси Бертрам сразу же узнала в нем злодея, который стрелял в молодого Хейзлвуда. Видя изумление полковника, Бертрам решил, что тот недоволен его непрошеным вторжением в дом, и поспешил сказать, что он прибыл сюда помимо своей воли и что он даже и не подозревал, куда его везут.

— Мистер Браун, если не ошибаюсь! — сказал Мэннеринг.

— Да, — ответил молодой человек тихим, но твердым голосом, — тот самый, которого вы знали в Индии. Надеюсь, что наши прежние отношения не смогут помешать вам удовлетворить мою просьбу и засвидетельствовать, что я действительно офицер и джентльмен.

— Мистер Браун... Я не помню, когда я... Да нет, никогда ничто меня так не могло удивить... Конечно, что бы между нами ни произошло тогда, вы имеете право на мое свидетельство в вашу пользу.

В эту критическую минуту в комнату вошли Плейдел и Динмонт. Глазам недоумевающего адвоката предстали: пораженный Мэннеринг, Люси Бертрам, готовая упасть в обморок от ужаса, и мисс Джулия Мэннеринг, охваченная смятением и страхом, которые ей не удавалось ни подавить, ни скрыть.

— Что это все значит? — спросил адвокат, — Как будто он пришел с головой Горгоны в руках? Дайте я погляжу на него. Боже ты мой, — прошептал он, — да это же вылитый Элленгауэн! Те же мужественные, красивые черты, но насколько больше ума в глазах! Да, ведьма, видно, сдержала свое слово!

Он тут же обратился к Люси:

— Взгляните-ка на этого человека, мисс Бертрам; он вам никого не напоминает?

Люси успела только взглянуть на страшного незнакомца. Его необычайно высокий рост и вся внешность не оставляли сомнений в том, что это был разбойник, собиравшийся убить молодого Хейзлвуда. Это не давало ее мыслям возможности пойти по иному руслу, а такой поворот неминуемо бы наступил, стоило ей только взглянуться в прищельца пристальнее.

— Не спрашивайте меня о нем, — сказала она, отворачиваясь от него, — ради бога, уберите его отсюда, он всех нас убьет!

— Убьет! Давайте мне сюда кочергу, — сказал адвокат как будто с тревогой. — Да нет, что за пустяки, нас тут трое мужчин, не считая слуг, да еще с нами наш славный лидсдейлец, который один стоит полдюжины людей, *major vis*¹ на нашей стороне. Но все-таки, друг мой Дэнди, Дэви... как бишь тебя, стань-ка сюда между нами, чтобы защитить наших дам.

— Господи боже мой, мистер Плейдел! — вскричал изумленный фермер. — Да это же капитан Браун, вы что, не знаете разве капитана?

— Ну, ладно, если он твой приятель, мы в без-

¹ Перевес сил (лат.).

опасности, — ответил Плейдел. — Смотри только, не отходи от него.

Все это произошло так быстро, что Домини, сидевший все это время в углу и погруженный в чтение, по рассеянности своей ничего не заметил. Когда же, выйдя из задумчивости, он закрыл книгу, подошел к вновь прибывшим и увидел Бертрама, он вдруг закричал:

— Если только мертвецы могут выходить из могилы, это мой дорогой и любимый господин!

— Да, это так, ей-богу же это так! Я знал, что это он, — сказал адвокат, — вылитый отец. Послушайте, полковник, что же вы не приглашаете своего гостя? Помоему... да, я думаю... я уверен, что это так... Они похожи как две капли воды. Но минуту терпения! Пойдите, Домини, не говорите ничего. Садитесь, молодой человек.

— Извините меня, — сказал Бертрам. — Как мне стало известно, я нахожусь в доме полковника Мэннеринга, и я хотел бы прежде всего знать: может быть, полковнику неприятно мое неожиданное вторжение; я не знаю, могу ли я считать себя его гостем.

Мэннеринг сразу же сделал над собой усилие и сказал:

— Разумеется, мне будет очень приятно видеть вас у себя в доме, особенно если вы мне скажете, чем я смогу быть вам полезным. Мне хотелось бы загладить свою вину перед вами. Я часто об этом думал. Но вы явились столь неожиданно, что все нахлынувшие на меня тяжелые воспоминания не позволили мне сразу сказать то, что я говорю вам теперь: чем бы ни была вызвана та честь, которую вы оказали мне своим посещением, я ему рад.

Бертрам ответил на эту подчеркнутую вежливость столь же вежливым, но холодным поклоном.

— Джулия, дорогая, тебе лучше бы сейчас удалиться. Мистер Браун, извините мою дочь, но я вижу, что воспоминания ее взволновали.

Мисс Мэннеринг встала, чтобы уйти; проходя мимо Бертрама, она все же не могла удержаться и не прошептала: «Безумный! Опять!» — так тихо, что услы-

шать ее мог только он один. Мисс Бертрам последовала за своей подругой, пораженная всем, что случилось, но не решаясь взглянуть второй раз на человека, который так ее напугал. Она поняла, что произошла какая-то ошибка, но боялась, что только усугубит ее, если заявит, что незнакомец покушался на жизнь Хейзлвуда. Она увидела, что он старый знакомый Мэннеринга и что полковник разговаривал с ним как с человеком благородным. Должно быть, или сама она сейчас обозналась, или Хейзлвуд был прав, утверждая, что выстрел произошел случайно.

Группа людей, оставшихся в гостиной, была достойна кисти большого художника. Каждый из них был настолько поглощен собственными чувствами, что не обращал внимания на всех остальных. Бертрам самым неожиданным образом очутился в доме человека, к которому он относился то с неприязнью, как к своему личному врагу, то с уважением, как к отцу Джулии. Самые противоположные чувства столкнулись в душе Мэннеринга: ему хотелось быть учтивым и гостеприимным; он был рад, что человек, с которым он некогда сводил счеты и в гибели которого он потом себя упрекал, жив, но, с другой стороны, ему достаточно было увидеть своего бывшего врага, и в его гордой душе вспыхнули прежняя неприязнь и предубеждение. Сэмсон едва стоял на ногах; держась обеими руками за спинку стула, он не сводил глаз с Бертрама; волнение совершенно исказило его лицо. Динмонт в своей мохнатой куртке походил на огромного, вставшего на задние лапы медведя. Вытаращив глаза от удивления, он смотрел на всю эту сцену.

Один только адвокат держался как ни в чем не бывало. Человек опытный, сообразительный и энергичный, он уже предвкушал блестящий успех в этом странном, увлекательном и таинственном деле, и вряд ли юный монарх, возглавив блестящую армию и видя, что будущее ему улыбается, мог больше радоваться своей первой победе. Он стал действовать очень решительно и распорядился всем сам.

— Садитесь, господа, садитесь. Дело это по моей части, позвольте же мне обо всем позаботиться

самому. Садитесь, дорогой полковник, и предоставьте мне полную свободу; садитесь, мистер Браун, aut quocumque alio potius vocaris;¹ прошу вас сесть, Домини, и ты, наш добрый лидсдейлец, тоже возьми себе стул.

— Я уж не знаю, мистер Плейдел, — сказал Динмонт, поглядывая на свою куртку и на прекрасную мебель гостиной, — может, мне куда в другое место пойти бы, пока вы тут свои дела обсудите: мне здесь делать нечего.

Полковник, который к тому времени уже узнал Дэнди, подошел к нему, приветливо поздоровался с ним и сказал, что после его благородного поступка в Эдинбурге он в своей грубой куртке и охотничьих сапогах с честью мог бы занять место в любом из залов королевского дворца.

— Нет, нет, полковник, мы ведь люди простые, деревенские. Конечно, я рад был бы услышать, что у капитана все переменялось к лучшему, а уж я знаю, что все на лад пойдет, коли мистер Плейдел за дело взялся...

— Верно, Динмонт, ты просто как Горный оракул говоришь, ну, а теперь помолчи. Кажется, наконец все сели. Выпьем по бокалу вина, а потом уже я начну допрос по всем правилам моего катехизиса. Теперь скажите нам, дорогой мой, — сказал он, обращаясь к Бертраму, — а сами-то вы знаете, кто вы такой?

Несмотря на свое замешательство, наш неофит при этих словах невольно рассмеялся и ответил:

— Прежде я всегда думал, что знаю, но последние события заставляют меня в этом усомниться.

— Тогда расскажите нам, кем вы себя считали раньше.

— Я привык считать и называть себя Ванбестом Брауном, вольноопределяющимся *** полка, которым командовал полковник Мэннеринг. Полковник меня знает.

— Все это совершенно верно, — сказал полковник. — Я могу подтвердить, что это действительно ми-

¹ Или как вас там зовут (лат.).

стер Браун, и добавить то, что он, по своей скромности, вероятно позабыл: он зарекомендовал себя как человек способный и храбрый.

— Тем лучше, — заявил Плейдел, — но это общие положения. Скажите мне, мистер Браун, где вы родились?

— Насколько я знаю, в Шотландии, но где именно, сказать не могу.

— А где выросли?

— Ну, конечно, в Голландии.

— А у вас не осталось никаких воспоминаний о годах детства, проведенных в Шотландии?

— Только самые смутные. Но я хорошо помню, что в детстве меня и любили и баловали, и, вероятно, это воспоминание еще отчетливее оттого, что потом со мной обходились очень сурово. Я смутно припоминаю красивого мужчину, которого я звал папой, и болезненную женщину, должно быть мою мать, но воспоминания эти очень неясные и путанные. Я помню еще какого-то высокого, худого и доброго человека, он ходил всегда в черном, учил меня читать и гулял со мной, и, кажется, в последний раз...

Тут Домини не мог уже больше сдерживать себя. С каждым словом, которое он слышал, он все больше убеждался, что видит перед собой сына своего благодетеля. Ценою огромных усилий он не давал воли своим чувствам, но когда, перебирая в памяти образы детства, Бертрам дошел до своего учителя, он уже больше не мог утерпеть. Он вскочил, сложил руки и, весь дрожа, со слезами на глазах, громко закричал:

— Гарри Бертрам, посмотри, неужели ты меня не узнаешь?

— Да, — воскликнул Бертрам, вставая с места, будто свет озарил его вдруг, — да, Гарри, так меня действительно звали! И это действительно мой милый учитель, я узнаю его и по голосу и по виду!

Домини бросился в его объятия; он несчетное число раз прижимал его к груди, охваченный буйным восторгом, от которого сотрясалось все его тело, безудержно всхлипывал, а потом, как выразительно говорит в библии, возвысил голос и громко зарыдал.

Полковник Мэннеринг тоже взялся за платок; Плейдел морщился и протирал очки, а добряк Динмонт два раза громко всхлипнул и сказал:

— Это же просто черт знает что! Такого со мной ни разу не бывало с тех пор, как я старуху мать похоронил.

— Ну довольно, довольно, — сказал наконец адвокат. — Тише, суд идет. Нам еще много всего предстоит сделать; надо, не теряя времени, собрать нужные сведения; придется, по-видимому, кое-что предпринять сейчас же, не дожидаясь утра.

— Я велю тогда оседлать лошадь, — предложил полковник.

— Нет, нет, успеется. С этим можно еще подождать... Только знаете что, Домини, довольно. Я уже дал вам излить ваши чувства. Время ваше истекло. Позвольте мне продолжать допрос.

Домини привик повиноваться всем, кто этого требовал. Он снова плюхнулся в кресло и покрыл лицо клетчатым носовым платком, воспользовавшись им, как некогда греческий художник — покрывалом. По сложенным рукам можно было догадаться, что он погружился в благодарственную молитву. Он то выглядывал из-за своего покрывала, как будто с тем, чтобы удостовериться, что радостное видение не растаяло в воздухе, то опускал глаза и снова благоговейно молился про себя, пока наконец внимание его не привлекли вопросы адвоката.

— А теперь, — сказал Плейдел, после того как он тщательно расспросил нашего героя о самых ранних воспоминаниях детства, — а теперь, мистер Бертрам, — я думаю, мы должны уже называть вас вашим настоящим именем, — сделайте милость, расскажите подробно все, что вы припоминаете о вашем отъезде из Шотландии.

— События этого дня, сэр, действительно были так ужасны, что оставили в памяти неизгладимый след, но, должно быть, именно этот ужас и смешал в одно все подробности виденного тогда. Помню, я где-то гулял, по-моему это было в лесу...

— Ну да, это было в Уорохском лесу, мой мальчик!

— Молчите, мистер Сэмсон, — прервал его адвокат.

— Да, это было в лесу, — продолжал Бертрам, в памяти которого давно прошедшие и смутные образы начали укладываться в каком-то порядке, — и кто-то там был со мной, по-моему вот этот почтенный и добрый человек.

— Ну да, конечно, Гарри, да благословит тебя господь, это был я.

— Тише, Домини, не мешайте ему рассказывать, — остановил его Плейдел. — Итак, что же дальше? — обратился он снова к Бертраму.

— Так вот, сэр, — продолжал Бертрам, — все перемешалось, будто во сне, и мне показалось, что я еду с ним на лошади.

— Нет, нет, — вскричал Сэмсон, — никогда я не подвергал такой опасности ни тебя, ни себя!

— Честное слово, это просто невыносимо! Слушайте, Домини, если вы еще хоть слово скажете без моего позволения, я произнесу три заклинания из книги черной магии, проведу тростью над своей головой три круга, развею все чары сегодняшней ночи, и Гарри Бертрам снова превратится в Ванбеста Брауна.

— Почтенный и достойный сэр, — простонал Домини, — я покорнейше прошу извинить меня, это было просто *verbum volans*.¹

— И все-таки, *polens volens*,² не распускайте язык, — сказал Плейдел.

— Прошу вас, помолчите, мистер Сэмсон, — сказал полковник. — Для вашего вновь обретенного друга очень важно, чтобы вы дали мистеру Плейделу спокойно продолжить допрос.

— Я нем, — отвечал усмирленный Домини.

— Вдруг, — продолжал Бертрам, — на нас кинулись несколько человек и стащили нас с седла.

¹ Сорвавшееся с языка слово (лат.).

² Хотите вы или нет (лат.).

Больше я ничего почти не помню, кроме того, что началась отчаянная схватка, я хотел убежать и попал в руки очень высокой женщины, которая вышла из-за кустов и меня защищала. Остальное спуталось в памяти, но все дальнейшее было ужасно. Я только смутно помню морской берег, пещеру, мне дали там выпить чего-то крепкого, и я тут же уснул и долго спал. Словом, дальше все скрывается в каком-то мраке, и потом я помню себя уже юнгой на корабле, где со мною очень жестоко обращались и морили голодом, а потом школьником в Голландии: там меня взял к себе один старик купец, который ко мне благоволил.

— А о вашей родне он вам ничего не рассказывал?

— Рассказывал, но очень мало, и просил больше ни о чем не спрашивать. Меня уверили, что отец мой занимался контрабандной торговлей на восточном берегу Шотландии и что он был убит в схватке с таможенными, что судно его голландских сообщников стояло в то время у берега и что команда судна принимала участие в схватке. Когда эти люди увидели, что я остался сиротой, они пожалели меня и увезли с собой. Став старше, я понял, что эта история никак не вяжется с моими собственными воспоминаниями, но что мне было делать? Я никак не мог разрешить моих сомнений, у меня не было ни одного друга, которому я мог бы рассказать их, чтобы с ним потом все обсудить. Дальнейшая моя жизнь известна полковнику Мэннерингу. Я поехал в Индию и сделался там конторщиком одного голландского торгового дома. Но их дела пошли плохо, и я поступил на военную службу, где, смею думать, выполнял свой долг с честью.

— Вы славный малый, я за это ручаюсь! — воскликнул Плейдел. — И раз вы столько лет были сиротой, я хотел бы сам иметь право заменить вам отца. Ну, а это дело с молодым Хейзлвудом?

— Простая случайность, — сказал Бертрам. — Я просто путешествовал по Шотландии и, погостив с неделю у моего друга, мистера Динмонта, с которым я познакомился дорогой...

— Это мне прямо-таки счастье подвалило. Без него я совсем бы пропал, когда на меня эти два стервеца кинулись, — сказал Динмонт.

— Вскоре после того, как мы расстались в городе... воры украли у меня все мои вещи. Живя в Кипплтрингане, я случайно встретился с Хейзлвудом — в то время как я подошел поздороваться с мисс Мэннеринг, которую я знал еще в Индии. Взглянув на мою одежду, Хейзлвуд решил, должно быть, что я какой-нибудь бродяга, и довольно высокомерно приказал мне отойти. Это и послужило поводом к столкновению, в котором я имел несчастье его ранить. Теперь я ответил на все ваши вопросы, и позвольте мне...

— Нет, нет, еще не на все, — сказал Плейдел, многозначительно подмигивая, — есть еще вопросы, которые я откладываю на завтра, так как, по-моему, пора уже закрыть наше ночное, или, собственно, даже утреннее заседание.

— Ну, так я, пожалуй, выражу свою мысль иначе, — сказал Бертрам. — Кошь скоро я ответил на все вопросы, которые вам было угодно задать мне сегодня, не откажите в любезности сообщить мне, кто вы такой и что заставляет вас принимать столь близкое участие в моих делах, кем вы считаете меня и почему мое появление наделало столько шума?

— Что касается меня, — отвечал адвокат, — то я Паулус Плейдел, шотландский адвокат; в отношении вас не так-то легко сказать, кто вы сейчас. Но я скоро надеюсь поздравить вас с именем Генри Бертрама, эсквайра, представителя древнейшего шотландского рода и наследника попавшего сейчас в чужие руки поместья Элленгауэн.

Тут Плейдел закрыл глаза и подумал: «Об отце его лучше совсем не упоминать, надо прямо провозгласить его наследником его деда Льюиса... единственного умного человека из всего их рода».

Когда все уже повставали с мест, чтобы идти спать, полковник Мэннеринг подошел к Бертраму,

который все еще не мог прийти в себя после слов адвоката.

— Поздравляю вас, — сказал он, — с блестящими видами на будущее, которые вам открыла судьба. Я старинный друг вашего отца, и в ту ночь, когда вы родились, столь же неожиданным образом попал в замок Элленгауэн, как вы теперь попали в мой дом. Я не знал этих обстоятельств, когда... но я надеюсь, что мы оба не будем помнить зла, которое между нами было. Верьте мне, что появление Брауна, живого и здорового, избавило меня от самых тягостных упреков совести; а ваше право носить имя моего старинного друга делает ваше пребывание здесь, мистер Бертрам, вдвойне для меня приятным.

— А мои родители? — спросил Бертрам.

— Обоих нет уже в живых... И фамильное поместье продано, но я надеюсь, что его удастся вернуть. Я буду рад сделать все, что от меня зависит, чтобы подтвердить ваше право.

— Нет, это вы уж предоставьте мне, — сказал Плейдел, — это моя забота, не отбивайте у меня хлеб.

— Знаю, что не мое дело давать советы людям благородным, — заметил Динмонт, — но ежели капитану понадобятся деньги, а ведь говорят, что без них дело никогда не спорится...

— Если не считать субботних вечеров, — сказал Плейдел.

— Да, но ежели вы, ваша милость, денег не берете, то, значит, вы и за дело не возьметесь. Поэтому знайте, в субботу вечером я уж вас больше не потревожу. Но у меня ведь в кисете деньжата припасены, считайте, что они капитановы; мы их с Эйли для того и приберегли.

— Нет, Лидсдейл, ничего этого не надо, даже и не думай; побереги их для своей фермы.

— Для фермы? Мистер Плейдел, ваша милость много чего знает, ну а вот чарлиз-хопской фермы не знает, а скота у нас столько, что мы за мясо да

за шерсть шестьсот фунтов дохода каждый год имеем; нет, куда там еще прикупать!

— А чего ж ты тогда еще другой не наймешь?

— Да не знаю, у герцога нет сейчас свободных ферм, а я не могу старых арендаторов выживать; да я и ни за что бы не пошел наушничать да цену поднимать, чтобы соседям вредить.

— Как, даже тому соседу в Достоне... Девилстоне, как там его?..

— Что, Джоку из Достона? Нет, незачем это. Он, правда, парень упрямый и такой зануда, когда дело до межей доходит, и повздорили мы с ним крепко, но провалиться мне на этом самом месте, если я Джоку Достону зла хочу.

— Да, ты парень честный, — сказал адвокат, — а сейчас ложись спать. И я ручаюсь, что сон твой будет крепче, чем у того, кто, ложась в постель, скидывает с себя расшитый камзол и надевает кружевной колпак. Я вижу, полковник, что вы занялись разговором со своим *enfant trouvé*.¹ Прикажете-ка Барнсу разбудить меня утром в семь часов, а то мой слуга большой любитель поспать, а писца Драйвера постигла, должно быть, судьба Кларенса: он уже утонул в бочке вашего пива, — миссис Эллен ведь обещала его хорошо угостить; скоро ей доведется узнать, что он под этим разумеет. Покойной ночи, полковник, покойной ночи, Домини Сэмсон... покойной ночи, наш честный Динмонт, покойной ночи и вам, вновь обретенный представитель рода Бертрамов и Мак-Дингауэев, Кнартов, Артов, Годфри, Деннисов и Роландов и, что нам всего дороже, наследник отторгнутых земель и поместья и баронства Элленгауэн, согласно завещанию Льюиса Бертрама, эсквайра, потомком которого вы являетесь.

С этими словами Плейдел взял свечу, вышел из комнаты, и вся компания разошлась, после того как Домини еще раз обнял и поцеловал своего «маленького Гарри», как он продолжал называть молодого офицера шести футов ростом.

¹ Найденышем (франц.).

Глава LI

...душа не знает
На свете никого — один Бертрам.
Погибла я, нет жизни у меня,
Коль в ней Бертрама нет.

*«Все хорошо, что хорошо
кончается»*

В назначенный накануне час наш неугомимый адвокат сидел уже в теплом шелковом халате и бархатной шапочке у ярко пылавшего в камине огня, за столом, на котором стояли две зажженные свечи, и разбирал следственные данные по делу об убийстве Фрэнка Кеннеди. Был отправлен нарочный к Мак-Морлану с просьбой приехать в Вудберн как можно скорее. Динмонт, утомленный происшествиями вчерашнего вечера, находил, что полковник встретил его более гостеприимно, чем Мак-Гаффо, и не торопился вставать. Снедаемый нетерпением, Бертрам, наверно, не усидел бы у себя в комнате, но полковник Мэннеринг послал предупредить его, что утром зайдег к нему сам, и теперь он не решался уйти. Перед этим свиданием Бертрам приоделся, так как полковник отдал Барнсу распоряжение, чтобы его гостя снабдили бельем и всем прочим, и, закончив свой туалет, ждал Мэннеринга.

Вскоре раздался тихий стук в дверь: это был полковник; у Бертрама завязался с ним длинный и интересный для обоих разговор. Но вместе с тем каждый из них что-то не договаривал до конца. Мэннерингу не хотелось упоминать о своих астрологических предсказаниях, а Бертрам, по вполне понятным причинам, ни словом не обмолвился о своей любви к Джулии. Обо всем остальном они говорили с полной откровенностью, которая делала их разговор приятным для того и другого, и под конец в голосе Мэннеринга чувствовалась даже какая-то теплота. Бертрам старался сообразоваться в своем поведении с полковником: он не заискивал перед ним и не добивался его расположения, но все принимал с благодарностью и радостью.

Мисс Бертрам сидела в столовой, когда туда ввергся весь сияющий от удовольствия Сэмсон. Вид его был столь необычен, что Люси сразу же пришло в голову, что кто-нибудь решил подшутить над ним и нарочно привел его в такой восторг. Он сел за стол и некоторое время только тарашил глаза да открывал и закрывал рот наподобие большой деревянной куклы, изображающей Мерлина на ярмарке, и наконец сказал:

— Ну, а что вы о нем думаете, мисс Люси?

— Думаю, о ком? — спросила та.

— О Гар... нет, ну да вы знаете, о ком я говорю.

— Я знаю о ком? — переспросила Люси, которая никак не могла понять, на что он намекает.

— Да вот о том, кто вчера вечером в почтовой карете приехал, кто в молодого Хейзлвуда стрелял. Ха-ха-ха! — И тут Домини разразился смехом, похожим на ржание.

— Послушайте, мистер Сэмсон, — сказала его ученица, — странный вы все-таки предмет выбрали для смеха... Ничего я об этом человеке не думаю, я надеюсь, что выстрел был чистой случайностью и не приходится бояться, что за ним последует другой.

— Случайностью! — И тут Домини снова заржал.

— Что-то вы уж очень сегодня веселы, мистер Сэмсон, — сказала Люси, которую задел его смех.

— О да, конечно. Ха-ха-ха, это за-нят-но, ха-ха-ха!

— Ваше веселье само по себе настолько занято, что мне больше хотелось бы узнать его причину, чем забавляться, глядя на его проявления.

— Причину вы сейчас узнаете, мисс Люси, — отвечал бедный Домини. — Вы брата своего помните?

— Господи боже мой! И вы еще меня об этом спрашиваете!.. Кто же и знает, если не вы, что он исчез как раз в тот день, когда я родилась?

— Совершенно верно, совершенно верно, — ответил Домини, опечаленный этими воспоминаниями. — Странно, как я мог забыть... Да, правда, сушья правда. Ну, а папеньку-то вы вашего помните?

— С чего это вы вдруг усомнились, мистер Сэмсон, всего несколько недель, как...

— Правда, сушая правда, — ответил Домини, и его смех, напоминавший смех гуингнгов, перешел в истерическое хихиканье. — Мне-то не до забавы, когда я все вспоминаю... Но вы только взгляните на этого молодого человека!

В это мгновение Бертрам вошел в комнату.

— Да, взгляните на него хорошенько, это же вылитый ваш отец. И поелику господу было угодно оставить вас сиротами, дети мои, любите друг друга!

— И в самом деле, он и лицом и фигурой похож на отца, — сказала Люси, сразу побледнев.

Бертрам кинулся ей на помощь. Домини хотел было побрызгать ей в лицо холодной водой, но ошибся и схватил вместо этого чайник с кипятком. По счастью, выступившая у нее на щеках краска спасла ее от этой опасной примочки.

— Заклинаю вас, мистер Сэмсон, — проговорила она прерывающимся, но каким-то особенно трогательным голосом, — скажите, это мой брат?

— Да, это он! Это он, мисс Люси! Это маленький Гарри Бертрам, это так же верно, как то, что солнце светит на небе.

— Так значит, это моя сестра? — сказал Бертрам, давая волю родственным чувствам, которые столько лет дремали в нем, так как ему не на кого было их излить.

— Да, это она!.. Это она!.. Это мисс Люси Бертрам! — воскликнул Сэмсон. — При моем скромном участии она в совершенстве овладела французским и итальянским и даже испанским, умеет хорошо читать и писать на своем родном языке и знает арифметику и бухгалтерию, простую и двойную. Я уже не говорю о том, что она умеет и кроить, и шить, и вести хозяйство, и надо по справедливости сказать, что этому она научилась уже не от меня, а от экономки. Не я также обучал ее игре на струнных инструментах: в этом немалая заслуга доброй, скромной и притом неизменно веселой и славной

молодой леди, мисс Джулии Мэннеринг, *sum cui-que tribuito*.¹

— Так значит, это все, — сказал Бертрам, обращаясь к сестре, — это все, что мне осталось! Вчера вечером, и особенно сегодня утром, полковник Мэннеринг рассказал мне обо всех несчастьях, постигших нашу семью, но ни словом не обмолвился о том, что сестра моя здесь.

— Он предоставил это мистеру Сэмсону, — сказала Люси, — нашему самому дорогому и самому верному другу, который старался облегчить отцу жизнь в тяжелые годы болезни, был при нем в минуту его смерти и во всех самых страшных бедствиях не захотел покинуть несчастную сироту.

— Да благословит его господь, — сказал Бертрам, пожимая руку Домини, — он действительно заслуживает моей любви, а ведь я всегда любил даже тот неясный и смутный образ его, который сохранили мне воспоминания детства.

— Да благословит господь вас обоих, милые мои дети! — воскликнул Сэмсон. — Не будь вас на свете, я охотно бы согласился (если бы это было угодно господу) лежать в земле рядом с моим благодетелем.

— Но я надеюсь и глубоко убежден, — сказал Бертрам, — что все мы увидим лучшие времена. Послав мне друзей, господь даст мне возможность отстаивать свои права, и несправедливости будет положен конец.

— Поистине друзей! — повторил Домини. — А послал их тот, кто, как я давно уже вас учил, есть источник всего благого. Вот приехавший из Индии прославленный полковник Мэннеринг; он рожден воином, и в то же время это человек весьма ученый, если принять во внимание, в каких неблагоприятных условиях он был; вот знаменитый адвокат мистер Плейдел, человек точно так же весьма сведущий в науках, но позволяющий себе иногда, правда, нисходить до недостойных настоящего ученого пустяков; а вот мистер Эндрю Динмонт, малый хоть

¹ Каждому воздаю свое (лат.),

и не очень-то ученый, но, подобно древним патриархам, все же искусный во всем, что касается овечьих отар. Наконец, в числе друзей ваших я сам; по сравнению со всеми этими почтенными людьми у меня были бóльшие возможности учиться, и могу сказать, что я не упустил их и, насколько позволяли мои скромные способности, воспользовался ими. Нам надо будет поскорее возобновить наши занятия, милый Гарри. Я начну все с самых азов... Да, я займусь твоим образованием, начиная с английской грамматики, и доведу его до изучения древнееврейского или халдейского языка.

Читатель, конечно, заметит, что на этот раз Сэмсон проявил совершенно необычайную для него словоохотливость. Дело в том, что, когда он увидел перед собою своего ученика, он мысленно вернулся ко времени их прерванных занятий и, перепутав все и вся, ощутил сильнейшее желание засесть с молодым Бертрамом за склады и прописи. Это было тем смешнее, что в отношении воспитания Люси он подобных прав уже не предъявлял. Но Люси выросла у него на глазах и постепенно освобождалась из-под его опеки, по мере того как становилась старше и образование и сама начинала в глубине души чувствовать, насколько она лучше его знает, как вести себя в обществе. Что же касается Гарри, то Домини представлял его себе таким, каким он его когда-то оставил. И, почувствовав, что его утраченный авторитет возвращается снова, он пустился в новые пространные излияния. А так как людям редко удается говорить сверх меры, не выставляя себя напоказ, он ясно дал своим собеседникам понять, что, невзирая на то, что он беспрекословно подчиняется мнениям и приказаниям чуть ли не каждого встречного, он твердо убежден, что во всем имеющем отношение к «уче-но-сти» (так он произносил это слово) он бесконечно выше всех остальных, вместе взятых. Сейчас это, правда, было гласом вопиющего в пустыне, потому что оба, и брат и сестра, были так поглощены беседой о своей прошлой жизни, что не могли уделить нашему достойному Домини должного внимания.

После разговора с Бертрамом полковник Мэннеринг отправился в комнату Джулии и велел служанке выйти.

— Милый папенька, — сказала она, — вы забыли, до которого часа мы просидели вчера, и даже не даете мне времени причесаться, а ведь должны же вы понимать, что вчера вечером волосам моим было от чего стать дыбом.

— Сейчас твоя голова интересуется меня только тем, что творится внутри ее, Джулия, а волосами твоими через несколько минут снова займется миссис Минсинг.

— Папенька, — отвечала ему Джулия, — подумайте только, как перепутались сейчас все мои мысли, а вы хотите за несколько минут причесать их. Если бы миссис Минсинг отважилась поступить так же решительно, я неминуемо бы лишилась половины моих волос.

— Ну, раз так, то скажи мне, — сказал полковник, — где они всего плотнее переплелись: я постараюсь распутать этот клубок поосторожнее.

— Да везде, должно быть, — ответила ему дочь. — Все это похоже на какой-то загадочный сон.

— Если так, то я попытаюсь разгадать его смысл.

И полковник рассказал дочери о судьбе Бертрама и о его видах на будущее; Джулия слушала его с интересом, который она тщетно старалась скрыть.

— Ну, а как теперь, — продолжал Мэннеринг, — яснее стало или нет?

— Нет, папенька, все запуталось еще больше. Человек, которого считали убитым в Индии, вдруг возвратился целым и невредимым, будто великий путешественник Абулфуариз, вернувшийся к своей сестре Канзаде и предусмотрительному брату Гуру. Я, кажется, напутала... Канзада это была его жена, но Люси как раз может сойти за нее, а Домини — за брата. А этот веселый сумасброд, шотландский адвокат, явился вдруг, как пантомима в конце трагедии. Но до чего я рада, что к Люси вернется ее состояние!

— Но, по-моему, — сказал полковник, — самое загадочное во всей этой истории то, что мисс Джулия

Мэннеринг, зная, насколько беспокоится ее отец о судьбе этого самого Брауна, или Бертрама, как нам теперь надо его называть, видела его в ту минуту, когда он встретился с Хейзлвудом, и ни одним словом об этом не обмолвилась; она допустила даже, чтобы его потом разыскивали повсюду как человека подозрительного и как убийцу.

Джулия, которая и так еле-еле собралась с духом, чтобы выслушать отца, была теперь совершенно не в силах владеть собой; она невнятно пробормотала, что не узнала в этот момент Брауна, но, убедившись, что отец ей не верит, опустила голову и замолчала.

— Так ты молчишь? Хорошо, Джулия, — продолжал полковник серьезно, но в то же время ласково. — А разве это был единственный раз, когда ты видела Брауна после его возвращения из Индии? Ты опять молчишь. В таком случае мне, естественно, остается только предположить, что это было не в первый раз? Опять молчание. Джулия Мэннеринг, будьте добры, отвечайте отцу! Кто это подъезжал к вашему окну и разговаривал с вами, когда вы жили в Мервин-холле? Джулия, я приказываю тебе, я прошу тебя, будь откровенна.

Мисс Мэннеринг подняла голову.

— Я была, да, наверно, я и сейчас еще безрассудна; мне еще тяжелее оттого, что я должна при вас встречаться с человеком, который был хоть и не самой причиной, но, во всяком случае, участником этого безрассудства. — Тут она замолчала.

— Так значит, это он распевал серенады в Мервин-холле?

Тон, которым были сказаны эти слова, придал Джулии больше смелости.

— Да, это был он, но я потом часто думала, что, если я и была неправа, у меня все же есть кое-какое оправдание.

— Что же это за оправдание? — спросил полковник быстро и довольно резко.

— Мне трудно говорить об этом, отец, но... — Тут она открыла маленькую шкатулку и протянула ему

несколько писем. — Прочтите эти письма, чтобы знать, с чего началась наша привязанность и кто одобрял ее.

Мэннеринг взял из ее рук пачку писем и подошел к окну; гордость не позволила ему уйти с ними куда-нибудь подальше. С волнением и тревогой он пробежал несколько строк, и тут же на помощь ему пришел его стоицизм — философия, которая корнями уходит в гордыню, но зато в плодах своих нередко несет людям добро. Обуздав, как только мог, поток нахлынувших чувств, он повернулся к дочери.

— Да, это верно, Джулия. Насколько я могу судить, эти письма подтверждают, что одному из своих родителей ты, во всяком случае, повиновалась. Последуем же шотландской пословице, которую еще недавно приводил Домини: «Что было — было, а наперед играй без обмана». Я никогда не стану упрекать тебя в том, что ты не была откровенна со мной... Только суди о будущих моих намерениях по моим поступкам, а на них тебе жаловаться ни разу не приходилось. Оставь у себя эти письма. Они были написаны не для меня, и больше того, что я прочел сейчас по твоему желанию и чтобы оправдать тебя, я читать не стану. Будем же друзьями! Нет, лучше скажи, ты меня поняла?

— Милый мой, добрый папенька, — воскликнула Джулия, кидаясь ему на шею, — как могло случиться, что я вас раньше не понимала?

— Довольно о старом, Джулия, мы виноваты оба: тот, кто слишком горд для того, чтобы стараться завоевать расположение и доверие других, и считает, что и без этого имеет на них неотъемлемое право, неизбежно встретит в жизни немало разочарований, и, может быть, заслуженных. Достаточно с меня и того, что самый дорогой и близкий мне человек сошел в могилу, так и не узнав меня. Я не хочу потерять доверие дочери, которой следовало бы любить меня, если только она действительно любит самое себя.

— Не бойтесь, папенька, не бойтесь, — ответила Джулия. — Если вслед за вами и я сама смогу одоб-

рить свои поступки, не будет ни одного самого строгого вашего приказания, которому бы я не повиновалась.

— Ну, хорошо, милая, — сказал полковник, целуя ее в лоб, — я не потребую столь героической жертвы. Что же касается твоих отношений с Бертрамом, то прежде всего я хочу, чтобы все тайные встречи и переписка с ним, — а молодая девушка никогда не может поддерживать их без того, чтобы не уронить себя в своих собственных глазах и в глазах того, кто ее любит, — так вот, я прошу, чтобы всякого рода тайные встречи и переписка прекратились и чтобы за объяснениями ты направила Бертрама ко мне. Ты, конечно, захочешь узнать, для чего все это нужно. Во-первых, я хочу изучить характер человека более внимательно, чем обстоятельства, а может быть, и мое собственное предубеждение мне раньше позволяли, и я буду рад, когда происхождение его будет окончательно доказано. Дело вовсе не в том, что я беспокоюсь, получит ли он поместье Элленгауэн, хотя безразличным это может быть разве только герою романа. Но так или иначе, Генри Бертрам, наследник Элленгауэна, невзирая на то, владеет ли он поместьем или нет, все же совершенно другое дело, чем неизвестно чей сын Ванбест Браун. Плейделл говорил мне, что предки Бертрама отличались под знаменами своих государей, в то время как наши дрались под Кресси и Пуатье. Словом, я не даю тебе моего согласия, хотя в то же время и не отказываю в нем; но я надеюсь, что ты исправишь свои былые ошибки, и, так как, к сожалению, матери твоей уже нет в живых, ты с тем большим доверием отнесешься теперь к отцу — ведь мое желание сделать тебя счастливой обязывает тебя.

Начало этой речи сильно огорчило Джулию; когда же полковник стал сравнивать былые заслуги Бертрамов и Мэннерингов, она еле могла сдерживать улыбку. Зато последние слова смягчили ее сердце, особенно восприимчивое ко всякому проявлению великодушия.

— Нет, милый папенька, — сказала она, протягивая ему руку, — поверьте мне, что с этой минуты я с вами

первым буду советоваться обо всем, что произойдет между Брауном, то есть Бертрамом, и мной, и что я не предприму ничего такого, чего вы могли бы не одобрить. Скажите мне, Бертрам останется гостить в Вудберне?

— Разумеется, — ответил полковник, — до тех пор, пока этого потребуют его дела.

— В таком случае согласитесь, что после всего, что было между нами, он захочет, чтобы я объяснила, почему я так переменилась к нему и лишила его надежды: ведь прежде, надо признаться, я давала ему повод надеяться.

— Полагаю, Джулия, — ответил Мэннеринг, — что он отнесется с уважением к моему дому и не забудет о тех услугах, которые я хочу оказать ему, а поэтому постарается не делать ничего такого, что мне было бы неприятно. Да, я думаю, что и ты дашь ему понять, как вам обоим подобает себя вести.

— Я все поняла, папенька, и буду теперь слушаться вас беспрекословно.

— Спасибо тебе, милая, а беспокоюсь я, — тут он поцеловал ее, — только за тебя одну. Ну, а теперь вытри глаза и идем завтракать.

Глава LII

Послушайте, шериф, даю вам слово,
Что завтра же я днем его пришлю,
Чтоб вам или другому, все равно,
Теперь ответ он дал на обвиненья.

«Генрих IV», часть I

После того как разыгрались эти, если можно так выразиться, второстепенные сцены между отдельными обитателями Вудберна, описанные нами в предыдущей главе, все общество собралось к завтраку, за исключением одного только Дэнди; ему больше пришлось по вкусу угощение, а может быть, даже и общество миссис Эллен, и он выпил у нее чашку чая, куда она влила две чайные ложки коньяку,

и закусил все это говядиной, отрезанной от огромного ссека. Он как будто чувствовал, что там, в обществе этой милой женщины и Барнса, он может вдвое больше съесть и вдвое больше поговорить, чем в гостиной, где собрались господа. И действительно, в этой непритворной компании завтрак прошел веселее, в гостиной же едва ли не над всеми тяготела какая-то принужденность. Джулия не решалась спросить Бертрама, не выпьет ли он еще чашку чая; Бертраму, который все время чувствовал на себе взгляд Мэннеринга, трудно было справиться с ломтиком поджаренного хлеба с маслом; Люси, исполненная радости по случаю возвращения брата, начала вдруг думать об его ссоре с Хейзлвудом; полковником овладело тягостное беспокойство, собственное человеку самолюбивому, когда он замечает, что присутствующие обращают внимание на самые незначительные его поступки.

Адвокат старательно намазывал масло на хлеб, и на лице его была необычайная для него серьезность, вызванная, очевидно, обстоятельствами дела, которым он только что занимался. Зато Домини был в полном восторге! Он глядел то на Бертрама, то на Люси, хихикал, мычал, ухмылялся и непрестанно нарушал правила хорошего тона: он опрокинул полный сливочник, и весьма кстати, в собственную тарелку с овсяной кашей, неизменно подававшейся ему утром, потом, недопив чай, который он называл «украшением завтрака», вылил остатки вместо полоскательницы в сахарницу и в довершение всего ошпарил кипятком старого Платона, любимого пуделя Мэннеринга, который встретил эту неожиданную ванну воем, отнюдь не делавшим чести ему как философу.

На этот раз спокойствие полковника поколебалось:

— Право же, дорогой мистер Сэмсон, вы забываете, что есть разница между Платоном и Ксенократом.

— Первый был главою академиков, а второй — стойков, — отвечал Домини, несколько задетый замечанием полковника,

— Да, но это как раз Ксенократ, а не Платон отрицал, что страдание — зло.

— Я склонен думать, — сказал Плейдел, — что это почтенное четвероногое, которое сейчас уходит из комнаты только на трех ногах, скорее принадлежит к школе циников.

— Это хорошо сказано. Но вот и ответ от Мак-Морлана.

Ответ был неутешительный. Миссис Мак-Морлан свидетельствовала свое почтение и сообщала, что минувшей ночью произошли тревожные события, которые задержали ее мужа в Портанферри, где он должен будет вести следствие.

— Что же нам теперь делать, мистер Плейдел? — спросил полковник.

— Жаль, мне бы очень хотелось повидать Мак-Морлана, — сказал адвокат. — Это человек рассудительный, и он стал бы действовать по моим указаниям. Но не беда. Надо ввести нашего друга *sui juris*.¹ Сейчас он просто беглый арестант. Закон против него; он должен быть *rectus in curiae*,² это главное. Для этого мы съездим с вами, полковник, в замок Хейзлвуд. Это не так далеко отсюда. Мы предложим свое поручительство, и я убежден, что легко сумеем доказать мистеру... извините, сэру Роберту Хейзлвуду необходимость наше поручительство принять.

— Я с радостью поеду, — сказал полковник. Он позвонил и отдал все необходимые распоряжения. — А потом что мы будем делать?

— Надо будет увидаться с Мак-Морланом и поискать новых доказательств.

— Доказательств? — воскликнул полковник. — Но ведь дело-то ясно как день; здесь находятся мистер Сэмсон и мисс Бертрам, вы же сами подтверждаете, что этот молодой человек вылитый отец. Да и он сам помнит все странные обстоятельства, связанные сего отъездом из Шотландии. Какие же еще нужны свидетельства?

¹ В свои права (*лат.*).

² Чист перед судом (*лат.*).

— Для нас с вами никаких свидетельств не требуется, но для суда их нужно немало. Воспоминания Бертрама это всего-навсего его собственные воспоминания, поэтому они никак не могут свидетельствовать в его пользу. Мисс Бертрам, наш досточтимый Сэмсон, да и я сам — все мы можем подтвердить не больше того, что подтвердил бы каждый, кто знал покойного Элленгауэна, то есть, что этот человек его живой портрет. Но из этого еще не следует, что он сын Элленгауэна и имеет право наследовать поместье.

— Что же еще нужно? — спросил полковник.

— Нам надо представить настоящие доказательства. Есть, правда, еще цыгане, но, к несчастью, в глазах правосудия их показания ничего почти не значат, их и в свидетели-то едва ли можно брать, а Мег Меррилиз и подавно; когда-то ведь я сам ее допрашивал, и она бесстыдно заявила, что ничего не знает.

— Ну, так как же нам поступить? — спросил Мэннеринг.

— Надо разузнать, — отвечал наш ученый адвокат, — какие сведения мы можем почерпнуть в Голландии от людей, среди которых воспитывался наш юный друг. Впрочем, страх перед наказанием за соучастие в убийстве Кеннеди может заставить их молчать, а если они даже и заговорят, то ведь это будут или иностранцы, или контрабандисты, которые вне закона. Словом, трудностей здесь еще немало.

— Разрешите вам сказать, наш почтенный и ученый адвокат, — сказал Домини, — что я верю, что тот, кто вернул маленького Гарри Бертрама его близким, не оставит своего дела незавершенным.

— Я тоже в это верю, мистер Сэмсон, — сказал Плейдел, — но все же надо найти способ это сделать. И теперь вот я боюсь, что добыть эти сведения нам будет труднее, чем я думал. Но кто робок, тому красавицы не победить. Кстати, — добавил он, обращаясь к мисс Мэннеринг, в то время как Бертрам разговаривал с сестрой, — теперь-то уж Голландия в ваших глазах оправдалась! Представьте себе только, каких

молодцов должны выпускать Лейден и Утрехт, если жалкая мидлбургская школа воспитала такого красавца!

— Пусть так, — сказал Домини, задетый за живое такой похвалой голландской школе, — пусть так, но знайте, мистер Плейдел, что ведь это я заложил основы его воспитания.

— Верно, мой дорогой Домини, — отвечал адвокат, — не иначе как этому обстоятельству он обязан своими изящными манерами. Но вот уже подадут карету. До свидания, юные леди; мисс Джулия, поберегите ваше сердце до моего возвращения и смотрите, чтобы никто не нарушал моих прав, пока я *non valens agere*.¹

В замке Хейзлвуд их приняли еще холоднее и церемоннее, чем обычно. К полковнику Мэннерингу баронет всегда относился с большим почтением, а Плейдел происходил из хорошей семьи и был человеком всеми уважаемым, да к тому же и старым другом сэра Роберта. Но при всем этом баронет был с ними натянут и сух. Он заявил, что «охотно принял бы их поручительство, несмотря на то, что нападение на молодого Хейзлвуда было задумано, нанесено и совершено, но этот человек самозванец и принадлежит к категории лиц, которым не следует давать волю, освобождать и принимать их в общество, и поэтому...»

— Сэр Роберт Хейзлвуд, я надеюсь, что вы не станете сомневаться в истинности моих слов, если я скажу вам, что он служил в Индии кадетом-волонтером под моим командованием.

— Ни с какой стороны, никоим образом. Но вы называет его кадетом-волонтером, а он говорит, утверждает и доказывает, что был капитаном и командовал одним из соединений вашего полка.

— Он получил повышение уже после того, как я перестал командовать этим полком.

— Но вы должны были об этом слышать.

— Нет, я вернулся из Индии по семейным обстоя-

¹ Не могу действовать (*лат.*).

тельствам и не старался особенно узнавать о том, что творилось в полку. К тому же имя Браун встречается настолько часто, что, даже просматривая газету, я мог не обратить на это сообщение никакого внимания. Но на днях должно прийти письмо от его теперешнего начальника.

— А меня вот известили и уведомили, мистер Плейдел, — ответил сэр Роберт, все еще раздумывая, — что он не намерен удовольствоваться именем Брауна и что он претендует на поместье Элленгауэн, выдавая себя за Бертрама.

— Вот как, кто же это говорит? — спросил адвокат.

— А если бы даже это и было так, неужели это дает право содержать его в тюрьме? — спросил Мэннеринг.

— Погодите, полковник, — сказал Плейдел, — я уверен, что ни вы, ни я не станем оказывать ему поддержку, если обнаружим, что он обманщик. А теперь скажите мне по дружбе, сэр Роберт, кто вам это сообщил?

— Ну, есть тут у меня один человек, — ответил баронет, — который особенно заинтересован в исследовании, выяснении, доскональном разборе этого дела; вы меня извините, если я не буду особенно распространяться о нем.

— Разумеется, — ответил Плейдел. — Так значит, он говорит...

— Он говорит, что разные цыгане, жестянщики и тому подобный сброд толкуют о том, о чем я вам уже говорил, и что этот молодой человек, который на самом деле является незаконнорожденным сыном покойного Элленгауэна и который так удивительно похож на него, хочет выдать себя за настоящего наследника.

— А скажите, сэр Роберт, у Элленгауэна действительно был незаконнорожденный сын? — спросил адвокат.

— Да, я это точно знаю. Элленгауэн определил его не то юнгой, не то простым кочегаром на таможенное военное судно или яхту; ему еще то-

гда помогал в этом его родственник, комиссионер Бертрам.

— Вот как, сэр Роберт, — сказал адвокат, перебивая нетерпеливого полковника, — вы мне рассказали то, чего я не знал; я все расследую, и если это окажется правдой, то можете быть уверены, что ни полковник Мэннеринг, ни я не окажем этому молодому человеку никакой поддержки. А в настоящее время мы хотим, чтобы он предстал перед законом и ответил на все возведенные на него обвинения. Поэтому знайте, что, отказавшись выдать его нам на поруки, вы поступите незаконно, и вам придется за это отвечать.

— Хорошо, мистер Плейдел, — сказал сэр Роберт, знавший, что суждения адвоката всегда отличались основательностью, — вы знаете лучше, и раз вы обещаете выдать этого человека...

— В случае, если окажется, что он обманщик, — прибавил Плейдел, сделав ударение на последнем слове.

— Ну да, конечно, на этих условиях я согласен принять ваше поручительство; хотя, признаюсь, один почтенный, образованный и очень расположенный ко мне сосед, да к тому же и весьма сведущий в законах, не далее как сегодня утром предупредил, предостерег меня, чтобы я этого не делал. От него-то я и узнал, что этот молодой человек был освобожден, увезен, или, вернее, бежал из тюрьмы. Но кто же напишет нам поручительство?

— Сейчас все будет сделано, — сказал Плейдел и позвонил. — Пошлите за моим писцом Драйвером, и не беда, если я продиктую все сам.

Бумага была составлена по всем правилам и подписана. Адвокат дал судье письменное распоряжение освободить из-под стражи Бертрама, alias¹ Брауна, и гости простились с хозяином.

В карете Мэннеринг и Плейдел сидели каждый в своем углу; некоторое время оба молчали. Первым заговорил полковник:

¹ Иначе (лат.).

— Итак, вы при первом же нападении готовы бросить этого несчастного на произвол судьбы?

— Я? — ответил адвокат. — Да я волоса его никому не уступлю, пусть даже мне пришлось бы из-за него все судебные инстанции пройти... Но чего ради затевать сейчас спор с этим старым ослом и раскрывать ему наши карты. Пусть он лучше сообщит своему советчику Глоссину, что нам от этого ни тепло ни холодно. Да мне к тому же хотелось и поразведать немного об этих вражеских кознях.

— А ведь это верно! — воскликнул полковник. — Теперь я вижу, что у судейских есть своя стратегия и тактика, как и у нас. Ну, и какого вы мнения об их боевой линии?

— Придумано все ловко, — сказал Плейдел, — но, по-моему, все напрасно; они немного перемудрили, в таких делах это обычная история.

Тем временем карета быстро привезла их в Вудберн. За всю дорогу у них не было никаких приключений, о которых стоило бы рассказывать, если не считать встречи с молодым Хейзлвудом. Полковник сообщил ему о необыкновенном появлении Бертрама, и Хейзлвуд, очень обрадованный, поскакал вперед, чтобы поскорее поздравить мисс Бертрам со столь неожиданным и столь счастливым событием.

Вернемся теперь к обществу, оставленному нами в Вудберне. После отъезда Мэннеринга все стали говорить о судьбе рода Элленгауэнов, об их богатстве, об их могуществе.

— Так значит, несколько дней тому назад я высадился на земле моих предков, — сказал Бертрам, — да еще при таких обстоятельствах, что меня можно было принять за бродягу? Но в тот самый день полуразрушенные башни и мрачные своды замка пробудили очень глубокие отзвуки в моей душе и разные воспоминания, в которых мне было трудно разобраться. Теперь я вернусь туда снова, уже с иными чувствами и, должно быть, с иными, лучшими надеждами на будущее.

— И не думай ездить туда, — сказала ему сестра. — Дом наших предков стал сейчас жилищем

негодяя, столь же коварного, сколь и опасного; хитрость и подлость его разорили нашего отца и свели раньше времени в могилу.

— Тем больше мне хочется встретить этого негодяя, — сказал ей брат, — будь это даже в том самом притоне... И, по-моему, я его уже видел.

— Но вы должны помнить, — сказала Джулия, — что вы теперь у Люси и у меня под охраной и отвечаете перед нами за все ваши поступки. Знайте же, что я не попусту двенадцать часов кряду любезничала с господином адвокатом. Так вот, говорю вам, что отправляться теперь в Элленгауэн было бы безумием. Самое большее, на что я готова согласиться, это пойти всем вместе погулять до границы Вудберна, а потом мы, может быть, проводим вас до холма, и вы взглянете оттуда на мрачные башни, которые вас так необычайно поразили.

Вся компания быстро собралась в путь; дамы надели мантильи и последовали за капитаном Бертрамом. Стояло ясное зимнее утро, мороза большого не было, и легкий ветерок придавал приятную бодрость. Какая-то глубокая, хоть и не до конца осознанная ими самими близость связывала теперь обеих девушек; Бертрам то слушал интересные для него семейные воспоминания, то сам рассказывал о своих приключениях в Европе и в Индии, вознаграждая этими рассказами сполна за все, что он узнавал. Люси гордилась своим братом; ей были дороги его смелость и решимость, опасности, которые он встречал на своем жизненном пути, и мужество, с которым он их преодолевал. А Джулия, раздумывая над всем, что говорил отец, не могла не надеяться, что как раз тот независимый дух, казавшийся какой-то дерзкой самонадеянностью в плеее Брауне, станет теперь в глазах полковника отвагой и благородством, достойными потомка старинного рода Элленгауэнов.

Наконец они вышли на небольшой пригорок, или холм, на самой возвышенной части поля, называемого Гиббиз-Ноу; место это не раз упоминалось в истории

ческих хрониках, как граничившее с владениями Элленгауэнов. Отсюда открывался далекий вид на горы и долины, окаймленные лесом. Голые ветви роняли на весь этот зимний пейзаж свои темно-лиловые тени, в то время как в других местах, там, где отчетливо видны были правильные ряды парковых деревьев, выделялась темная зелень сосен. Дальше, в расстоянии двух или трех миль, лежала Элленгауэнская бухта; западный ветер покрывал ее воды рябью. Зимнее солнце роняло разноцветные блики на высокие башни старого замка.

— Вот где жили наши предки, — сказала Люси, указывая на развалины. — Видит бог, милый брат, я не желаю тебе того могущества, которое, как говорят, было у их владельцев и которое они так часто употребляли во зло другим. Ах, если бы я только могла видеть тебя владельцем того, что осталось от их состояния; это обеспечило бы тебе необходимую независимость и помогло бы протянуть руку помощи всем людям, зависевшим от отца и ныне обездоленным, всем тем, кто с его смертью...

— Ты совершенно права, милая Люси, — ответил молодой наследник Элленгауэна, — и я верю, что с божьей помощью, которая нас до сих пор не оставляла, и с помощью добрых друзей, которые уже доказали свое великодушие, этим закончатся все мои мытарства. Но я человек военный, и вот теперь меня волнует судьба шершавых, изъеденных червями камней этой цитадели. И если овладевший всем этим негодяй посмеет тронуть хоть один камушек...

Тут его прервал Динмонт; он все время бежал за ними, но за поворотом его до последней минуты не было видно.

— Капитан, капитан! Вас ищут! Вас ищут! Та самая, ну да вы знаете кто!

И в то же мгновение Мег Меррилиз, как будто выросшая из-под земли, поднялась наверх по ложбине и преградила им путь.

— Я думала тебя дома найти, — сказала она, — а застала только его одного (она указала на Дин-

монта). Но прав был ты, а я неправа. Здесь нам надо было встретиться, как раз на том месте, где я в последний раз видела твоего отца. Помни свое обещание и следуй за мной.

Глава LIII

Она вошла к королю
Отвесила поклон,
Но не ответил ей Артур,
Глаза потупил он.

Она спросила: «Почему
Ты мрачен стал как ночь?
Ты не гляди, что я страшна, —
Ведь я пришла помочь».

«Свадьба сэра Гавэйна»

Прекрасная невеста сэра Гавэйна, заколдованная злою мачехой, выглядела, вероятно, еще более дряхлой и безобразной, чем Мег Меррилиз. Но вряд ли в ней была та дикая величественность, которую разгоравшееся воображение цыганки сообщало всем чертам ее лица, наделяя их какой-то особой выразительностью, и всей ее высокой, можно даже сказать громадной, фигуре. И рыцари Круглого стола не так были напуганы появлением отвратительной старухи между «дубом и зеленым остролистом», как Люси Бертрам и Джулия Мэннеринг — появлением этой гэллоуэйской сивиллы на полях Элленгауэна.

— Ради бога, дайте что-нибудь этой ужасной женщине, и пусть она уходит, — сказала Джулия, вынимая кошелек.

— Не могу, — ответил Бертрам, — мне нельзя ее обижать.

— Чего же ты ждешь? — спросила Мег своим глухим голосом, который, казалось, стал еще более грубым и хриплым. — Почему ты не идешь за мной? Или ты думаешь, что час твой пробьет для тебя дважды? Или ты забыл клятву, которую ты мне дал: «где бы ты ни был, в церкви, на рынке, на свадьбе

или на похоронах...» — И она грозно подняла кверху свой костлявый палец.

Бертрам повернулся к своим перепуганным спутницам.

— Извините меня, я покину вас ненадолго. Я дал обещание пойти за этой женщиной.

— Боже мой! Дал обещание сумасшедшей! — воскликнула Джулия.

— Цыганке, которая отведет тебя в лес, к своей шайке, и там тебя убьют? — сказала Люси.

— Не пристало дочери Элленгаузена такие слова говорить, — сказала Мег Меррилиз, сурово поглядев на мисс Бертрам, — только злые люди зла боятся.

— Так или иначе, я должен идти, — сказал Бертрам, — это совершенно необходимо, подождите меня минут пять здесь.

— Минут пять? — повторила цыганка. — Может, и за пять часов не управишься.

— Слышите, что она сказала? — воскликнула Джулия. — Ради всего святого, не ходите с ней!

— Я должен пойти. Динмонт проводит вас домой.

— Нет, — возразила Мег, — он пойдет с тобой. На то он и здесь. Тут и сила и смелость понадобятся. И пойти он должен: ты ведь тоже чуть голову не сложишь, когда его от лиходеев защищал.

— Что правда, то правда, — сказал непоколебимый фермер. — И прежде чем я расстанусь с капитаном, я докажу ему, что я этого не забыл.

— Да, конечно, — воскликнули вместе обе девушки, — если уж надо во что бы то ни стало следовать за этой страшной женщиной, то пусть Динмонт идет тоже!

— Да, идти надо, — ответил Бертрам, — но теперь вы видите, что я под надежной охраной. А пока прощайте и спешите домой.

Он пожал руку сестре и еще более нежным взглядом простился с Джулией. Не успев еще прийти в себя от изумления и страха, обе девушки тревожно глядели вслед Бертраму, его спутнику и их необычайной проводнице. Эта женщина так быстро, так уверенно шагала по бурому от зимней стужи

вереску, что казалось, она даже не идет, а скользит. В длинном плаще и в шапке она выглядела еще более высокой, так что по сравнению с ней Бертрам и Динмонт, оба мужчины рослые, казались ниже. Она пошла прямо пустырем, минуя извилистую тропинку, по которой можно было обойти все бесчисленные холмы и ручейки, встречавшиеся на пути. Поэтому фигуры трех удалявшихся людей, спускаясь в ложбинки, то исчезали из виду, то снова появлялись. В той решимости, с которой старуха вела их напрямик, не смущаясь препятствиями и не сворачивая никуда в сторону, было что-то страшное и сверхъестественное. Она шла гордо и быстро: так летит птица. Наконец они добрались до густого леса; поле здесь кончилось, и тропинка вела к ложбине и ручью Дернклю. Войдя в лес, они скрылись из виду.

— Очень все это странно, — сказала Люси после нескольких минут молчания. Потом, повернувшись к подруге, она спросила ее: — А какие у него могут быть дела с этой старой ведьмой?

— Это что-то очень страшное, — отвечала Джулия, — и чем-то напоминает мне сказания о колдуньях, ведьмах и злых духах, которые я слыхала в Индии. Там верят в ворожбу, которой можно поработить чужую волю и влиять потом на все поступки своей жертвы. Что может быть общего у твоего брата с этой ужасной женщиной, чтобы он вдруг оставил нас здесь одних и явно против воли пошел за ней выполнять ее приказания?

— Во всяком случае, я думаю, — сказала Люси, — что сейчас никакой беды ему не грозит. Она никогда не позвала бы с ним верного Динмонта, о чьей храбрости, решительности и силе Генри столько говорил, если бы действительно задумала причинить его другу какое-то зло. Сейчас пойдем домой и будем ждать возвращения полковника. А может быть, Бертрам вернется и раньше; что бы там ни было, полковник решит, как лучше поступить.

Взявшись под руку, они отправились обратно в смятении и страхе и дорогою несколько раз

оступались. Они уже дошли до аллеи, ведущей к дому, когда позади них послышался конский топот. Девушки сразу насторожились, стали прислушиваться к каждому звуку и, к своей великой радости, увидели молодого Хейзлвуда.

— Полковник сейчас приедет, — объявил он. — Я спешил сюда, чтобы приветствовать вас, мисс Бертрам, и принести вам самые искренние поздравления по случаю радостного события в вашей семье. Я сгораю от нетерпения познакомиться с капитаном Бертрамом и поблагодарить его за тот заслуженный урок, который он мне дал, наказав меня за опрометчивость и нескромность.

— Он только что оставил нас, — сказала Люси, — и при этом сильно нас перепугал.

В эту минуту подъехал полковник. Заметив молодых девушек, Мэннеринг велел вознице остановить лошадей и вышел из кареты. Примеру его последовал и адвокат. Джулия и Люси тут же сообщили обо всем, что их встревожило.

— Опять эта Мег Меррилиз! — сказал полковник. — Вне всякого сомнения, это на редкость таинственная и странная особа. Но ей, вероятно, надо было что-то сказать Бертраму, и она не хотела, чтобы мы это знали.

— Черт бы побрал эту сумасшедшую старуху! — сказал адвокат. — Не хочет она дать делу идти, как полагается *pro ut de lege*,¹ обязательно ей надо свой нос сунуть. Ясно, что они пошли в поместье Элленгауэн, а этот подлец Глоссин уже показал, каких он имеет негодяев в своем распоряжении. Хорошо, если наш добрый Лидсдейл за него постоит.

— Если вы позволите, — сказал Хейзлвуд, — я с величайшей охотой поеду сейчас вслед за ними. Меня здесь все хорошо знают, и вряд ли кто-нибудь осмелится напасть на них при мне. А я буду пока держаться на достаточном расстоянии и мешать их разговору не стану, а то еще, чего доброго, Мег подумает, что ее выслеживают.

¹ Законным путем (лат.).

«Право же, из бледненького мальчугана со школьной сумкой, каким я помню его совсем еще недавно, наш юный Хейзлвуд стал настоящим мужчиной, — подумал Плейдел. — Меня больше всего страшит какая-нибудь ловушка, устроенная под прикрытием закона, а вовсе не открытое нападение, до которого Хейзлвуд, конечно, не допустит ни Глоссина, ни его приспешников».

— Поезжай, друг мой, следи за ними хорошенько, они, вероятно, или в Дернклю, или где-нибудь в Уорохском лесу.

Хейзлвуд поворотил лошадь.

— Приезжайте к нам обедать, Хейзлвуд! — крикнул ему полковник.

Юноша поклонился, пришпорил коня и ускакал.

Вернемся теперь к Бертраму и Динмонту, которые продолжали следовать за таинственной проводницей сквозь лес и ложбины между пустырем и разрушенными хижинами Дернклю. Дорогой она даже почти не оглядывалась на своих спутников, разве только, чтобы поругать их за то, что они медленно идут, хотя, несмотря на холодную погоду, по их лицам струился пот. По временам она произносила какие-то отрывистые фразы, обращенные к самой себе, вроде следующих: «Надо перестроить старый дом... надо заложить фундамент... И разве я этого не говорила? Я сказала ему, что затем я и на свете живу, и если бы даже первым камнем голову отца моего положить пришлось, все равно, а об его голове что же и говорить. Я ведь ждала смерти, и вот, в темнице и в кандалах, я была верна своей цели. Меня гнали, и на чужбине я все одну думу думала. Били меня да огнем жгли, только так глубоко она в меня засела, что ни железо каленое, ни ремни не могли до нее добраться. И теперь час настал!»

— Капитан, — прошептал Динмонт, — как бы она тут на нас наваждения какого не напустила! Слова-то у нее все не как у других, не как у крещеного люда. Ведь поговаривают же, что такое нет-нет да и случается.

— Не бойтесь, друг мой, — шепнул ему в ответ Бертрам.

— Бояться! Да я в жизни ничего не испугаюсь, — сказал бесстрашный фермер, — будь она хоть ведьма, хоть сам дьявол; Дэнди Динмонту все одно.

— Тише, помалкивай, — сказала Мег, строго взглянув на него через плечо. — Неужели ты думаешь, что сейчас время и место говорить?

— Послушай, милая, — сказал Бертрам, — я несколько не сомневаюсь ни в твоей верности, ни в расположении ко мне, ты их уже доказала. Но надо, чтобы и ты мне доверяла. Куда ты ведешь нас?

— На это есть один только ответ, Генри Бертрам, — сказала сивилла. — Я поклялась, что язык мой ничего не вымолвит, но я не клялась, что палец никогда не покажет. Иди туда и счастье свое найдешь, а вернешься — так потеряешь. Вот и весь сказ.

— Иди тогда вперед, и я больше ни о чем не спрашиваю, — ответил Бертрам.

Они спустились в лошину в том самом месте, где Мег Меррилиз последний раз рассталась с Бертрамом. Она постояла под той высокой скалой, с которой он в то утро смотрел, как хоронили мертвеца, и топнула ногой о землю; как эту землю ни старались сровнять, видно было, что насыпана она совсем недавно.

— Тут вот зарыт один, — сказала она. — Скоро он, может быть, и еще кого дождетсЯ.

Потом она пошла вдоль ручья, пока не добралась до разрушенных хижин. Там она остановилась и, поглядев с каким-то особым вниманием и участием на одну из крыш, которая все еще держалась, сказала уже менее бессвязно, но все так же торжественно:

— Видишь ты эти черные развалины? На этом месте сорок лет мой котел кипел. Здесь я двенадцать детей, сыновей и дочерей, родила. Где же они все теперь? Где те листья, что украшали этот старый ясень в Мартинов день? Западный ветер их все развеял. Так он сорвал и унес все мои листья. Видишь эту иву? Теперь от нее один только гнилой пенек остался. А сколько раз я под ней летними вечерами

сизживала, она свешивала тогда свои густые пряди, а под ней журчала вода. Да, я здесь сидела и (тут она повысила голос) тебя на коленях держала, тебя, Генри Бертрам, и пела тебе песню о старых баронах и об их кровавых распрах. Никогда больше эта ива не зазеленеет, а Мег Меррилиз никогда не запоеет песню, ни радостную, ни печальную. Но ты ведь ее не забудешь, правда? Ты починишь эту ветхую крышу. И пусть живет тут человек добрый, такой, что не побоялся бы выходцев из другого мира. Потому... если точно мертвецы перед живыми являются, я сама, когда косточки мои в земле будут, не раз еще сюда загляну.

Дикий, граничащий с безумием пафос, с которым она произносила эти слова, протянув вперед свою обнаженную правую руку, тогда как левая была согнута и спрятана под темно-красным плащом, был достоин нашей знаменитой Сиддонс.

— А теперь, — сказала она прежним отрывистым, суровым и торопливым голосом, — к делу, к делу!

Она взошла на скалу, на которой стояла Дерн-ключейская башня, вытащила из кармана большой ключ и открыла дверь. На этот раз все внутри было прибрано.

— Я тут все приготовила, — сказала она. — Может быть, еще до ночи здесь уже лежать буду. Мало кто сюда придет с телом Мег проститься, многие из наших осудят меня за то, что я сделаю, а сделать это я должна!

Она указала на стол, на котором лежало вареное мясо, приготовленное аккуратнее, чем можно было ожидать, зная привычки Мег.

— Садись и ешь, — сказала она. — Ешь, к ночи все пригодится.

Бертрам из учтивости съел кусок или два, а Динмонт, на аппетит которого не повлияли ни изумление, ни страх, ни съеденный утром завтрак, сел за стол и начал уплетать мясо за обе щеки. Потом она налила каждому по стакану водки. Бертрам добавил в свой стакан воды, а Динмонт выпил водку неразбавленной.

— А ты-то сама, бабушка, разве ничего есть не будешь? — спросил Динмонт.

— Мне этого уже не надо, — ответила их таинственная хозяйка. — А теперь, — сказала она, — я вам оружие найду. С голыми руками туда идти нельзя. Но, смотрите, будьте с ним осторожны, заберите человека живым, и пусть им закон займется... Перед смертью он все сказать должен.

— Кого это надо взять? И кто должен все сказать? — спросил изумленный Бертрам, получив от нее пару пистолетов и убедившись, что они заряжены.

— Кремни хороши, и порох сухой, — сказала она, — в этом-то я толк знаю.

Потом, ничего не ответив Бертраму, она вооружила Динмонта большим пистолетом; затем вытащила из угла целую связку дубин довольно подозрительного вида и велела каждому из них выбрать себе по одной. Бертрам взял толстую сучковатую палку, а Дэнди, тот выбрал настоящую палицу: такая была бы под стать самому Геркулесу. После этого все трое вышли из хижины. Бертрам успел только шепнуть фермеру:

— Тут что-то непонятное творится. Но оружие пускать в ход не следует, если только крайней нужды не будет. Следите за мной и поступайте точно так же, как я.

Динмонт кивнул головой в знак согласия, и они снова зашагали за цыганкой по твердой земле, по залежам, по болотам. Она привела их в Уорохский лес той самой тропинкой, по которой скакал в Дерн-кю Элленгауэн, отыскивая сына в тот роковой вечер, когда был убит Кеннеди.

Когда они дошли до леса, где холодный морской ветер глухо завывал среди деревьев, Мег Меррилиз на мгновение остановилась, как будто вспоминая дорогу.

— Надо держаться тропинки, — сказала она и пошла вперед, теперь уже не по прямой, как перед этим. Наконец она провела их сквозь лесную чащу и вышла на открытую поляну, площадью около четверти акра, окруженную со всех сторон беспорядочно

разросшимися деревьями и кустарником. Даже в зимнюю пору это уединенное место было надежно укрыто от глаз. А когда все вокруг убрано весенней зеленью, когда земля усеяна полевыми цветами, когда кусты стоят в весеннем наряде и плакучие березы, сплетаясь наверху ветвями, образуют купол, непроницаемый для солнца, кажется, что именно сюда придет юный поэт слагать свое первое стихотворение и молодые влюбленные захотят именно здесь открыться друг другу в своих чувствах. Но теперь эта поляна, должно быть, пробуждала совсем иные воспоминания. Оглядев окрестности, Бертрам помрачнел, ему стало не по себе.

— Тут-то оно и было, — пробормотала Мег себе под нос, искоса и как-то странно посмотрев на Бертрама. — Ты что, помнишь?

— Да, — ответил Бертрам, — как будто припоминаю...

— Так вот, — продолжала цыганка, — на этом самом месте он упал с лошади... Я стояла в эту минуту за кустом. Как он отчаянно дрался, как отчаянно молил о пощаде! Но он попал в руки людей, которые не знают этого слова! Теперь я проведу тебя дальше... Последний раз здесь вот эти руки тебя пронесли.

Она повела его куда-то длинной, извилистой тропинкой, почти сплошь заросшей кустарником, и вдруг, даже как будто не заметив, что тропинка спускается вниз, они очутились у самого берега моря. Ускорив шаги, Мег пошла вдоль берега прямо под скалою и остановилась около огромной каменной глыбы.

— Здесь, — еле слышно прошептала она, — здесь вот нашли его тело.

— А тут рядом пещера, — таким же шепотом ответил ей Бертрам. — Так ты туда нас ведешь?

— Да, — решительно сказала цыганка. — Соберитесь оба с силами и полезайте сейчас за мной в пещеру; я там дров навалила так, что вам будет где укрыться. Спрячьтесь и не выходите из засады, пока я не скажу: «Час пробил, и человек пришел!» Тогда накидывайтесь на него, заломите ему руки назад и свяжите их так, чтобы из-под ногтей кровь сочилась.

— Клянусь тебе, все будет сделано, — сказал Бертрам, — если этот человек действительно, как его... Янсен?

— Да, Янсен, Хаттерайк, у него десятка два имен.

— Динмонт, не отходите от меня ни на шаг, — сказал Бертрам, — это не человек, а сам дьявол.

— Уж не извольте сомневаться, — заверил его наш дюжий фермер. — Только не худо бы помолиться, перед тем как за этой ведьмой в пещеру лезть. Жалко уж очень расставаться и со светом божьим и с вольным воздухом, чтобы тебя потом, как лису в норе, прикончили. Но только, ей-богу же, не родился еще тот терьер, который бы Дэнди Динмону горло перегрыз. Словом, будьте спокойны, я от вас не отстану.

Все это было сказано еле слышным шепотом. Вход в пещеру уже был открыт. Мег вползла туда на четвереньках, за ней последовал Бертрам, а Динмонт, горестно взглянув последний раз на солнце, с которым он расставался, полез за ними.

Глава LIV

...умри, пророк, навеки замолчи!
Исполнишь, предначертанное свыше!

«Генрих VI», часть III

Динмонт, который, как мы уже сказали, полез в пещеру последним, вытянулся во весь свой длинный рост и с опаской пробирался по темному, узенькому и низкому ходу. Вдруг он почувствовал, что сзади кто-то его схватил за ногу. Непоколебимое мужество нашего фермера едва не изменило ему, и он с трудом подавил крик, который всем им, в ту минуту совершенно беззащитным, мог стоить жизни. Он, однако, ограничился тем, что выдернул ногу из рук неизвестного.

— Не бойтесь, — услышал он сзади себя, — это друг, Чарлз Хейзлвуд.

Слова эти были сказаны очень тихо, но их было достаточно, чтобы встревожить Мег Меррилиз; ста-

руха к тому времени добралась уже до места, где пещера расширяется, и стояла на ногах. Как будто заботясь о том, чтобы никто их не услышал, она начала что-то бормотать, громко петь и в то же время шуршать сложенным в пещере хворостом.

— Эй ты, карга старая, чертова ты перечница, — прогремел из глубины пещеры грубый голос Дирка Хаттерайка, — чего ты там возишься?

— Хворост складываю, чтобы ты тут совсем не замерз, нечестивец этакий. Тебе тут теперь неплохо, ты и в ус себе не дуешь, только погоди, скоро все переменится.

— А водки ты мне принесла? И что там насчет моих молодцов слышно? — спросил Дирк Хаттерайк.

— На тебе флягу, держи. А молодцов твоих всех красные мундиры поразгоняли, поубивали да на куски порубали.

— Deuyvil! Нет мне счастья на этом берегу.

— Еще меньше, пожалуй, чем ты думаешь.

В это время Бертрам и Динмонт уже вползли в пещеру и могли встать на ноги. Мрачно громоздившиеся своды освещались только несколькими угольками, положенными на железную решетку, — светильником, которым во время лова семги пользуются рыбаки. Время от времени Хаттерайк кидал на эти уголья охапку сухих веток и щепы, но даже в ту минуту, когда все это вспыхивало, пламя было слишком тусклым, чтобы озарить огромное подземелье. Хаттерайк лежал в самой глубине пещеры, далеко от входа, и ему нелегко было разглядеть, что делалось там. Бертрам и Динмонт, к которым присоединился еще и Хейзлвуд, укрывались за грудой хвороста и могли особенно не опасаться, что их увидят. Фермер догадался схватить молодого лэрда за руку и в эту минуту успел шепнуть Бертраму:

— Это наш друг, Хейзлвуд.

Но сейчас знакомиться было некогда; все трое стояли в той же неподвижности, что и окружавшие их скалы, прячась за кучей хвороста, которая защищала пещеру от холодного морского ветра и в то же время не преграждала доступ свежему воздуху.

Хворост был навален так, что, глядя сквозь него на освещенное углями пространство, они свободно могли видеть, что делалось в глубине пещеры, в то время как оттуда их нельзя было бы разглядеть и при более ярком свете.

В сцене этой, даже если отвлечься от ее внутреннего смысла и от той опасности, которая угрожала в этот миг ее участникам, было нечто зловещее — так страшна была игра света и тени на столь необычных предметах и лицах. Темно-красные уголья на решетке то разгорались ярким пламенем, то вновь тускнели, в зависимости от того, насколько хорошо горел хворост, который Дирк Хаттерайк подбрасывал в огонь. Облако удушливого дыма поднималось к самому верху пещеры, потом весь этот колыхающийся столб вспыхивал слабым светом, становившимся ярче, когда в огонь бросали охапку сухих веток или сосновую щепу, и дым превращался в пламя. В эти минуты можно было довольно отчетливо разглядеть Хаттерайка. Мрачное настроение, вызванное трудными обстоятельствами, в которых он находился сейчас, придавало его суровому и дикому лицу вид еще более свирепый. Впечатление это еще усиливалось от большой глубины всех темных борозд и изломов высившегося над ним скалистого свода. Мег Меррилиз расхаживала взад и вперед, то озаряемая отсветами пламени, то снова погружаясь во тьму. Она все время пребывала в движении, в то время как склоненный над огнем Хаттерайк не шевелился; он неизменно оставался в поле зрения, а она, как призрак, то появлялась, то исчезала.

Увидев Хаттерайка, Бертрам почувствовал, как кровь в нем вскипела. Он хорошо помнил его под именем Янсена — имя это контрабандист присвоил себе после смерти Кеннеди; помнил он также, что этот Янсен и товарищ его Браун, тот самый, которого застрелили в Вудберне, жестоко издевались над ним, когда он был еще ребенком. Сопоставляя обрывки своих воспоминаний с рассказами Мэннеринга и Плейдела, Бертрам понял, что этот человек был главным действующим лицом в том преступлении, которое ото-

рвало его от семьи и родины и подвергло стольким опасностям и невзгодам. Множество страшных картин ожило в его памяти; он едва мог сдерживать себя, чтобы не кинуться на Хаттерайка и не проломить ему голову.

Но это было бы делом опасным. Вспыхивавшее по временам пламя, озаряя сильную, мускулистую, широкоплечую фигуру разбойника, бросало свой свет на подвешенные к его поясу две пары пистолетов и рукоятку тесака. Вне всякого сомнения, смелости в нем было столько же, сколько отчаянности и силы. Но при всем том он, вероятно, не устоял бы перед силою Бертрама и Динмонта, если бы они напали на него разом, не считая неожиданно явившегося на помощь Хейзлвуда, который был послабее и к тому же безоружен. Однако Бертрам, подумав с минуту, решил, что не имело никакого смысла брать на себя обязанности палача, и понял, как важно было бы взять Хаттерайка живым. Поэтому он подавил негодование и стал ждать, что будет.

— Ну, что ты теперь скажешь? — спросила старуха своим хриплым, грубым голосом. — Не говорила я разве тебе, что расплата придет как раз в той самой пещере, где ты тогда укрывался?

— Wetter und Sturm,¹ ведьма ты этакая! — отвечал Хаттерайк. — Побереги свои дьявольские наветы, пока в них нужда будет. Ты что, Глоссина видала?

— Нет, — ответила Мег Меррилиз, — маху ты дал, кровопийца проклятый! Теперь тебе уж твой искуситель не поможет!

— Nagel, — воскликнул негодяй, — мне бы его только за горло схватить! Но что же мне теперь делать?

— Делать? — переспросила цыганка. — Сумей умереть как мужчина, не то тебя повесят как собаку.

— Повесят! Чертова ведьма! Еще та конопля не посеяна, из которой веревку будут вить, чтобы меня повесить.

— Посеяна, выросла, снята и спрядена. Разве я не говорил тебе, когда ты моих просьб не слушал

¹ Непогода и буря (нем.).

и маленького Гарри Бертрама увез, — разве я не говорила, что он воротится сюда на двадцать втором году жизни, когда минет срок его мытарств на чужой стороне? Не говорила я разве, что от старого останется одна только искорка, но она разгорится снова?

— Верно, старуха, ты все это говорила, — сказал Хаттерайк голосом, в котором слышалось отчаяние. — И, Donner und Blitzen, должно быть ты говорила правду... Этот молокосос из Элленгауэна всю жизнь у меня был как бельмо на глазу! А теперь из-за этого проклятого Глоссина ребят моих порубили, шлюпки потопили, люгер, и тот, должно быть, взяли: там и народу-то столько не оставалось, чтобы судно в море увести, а защищаться и совсем некому было; простая рыбацкая лодка, и та могла его забрать. А что теперь хозяева скажут? Hagel und Sturm, теперь мне и показаться во Флиссингене нельзя.

— Да и не понадобится, — сказала цыганка.

— Что ты там делаешь и почему не понадобится? — спросил Хаттерайк.

Разговаривая с ним, Мег собирала в одну кучу пеньку. Перед тем как ему ответить, она полила всю эту кучу спиртом, а потом кинула туда зажженную головню; та мгновенно вспыхнула, и пирамида яркого света взметнулась к самому своду. В это мгновение Мег спокойным и твердым голосом произнесла:

— *Потому что час настал и человек пришел.*

По условленному сигналу Бертрам и Динмонт выскочили из засады и кинулись на Хаттерайка. Хейзлвуд ничего не знал о готовившемся нападении и немного замешкался. Увидев, что его предали, Хаттерайк сразу обратил свое мщение на цыганку и выстрелил в нее из пистолета. Она упала с ужасным и пронзительным криком, в котором слышен был не то вопль страдания, не то сдавленный истерический смех.

— Я знала, что так будет, — сказала она.

Бертрам второпях споткнулся о попавшийся под ногу неровный камень, и это было его счастьем: вторая пуля Хаттерайка просвистела над его головой, и прицел был так верен, что, окажись он в эту минуту на ногах, пуля неминуемо пробила бы ему голову. Кон-

трабандист попробовал было вытащить другой пистолет, но Динмонт уже навалился на него, пытаясь прижать к земле. Однако преступник был так силен и вдобавок охвачен таким отчаянием, что даже могучие руки Динмонта не могли с ним справиться сразу; негодяй проволоком своего противника сквозь горящую пеньку и едва не выхватил третий пистолет, что могло стоить жизни нашему доброму фермеру. Но в это мгновение Бертрам вместе с Хейзлвудом, подоспевшим ему на помощь, набросились на Хаттерайка, свалили его на пол, разоружили и связали. Хотя для описания всей этой схватки и требуется немало времени, продолжалась она всего несколько мгновений. Когда Хаттерайк был уже крепко связан, он судорожно рванулся еще раз другой, потом совсем затих.

— Дороголько он свою шкуру продает, — сказал Динмонт. — Ну что же, это не худо.

Он встал на ноги и начал стряхивать горящую пеньку со своей грубой одежды и спутанных черных волос, кое-где опаленных огнем.

— Теперь все в порядке, — сказал Бертрам. — Оставайтесь с ним и не давайте ему с места сдвинуться, а я пока взгляну, жива ли бедная старуха.

С помощью Хейзлвуда он приподнял Мег Меррилиз.

— Я знала, что так будет, — пробормотала она, — так и должно быть.

Пуля пробила ей грудь под самым горлом. Крови было не очень много, но Бертрам, привыкший видеть различные огнестрельные ранения, нашел ее рану тем более опасной.

— Боже праведный, чем же нам помочь ей, бедной? — сказал он, обращаясь к Хейзлвуду; обстоятельства избавили их от необходимости объясняться и представляться друг другу.

— Лошадь моя привязана в лесу, — сказал Хейзлвуд. — Я ведь за вами целых два часа следил. Сейчас я поеду и привезу с собой надежных людей. А до тех пор, пока я не вернусь, вам надо лучше защитить вход в пещеру.

С этими словами он поспешно удалился. Бертрам

перевязал как мог рану Мег Меррилиз и расположился у входа, держа наготове заряженный пистолет. Динмонт продолжал стеречь Хаттерайка, представив ему к груди свой геркулесов кулак.

В пещере царила мертвая тишина; ее прерывали только сдавленные стоны раненой и тяжелое дыхание пленника.

Глава LV

Ты на чужбине пропадал,
Чтоб годы странником брести,
Но знал господь, как ты плутал
И кто сбивал тебя с пути.

«Суд»

Через какие-нибудь сорок минут, которые из-за неизвестности и грозившей им опасности показались нашим героям чуть ли не часами, снаружи послышался вдруг голос Хейзлвуда:

— Это я и со мною еще люди.

— Заходите же, — отвечал Бертрам, очень обрадованный тем, что может наконец оставить свой пост.

Хейзлвуд забрался в пещеру в сопровождении двух фермеров и констебля. Они подняли связанного Хаттерайка и понесли его на руках, до тех пор пока позволяла высота прохода; потом они положили его на спину и поволокли из пещеры, потому что никаким уговорам встать и идти он не поддавался. Он лежал у них на руках безмолвный и неподвижный, будто мертвец, ни в чем им не сопротивляясь, но вместе с тем ничем им не помогая. Когда его вытащили на свет, четыре человека, остававшиеся у входа, поставили его на ноги. Казалось, он был ошеломлен и ослеплен внезапным переходом от тьмы к свету. В то время как остальные пошли вытаскивать Мег Меррилиз, люди, караулившие Хаттерайка, хотели усадить его на обломке скалы у самого моря. Но его железное тело сразу вдруг все перевернулось, и, рванувшись в сторону, он закричал:

— Только не сюда! Nagel! Сюда-то я уж никак не сяду!

Это были его единственные слова, но их тайный смысл и тот ужас, с каким он их произнес, давали понять, что в это время происходило в его душе.

Когда со всеми предосторожностями, которых требовало ее тяжелое состояние, Мег Меррилиз вынесли из пещеры, все стали советовать между собой о том, что с ней теперь делать. Хейзлвуд послал за хирургом и предлагал оставить ее пока в ближайшей хижине. Но цыганка закричала:

— Нет! Нет! Нет! В Дернклю, в Дернклюскую башню; только там дух расстанется с телом!

— Надо исполнить ее желание, — сказал Бертрам, — не то горячка еще усилится от волнения.

Они отнесли ее в Дернклю. Дорогой мысли ее были заняты больше тем, что произошло в пещере, чем близостью смерти.

— Их трое на него накинлось, — бормотала она. — Я двоих привела, а кто же был третий! Неужели это *он сам* приходил за себя отомстить?

Было ясно, что неожиданное появление Хейзлвуда, которого она, уже тяжелораненая, не могла разглядеть и узнать, произвело на нее потрясающее впечатление. Она то и дело заговаривала об этом снова. Хейзлвуд объяснил Бертраму свое неожиданное появление в пещере. Он некоторое время следовал за ними и, выполняя просьбу Мэннеринга, старался не потерять их из виду. Едва только он заметил, что они скрылись под землей, он сам пополз туда же, собираясь потихоньку сказать, кто он и зачем сюда явился, как вдруг в темноте дотронулся рукой до ноги Динмонта, и одно только присутствие духа нашего храброго фермера спасло их от беды.

Цыганку принесли к самой двери башни; ключ оказался при ней. Когда же ее внесли в комнату и хотели положить на постель, она с тревогой сказала:

— Нет! Нет! Не так. Ногами к востоку! — и успокоилась только тогда, когда ее положили так, как кладут покойника.

— Нет ли где поблизости священника, — сказал Бертрам, — чтобы эта несчастная могла помолиться перед смертью?

Приходский священник, который когда-то был наставником Чарлза Хейзлвуда, услышал, как и многие другие, что убийца Кеннеди схвачен на том самом месте, где столько лет тому назад совершилось злодеяние, и что при этом смертельно ранили какую-то женщину. Из любопытства, а, впрочем, может быть, и из чувства долга, призывающего идти туда, где случилось несчастье, священник этот сразу же отправился в Дернклю и теперь находился там. В то же время явился и врач и хотел осмотреть рану. Но Мег отказалась от помощи обоих.

— Нет на свете никого, кто мог бы вылечить мое тело или спасти мою душу. Дайте мне только сказать все, что надо, а потом делайте со мной что хотите, мешать вам я не буду. Но где же Генри Бертрам?

Все давно уже отвыкли от этого имени, и теперь обступившие ее люди с изумлением глядели друг на друга.

— Да, — повторила она еще более резким и пронзительным голосом, — я сказала: *Генри Бертрам Элленгауэн*. Отойдите от света и дайте мне взглянуть на него.

Все устремили глаза в сторону Бертрама, который подошел к ее ложу. Раненая взяла его за руку.

— Взгляните на него, — сказала она, — все те, кто хоть раз видел его отца и деда, и убедитесь, как он на них похож!

Шепот пробежал по толпе; сходство было столь разительно, что отрицать его было нельзя.

— А теперь послушайте меня, и пусть этот вот человек, — тут она показала на Хаттерайка, который сидел с охранявшей его стражей на сундуке в углу, — пусть он только посмеет сказать, что я лгу. Перед вами Генри Бертрам, сын Годфри Бертрама, того, что прежде звался Элленгауэном. Это тот мальчик, которого Дирк Хаттерайк похитил в Уорохском лесу в тот самый день, когда он убил Кеннеди. Я там бродила тогда как тень... Хотелось мне еще разок взглянуть на этот лес, перед тем как покинуть навсегда эти места. Я спасла малютке жизнь, и как я просила, как я умоляла, чтобы его отдали мне! Но

они увезли его с собою, и он долго жил за морем. А теперь вот он воротился сюда за своим наследством, и кто посмеет ему его не отдать! Я поклялась хранить эту тайну, пока ему не минет двадцать один год. Я знала, что до той поры судьбе его не измениться. Я сдержала эту клятву, но я дала себе еще и другую. Я поклялась, что, если я доживу до дня, когда он воротится, я верну ему владения его предков, даже если бы каждый шаг на этом пути стоил человеческой жизни. Я сдержала и эту клятву. И сама сойду теперь первой в могилу. А он, — сказала она, указывая на Хаттерайка, — будет вторым, и скоро к нему прибавится еще один!

Священник выразил сожаление, что никто не записал дословно все, что она сказала; врач же объявил, что прежде всего надо осмотреть рану, а до этого не следует тревожить ее вопросами. Когда она увидела, что Хаттерайка уводят из комнаты, чтобы врач мог приступить к осмотру, она приподнялась на своем ложе и громко закричала:

— Дирк Хаттерайк, мы с тобою больше не встретимся до страшного суда! Признаешь ты или нет то, что я тебе сейчас сказала, или посмеешь отрицать?

Он обернулся и угрюмо и вместе с тем вызывающе поглядел на нее.

— Дирк Хаттерайк, теперь, когда ты запятнал свои руки моей кровью, посмеешь ли ты отрицать хоть одно слово из того, что я говорю на смертном одре?

Он снова посмотрел на нее так же непоколебимо и со звериным упрямством в глазах, пошевелил губами, но не произнес ни звука.

— Тогда прощай, — сказала она, — и бог тебе судья! Рука твоя уже подтвердила мои слова... Всю жизнь я была полоумной цыганкой, которую били, и гнали, и клеймили каленым железом; она ходила от порога к порогу и просила милостыню, и как бродячую собаку ее гоняли из прихода в приход. Кто же тогда поверил бы *ее* словам? Но сейчас я умираю, и слово мое не прозвучит даром, как не даром пролита кровь моя!

Тут она умолкла; все вышли, и при ней остался только врач и еще две-три женщины. Осмотрев ее,

врач только покачал головой и уступил свое место священнику.

Один из констеблей, имея в виду, что Хаттерайка необходимо будет переправить в тюрьму, остановил почтовую карету, которая возвращалась в Кипплтринган порожняком. Кучер, догадавшись о том, что в Дернклю произошло что-то необыкновенное, поручил лошадей одному из мальчишек, полагаясь при этом больше, по-видимому, на почтенный возраст и на степенный нрав лошадей, чем на достоинства своего доверенного лица, и пустился бегом поглазеть, «что там за невидаль такая». Он прибежал как раз в ту минуту, когда толпа фермеров и крестьян, которая все росла, наглядевшись вволю на свирепое лицо Хаттерайка, устремила все свое внимание на Бертрама. Почти все они, а в особенности старики, которые помнили Элленгауэна в дни его молодости, признали справедливость слов Мег Меррилиз. Но шотландцы — народ осторожный; толпа эта не забыла, что поместье перешло уже в чужие руки, и люди только шепотом выражали друг другу свои чувства. Приятель наш, кучер Джок Джейбос, протиснулся тем временем в самую середину толпы. Но не успел он, однако, взглянуть на Бертрама, как попятился от изумления и торжественно воскликнул:

— Чтоб мне света божьего не видать, если это не Элленгауэн из могилы встал!

Это публичное признание беспристрастного свидетеля послужило как бы искрой, которая зажгла все сердца.

В толпе начали кричать:

— Слава Бертраму! Да здравствует наследник Элленгауэнов! Дай ему господь вернуть свое добро и жить с нами так, как предки его жили!

— Я здесь семьдесят лет живу, — сказал один из крестьян.

— А я вместе с отцом да дедом дважды по семидесяти, — сказал другой. — Уж кто-кто, а я-то Бертрама могу узнать.

— А мы вот здесь триста лет живем, — заявил еще один старик, — и я готов свою последнюю корову про-

дать, только бы молодой лэрд в свое поместье вернулся.

Женщины, которых привлекают все чудесные происшествия, а тем более когда героем их оказывается молодой красавец, присоединились к общему хору.

— Да благословит его бог, ведь это живой портрет отца! Бертрама у нас всегда любили! — кричали они.

— Ах, кабы бедная мать его, которая с тоски по нем померла, могла до этой поры дожить! — причитала какая-то женщина.

— Ну, мы ему поможем, — вторили ей другие. — Не дадим мы Глоссину в Элленгауэне жить, ногтями его оттуда выцарапаем.

Несколько человек окружило Динмонта, который был рад случаю рассказать все, что знал о своем друге, и похвалиться тем, что и на его долю выпала честь постоять за правду. Ввиду того что многие из самых зажиточных фермеров хорошо его знали, свидетельство его вызвало новый взрыв восторга. Одним словом, это были минуты порывистого излияния чувств, когда сдержанность холодных шотландцев тает как снег и шумный поток уносит за собой плотину и шлюзы.

Возгласы эти прервали молитву священника, и Мег, уже в полузабытьи, которое обычно наступает перед смертью, вдруг очнулась и вскричала:

— Слышите?.. Слышите? Его признают! Его признают! Ради этого только я и жила. Пусть я грешница, но если проклятие мое накликало беду, мое благословение ее развеяло! А теперь сказала бы еще... да нет, поздно. Постойте! — продолжала она, поворачиваясь к свету, который пробивался сквозь заменявшую окно узенькую щель. — Разве его нет здесь? Отойдите от света, дайте мне еще разок на него взглянуть. Ах, у меня уже в глазах потемнело, — прошептала она и, пристально взглянув куда-то в пустоту, откинулась назад. — Все теперь кончено.

Жизнь, изыди,
Смерть, войди!

И, откинувшись на свою соломенную подстилку, она без единого стога испустила дух. Священник и врач тщательно записали все ее слова, очень сожалея, что не успели расспросить обо всем подробнее; оба были убеждены, что она говорила правду.

Хейзлвуд первым поздравил Бертрама с предстоящим возвращением ему имени его дедов и всех прежних прав. Толпа, узнав от Джейбоса, что Бертрам есть тот самый человек, который ранил Хейзлвуда, была потрясена его великодушием и стала восторженно выкликать имя Хейзлвуда вместе с именем Бертрама.

Иные, однако, недоумевали и спрашивали Джока Джейбоса, как он мог не узнать Бертрама тогда, когда совсем недавно встретил его в Кипплтрингане. На это он отвечал:

— Да разве был у меня тогда Элленгауэн на уме? Это вот теперь, когда кричать начали, что молодой лэрд нашелся, я посмотрел да вижу, что оно так и есть на самом деле. Стоит только приглядеться немного.

К этому времени упорство Хаттерайка несколько поколебалось. Он заморгал глазами, пытался освободить свои связанные руки, чтобы надвинуть на лицо широкополую шляпу, и все время с нетерпением поглядывал на дорогу, как будто обеспокоенный тем, что его до сих пор не увозят. Наконец Хейзлвуд, опасаясь, что возмущение толпы обратится на их пленника, распорядился, чтобы его посадили в карету и отправили в Кипплтринган, в распоряжение Мак-Морлана; в то же время он отправил к Мак-Морлану нарочного с сообщением о том, что случилось.

— А теперь, — сказал он Бертраму, — я был бы счастлив видеть вас у себя в замке Хейзлвуд, но я знаю, что вам было бы приятнее принять это приглашение дня через два, и поэтому позвольте мне вернуться сейчас вместе с вами в Вудберн. Впрочем, вы ведь, кажется, пришли сюда пешком?

— Так пусть молодой лэрд берет мою лошадь...

— Или мою... Или мою... — одновременно закричало несколько голосов.

— Или мою. Он может на ней десять миль в час скакать, ее ни погонять, ни прищипывать не надо,

а теперь ведь он наш молодой лэрд, и, если хочет, он может взять ее как хирезелд,¹ раньше это так называли.

Бертрам взял на время чью-то лошадь и поблагодарил весь народ за добрые пожелания, на что толпа отвечала ему приветственными криками и клятвами верности.

В то время как счастливый владелец лошади посылал кого-то из ребятишек сбегать за новым седлом, другого — почистить бока лошади соломенным веником, третьего — взять у Дэна Данкисона новые стремена и жалел, что «некогда покормить кобылу, а то бы молодой лэрд увидел, что это за диво», Бертрам, взяв под руку священника, ушел с ним в башню и запер за собой дверь. В течение нескольких минут он молча смотрел на мертвое тело Мег Меррилиз, распростертое перед ним. Смерть заострила черты ее лица; в них по-прежнему проступали суровость и решительность, позволявшие ей при жизни пользоваться такой властью над свободным народом, среди которого она родилась.

Увидев бездыханное тело женщины, которая принесла себя в жертву ему и его семье, Бертрам утер на-вернувшиеся на глаза слезы. Потом он взял священника за руку и, исполненный благоговения, спросил его, была ли умирающая в состоянии внимать словам отходной.

— Сэр, — ответил ему добрый священник, — я уверен, что разум этой несчастной женщины в последние минуты жизни еще не совсем угас и она могла услышать мои молитвы. Будем же смиренно надеяться, что на страшном суде с каждого спросят столько, сколько ему было дано. Эту женщину, пожалуй, можно было бы считать язычницей, хоть она и жила на христианской земле. Но не надо забывать, что заблуждения и

¹ Это слово вложено в уста одного из старых фермеров. В феодальные времена словом *хирезелд* обозначалась лучшая лошадь или какое-нибудь другое животное с земель вассала, которое передавалось во владение его господина. Единственное, что уцелело от этого обычая, — это так называемый сейзин, или определенное вознаграждение, которое полагается шерифу графства за ввод во владение королевских вассалов. (Прим. автора.)

пороки, происходящие от невежества, искупаются ее бескорыстной преданностью, доходившей едва ли не до героизма. Со страхом божьим, но и с надеждой вручаем мы душу ее в руки того, кто властен положить на одну чашу весов наши грехи и заблуждения, а на другую — наше стремление к добру, и увидеть, что тяжелее.

— Можно вас попросить, — сказал Бертрам, — чтобы ее похоронили по христианскому обряду? У меня есть кое-какие ее вещи... Во всяком случае, все расходы я оплачу. Вы найдете меня в Вудберне.

Динмонт, которому один из его знакомых дал лошаадь, громко закричал, что все готово для отъезда. Тогда Бертрам и Хейзлвуд, уговорив восторженную толпу, которая к этому времени насчитывала уже несколько сот человек, ничем не нарушать порядка, — ведь излишнее рвение могло только повредить молодому лэрду, как кругом его величали, — простились со всеми; народ провожал их радостными криками.

Когда они проезжали мимо разоренных хижин Дернклю, Динмонт сказал:

— Я уверен, капитан, что, когда вам ваше имение воротят, вы не забудете тут домишко построить. Провалиться мне на этом месте, если в вашем положении я бы этого не сделал. Ну уж, а жить тут после всего, что она наговорила, я бы ни за что на свете не стал. Я бы так поселил тут старушку Элспет, вдову могильщика: ей и к покойникам и привидениям не привыкать.

До Вудберна они доехали быстро. Весть об их поезде распространилась уже далеко. Все окрестные жители вышли на поля и громко приветствовали их.

— Если бы не эти верные друзья, — сказал Бертрам, обращаясь к Люси, которая первой кинулась к нему, хотя взгляд Джулии и опередил ее, — меня бы не было в живых. Ты должна теперь поблагодарить их.

Люси, красная от счастья, благодарности и застенчивости, сделала Хейзлвуду реверанс, а Динмонту просто протянула руку. Но наш добрый фермер в избытке радости не ограничился этим и поцеловал Люси прямо в губы. Он, правда, тут же понял, что позволил себе слишком много, и сказал:

— Простите, сударыня, я было вообразил, что вы моя дочь. Капитан у нас такой простой человек, не мудрено и забыться.

К ним подошел и старик Плейдел.

— Если уж тут начали так расплачиваться... — сказал он.

— Нет, погодите, мистер Плейдел, — прервала его Джулия, — вы свое сполна получили еще вчера вечером, помните?

— Верно, признаю, — ответил адвокат, — но знаю, что и от мисс Бертрам и от вас я еще вдвое больше получу, когда завтра допрошу Хаттерайка. Уж как-нибудь я его уломаю. Вот увидите, полковник; а вы, упрямицы, хоть, может быть, и не увидите, зато услышите.

— Это если еще нам захочется вас слушать, господин адвокат, — ответила Джулия.

— А вы думаете, больше шансов за то, что не захотите? Но ведь вы же любопытны, а любопытство заставляет иногда пускать в ход и уши.

— А я вот говорю вам, мистер Плейдел, что иные холостяки вроде вас заставляют иногда пускать в ход и пальцы.

— Поберегите их для клавикордов, — ответил адвокат, — это для вас лучше будет.

Пока они перекидывались разными шутками, полковник Мэннеринг представил Бертраму простого, симпатичного человека в сером сюртуке и жилете, кожаных штанах и сапогах.

— Познакомьтесь, — сказал он, — мистер Мак-Морлан.

— Тот самый, который принял у себя в доме мою сестру, когда все родные и знакомые ее оставили, — сказал Бертрам, дружески его обнимая.

Потом вошел Домини, осклабился, усмехнулся, захихикал, попытался издать какой-то нечеловеческий звук, похожий на свист, и наконец, не в силах сдержать своих чувств, убежал и залился слезами.

Не будем же продолжать описание всех излияний радости и веселья в этот счастливый вечер.

Глава LVI

...Как злая обезьяна
Над кучей наворованных орехов,
К земле пригнется подлый интриган:
Его раскрыты козни.

«Граф Базиль»

На другой день в Вудберне все поднялись очень рано по случаю следствия, которое должно было начаться в Кипплтрингане. Мак-Морлан, сэр Роберт Хейзлвуд и еще один находившийся там мировой судья попросили Плейдела распорядиться следствием и председательствовать на нем. Сделано это было потому, что Плейдел вел уже некогда дело по расследованию обстоятельств смерти Кеннеди, а также в знак общего признания его заслуг как адвоката. Полковник Мэннеринг получил приглашение присутствовать при допросе. Вообще же заседание следственной комиссии, которая должна была предшествовать суду, было закрытое.

Адвокат пересмотрел старые показания и вновь допросил прежних свидетелей. Потом он расспросил священника и врача о последних словах Мег Меррилиз. Они подтвердили, что она совершенно отчетливо, и притом несколько раз повторила, что была свидетельницей смерти Кеннеди, погибшего от рук Хаттерайка и еще нескольких человек из его шайки; присутствовала она при этом случайно; причиной же, побудившей их убить таможенного, цыганка считала месть за донос, которым Кеннеди погубил их судно. Она упомянула еще об одном свидетеле убийства, отказавшемся, однако, стать его участником, — это был ее племянник Габриель Фаа. Из ее слов явствовало, что был и еще один человек, приставший к убийцам уже после того, как они совершили свое преступление, но сказать о нем она ничего не успела — силы оставили ее. Она заявила, что именно она спасла ребенка, но что контрабандисты вырвали его потом у нее из рук и увезли в Голландию. Все эти подробности были тщательно записаны.

Потом ввели Хаттерайка, закованного в тяжелые кандалы; памятуя о том, что он совсем еще недавно

ухитрился бежать, его стерегли особенно строго. Спросили, как его зовут, — он молчал, чем занимается, — он продолжал молчать. Задали еще несколько вопросов, но ни на один он ничего не ответил. Плейдел протер очки и очень внимательно посмотрел на арестанта.

— Отъявленный негодяй, — шепнул он Мэннерингу, — но, как говорит Догберри, я его перехитрю. Позовите-ка сюда Солза... Солза, сапожника. Слушай, Солз, помнишь, как по моему приказанию ты снимал мерку со следов в Уорохском лесу в ноябре тысяча семьсот... года?

Солз отлично все помнил.

— Взгляни-ка на эту мерку, не та ли это, что ты снимал?

Сапожник подтвердил, что это так.

— Ну вот, а там на столе пара башмаков; смерть их теперь и погляди, не подходят ли они под эту мерку.

Сапожник исполнил его приказание и объявил, что «они точь-в-точь такого же размера, как самые крупные из следов».

— Мы сейчас установим, — тихо сказал адвокат, — что эти башмаки, которые были найдены в развалинах Дернклю, принадлежат Брауну, тому самому, которого вы застрелили, когда было нападение на Вудберн.

— А ну-ка, Солз, смерть точно ногу арестованного.

Мэннеринг пристально посмотрел на Хаттерайка и заметил, что тот задрожал.

— Ну как, эти мерки совпадают с следами ног?

Сапожник посмотрел на бумагу, потом на снятую им мерку и еще раз проверил ее.

— Они точь-в-точь совпадают, — сказал он, — с тем следом, который пошире и покороче первого.

На этот раз догадливость Хаттерайка оставила его.

— *Der Deyvil!* — вскричал он. — Какой же там мог быть след, когда от мороза вся земля как каменная была!

— Да, только вечером, а не поутру, капитан Хаттерайк, — сказал Плейдел. — Но не скажете ли вы, где вы находились в тот день, который вам так хорошо запомнился?

Хаттерайк заметил свой промах, и упорное молчание опять словно сковало все черты его лица.

— Запишите все-таки то, что он сказал, — велел Плейдел писцу.

В это мгновение дверь отворилась, и, к великому изумлению всех присутствующих, вошел Глоссин. Этот почтенный джентльмен, тщательно все разведавший и подслушавший, убедился, что Мег Меррилиз ни разу не назвала его имени. Произошло это, правда, вовсе не потому, что она хотела пощадить его, а потому, что допросить как следует ее не успели и она умерла слишком скоро. Таким образом, он пришел к выводу, что бояться ему нечего, разве только признаний самого Хаттерайка. Чтобы предотвратить их, он решил набраться храбрости и присоединиться на время следствия к своим коллегам — судьям. «Я смогу, — подумал он, — дать понять этому подлецу, что спасение его зависит от того, будет ли он хранить свою и мою тайну. Сверх того, мое присутствие на следствии будет лучшим доказательством моей невиновности. Что же, если придется потерять имение, ничего не поделаешь, но я рассчитываю на лучшее».

Войдя, Глоссин низко поклонился сэру Роберту Хейзлвуду. Сэр Роберт, который начал уже было подозревать, что сосед его, плебей, вздумал загребать жар чужими руками, кивнул ему слегка головой, понюхал табаку и стал смотреть в другую сторону.

— Честь имею кланяться, мистер Корсэнд, — сказал Глоссин, обращаясь к другому судье.

— Честь имею кланяться, мистер Глоссин, — сухо отвечал Корсэнд, придав своей физиономии выражение *regis ad exemplar*,¹ то есть по образу и подобию ба-ронета.

— Добрый день, мистер Мак-Морлан, — продолжал Глоссин, — вы неизменно за делом, друг мой!

— Гм! — отвечал наш добрый Мак-Морлан, не обращая особенного внимания на его любезные приветствия.

¹ Наподобие того, которое было у царя (лат.).

— Господин полковник (тут он низко поклонился, но Мэннеринг еле кивнул в ответ головой), мистер Плейдел (он поклонился еще раз), я не смел надеяться, что вы явитесь на помощь нам, бедным провинциалам, теперь, когда у вас там идут заседания суда.

Плейдел понюхал табаку и взглянул на него одновременно и строго и язвительно.

— Будет он у меня знать, — сказал он тихо Мэннерингу, — что значит старое правило: *ne accesseris in consilium antequam voceris*.¹

— Но, может быть, я пришел не вовремя, господа, — продолжал Глоссин, который не мог не заметить, как холодно его приняли. — Это что, открытое заседание?

— Что касается меня, — сказал Плейдел, — я далек от мысли, что вы можете нам помешать. Уверяю вас, мистер Глоссин, я никогда еще не был так рад вас видеть, тем более что вы мне, во всяком случае, еще понадобятся сегодня в течение дня.

— Ну, в таком случае, господа, — сказал Глоссин, придвинув стул и начав перелистывать бумаги, — скажите, много ли вы успели сделать? Где показания?

— Передайте мне сейчас же все бумаги, — сказал Плейдел, обращаясь к писцу. — Знаете, мистер Глоссин, у меня все документы разложены в особом порядке, и, если кто-нибудь другой их будет трогать, я потом ничего не найду. Но мы сегодня еще обратимся к вашей помощи.

Глоссин в своем вынужденном бездействии взглянул украдкой на Хаттерайка, но ничего не мог прочесть на его мрачном лице, кроме злобы и ненависти ко всему, что его окружало.

— Только справедливо ли это, господа, — сказал Глоссин, — что бедняга закован в такие тяжелые цепи; ведь он вызван только для допроса.

Этими словами он хотел дать арестованному почувствовать свое расположение.

¹ Не являйся на совещание, прежде чем тебя не позовут (лат.).

— Он уже один раз бежал, — сухо сказал Мак-Морлан, и Глоссин был вынужден замолчать.

Меж тем ввели Бертрама, и Глоссин, к своей досаде, увидел, что все очень дружелюбно с ним поздоровались, в том числе даже сэр Роберт Хейзлвуд. Бертрам рассказал о своих детских воспоминаниях так просто и скромно, что в искренности его нельзя было сомневаться.

— Это, кажется, больше похоже на гражданское, а не на уголовное дело, — сказал Глоссин, вставая, — а так как вы, господа, очевидно знаете, что мнимое родство этого человека с Бертрамом затрагивает и меня лично, я попрошу вашего позволения удалиться.

— Нет, сэр, — сказал Плейдел, — без вас нам никак не обойтись. Но почему вы называете права этого молодого человека мнимыми? Я не хочу касаться ваших оснований, если они есть, но...

— Мистер Плейдел, — ответил Глоссин, — я всегда любил действовать в открытую и, по-моему, смогу объяснить вам все дело сразу. Этот молодой человек, которого я считаю незаконнорожденным сыном покойного Элленгауэна, уже несколько недель странствует тут под разными именами, заводит какие-то дела с полоумной старухой, которую, насколько я знаю, недавно застрелили во время схватки, и с другими жестянщиками, цыганами и тому подобным сбродом, да еще с этим грубияном фермером из Лидсдейла, а тот настраивает всех арендаторов против лэрдов, как сэр Роберт Хейзлвуд из Хейзлвуда знает...

— Извините меня, мистер Глоссин, — сказал Плейдел, — а кто же, по-вашему, этот молодой человек?

— Я вполне уверен, да и он может подтвердить, (тут он взглянул на Хаттерайка), что это не кто иной, как незаконнорожденный сын покойного Элленгауэна и Джэнет Лайтохил, которая потом вышла замуж за корабельщика Хьюита, живущего близ Эннена. Зовут его Годфри Бертрам Хьюит, и под этим именем он и был записан в матросы на королевскую таможенную яхту «Каролина».

— Вот как? — заинтересовался Плейдел. — Это звучит очень правдоподобно! Но не будем больше

терять времени на разговоры о глазах, телосложении и прочем. Попрошу вас, подойдите сюда, — сказал он.

К столу подошел молодой моряк.

— Вот настоящий Саймон Пьюр, вот Годфри Бертрам Хьюит собственной персоной; он вчера вечером прибыл с острова Антигуа *via*¹ Ливерпуль. Он помощник капитана Вест-Индской компании, и, хоть он и не совсем законно появился на свет, он сумел на этом свете пробить себе дорогу.

В то время как другие судьи о чем-то заговорили с моряком, Плейдел вытащил из кучи лежавших на столе бумаг старый бумажник Хаттерайка. Контрабандист вдруг переменился в лице, и наш зоркий адвокат сразу же сообразил, что там должно находиться что-то интересное. Он положил бумажник на стол и начал просматривать вынутые оттуда документы. Тут он заметил, что арестант как будто успокоился.

«Должно быть, там еще что-то», — подумал Плейдел и снова стал тщательно разглядывать бумажник, пока наконец не нашел узенькой прорези в переплете и не вытащил оттуда три маленькие бумажки. Повернувшись к Глоссину, Плейдел попросил его рассказать им, не ездил ли он сам искать Кеннеди и сына своего патрона в тот день, когда они оба исчезли.

— Нет, не ездил... то есть... да, ездил, — отвечал Глоссин, которого начинала мучить совесть.

— Странно, однако, — заметил адвокат, — вы были так близки с семейством Элленгауэна, а я не помню, чтобы я вас допрашивал или даже чтобы вы являлись ко мне в то время, когда я производил следствие.

— Меня вызвали в Лондон, — отвечал Глоссин, — по очень важному делу как раз на следующее утро после этого печального события.

— Господин секретарь, — сказал Плейдел, —несите его ответ в протокол. И это важное дело заключалось, насколько я понимаю, в том, чтобы дисконтировать три векселя, полученные вами от господ Ванбеста и Ванбрюггена и акцептованные неким

¹ Через (лат.).

Дирком Хаттерайком в самый день убийства. С чем и поздравляю вас; насколько я могу судить, они были оплачены сполна. Я этого и предполагать не мог.

Глоссин побледнел.

— Это вещественное доказательство, — продолжал Плейдел, — подтверждает все, что рассказал нам о вашем поведении некий Габриель Фаа, который сейчас находится под стражей; он был очевидцем сделки, которую вы заключили тогда с нашим уважаемым подследственным. Вы хотите что-нибудь сказать в свое оправдание?

— Мистер Плейдел, — очень спокойно сказал Глоссин, — я думаю, что, если бы вы были моим адвокатом, вы не посоветовали бы мне сразу отвечать на обвинение, которое самый презренный из людей готов подтвердить ложной клятвой.

— Мой совет, — ответил Плейдел, — зависел бы от моего убеждения в том, виновны вы или нет. В вашем положении вы, вероятно, выберете лучший путь; но, вы понимаете, мы должны вас арестовать.

— Арестовать? Как? За что? — воскликнул Глоссин. — По обвинению в убийстве?

— Нет, только за содействие и соучастие в похищении ребенка.

— Это преступление допускает поруку,

— Извините, — ответил Плейдел, — это *plagium*,¹ а *plagium* — это уголовное дело.

— Вы ошибаетесь, мистер Плейдел, тому имеется всего лишь один прецедент, это случай с Торренсом и Уолди. Как вы помните, там речь шла о двух женщинах, похитительницах трупов, которые обещали украсть трупик ребенка для неких молодых врачей. Чтобы сдержать свое слово и не сорвать вечернюю лекцию по анатомии, они украли живого ребенка, убили и продали труп за три шиллинга и шесть пенсов. Их действительно повесили, но за убийство, а не за *plagium*. Вы чересчур увлеклись гражданским кодексом.

— Но все-таки, если только этот молодой человек подтвердит все, что мы узнали, мистеру Мак-Мор-

¹ Похищение (лат.).

лану придется препроводить вас в тюрьму. Стража, уведите Глоссина и Хаттерайка, только содержите их в разных помещениях.

Ввели цыгана Габриеля. Он подробно рассказал, как он бежал с судна капитана Притчарда и присоединился к контрабандистам во время схватки, в точности сообщил, как Дирк Хаттерайк поджег свой люгер, когда тот выбыл из строя, как под прикрытием дымовой завесы он бежал оттуда со своей шайкой, как он спрятался в пещере, куда втащил все товары, которые сумел спасти, собираясь пробыть там до наступления темноты. Потом Хаттерайк, его помощник Ванбест Браун и еще трое контрабандистов, в числе которых был и сам Габриель, отправились в ближайшие леса, чтобы повидать там кое-кого из своих сообщников. С Кеннеди они повстречались случайно, и вот Хаттерайк и Браун, зная, что он виновник всех их несчастий, решили его убить. Цыган рассказал, что видел, как они схватили его и потащили лесом, но сам он в их стычке не участвовал и не знал, к чему она привела. Потом он вернулся в пещеру уже другой дорогой и снова встретил Хаттерайка и его сообщников. Хаттерайк сказал, что они своротили сверху огромный камень и что Кеннеди уже лежит и стонет на берегу. Вдруг среди них появился Глоссин. Габриель Фаа оказался свидетелем того, какою ценой Хаттерайк купил его молчание. Цыган мог сообщить все подробности о жизни молодого Бертрама до той поры, когда тот попал в Индию, после чего он потерял его из виду, пока неожиданно не встретился с ним в Лидсдейле. Габриель сказал, что немедленно известил об этом свою тетку Мег Меррилиз, а также Хаттерайка, который был тогда как раз на берегу. Старуха была разгневана тем, что Хаттерайк все узнал. В заключение Габриель сказал, что Мег Меррилиз сразу же обещала сделать все возможное для того, чтобы помочь молодому Элленгауэну вернуть свои права, даже если ей придется ради этого выдать Хаттерайка, и что ей содействовали и другие цыгане, считавшие, что все это ей велено свыше какой-то таинственной силой. Должно быть, именно поэтому она и отдала Бертраму принад-

лежавшие табору ценности, которые у нее хранились. По приказанию той же Мег Меррилиз в ночь, когда было произведено нападение на таможенную, трое или четверо цыган вмешались в толпу, с тем чтобы освободить Бертрама, и поручение это выполнял сам Габриель. Он сказал, что, исполняя приказания Мег, они не задумывались над тем, права она или нет; безграничное уважение, которым старая цыганка пользовалась у себя в таборе, исключало всякие колебания по этому поводу. Допрос был продолжен, и свидетель добавил еще, что тетка его всегда говорила, что Гарри Бертрам носит на шее какое-то доказательство своего происхождения. Она утверждала, что это талисман, изготовленный для него одним ученым человеком из Оксфорда, и вселила в контрабандистов уверенность, что стоит только отнять у него этот предмет, как судно их погибнет.

Бертрам достал тогда бархатный мешочек и сказал, что носит его на шее с самого детства и хранил его сначала из одного только суеверного страха, а потом в надежде, что когда-нибудь он поможет ему открыть тайну его происхождения. Когда мешочек этот расправили, в нем оказался сшитый из голубого шелка конверт, а в нем — гороскоп. Взглянув на этот лист бумаги, полковник Мэннеринг сразу же признал, что все это написано им в период его первого пребывания в Шотландии, когда он действительно увлекался астрологией. Таким образом, появилось еще одно веское и несомненное доказательство в пользу того, что владельцем этого гороскопа должен быть не кто иной, как молодой наследник Элленгауэна.

— А теперь, — сказал Плейдел, — напишите приказ о содержании под стражей Хаттерайка и Глоссина до тех пор, пока их не освободит суд. И все-таки, — сказал он, — мне жаль Глоссина.

— Ну, а на мой взгляд, — сказал Мэннеринг, — из них двоих он меньше всего достоин сострадания. Хаттерайк, хоть он и жесток как камень, все же человек храбрый.

— Вполне ведь естественно, полковник, — сказал адвокат, — что вы интересуетесь разбойником, а я

плутом — это же чисто профессиональное наше с вами различие, но говорю вам, что, если бы только все знания Глоссина не пошли на плутни, из него вышел бы неплохой юрист.

— Злые языки сказали бы, что одно другому не мешает.

— И злые языки соврали бы, — ответил Плейдел, — как всегда и бывает. Закон похож на опий; гораздо легче применять его, где надо и где не надо, как какой-нибудь шарлатан, чем научиться прописывать его с осторожностью, как это делает врач.

Глава LVII

И жить негож и к смерти не готов,
Души в нем нет. Казнить его скорей!

«Мера за меру»

Тюрьма в главном городе *** графства была одной из тех темниц старого образца, которые, к стыду Шотландии, существовали еще совсем недавно. Когда констебли доставили туда арестованных, то, зная, какой силой и каким упорством обладает Хаттерайк, тюремщик посадил его в так называемую камеру осужденных. Это было большое помещение в самом верхнем этаже здания. Круглая железная перекладка толщиной с руку проходила через всю камеру параллельно полу приблизительно на высоте шести дюймов; концы ее были крепко вделаны в стены с той и с другой стороны.¹ На ноги Хаттерайку надели кольца, соединенные цепью длиною фута в четыре с другим железным кольцом, свободно передвигавшимся по этой перекладке. Таким образом, арестант мог

¹ Этот способ содержания осужденных был повсеместно распространен в Шотландии. Преступника, приговоренного к смертной казни, приковывали к железному брусу точно так, как это описано в настоящей главе. Такой способ продолжал существовать в Эдинбурге до тех пор, пока, несколько лет назад, не разрушили старую тюрьму. Может быть, он применяется еще и сейчас. (Прим. автора.)

ходить взад и вперед от стены до стены, но не мог никуда отойти в сторону дальше, чем позволяла цепь.

Заковав ему ноги, тюремщик снял с него наручники. Близ перекладки была постелена солома, и арестант имел возможность, оставаясь в цепях, когда угодно лечь и отдохнуть.

Вскоре вслед за Хаттерайком в тюрьму привели и Глоссина. Из уважения к его образованию и положению нашего судью не стали заковывать в цепи и поместили в довольно приличную комнату под надзор Мак-Гаффога, который, с того дня как разрушили тюрьму в Портанферри, был переведен сюда на должность младшего тюремщика.

Очутившись один в этой комнате, Глоссин мог воспользоваться досугом и одиночеством, чтобы взвесить все «за» и «против» своего дела. Поразмыслив, он все же не хотел признать, что проиграл игру.

«Имение так или иначе потеряно, — думал он, — ни Плейдел, ни Мак-Морлан не обратят никакого внимания на мои слова. А мое положение в обществе... Но только бы удалось сохранить жизнь и свободу, я все тогда наверстаю. Об убийстве Кеннеди я ведь узнал уже после того, как оно совершилось, а если я и нажился на контрабанде, то это не такое уж страшное преступление. Похищение мальчишки — штука похуже. Но посмотрим, как обстоит дело: Бертрам тогда еще был совсем ребенком, его свидетельство не может иметь силы, а другой свидетель — сам дезертир, цыган, словом, человек бесчестный. Эта проклятая старуха, Мег Меррилиз, умерла. Еще эти чертовы векселя! Хаттерайк привез их с собой, чтобы держать меня в страхе или выудить у меня деньги. Я должен увидаться с этим подлецом, уговорить его держать себя так, как надо, убедить его представить всю эту историю в другом свете».

До самого вечера он строил разные планы, чтобы только как-нибудь прикрыть свои прежние преступления новым обманом. Наконец Мак-Гаффог принес ему ужин. Мы знаем уже, что они с Глоссином были старыми знакомыми, и вот тюремщику выпало на долю охранять своего бывшего начальника. Угостив его

стаканом водки и стараясь задобрить лстивыми речами, Глоссин попросил, чтобы он устроил ему свидание с Дирком Хаттерайком.

— Невозможно! Совершенно невозможно! — ответил тюремщик. — Ни Мак-Морлан, ни капитан (капитаном в Шотландии называют смотрителя тюрьмы) никогда мне этого не простят...

— Да они ничего и не узнают! — сказал Глоссин, сунув Мак-Гаффогу две золотые гинеи.

Тюремщик прикинул золотые монеты на вес и пристально посмотрел на Глоссина.

— Эх, мистер Глоссин, вы же наши порядки знаете! Ну ладно, сначала я запру все двери, а потом вернусь, и мы вдвоем с вами поднимемся к нему наверх. Но тогда вам придется пробыть с ним до утра, я ведь на ночь отношу ключи капитану и раньше завтрашнего дня вас выпустить не смогу. А завтра я приду сюда часом раньше, вы тогда и вернетесь; и к тому времени, когда капитан обход начнет делать, вы уже будете у себя в постели.

Как только на ближайшей башне пробило десять, Мак-Гаффог явился; в руке у него был маленький тусклый фонарь. Он тихо сказал Глоссину:

— Снимите башмаки и идите за мной.

Когда Глоссин вышел за дверь, Мак-Гаффог, как будто исполняя свои служебные обязанности, громко проговорил «покойной ночи, сэр» и запер дверь, нарочно гремя засовом. Потом он повел Глоссина наверх по узкой и крутой лестнице. На самом верху она кончалась дверью в камеру для осужденных. Тюремщик снял засовы, отпер дверь и, дав Глоссину фонарь, сделал ему знак войти туда, а сам с той же подчеркнутой тщательностью запер за ним дверь.

Войдя в большое темное помещение, Глоссин при свете своего тусклого фонаря вначале ничего не мог рассмотреть. Наконец он еле-еле разглядел проходящую через всю камеру длинную железную перекладину и постеленную возле нее солому, на которой лежал человек. Глоссин подошел к нему.

— Дирк Хаттерайк!

— Donner und Hagel! Это же его голос, — проговорил Дирк, поднимаясь с пола и гремя цепями, — Значит, сон в руку! Убирайся-ка ты отсюда подобру-поздорову!

— Что с тобой, друг, — сказал Глоссин, — неужели ты уже пал духом из-за того, что несколько недель просидеть придется?

— Да, — угрюмо ответил ему контрабандист, — отсюда меня одна только виселица освободит. Убирайся, — говорю тебе, — и нечего мне светить в глаза фонарем.

— Слушай-ка, друг мой, Дирк, ты, главное, не бойся, у меня есть отличный план.

— Провались ты со своим планом! — закричал Хаттерайк. — По твоему плану я потерял и судно, и весь груз, и жизнь. Мне сейчас вот приснилось, что Мег Меррилиз притащила тебя сюда за волосы и дала мне длинный складной нож, что всегда при ней был. И знаешь, что она мне сказала? Sturm und Wetter! Лучше не вводи меня в грех!

— Послушай, Хаттерайк, будь другом, встань-ка сейчас и давай поговорим, — сказал Глоссин.

— И не подумаю! — упрямо ответил разбойник. — Все зло от тебя идет. Ведь это ты не позволил, чтобы Мег Меррилиз взяла ребенка. Мальчишка в конце концов все бы позабыл, и тогда бы она его вернула.

— Хаттерайк, ты совсем, что ли, с ума спятил?

— Wetter! Ты будешь уверять, что эту проклятую аферу с таможенной в Портанферри не ты придумал, что не тебе она выгодна была! На ней я потерял все — и судно и экипаж!

— Но ты знаешь, что товар...

— Черт с ним, с товаром! — сказал контрабандист. — Мы могли бы потом еще больше всего раздобыть... Der Deyvil! Погубить и корабль, и всех моих ребят, и мою жизнь ради какого-то мерзавца и труса, который все пакости свои любит чужими руками делать! Молчи уж лучше! А не то смотри, худо будет!

— Что ты, Дирк Хаттерайк, да ты послушай только!..

— Hagel! Nein!

— Два слова.

— Тысячу проклятий! Нет!

— Да подымись хоть, голландский ты бык тупоголовый, — сказал Глоссин, выходя из терпения, и пихнул Хаттерайка ногой.

— Donner und Blitzen! — заревел Хаттерайк, вскочив на ноги и кидаясь на Глоссина. — Раз так, то *получай* свое!

Глоссин всячески сопротивлялся, но нападение было столь неожиданно, что Хаттерайк сразу подмял его под себя и изо всей силы ударил затылком о железную перекладину. Но смертельная схватка все еще продолжалась. Помещение под ними, отведенное для Глоссина, было, разумеется, пусто, и только обитатели соседней камеры услышали тяжелый звук падающего тела, возню и стоны. Однако в этих местах люди уже давно привыкли к ужасам, и звуки эти никого особенно не смутили.

Наутро явился, верный своему обещанию, Мак-Гаффо.

— Мистер Глоссин, — сказал он шепотом.

— Громче зови! — откликнулся Дирк Хаттерайк.

— Мистер Глоссин, выходите, бога ради!

— Ну, навряд ли он теперь без посторонней помощи выйдет, — сказал Хаттерайк.

— Эй, Мак-Гаффо, с кем это ты там заболтался? — крикнул ему в это время снизу капитан.

— Мистер Глоссин, выходите же, бога ради! — повторил тюремщик.

В эту минуту капитан, смотритель тюрьмы, поднялся вверх с фонарем. Велико было его изумление и даже ужас при виде тела Глоссина, лежавшего поперек железной перекладины в таком положении, при котором нельзя было сомневаться в том, что он мертв. Хаттерайк спокойно лежал тут же рядом на соломе. Когда тело Глоссина подняли, все убедились, что умер он уже несколько часов тому назад. Налицо были явные признаки насильственной смерти. Позвоночник был сильно поврежден падением. На горле остались следы пальцев, лицо почернело, голова была

закинута назад и висела за плечом, как будто ему со страшной силой выворачивали шею. Ясно было, что его неумолимый противник сдал ему глотку и уже не выпускал из своих тисков до тех пор, пока в нем еще теплилась жизнь. Под трупом были осколки разбитого вдребезги фонаря.

Мак-Морлан, находившийся в это время в городе, немедленно прибыл для осмотра трупа.

— Кто же это привел сюда Глоссина? — спросил он у Хаттерайка.

— Черт, — отвечал тот.

— А что же ты с ним сделал?

— В ад его раньше себя отправил.

— Несчастный! — сказал Мак-Морлан. — За всю жизнь ты никому не сделал добра, и теперь в довершение всего ты убил своего сообщника.

— Добра! — воскликнул преступник. — Добра! Да я всегда был верным слугой моих хозяев... Всегда отдавал им всю мою выручку до последнего стайвера. Послушайте, дайте мне перо и чернила, чтобы я мог написать в нашу контору обо всем, что случилось, и оставьте меня часа на два в покое. Да пусть эту пададь от меня уберут, Donnerwetter!

Мак-Морлан решил, что это будет лучший способ утихомирить этого дикаря; ему принесли письменные принадлежности и оставили его одного. Открыв потом дверь, шериф увидел, что этот закоснелый преступник опередил правосудие. Он вытащил из своей постели веревку, привязал к ней остававшуюся от вчерашнего обеда кость, потом ухитрился забить ее в щель между двумя камнями стены, как раз на том уровне, до которого он мог достать, встав на перекладину. После того как он затянул петлю, у него хватило решимости кинуться вниз, как бы с тем чтобы упасть на колени, и он сумел удержаться в таком положении до того момента, когда нужда в этой решимости уже отпала. В письме, которое он написал своим хозяевам, говорилось главным образом о торговых делах, но в нем, помимо всего прочего, неоднократно упоминалось имя юнца Элленгауэна, как он его называл, и упоминания

эти полностью подтверждали все, что говорили Мер Меррилиз и ее племянник.

Чтобы покончить с историей гибели этих подлых людей, добавим только, что Мак-Гаффога прогнали со службы, невзирая на все его уверения (которые он готов был подтвердить под присягой), что он запер Глоссина в отведенном ему помещении накануне того дня, когда его нашли мертвым в камере Дирка Хаттерайка. Тем не менее почтенный мистер Скри и еще кое-какие любители всего чудесного поверили его рассказу и утверждали, что враг рода человеческого некими неисповедимыми путями свел этих двух негодяев вместе, чтобы они могли дополнить до краев чашу своих преступлений и получить за них воздаяние в виде убийства и самоубийства.

Глава LVIII

Все подытожь и заверши рассказ.

Свифт

Так как Глоссин умер, не оставив после себя наследников и не уплатив денег за имение Элленгауэн, поместье снова перешло в руки кредиторов Годфри Бертрама, причем права большей части из них должны были аннулировать в случае, если бы Генри Бертрам доказал, что он действительно является наследником. Бертрам поручил свои дела Илейделу и Мак-Морлану, но поставил условием, чтобы, даже если ему самому и придется снова возвратиться в Индию, они полностью удовлетворили претензии всех тех, кому задолжал его отец. Мэннеринг, услышав об этом, горячо пожал ему руку, и с этой минуты между ними установилось полное взаимопонимание.

Капиталы миссис Маргарет Бертрам и щедрая помощь полковника позволили наследнику Элленгауэна легко расплатиться со всеми правомочными кредиторами его отца. Одновременно искусные розыски его адвокатов обнаружили, что к счетам — и особенно к счетам Глоссина — было приписано много лишнего.

Оказалось, что в действительности сумма долга была меньше. Все эти обстоятельства привели к тому, что кредиторы незамедлительно признали права Бертрама и вернули ему замок и поместье, где жили его предки. Все жители Вудберна присутствовали при вводе его во владение. Окрестные фермеры, как и вообще все соседи, приветствовали его радостными криками. Мэннерингу так не терпелось самому проследить за перестройками в доме, которые он посоветовал сделать Бертраму, что он переехал со своим семейством в Элленгауэн, невзирая на то, что в настоящем своем виде дом этот во всех отношениях был для него менее удобен, чем Вудберн.

От радости, что он возвращается в свое прежнее жилище, наш бедный Домини едва не сошел с ума. Поднимаясь по лестнице, он перескакивал через несколько ступенек, пока не добрался до своей каморки в мезонине, служившей ему в прежние времена и спальней и кабинетом; он никак не мог позабыть ее, даже живя в гораздо более удобной комнате, которую ему предоставили в Вудберне. И вдруг нашего друга осенила горестная мысль: а книги?.. В Элленгауэне, в отведенных под библиотеку комнатах, их ведь негде будет разместить... Но, пока он об этом раздумывал, Мэннеринг вдруг позвал его, чтобы посоветоваться с ним по некоторым вопросам, касавшимся планировки великолепного дома, который он предполагал выстроить на месте прежнего, рядом с развалинами старого замка и в том же стиле. В числе многочисленных комнат будущего дома Домини нашел одну, довольно большую, которая именовалась *библиотекой*, а рядом с ней удобную и просторную комнату, носившую название *кабинет мистера Сэмсона*.

— Удивительно, удивительно, у-ди-ви-тель-но! — в восхищении восклицал Домини.

Плейдел на некоторое время уезжал, но потом вернулся, как и обещал, на рождественские каникулы. В Элленгауэне он застал одного только полковника, занятого составлением плана нового дома и

парка. Мэннеринг был большим знатоком этого дела и занимался им очень охотно.

— Ага, вот вы чем увлекаетесь! — воскликнул адвокат. — А где же наши дамы, где прелестная Джулия?

— Они отправились погулять с молодым Хейзлвудом, Бертрамом и другом его, капитаном Деласером, который у нас гостит. Они пошли посмотреть, как лучше построить новый домик в Дернклю. Ну, а каковы ваши успехи?

— Все идет как по маслу, — отвечал адвокат. — Мы передали дело нашего молодого друга на рассмотрение лорда-канцлера, оно было представлено суду жезлоносцев, и сейчас он признан законным наследником.

— Суд жезлоносцев? А что это такое?

— Ну, это своего рода судейские сатурналии. Надо вам сказать, что жезлоносцем, иначе говоря членом нашего верховного суда, по существующему положению может быть только невежда.

— Что же, это неплохо.

— Так вот, наше шотландское уложение, шутки ради вероятно, объединило этих невежд в особую коллегия, занимающуюся делами, связанными с установлением происхождения и родства, вроде, например, дела нашего Бертрама. И им зачастую приходится разрешать самые сложные и запутанные вопросы этого рода.

— Но это же черт знает что такое! По-моему, это очень затрудняет дело, — сказал Мэннеринг.

— Ничего, у нас есть одно практическое средство против всяких нелепых теорий. Один или двое судей становятся тогда помощниками и советчиками своих же собственных слуг. Но знаете, что еще Куяций сказал: «*Multa sunt in moribus dissentanea multa, sine ratione*». ¹ Так или иначе, эти судейские сатурналии сделали свое дело. И выпили же после этого мы

¹ В обычаях человеческих много разнообразия и много нелепостей (лат.).

бургундского у Уокера! У Мак-Морлана глаза на лоб полезут, когда ему счет подадут.

— Ничего, — сказал полковник, — это мы как-нибудь переживем да сверх того еще у миссис Мак-Кэндлиш для всего народа пир устроим.

— А Джокя Джейбоса главным конюхом делаете? — добавил адвокат.

— Может быть, и сделаю.

— А где же Дэнди, наш грозный лидсдейлский лэрд? — спросил Плейдел.

— Вернулся к себе в горы, но дал обещание Джулии нагрянуть к нам летом со своей хозяйкой, как он ее называет, и с детьми, которых и не сосчитать.

— Со всеми этими кудрявыми чертенятами! Тогда надо будет мне тоже приехать с ними в прятки да в жмурки поиграть. А это что такое? — спросил Плейдел, глядя на планы. — Посередине башня, вроде Орлиной башни в Карнарвоне... *corps de logis*,¹ черт возьми, одно крыло, да еще другое крыло. Такой замок целое поместье Элленгауэн себе на спину посадит да еще того гляди улетит с ним.

— Придется тогда в качестве балласта приложить к нему несколько мешков с индийскими рупиями, — заметил полковник.

— А, так вот оно что! Насколько я понимаю, этот молокосос отбил у меня мою красавицу Джулию.

— Выходит, что так.

— И негодяи же они, эти *post-nati*,² вечно они нас, стариков, оттеснят, — сказал Плейдел. — Но в таком случае пусть она свое расположение ко мне по наследству передаст Люси.

— По правде говоря, боюсь, что вас и тут обойдут с фланга, — ответил полковник.

— Да неужели?

— Сэр Роберт Хейзлвуд был здесь с визитом у Бертрама, — сказал полковник. — Он что-то думает, и считает, и полагает...

¹ Корпус здания (*франц.*).

² Молодое поколение (*лат.*).

— О боже, только избавьте меня от тройных и четверных фраз нашего уважаемого баронета!

— Одним словом, — сказал Мэннеринг, — он рассудил, что так как поместье Синглсайд вклинивается между двумя его фермами, а до Элленгауэна оттуда миль пять, то весьма возможно, что обе стороны сойдутся на какой-нибудь купле-продаже, или обмене, или взаимном контракте.

— Ну, а что же Бертрам?..

— Так вот, Бертрам ответил, что он признает первое завещание миссис Маргарет Бертрам за самое справедливое при настоящих обстоятельствах и что, в соответствии с ним, поместье Синглсайд становится собственностью его сестры.

— Негодный, — сказал Плейдел, протирая очки, — значит он собирается похитить мое сердце, так же как украл мою возлюбленную. Et puis? ¹

— А потом сэр Роберт, наговорив разных любезностей, уехал, но на прошлой неделе снова возобновил атаку, на этот раз уже в карете, запряженной шестеркой лошадей, в расшитом красном жилете, в самом пышном парике, словом — в полном параде.

— И что же он возвестил?

— Он очень пространно говорил о том, что Чарлз Хейзлвуд любит мисс Бертрам.

— Ах вот как! Он возымел уважение к маленькому купидону, когда увидел, что тот взобрался на высоты Синглсайда! Так неужели же бедная Люси будет жить вместе с этим старым колпаком и с его женой, — это ведь настоящий солдат в юбке?

— Нет, мы все решили иначе. Дом в Синглсайте переделают для молодых, и он будет тогда называться Верхним Хейзлвудом.

— А сами-то вы, полковник, собираетесь оставаться в Вудберне или нет?

— Только до тех пор, пока все наши планы не будут осуществлены. Вот проект моего загородного

¹ А потом? (франц.)

домика, здесь я смогу, когда захочу, оставаться один и грустить.

— А так как ваш дом будет совсем рядом со старым замком, вы сможете восстановить башню Донагилда, чтобы предаваться по ночам созерцанию небесных тел? Bravo, полковник!

— Нет, нет, мой дорогой Плейдел! На этом кончается *Астролог*.

КОММЕНТАРИИ

«ГАЙ МЭННЕРИНГ»

Вскоре после того как определился успех «Уэверли», в 1815 году, Вальтер Скотт приступил к своему второму роману — «Гай Мэннеринг, или Астролог» — и закончил его в шесть недель. В первые два дня было распродано две тысячи экземпляров книги — явление в то время необычное. Удача «Астролога» побудила Вальтера Скотта отказаться от поэзии и пойти другим путем, который принес ему мировую славу создателя исторического романа в Англии.

«Гай Мэннеринг», подобно другим так называемым «шотландским» романам писателя, не является историческим романом в обычном понимании этого слова. Он не посвящен какому-то определенному событию в прошлом. Среди его героев, если не считать вскользь сделанных упоминаний, нет известных исторических лиц. И все же роман глубоко историчен. Писатель реалистически отобразил в нем жизнь Шотландии в один из самых важных этапов ее существования — в период решительной ломки сложившихся в стране социальных отношений и крушения старого феодально-патриархального строя.

К этому времени — вторая половина XVIII века — и относятся события романа. Позднее сам Вальтер Скотт писал, что роман «Гай Мэннеринг» относится к годам юности писателя. Это были те годы, когда Англия переживала промышленную революцию, вскоре превратившую ее в первую индустриальную державу мира. В общий процесс капиталистической индустриализации вовлечены были и многие районы Шотландии. Изменения пришли в отсталые горные округа, где старый родово-клановый уклад

жизни сохранялся дольше, чем в других частях Великобритании. После восстания 1745 года рушится клановая система горной Шотландии. Крестьянство, разоряемое и сгоняемое с насиженных мест, превращается в бродяг и нищих, вынужденных продавать свой труд или же добывать пропитание любыми, даже незаконными путями. Не случайно именно в это время своего апогея достигла контрабандная торговля, центром которой был остров Мэн в Ирландском море.

Хотя сюжетная канва романа «Гай Мэннеринг» не имеет прямого отношения к тем большим историческим сдвигам, которые тогда переживала Великобритания, все же ясно ощутима связь между этими событиями и содержанием «Гая Мэннеринга». Многие сцены романа словно списаны с натуры. Таков, например, рассказ об изгнании дернклуских цыган, напоминавший обычное в то время изгнание крестьян с их земель и превращение полей в пастбища. «Теперь ты можешь устроить стойла для скота в Дернклю, там, где жили люди», — с горечью обращается к лэрду Мег Меррилиз.

Для того времени характерно безудержное ограбление английскими колонизаторами индийского народа. Некоторые детали из жизни Брауна, безусловно, навеяны биографией одного из первых колонизаторов Индии, завоевателя Бенгалии, Роберта Клайва. Как и он, Браун, прибыв в Индию, не застал человека, на процветание которого рассчитывал. Клайв начал с должности клерка мадрасской конторы Ост-Индской компании, но вскоре сменил гусиное перо на шпагу. Браун тоже был вынужден «поступить клерком... в контору», а когда началась война, «чувствуя в себе природную склонность к военной карьере, сразу же путь к богатству променял на путь к славе». В тех местах романа, где автор говорит об индийских походах Гая Мэннеринга, вспоминаются Аркот и другие названия, связанные с деятельностью Клайва.

Характерен был для своего времени контрабандист Дирк Хаттерайк, правдиво изображены хорошо знакомые писателю эдинбургские адвокаты, часто можно было встретить разорившихся представителей старого шотландского дворянства, судьба которых напоминала Элленгауэна. И все это не портреты каких-то определенных лиц, а собирательные художественные образы. «Характер Дэнди Динмонта, — говорит писатель, — ни с кого не списан. По меньшей мере человек двенадцать дюжих лидсдейлских фермеров... могли бы оспаривать право быть прототипами, правда неотесанного, но зато гостеприимного и великодушного фермера».

Несмотря на кажущееся порой преувеличение эксцентрических черт в характере Домини Сэмсона, этот смешной, неуклюжий, но честный и трогательный в своем простодушии человек вполне реален. В портрете Домини можно найти черты характера и даже внешнее сходство с жившим в Эбботсфорде домашним учителем детей писателя Джорджем Томсоном, сочетавшим прекрасное образование с нелепыми выходками. Наконец, сам автор в предисловии к роману как о прототипе Домини говорит о наставнике одного богатого джентльмена, который после разорения и смерти своего патрона продолжал трогательно заботиться о судьбе его дочери. Единственным характером, который можно считать образом вполне определенного человека, является Джулия Мэннеринг. Рассказывая о ее романтичности, мечтательности и восторженности, сочетающейся с упрямством, Вальтер Скотт словно глядел при этом на висевший в Эбботсфорде портрет своей жены, Шарлотты Шарпантье. Обстоятельства встречи Джулии и Брауна в Шотландии вполне совпадают с аналогичным эпизодом из жизни писателя.

Критика давно обратила внимание на то, что в романах Вальтера Скотта наиболее ярко обрисованы второстепенные герои. В. Г. Белинский вспоминал адресованные Вальтеру Скотту упреки в том, что его главные герои, которые уступают весь интерес более оригинальным и характерным второстепенным лицам, бесцветны: «...разительнейшим образом этого может служить, например, «Мэннеринг, или астролог», где герой романа является на сцене только в третьей части и то каким-то таинственным лицом, в котором узнаете вы героя только в конце романа, хотя и с первых страниц повести, еще только родившись на свет, он уже сосредоточивает на себе все действие романа...»¹

Действительно, такие лица, как Браун — Бертрам, Люси Бертрам и другие, стоящие в центре повествования, не очень выразительны, порою даже бледны. Гораздо рельефнее лица, которым отведена не главная роль в сюжетной линии романа, — крестьяне, слуги, тюремщики, контрабандисты, цыгане, содержатели гостиниц и т. д. Среди них выделяются яркие образы смелого и честного Динмонта и цыганки Мег Меррилиз.

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, т. II. М., Гослитиздат, 1948, стр. 17.

Вальтер Скотт иронически относится к буржуазным выскочкам, только что получившим, подобно Глоссину, дворянство. Писатель в то же время показывает духовную бедность провинциальных лордов, которые «больше всего на свете интересовались петушиными боями, охотой и скачками, лишь изредка разнообразя эти развлечения какой-нибудь безрассудной дуэлью». Характеризуя лэрда Элленгауэна, автор подчеркивает его простодушие, граничащее с недалекостью. Однако добродушная ирония автора исчезает, и рассказ становится обличительным, когда речь заходит о Годфри Бертраме — мировом судье, начисто разрушившем «сложившееся ранее мнение о своей незлобivosti...» Для выживающего из ума, полного кичливой дворянской спеси сэра Роберта Хейзлвуда у писателя находятся сатирические краски, равно как и для характеристики богатой и скаредной старой деви, мисс Маргарет. Острой, обличающей стяжательскую мораль буржуазных «рыцарей чистогана» является сцена вскрытия завещания мисс Маргарет. Мастерски, несколькими штрихами автор показывает тупость, ограниченность, жадность всех этих «братьев и сестер», каждый из которых жаждет получить свою долю наследства.

Вальтер Скотт считал компромисс между лендлордами и буржуазией лучшим разрешением сложных социальных проблем. Герои романа протестуют, но не стремятся изменить существующее положение вещей, более того — они зачастую привязаны к прошлому, идеализируют его. Так Мег Меррилиз, которая прокляла своего лэрда, изгнавшего ее сородичей из родных мест, в дальнейшем заботится о поддержании и сохранении рода Элленгауэнов и гибнет ради достижения этой цели.

То отрицательное, что видел писатель в новых силах, воплощено им в образе Глоссина — главного виновника разорения и смерти Элленгауэна и бедствий других героев романа. В характере этого человека сплелись низость и коварство, авантюризм и цинизм, лицемерие и жажда наживы, успеха. Но Глоссин умен, ловок, настойчив, он оказывается смелым и опасным противником для людей типа Элленгауэна и Хейзлвуда.

В этом романе Вальтер Скотт убедительно и ярко воскрешает перед читателем нравы и обычаи Шотландии конца XVIII века.

В романе мы не только с удовольствием читаем поэтические описания природы, но нас привлекает и то, что картины природы непосредственно связаны с повествованием, как бы дополняют его. Местность, где происходят события, неразрывно связана со

всей композицией романа и придает ей известную завершенность. Как своеобразный рефрен проходят через всю книгу Урохский лес и мыс. Там совершилось преступление, об этих местах упоминается в нескольких главах, и, наконец, здесь же преступника постигает возмездие.

Как и другие произведения великого романиста, «Гай Мэннеринг» оказал влияние на дальнейшую английскую литературу. От этого романа тянутся нити к многим образам и эпизодам из романов Диккенса. К ним можно отнести рассказы о нравах эдинбургского судейского сословия и те страницы романа, где Вальтер Скотт пишет о тогдашних политических нравах Англии, кризисе министерства, парламентских выборах и т. д.

«Гай Мэннеринг» послужил образцом различных детективных романов, которые со времен Вальтера Скотта стали появляться в Англии. Некоторые исследователи творчества Вальтера Скотта видят в адвокате Плейделе первого в английской литературе детектива, наделенного романтическими чертами, и полагают, что он в известной мере предок Баккета из «Холодного дома», Каффа из «Луного камня» и даже Дюпена из рассказов Эдгара По и конандойлевского Шерлока Холмса. Также и образ Глоссина нашел свое дальнейшее развитие в ряде отрицательных персонажей романов Диккенса.

В канву романа «Гай Мэннеринг» порою вплетаются полные таинственности эпизоды, связанные с астрологическими предсказаниями, гаданиями цыганки и т. п. Вальтер Скотт иронизирует по поводу гороскопов, веры во влияние планет на судьбы людей и в речи отдельных своих героев вкладывает вполне рациональные объяснения «сверхъестественных» явлений. С полным правом к «Гаю Мэннерингу» можно отнести отзыв Гете о первых трех шотландских романах Вальтера Скотта: «Все в них прекрасно: материал, исполнение, действие, типы».

Стр. 7. *«Песнь последнего менестреля»* (1805) — поэма В. Скотта.

Предисловие было написано Вальтером Скоттом спустя четырнадцать лет после выхода романа, при издании собрания романов писателя.

Стр. 8. *Гэллоуэй* — местность на юго-западе Шотландии.

Лэрд — владелец поместья в Шотландии.

Стр. 9. *Гороскоп* — чертеж в виде двух концентрических окружностей (или двух квадратов с параллельными сторонами и общим центром), рисовался астрологами для предсказания судьбы человека или хода событий. Гороскоп составлялся по расположению планет в момент рождения человека (или начала события), так как считалось, что небесные светила, главным образом планеты, влияют на судьбы людей и события.

Стр. 9—10. *...родители Самуила, которые посвятили своего сына служению храму.* — Библейский пророк Самуил родился и был воспитан при храме.

Стр. 12. *...нечестивую жену Иова...* — Иов — праведник, испытавший много несчастий, но не потерявший веры. После того как Иова постигли бедствия, жена оставила его.

Стр. 15. *Бэкон* Роджер (ок. 1214—1294) — английский естествоиспытатель и философ, который выступал против схоластической средневековой науки и видел цель подлинной науки в овладении тайнами природы. Однако, отдавая дань предрассудкам своего времени, Бэкон верил в астрологию, философский камень и т. п.

Стр. 18. *«Блэквуд мэгэзин»* — ежемесячный эдинбургский литературно-публицистический журнал, орган шотландских консерваторов; был основан под названием «Эдинбургский ежемесячный журнал» («Эдинбург мансли мэгэзин») в 1817 г. шотландским публицистом и издателем Уильямом Блэквудом (1776—1834) и с седьмого номера стал называться, по имени своего основателя, «Блэквуд мэгэзин».

Стр. 21. *Якобиты* — сторонники изгнанного из Англии во время государственного переворота 1688 г. Иакова II Стюарта и его преемников.

...после 1746 года... — то есть после восстания 1745—1746 гг., поднятого внуком Иакова II, принцем Карлом Эдуардом, с целью восстановления династии Стюартов. При поддержке горцев Верхней Шотландии претендент одержал ряд побед, занял Эдинбург и был провозглашен королем Шотландии под именем Иакова VIII. Но в дальнейшем, не получив широкой поддержки, он был разбит при Каллоден-муре (16 апреля 1746 г.) и бежал во Францию. Якобитское восстание 1745—1746 гг. явилось последней попыткой Шотландии отделиться от Англии. Подавление восстания сопровождалось жестокими репрессиями. После 1745—1746 гг. патриархально-родовой, клановый строй горных районов Шотландии стал быстро распадаться под натиском капиталистического развития.

Действие первого романа В. Скотта «Уэверли» относится ко времени этого восстания.

Стр. 22. *Джонсон* Сэмюел (1709—1784) — известный английский писатель, журналист и лингвист.

Стр. 26. «*Путешествие Уильяма Марвелла*» («*Бездельник*», № 49)... — Журнал «Бездельник» издавался в 1761 г. Сэмюелом Джонсоном.

Дамфрис — одно из южных графств Шотландии, граничащее с Англией.

Стр. 32. «*Генрих IV*», ч. 1 — историческая хроника Шекспира. В. Скотт цитирует слова Хотспера (акт. III, сц. 4).

Филдинг Генри (1707—1754) — английский драматург и романист, представитель демократического крыла просветительства, творчество которого оказало заметное влияние на европейскую литературу.

Стр. 33. *Брей* — герой народной песни. При Генрихе VIII и его преемниках был пастором; чтобы сохранить свое место в приходе, несколько раз переходил из католичества в протестантство и обратно.

Карл I — король Англии и Шотландии (1625—1649) из династии Стюартов, казненный во время революции XVII в.

Роберт Дуглас (1694—1770) — историк, автор книг «Пэры Шотландии» (1764) и «Баронеты Шотландии» (вышла после смерти автора в 1798 г.).

...*маркизом Монтрозом*... — Джеймс Грэм Монтроз (1612—1650) во время гражданской войны (с 1644 г.) командовал войсками короля Карла I в Шотландии, потерпел поражение (при Филифо 12 сентября 1645 г.) и бежал за границу. После казни Карла I в 1649 г. Монтроз высадился в Шотландии с отрядом иностранных наемников — сторонников Стюартов, но был разбит при Инверкарроне (27 апреля 1650 г.), взят в плен, приговорен к смерти и 21 мая повешен в Эдинбурге. Этой странице истории Англии посвящен роман В. Скотта «Легенда о Монтрозе».

Злонамеренные — сторонники англиканской церкви и монархии Стюартов.

Резолюционисты — шотландские пресвитериане, разделявшие политические взгляды роялистов и во время второй гражданской войны поддерживавшие принятое шотландским парламентом (26 апреля 1648 г.) ультимативное послание Долгому парламенту, требовавшее запрещения всех пуританских течений, кроме пресвитерианского, возвращения короля в Лондон и т. п.

Стр. 34. ...одного из видных фанатиков тех времен, заседавших в Государственном совете... — После казни короля Карла I и провозглашения республики вся полнота исполнительной власти в стране (акт от 13 февраля 1649 г.) была передана Долгим парламентом Государственному совету, состоявшему из индепендентов или сочувствующих им.

...представить Тайному совету Карла II... жалобу на вторжение северошотландских горцев в 1678 году. — Карл II — сын казненного во время революции короля Карла I, король Англии и Шотландии с 1660 по 1688 г. Карл II восстановил Тайный совет как орган управления. Горцы Верхней Шотландии неоднократно совершали набеги на Нижнюю (равнинную) Шотландию — более богатую часть страны. В 1678 г. произошло одно из самых значительных вторжений горцев, продолжавшееся почти три месяца.

Аргайл Арчибальд (1629—1685) — во время гражданской войны сражался на стороне Карла II в Шотландии и до 1681 г. оставался верным сторонником Стюартов. В дальнейшем, выступив против наместника Шотландии, брата короля герцога Йоркского, был вынужден бежать за границу, где сблизился с вигами-эмигрантами. Когда герцог Йоркский стал королем Иаковом II, Аргайл принял участие в заговоре Монмаута, высадился почти одновременно с последним в Шотландии, но после нескольких неудачных стычек был взят в плен и казнен в Эдинбурге 30 июня 1685 г.

Пещера вигов. — Вигами (вигаморами), еще до того как это название с XVII в. стало принятым для одной из двух английских политических партий, назывались шотландские пресвитериане, выступавшие против англиканской церкви.

Теофил Оглторп (1650—1702) — генерал, после свержения Стюартов, как якобит, был вынужден эмигрировать, но с 1698 г. присягнул Вильгельму III Оранскому и возвратился в Англию.

Джеймс Тернер (1615—1686?) — генерал-роялист, активно бо-
ровавшийся на стороне Стюартов во время революции.

Стр. 34—35. ...присоединился к Клайверсу в Киллиенкрэнки. — Джон Грэм Клайверс (Клеверхауз), виконт Данди, во главе горных кланов выступил в защиту свергнутого в 1688 г. Иакова II. Поддерживая феодальную монархию Стюартов, кланы надеялись отстоять свою патриархальную организацию и культуру и сохранить свои земли. Клайверс был убит в сражении с войсками Вильгельма III при Киллиенкрэнки 27 июля 1689 г.

Стр. 35. *В схватке при Данкелде...* — При Данкелде (Шотландия) 26 августа 1689 г. был отражен натиск нескольких тысяч горцев, примкнувших к якобитскому восстанию в Шотландии.

Камеронец — сторонник религиозной секты пресвитерианского толка, основанной в конце XVII в. Ричардом Камероном. Последний был убит в схватке с правительственными войсками в 1680 г.

...с лордом Кенмором в 1715 году... если бы графу Мару не удалось свергнуть протестантскую династию. — Восстание против первого короля из Ганноверской династии Георга I произошло вскоре после его воцарения (1714). Целью восстания было восстановление династии Стюартов в лице сына Иакова II — Иакова III, который в январе 1716 г. короновался в Сcone как шотландский король Иаков VIII, но вскоре потерпел поражение и бежал на континент. Возглавлял якобитское восстание граф Мар. Из других вождей восстания выделялись англичанин Девенуотер и шотландцы Найтсдел и Кенмор. После подавления восстания Кенмор и Девенуотер были казнены.

Стр. 39. *Ювенал Децим Юний* (ок. 60 — после 127) — римский поэт-сатирик.

Стр. 40. *...своему тезке-силачу и не унес с собою ворот колледжа.* — Имеется в виду легендарный библейский богатырь Самсон, отличавшийся необыкновенной физической силой. Уходя из города Газы, где он был застигнут своими врагами — филистимлянами, Самсон поднял городские ворота и отнес их на вершину горы.

Стр. 41. *«Гудибрас»* — сатирическая поэма Самюэла Батлера (1612—1680), направленная против туриган.

Стр. 41—42. *...отец мой был якобитом и участвовал в восстании Кенмора, поэтому он никогда не принимал присяги...* — см. прим. к стр. 35. Речь идет о присяге, утвержденной шотландским парламентом и не признававшейся его противниками.

Стр. 44. *Пифагор* (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ, считавший число сущностью всех вещей, а вселенную — гармоническим сочетанием чисел.

Гиппократ (ок. 460—377 до н. э.) — выдающийся греческий врач, основоположник античной медицины.

Диоклес — греческий геометр (V в. до н. э.).

Авиценна — латинизированное имя среднеазиатского ученого, врача, философа и поэта Абу Али Ибн Сины (980—1037).

Стр. 45. *Хейли* — имя нескольких арабских астрологов X—XI вв.

Мессагала Маха Аллан — еврейский астроном и астролог (IX в.).

Гвидо Бонат (Бонатус) де Форливио — итальянский астролог XIII в.

Ньютон Исаак (1643—1727) — гениальный английский физик, механик, астроном и математик, открывший закон всемирного тяготения. С 1695 г. Ньютон был смотрителем, а с 1696 г. — директором Монетного двора в Лондоне.

Стр. 46. *Дариот* Клод (1533—1594) — французский медик и астролог.

Птолемей Клавдий (II в.) — греческий астроном и географ, разработавший геоцентрическую систему мира (его труд «Альмагеста» в течение почти тысячи лет был энциклопедией астрономических знаний).

Дитерик Гельвиус (1601—1655) — немецкий врач и астролог.

Найбоб Валентин — автор нескольких астрологических книг.

Зазль Бенбрир (IX в.) — арабский астролог.

Агриппа Неттесгеймский (Генрих Корнелиус, 1448—1535) — немецкий врач, философ, алхимик.

Дурет (Дуретус, 1590—1650) — французский астроном, среди работ которого — «Новая теория планет» (1635).

Магинус — Жан Антуан Маджини (1555—1617), итальянский математик, астроном, астролог, известный как мастер составления гороскопов.

Ориген (185—253) — христианский богослов и философ, прозванный Адамантом.

Арголь — Джованни Арголи (1609—1660), итальянский поэт и автор ряда работ по археологии и филологии.

Знаки зодиака и планеты в шестерном, четверном и тройном соединении или противостоянии, дома́ светил с фазами луны, часами, минутами... — Знаки зодиака — созвездия, расположенные по большому кругу небесной сферы, по которому солнце совершает свое видимое годичное движение. В древности круг этот был разбит на двенадцать частей (в каждой части солнце находится один месяц). При составлении гороскопа астрологи разделяли чертеж (круг или квадрат) на двенадцать частей — зодий, где находились знаки зодиака, и двенадцать частей — домов планет, куда помещались планеты в том положении на небе, в каком они находились в момент рождения человека (или начала события); в зависимости от их расположения производилось «предсказание». Каждая планета могла быть в различных соединениях

(двойных, тройных и т. д.) с другими планетами или небесными телами. В отличие от соединения планет (нахождение их по одну сторону от земли), расположение планет в противоположных сторонах от земли называлось противостоянием.

Альмутен, альмоходен — астрологические термины.

Анахибазон (анабибизон) — название восходящего узла лунной орбиты.

Катахибазон (катабибизон) — нисходящий узел лунной орбиты.

Стр. 47. ...к тайным обрядам *Bona Deae* (лат.) — *Bona Dea* — добрая богиня. Итальяское божество плодородия, в Риме считалось покровительницей женщин.

Стр. 48. *Мэн* — остров в Ирландском море, был известен своей контрабандной торговлей, принявшей особенно большие размеры в 1756—1765 гг. (в связи с Семилетней войной).

Стр. 49. ...*Венера все прекрасное дарит...* — слова полковника Макса Пикколомини из драматической поэмы Ф. Шиллера «Валленштейн» (ч. I «Пикколомини», действие III).

Хейдон Христофор (ум. 1623) — автор ряда книг по астрологии. Между ним и уиндзорским каноником и астрологом Джоном *Чемберсом* (Чамбером, 1546—1604), выпустившим в 1601 г. «Трактат против юдициарной астрологии», завязалась полемика. Хейдон ответил книгой «Защита юдициарной астрологии».

Стр. 50. *Колридж* Сэмюел Тейлор (1772—1834) — английский поэт и драматург, представитель романтической «Озерной школы».

Уильям Лили (1602—1681) — английский астролог, автор книги «Введение в астрологию».

Стр. 51. *Марс, господствуя над двенадцатым домом, угрожал новорожденному...* — Планету Марс, названную в честь римского бога войны, в астрологии обычно связывали с различными несчастьями.

Стр. 52. *Просперо* — герой драмы Шекспира «Буря», миланский герцог, живший в изгнании на острове со своей дочерью Мирандой. После счастливого завершения событий, в своем последнем монологе Просперо отрекся от магии, искусством которой владел.

Стр. 55. *Дин* Ричард (1610—1653) — сподвижник Кромвеля и английский адмирал. В феврале 1649 г. в числе трех комиссаров Долгого парламента Дин командовал флотом и в 1650 г. крейсировал в Северном море, чтобы воспрепятствовать сношениям Шотландии с Голландией. Погиб в сражении.

Стр. 58. *Хи-чун* и *су-чонг* — сорта китайского чая, зеленого и черного.

Стр. 59. *«Ричард II»* — драма Шекспира. В. Скотт приводит слова Болингброка (акт III, сц. 1).

Стр. 60. *Капер* — частное лицо, которое с разрешения правительства воюющей державы снаряжает вооруженное судно для захвата в море неприятельских торговых кораблей.

...рэмзейский бандит... — Город Рэмзи находится на острове Мэн.

Стр. 62. М. С. — то есть мировой судья.

Стр. 63. *...в Иерусалим и в Иерихон, со всем своим кланом...* — то есть участвовали в крестовых походах (свидетельство древности дворянского рода).

Ямайка — остров в Вест-Индии, захваченный англичанами у Испании в 1658 г. и ставший одним из крупнейших центров торговли неграми.

Стр. 64. *Аваддон* — согласно библейской легенде, падший ангел, сатана.

Стр. 65. *«Как вам это понравится?»* — комедия Шекспира (цитируются слова из монолога герцога, акт II, сц. 7).

Стр. 67. *Эсквайр* — первоначально оруженосец рыцаря, потом почетный титул, присваивающийся в Англии по праву рождения или по занимаемой должности.

Стр. 69. *Герцог Хамфри* (1391—1447) — младший сын короля Англии Генриха IV, военный и политический деятель, жизнь которого изобиловала различными приключениями, а смерть произошла при таинственных обстоятельствах.

Стр. 70. *Капитан Уорд* — герой английских и шотландских песен и баллад.

Бенбоу Джон (1653—1702) — английский адмирал, участник многих морских сражений; погиб от раны, полученной в бою с французами во время войны за испанское наследство. О Бенбоу было сложено много легенд и песен.

Стр. 71. *Паписты* — католики, признающие своим духовным главой римского папу.

«Куст нищего» — пьеса английского драматурга Джона Флетчера (1579—1625).

Стр. 72. *...один из шотландских королей...* — Речь идет о короле Якове V (1512—1542).

Флетчер из Солтуна (1655—1716) — шотландский политический деятель, автор ряда работ историко-политического характера.

Стр. 78. *«Сцены детства»* — поэма Джона Лейдена (1775—1811), английского поэта, ориенталиста, переводчика с восточных

языков. Лейден был другом В. Скотта и помогал ему собирать произведения народной поэзии для «Песен шотландской границы».

...маронской войны... — Мароны — беглые негры-невольники в Вест-Индии и Гвиане, которые, скрываясь в горах, вели борьбу с плантаторами. Особенно ожесточенными их войны с белыми были на Ямайке.

Стр. 80. *Камерин* — греческий город на юге Сицилии; основанный в 599 г. до н. э., он несколько раз разрушался и восстанавливался и окончательно был razoren, как карфагенское владение, римлянами во время Первой пунической войны (258 до н. э.). Вопреки совету дельфийского оракула жители Камерина осушили болото, преграждавшее путь врагам, и погубили город. Выражение, приведенное в романе, — латинский перевод греческой поговорки, употреблявшейся в смысле: «Не связывайся».

Стр. 83. *Калло Жак* (ок. 1592—1635) — французский художник-график, автор офортов, в которых реалистические наблюдения сочетались с острым гротеском («Бедствия войны», «Нищие» и др.).

Стр. 84. *Маргарита Анжуйская* (1430—1482) — супруга английского короля Генриха VI Ланкастерского, вдохновительница ланкастерской партии в ее борьбе за трон с Йоркской династией (война Алой и Белой розы). После поражения 1461 г. она сделалась пленницей Йорков. Через пять лет была выкуплена Людовиком XI и возвратилась во Францию. В. Скотт имеет в виду сцену (акт V, сц. 3) из исторической хроники Шекспира «Генрих VI», ч. III, в которой королева Маргарита проклинает Йорков, убивших ее сына.

Стр. 87. *Шериф* — должностное лицо в Англии и Шотландии, выполняющее главным образом административные и судебные функции. В Шотландии шерифы выполняли и обязанности следователей.

Стр. 90. ...о французском товаре... — то есть о контрабандном коньяке.

...гэллоуэйской лошади... — Округ Гэллоуэй в юго-западной Шотландии издавна славился особой породой низкорослых лошадей — пони.

Стр. 96. «Генрих VI», ч. II — историческая хроника Шекспира; цитируются слова графа Уорика.

Стр. 101. ...гамбургский флаг... — С 1510 г. Гамбург получил права вольного города и вел широкую торговлю с различными странами.

Стр. 105. «Зимняя сказка» — драма Шекспира. Отрывок цитируется из монолога Времени, изображающего хор (акт IV, сц. 1).

Стр. 115. *Он... разбил главного вождя маратхов Рама Джолли...* — Маратхи — один из крупнейших народов Индии, создавший в XVII в. в борьбе против Великих Моголов сильное государство в Махараштре (северо-западная часть Декана). В XVIII в. государство маратхов превратилось в конфедерацию княжеств. Феодалные усобицы и поражение, понесенное от афганцев (1761), ослабили государство маратхов и облегчили его завоевание британской Ост-Индской компанией в результате трех войн: 1775—1781, 1803—1805 и 1817 гг. В романе речь идет о первой маратхской войне. Подробности рассказа слуги вымышлены, так же как и имя вождя маратхов во время первой войны. В действительности им был Рам Раджа, лешва (титул главного министра и фактического правителя у маратхов) у Рагхунатха Рао и Мадхава Рао II.

Бен Джонсон (1573—1637) — английский драматург, современник Шекспира.

Стр. 116. *...американской войны...* — Речь идет о войне американских колоний Англии за независимость (1775—1783).

Стр. 118. *Ломбард-стрит* — торговая улица в Лондоне.

Декан — в католической и англиканской церкви духовное лицо, возглавляющее капитул; в англиканской церкви декан стоит во главе соборного духовенства.

Мойдор — название золотой португальской монеты, чеканившейся с 1640 по 1732 г. и еще долго обращавшейся в Западной Европе и Вест-Индии.

Стр. 121. *Лутии* (от англ. loot — грабеж) — грабители.

Стр. 124. *Отвэй* Томас (1652—1685) — английский драматург; в своих пьесах «Спасенная Венеция», «Дон Карлос», «Сирота» и др. он уделяет главное внимание переживаниям героев, а не гражданским, политическим проблемам. В. Скотт высоко ценил Отвэя.

Стр. 130. *Юнг* Эдуард (1683—1765) — английский поэт-сентименталист. Эпиграф взят из наиболее известного произведения Юнга — поэмы «Жалобы, или Ночные думы». Далее в тексте четверостишие из того же произведения Юнга.

Стр. 131. *...хлынув из скалы, которой пророк коснулся своим жезлом.* — Библейская легенда рассказывает о том, как во время странствия евреев по пустыне пророк Моисей ударом жезла извлек из скалы источник для своего измученного жаждой народа.

Стр. 132. *...как семь греческих городов оспаривали право называться родиной Гомера...* — Согласно античной традиции, честь называться родиной легендарного эпического певца древней Греции Гомера (автора «Одиссеи» и «Илиады») оспаривали города Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос и Афины.

Стр. 135. *Набоб* (или *наваб*) — титул правителей индийских провинций, фактически сделавшихся независимыми от империи Великих Моголов. Набобы славились богатством и пышностью своих дворов. Отсюда ироническое прозвище европейцев, разбогатевших в Индии.

Стр. 136. *«Наследник Линна»* — название баллады, напечатанной в сборнике, изданном в 1765 г. Томасом Перси (1729—1811), — «Образцы древней английской поэзии»; это история о промотавшемся сыне лорда Линна, который в конце концов получил свое наследство.

Стр. 137. *...Руфь сказала Ноемми: «Не уговаривай меня уйти и расстаться с тобой»...* — Имеется в виду библейская легенда («Книга Руфи») о том, как моавитянка Руфь после смерти мужа, израильтянина Махлона, не захотела расстаться со своей свекровью Ноеммией.

Стр. 140. *«Не всегда Аполлон держит лук натянутым»* — из оды римского поэта Горация (65—8 до н. э.) «К Лицинию Мурене» (кн. II, ода 10).

Стр. 141. *Принц Уэльсский* — титул наследника английского престола, в случае если он является старшим сыном короля; введен Эдуардом I в 1301 г.

Стр. 142. *«Переменно и непостоянно»* — слова из «Энеиды» (песнь IV, стих 569) римского поэта Вергилия (70—19 до н. э.).

Стр. 143. *«Опера нищих»* — поэма английского писателя Джона Гея (1685—1732), направленная против господствовавшей тогда напыщенной итальянской оперы.

Стр. 144. *Квакеры* — христианская протестантская секта, основанная в Англии в XVII в. (во время революции) Джоном Фоксом. Слово «квакер» означает «трясущийся» — от телодвижений, которыми они сопровождали выражение своих религиозных чувств. В начале XVIII в. за свои выступления против войны квакеры подвергались преследованиям.

Лорд-канцлер — председатель палаты лордов, в руках которой сосредоточено судебное управление Англии; лорд-канцлер — председатель высшего апелляционного суда (канцлерский суд).

Стр. 149. *Поп* Александр (1688—1744) — английский поэт и теоретик литературы времен классицизма.

Паззиелло Джованни (1740—1816) — итальянский композитор, популярный в конце XVIII в.

Стр. 152. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский живописец-офортист, поэт и музыкант; известны его романтические пейзажи, изображающие суровые прибрежные местности.

Клод Лоррен (1600—1682) — выдающийся французский живописец-пейзажист; его элегические картины природы носят спокойный, величественный характер.

Стр. 154. *...увлечена... сценой из «Венецианского купца»...* — Имеется в виду диалог Лоренцо и Джессики в драме Шекспира «Венецианский купец» (акт V, сц. 1).

Стр. 157. *...не сражался при Пуатье и Азенкуре!* — Иными словами — не кичится древностью своего происхождения, признаком чего было участие в Столетней войне (1337—1453), во время которой произошли эти сражения; при Пуатье (1356) англичане разбили французов и взяли в плен короля Франции Иоанна II; при Азенкуре (1415) французские войска также были разбиты, после чего север Франции и Париж попали в руки англичан.

Стр. 164. *Розенкранц и Гильденстерн* — персонажи трагедии Шекспира «Гамлет».

Уортон Томас (1728—1790) — английский поэт, в произведениях которого воспевалось средневековье.

Стр. 169. *Африт* и *Ватек* — персонажи популярной повести «История калифа Ватека» Уильяма Бекфорда (1759—1844). Роман анонимно вышел в Англии в 1786 г.

Босуэл Джеймс (1740—1795) — писатель-мемуарист, друг и биограф известного писателя, критика и лингвиста Сэмюэла Джонсона. Книга Босуэла «Жизнь Сэмюэла Джонсона» вышла в 1791 г.

Стр. 175. *День святого Валентина* — 14 февраля. В этот день молодые люди тянули жребий, и девушка, имя которой выпадало, на предстоящий год становилась «Валентиной» того, кому достался жребий.

Крабб Джордж (1754—1832) — английский поэт, сохранивший связь с демократическими идеями буржуазного просвещения XVIII в. В своих произведениях («Местечко», «Приходские списки» и др.) он, выступая против буколического описания сельской жизни, рисует истинное положение разоряемой английской деревни.

Стр. 182. *«Неужели и Саул среди пророков!»* — По библейской легенде первый царь израильско-иудейского царства Саул после встречи с пророком Самуилом, помазавшим его на царство, обрел дар пророчества; тогда его соплеменники изумленно воскликнули: «Неужели и Саул среди пророков!»

Стр. 183. *«Зимняя сказка»* — комедия Шекспира. Приводится отрывок из песенки Автолика (акт IV, сц. 3).

Стр. 184. *Камберлендские крестьяне* — жители северо-западного графства Англии Камберленд, граничащего с Шотландией.

Стр. 185. *...остатки знаменитого Римского вала...* — Во время римского владычества в Британии для защиты от набегов непокоренных воинственных жителей Каледонии (Шотландии) императором Адрианом в 122 г. был построен укрепленный вал между устьем реки Тайн и заливом Солуэй-Ферт (южнее нынешней англо-шотландской границы). Остатки Римского вала сохранились до настоящего времени.

Вобан Себастьян (1633—1707) — маршал Франции, полководец и крупнейший военный инженер.

Кохорн — барон фон Менно (1641—1704), известный голландский военный инженер, прозванный голландским Вобаном (см. предыдущее примечание).

Стр. 192. *...границей между двумя враждующими народами* — то есть между шотландцами и англичанами. Начиная с попытки Англии покорить Шотландию в XIII в. англо-шотландские войны продолжались несколько столетий. В 1603 г., после воцарения в Англии представителя шотландской династии Стюартов Иакова I, обе страны объединились на основе личной унии. Во время буржуазной революции XVII в. Шотландия была присоединена к Англии, а с 1707 г. был упразднен автономный шотландский парламент.

Стр. 198. *«Искусство сохранять здоровье»* — поэма Джона Армстронга (1709—1779), английского поэта и врача.

Стр. 203. *Томсон* Джеймс (1700—1798) — английский поэт, шотландец по происхождению. С 1726 по 1730 г. выпустил четыре песни поэмы «Времена года».

Стр. 208. *Аркот* — столица образовавшегося на юге Индии в период разложения империи Великих Моголов самостоятельного княжества Карнатик, за которое в 1746—1754 гг. шла ожесточенная борьба между английской и французской Ост-Индскими компаниями. Во время этой борьбы Аркот несколько раз переходил

из рук в руки и окончательно был присоединен к владениям английской Ост-Индской компании в 1801 г.

Джон Армстронг из Килноки (убит в 1528 г.) — шотландский разбойник, герой многих шотландских и английских баллад.

Стр. 215. ...к временам *«Песни последнего менестреля»*... — Ссылка В. Скотта на свое собственное произведение, как на принадлежащее другому автору, сделана для сохранения своего инкогнито. Начиная с первого романа *«Уэверли»* и до 1829 года все его романы выходили анонимно.

Стр. 216. *Джоанна Бейли* (1762—1851) — поэтесса и драматург; наиболее известны ее шотландские песни. В доме Джоанны Бейли в Хемпстеде часто собирались писатели и поэты. В. Скотт был связан с Бейли узами дружбы.

Стр. 217. ...*щитом Аякса*. — Имеется в виду щит Аякса Старшего, одного из героев Троянской войны.

Стр. 219. ...*во времена католицизма*... — До реформации (XVI в.) Англия была католической страной.

Стр. 223. ...*заставило леди Макбет при виде спящего короля думать о своем отце?* — Имеются в виду слова леди Макбет, произнесенные перед убийством короля Дункана: «Если б на моего отца похож он не был, я поразила бы его сама» (Шекспир, «Макбет», акт II, сц. 2).

Стр. 234. *«Сон в летнюю ночь»* — комедия Шекспира. Приводятся слова Елены, обращенные к Гермии (акт III, сц. 2).

Стр. 241. *Хайдер-Али* (1702—1782) — правитель княжества Майсур в Индии (с 1761 г.), боровшийся против английской Ост-Индской компании и погибший во время войны.

Стр. 243. *«Веселый черт из Эдмонта»* — комедия, поставленная в театре «Глобус» в Лондоне 22 октября 1607 г., написана до 1597 г., автор неизвестен. Успех и популярность комедии привели к тому, что авторство стали приписывать Шекспиру.

Стр. 248. *Офир* — упоминающаяся в библии легендарная страна, богатая золотом.

Стр. 249. *Фома Аквинский* (1225—1274) — монах-доминиканец, крупнейший представитель средневековой схоластики, сделавший попытку систематизировать и обосновать христианскую догматику. Богословие Фомы Аквинского и теперь является официальной философией Ватикана.

Златоуст — прозвище одного из крупнейших деятелей восточно-христианской церкви Иоанна (347—404), архиепископа

Константинопольского, известного выступлениями против знати и красноречивыми проповедями (отсюда его прозвище).

«Король Иоанн» — историческая хроника Шекспира.

Стр. 254. «Король Лир» — трагедия Шекспира. Приводятся слова Лира (акт IV, сц. 6).

Стр. 256. *Варган* — музыкальный инструмент в виде металлической подковы (или пластинки) с прикрепленным к ней стальным язычком, вибрация которого производит звук.

Стр. 265. «Мера за меру» — пьеса Шекспира. Приводятся слова Профоса (акт IV, сц. 2).

Стр. 266. *Джордж Мэкензи* (1636—1691) — шотландский юрист; при Карле II занимал видные судебные должности; автор ряда юридических трудов.

Стр. 276. «Тит Андроник» — трагедия Шекспира.

Стр. 277. *Разослав... своих мирмидонян...* — то есть подчиненных, ревностно выполняющих полученные приказания (от названия греческого племени мирмидонян, сражавшихся под Троей и преданных своему вождю Ахиллу).

Стр. 298. *Камбиз* — древнеперсидский царь (529—523 до н. э.).

«Генрих IV», ч. I — историческая хроника Шекспира; цитируются слова Фальстафа.

...в седьмой оде второй книги Горация... о точном значении слова *Malobathro*... — Имеются в виду следующие строки из оды «На возвращение Помпея Вара»: «Помпей любимый, часто с тобой вдвоем я сокращал день скучною пирушкой, чело венком увив, на кудри блеск навел малабатром... сирийским». Малабатр — сирийское дерево, из листьев которого добывалось дорогое ценившееся масло для мази. У Горация это слово означает не дерево, а само масло. Существует вольный перевод этой оды, сделанный Пушкиным: «Кто из богов мне возвратил...»

Стр. 302. *Тевiotдейл* — долина реки Тевiot в Шотландии; В. Скотт собрал там много баллад для создания своего сборника «Песни шотландской границы».

Стр. 303. *Пандемониум* — крошечный ад. В поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» (кн. I) пандемониум — чертог сатаны.

Стр. 304. *Фальстаф* — персонаж комедии Шекспира «Виндзорские кумушки» и исторической хроники «Генрих IV», обжора, пьяница, хвастун, обманщик. Цитата — из пьесы «Генрих IV», ч. I (акт II, сц. 4).

Стр. 305. *Юстиниан* — византийский император (527—565), издавший свод законов римского права (кодекс Юстиниана); в тексте выражение употреблено шутливо — в смысле «законодатель».

Холируд — дворец в Эдинбурге, резиденция шотландских королей; вначале (XII в.) строился как аббатство.

Йомен — название среднего и зажиточного крестьянина в Англии; эта категория крестьян исчезла в середине XVIII в. в результате аграрного переворота.

Лайон, Марчмонт, Кэрик, Сноудаун — исторические деятели Шотландии. Лайон — лорд Глэмис (ум. 1578), канцлер Шотландии, активный участник событий в эпоху царствования Марии Стюарт; Марчмонт — граф Патрик, член шотландского парламента, участник восстания Аргайла (см. прим. к стр. 34), лорд-канцлер Шотландии при Вильгельме III; Кэрик (титул Роберта Брюса, 1253—1304) — претендент на шотландскую корону, боровшийся за независимость Шотландии против англичан; Сноудаун — под этим именем шотландский король Иаков V встречается с Эллен Дуглас в поэме В. Скотта «Дева озера» (1810).

...прославившийся в войнах с Францией... — Имеются в виду: война 1740—1748 гг. (за австрийское наследство), 1756—1763 гг. (Семилетняя война) и колониальные столкновения в Индии.

Стр. 306. *Сенешаль* — должностное лицо в средневековой Франции, до 1127 г. ведавшее вопросами суда, администрации и т. д. С XIII в. сенешаль — глава административно-судебного округа (сенешальства) на юге и западе Франции.

...короля Кофетуа и нищенки... — Имеется в виду старинная английская баллада о женоненавистнике короле Кофетуа, который, увидев из окна дворца девушку-нищенку Зенелюфон, полюбил ее.

Карл V — с 1516 по 1556 г. испанский король (под именем Карла I), с 1519 по 1555 г. — германский император. Крушение его политики заставило Карла в 1555 г. уступить императорский престол брату Фердинанду, а в 1556 г. — отречься от испанской короны в пользу своего сына Филиппа II.

Стр. 309. *Сулис*. — Имеется в виду сэр Джон де Сулис, который сопровождал Эдварда Брюса в его экспедиции в Ирландию и был убит вместе с последним в битве близ Дандэлка 14 октября 1318 г.

Стр. 310. *«Приходские списки»* — произведение Д. Крабба (см. прим. к стр. 175).

Стр. 313. *Блэйр Хью* (1718—1800) — шотландский протестантский священник и писатель, проповедник в Эдинбурге, с 1762 г. профессор риторики и изящной словесности; в 1755 г. основал журнал «Эдинбургское обозрение».

Робертсон Уильям (1721—1793) — шотландский историк, священник-пресвитерианин, автор ряда работ по истории Шотландии.

Генри Роберт (1718—1790) — шотландский историк, автор шеститомной «Истории Англии» (от норманского завоевания до смерти Генриха VIII).

Стр. 314. ...*один из коллег доктора Робертсона*. — Имеется в виду Джон Эрскин (1721—1803), шотландский священник и богослов.

Кальвинисты — последователи одного из крупнейших деятелей протестантской реформации Жана Кальвина (1509—1564). Кальвинизм «отвечал требованиям самой смелой части тогдашней буржуазии» (Ф. Энгельс) и явился религиозным отражением ее интересов. В Шотландии реформация победила в кальвинистской форме.

Стр. 315. ...*сын отличного шотландского юриста*... — Речь идет о Джоне Эрскине (1695—1768), отце предыдущего, юристе, авторе книг по шотландскому праву.

Стр. 316. *Епископальная церковь* — то есть англиканская церковь, утвердившаяся в Англии после реформации; в Шотландии восторжествовала кальвинистская реформация.

Джеймисон Джордж (1588?—1644) — шотландский портретист, учившийся у Рубенса и Ван-Дейка.

Каледонский — шотландский (от древнего названия Шотландии — Каледония).

Стр. 319. *Типу-Саиб* (Типу Султан, ум. 1799) — правитель княжества Майсур в Индии. Опираясь на Францию и Афганистан, стремился создать коалицию индийских феодалов для борьбы за изгнание из Индии английской Ост-Индской компании, с которой вел несколько войн. Погиб в четвертой англо-майсурской войне.

Стр. 321. *Натаньель* (Варфоломей) — один из последователей Иисуса Христа, обычно отождествляемый с апостолом Варфоломеем.

Безальель — упоминающийся в библии ремесленник, искусно украсивший скинию завета.

Стр. 322. *«Через море к Карлу»* — песня якобитов в честь Карла Эдуарда, внука Иакова II Стюарта.

Стр. 324. *Крибедж* — популярная английская карточная игра (возникла в XVII в.).

Колониальная война — война американских колоний за свою независимость (1775—1783).

Стр. 326. *Тоби Белч* — персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно».

Стр. 333. *«Маленький французский адвокат»* — комедия Джона Флетчера (1579—1625), написанная им в 1619—1620 гг. совместно с Филиппом Мессинджером (1583—1640).

Стр. 335. *Юм Дэвид* (1711—1776) — известный английский философ, историк, экономист, шотландец по происхождению. В 50-х гг. XVIII в. был библиотекарем эдинбургской библиотеки.

Хом Джон (1722—1808) — шотландский драматург.

Доктор Фергюсон Адам (1723—1816) — шотландский философ и историк, с 1759 г. профессор Эдинбургского университета.

Доктор Блэк Джозеф (1728—1799) — шотландский химик и врач, с 1766 г. профессор химии Эдинбургского университета.

Лорд Кеймс Генри Хом (1696—1782) — известный шотландский судья.

Хаттон Джеймс (1726—1797) — шотландский геолог и естествоиспытатель.

Кларк Джон, эсквайр Элдинский (1728—1812) — автор книги «Очерки морской тактики» (1790—1797), вызвавшей оживленные споры.

Стр. 337. *Пифагорейцы* — последователи Пифагора, придавшие мистический смысл его учению о числах. См. прим. к стр. 44.

Стр. 338. *Хел* — так называли Генриха принца Уэльского. *Фальстаф* и другие в пьесе Шекспира «Генрих IV», ч. I (акт II, сц. 3).

...выходцах из Египта — то есть цыганах.

Monitoire — официальное послание, угрожающее церковным наказанием тому, кто знает и умалчивает о преступлении, виновник которого неизвестен.

Tournelle. — Так называлась одна из палат парижского парламента, занимавшаяся уголовными делами. До буржуазной революции XVIII в. во Франции парламенты являлись судебными учреждениями.

Стр. 340. *...пока я целую хохлатую курицу в себя не влил...* — Хохлатой курицей называли большой сосуд, вместимостью в три

квартиры бордоского вина; на его крышке было изображение курицы. Позднее хохлатой курицей назывались бутылки вина той же вместимости.

Стр. 343. *Альбумазар* (805—885) — арабский астроном и астролог, автор книги «Цветы астрологии».

Стр. 344. «*Довольные женщины*» — пьеса Джона Флетчера.

Стр. 347. ...*нововведения Палмера*. — Имеется в виду Джон Палмер (1742—1818), по проекту которого в Шотландии в 1786 г. была введена доставка почты почтовыми каретами, что ускорило и удешевило пересылку писем.

Стр. 352. «*Таинственная мать*» — трагедия английского писателя и политического деятеля Уолпола (1717—1797).

Стр. 353. ...*наших прежних земных воплощений?* — В индуистской религии, в соответствии с догматом о воздаянии (карма), душа человека после смерти, в зависимости от того, как он прожил свою жизнь, получает более высокое или более низкое воплощение (от древнейших анимистических верований в переселение душ).

Стр. 356. *Герольдия* — учреждение, ведавшее составлением дворянских гербов, родословных.

Стр. 360. «*Король Лир*» — трагедия Шекспира. Приводятся слова Лира (акт V, сц. 6).

Стр. 361. *Триада* — утроение.

Кватернион — логическая ошибка, которая заключается в том, что в силлогизме один из трех терминов имеет два значения.

Стр. 362. *Мария Стюарт* (1542—1587) — королева Шотландии с 1560 по 1567 г.

Стр. 367. *Акромион* — часть лопаточной кости.

Стр. 368. «*Красотка из харчевни*» — комедия Джона Флетчера, законченная после его смерти Филиппом Мессинджером или Уильямом Роулеем (напечатана в 1647 г.).

Стр. 385. ...*та же самая Геба...* — ироническое сравнение с богиней вечной юности (в греческой мифологии) Гебой, прислуживавшей богам на Олимпе во время пиров.

Стр. 386. «*Ньюгетский календарь*» — биографии наиболее известных преступников, содержащихся в Ньюгетской тюрьме в Лондоне, получившей название от старых городских ворот, у которых она была расположена.

Шенстон Уильям (1714—1763) — английский поэт сентиментального направления, автор ряда элегий и поэм. Наиболее известное его произведение — «Сельская учительница».

Стр. 389. *...наподобие одного из гомеровских героев...* — Имеется в виду Одиссей, который, попав после кораблекрушения к царю феаков Алкиною, прежде чем рассказать о своих приключениях, попросил его накормить: «Как ни скорблю я, однако, но дайте, прошу вас, поесть мне» («Одиссея», песнь 7, стих 215).

Стр. 392. *Джон, убийца великанов* — герой английской сказки, напоминающий мальчика с пальчик.

...Стюартов прогнали... — После государственного переворота 1688 г., когда был изгнан Иаков II, в Шотландии происходили волнения сторонников Стюартов, подавленные в 1689 г.

Стр. 395. *«Макбет»* — трагедия Шекспира; приводятся слова Макбета, обращенные к ведьмам (акт I, сц. 2).

Стр. 401. *Китчен* Томас (1718—1784) — составитель ряда атласов, в том числе общего атласа, опубликованного им в 1773 г. и неоднократно переиздававшегося впоследствии уже после смерти автора.

Стр. 402. *Кандидя* — вольноотпущенница, возлюбленная Горация, сделавшаяся впоследствии предметом насмешек поэта, который несколько раз называет ее отравительницей.

Эриктой — имя колдуньи у римских поэтов Овидия (43 до н. э. — 13 н. э.) и Лукана (39—65 н. э.).

Стр. 403. *«...Саул ведь пировал с Эндорской волшебницей».* — Царь Саул, по библейскому преданию, приходил ночью к волшебнице, жившей в городе Эндоре, и просил ее вызвать тень пророка Самуила, некогда возведшего его на царство.

Стр. 405. *«Гамлет»* — трагедия Шекспира; цитируются слова Гамлета, обращенные к матери (акт III, сц. 3).

Стр. 406. *Вельзевул* — библейское наименование божества у филистимлян и финикиян, ставшее в христианской литературе именем властителя ада.

Стр. 418. *Протей* — одно из божеств моря греческой мифологии, умевшее принимать любой вид.

Стр. 425. *«Тэм О'Шентер»* — поэма Роберта Бернса.

Стр. 428. *Эфемериды* — заранее вычисленные положения солнца, планет, комет и других небесных светил.

Унциальные, полуунциальные — формы букв, встречающиеся в манускриптах с IV по VIII в. (от лат. *uncia* — размер, равный двенадцатой части целого).

Стр. 430. *Скарлатти Джузеппе Доменико* (1685—1757) — вы-

дающийся итальянский композитор. Написал около шестисот сонат для клавесина.

Стр. 434. *Де Лира* Никола (ум. 1340) — французский монах, богослов и проповедник, составивший первый комментарий на все книги Ветхого и Нового завета.

Стр. 435. «*Критик*» — сатирическая комедия английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана (1751—1816).

Стр. 447. *Кларенс* Джордж — герцог Кларенс, брат герцога Глостерского, будущего Ричарда III. Был убит по наущению последнего и брошен в бочку с мальвазией (см. историческую хронику Шекспира «Ричард III», акт I, сц. 4).

Стр. 448. «*Все хорошо, что хорошо кончается*» — комедия Шекспира; слова взяты из монолога Елены (акт I, сц. 1).

Стр. 449. *Мерлин* — волшебник и пророк, персонаж средневековых рыцарских романов о легендарном короле Артуре.

Стр. 450. *Гуинганмы* — название лошадей в IV части романа Свифта «Путешествия Гулливера».

Стр. 455. *Стоицизм* — философское учение эллинистической эпохи, возникшее в IV в. до н. э. Стоики колебались между идеализмом и реализмом; они считали, что мудрец должен познать разумную связь и закономерность вещей и жить сообразно природе, освобождаясь от гнета страданий и страстей. Иносказательно стоицизм — твердость духа в испытаниях.

Стр. 456. *Кресси и Пуатье* — места крупнейших битв Столетней войны (1337—1453).

Стр. 457. «*Генрих IV*», ч. I — историческая хроника Шекспира; цитируются слова принца Генриха (акт II, сц. 3).

Стр. 458. Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

Ксенократ (396—314 до н. э.) — философ-идеалист платоновской школы и преемник последнего по Академии (местность близ Афин, где находилась школа Платона, основанная около 387 до н. э.).

Стр. 459. *Циники* (кинники) — древнегреческая философская школа, основанная Антисфеном в 46 г. до н. э. Циники отрицательно относились к существовавшей религии, законам, учреждениям и т. п. и проповедовали пренебрежительное отношение к человеческой культуре, возврат к первобытному состоянию, порою доводя свои взгляды до крайности.

Стр. 467. *Гавейн* — один из двенадцати рыцарей Круглого стола в цикле романов о легендарном короле Артура.

Стр. 473. *Сиддонс Сара* (1755—1831) — знаменитая английская актриса, исполнительница шекспировских ролей.

Стр. 476. «*Генрих VI*», ч. III — историческая хроника Шекспира; приводятся слова, сказанные Ричардом, герцогом Глостерским, в момент убийства Генриха VI (акт V, сц. 6).

Стр. 477. *Красные мундиры* — их носили солдаты в Англии со времени военной реформы Кромвеля (1645).

Стр. 497. *Саймон Пьюр* — персонаж одной из комедий («*A Bold Stroke for a Wife*») английской писательницы и актрисы Сюзанны Сентливр (1697—1728).

Стр. 506. *Стайвер* — мелкая датская монета.

Стр. 507. *Свифт* Джонатан (1667—1745) — великий английский сатирик, был в Дублине деканом церкви св. Патрика.

Стр. 509. *Сатурналии* — в древнем Риме празднества в честь бога Сатурна, носившие бурный, веселый характер. Иносказательно — необузданное веселье.

Куяций — латинизированная форма имени Жака де Кюжа (1520—1590), известного французского юриста, автора многих работ, связанных с историей римского права.

Стр. 510. *Карнарвон* — старинный город и порт в северном Уэльсе. Известен своим замком, строительство которого было начато Эдуардом I в 1284 г.

М. РАБИНОВИЧ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГАЙ МЭННЕРИНГ, ИЛИ АСТРОЛОГ

Предисловие	7
Глава I	26
Глава II	32
Глава III	41
Глава IV	50
Глава V	59
Глава VI	65
Глава VII	71
Глава VIII	78
Глава IX	85
Глава X	96
Глава XI	105
Глава XII	115
Глава XIII	124
Глава XIV	130
Глава XV	136
Глава XVI	143
Глава XVII	149
Глава XVIII	155
Глава XIX	164
Глава XX	169
Глава XXI	175
Глава XXII	183
Глава XXIII	191
Глава XXIV	198
Глава XXV	203

Глава XXVI	208
Глава XXVII	216
Глава XXVIII	224
Глава XXIX	234
Глава XXX	243
Глава XXXI	249
Глава XXXII	254
Глава XXXIII	265
Глава XXXIV	276
Глава XXXV	288
Глава XXXVI	298
Глава XXXVII	310
Глава XXXVIII	322
Глава XXXIX	333
Глава XL	344
Глава XLI	352
Глава XLII	360
Глава XLIII	368
Глава XLIV	378
Глава XLV	386
Глава XLVI	395
Глава XLVII	405
Глава XLVIII	417
Глава XLIX	425
Глава L	435
Глава LI	448
Глава LII	457
Глава LIII	467
Глава LIV	476
Глава LV	482
Глава LVI	492
Глава LVII	501
Глава LVIII	507
Комментарии	513

ВАЛЬТЕР СКОТТ
Собрание сочинений, т. 2

*Редакторы Э. Великанова
и Б. Томашевский*

Художник Б. Воронецкий
Художественный редактор
Л. Чалова

Технический редактор
М. Кондратьева
Корректор Э. Урицкая

Сдано в набор 25/1 1960 г.
Подписано к печати 27/V 1960 г.
Бумага 84×108¹/₃₂ — 17 печ. л. —
— 27,88 усл. печ. л. Уч. изд.
л. 26,183. Тираж 300 000 (1—
150 000) экз. Заказ № 319.
Цена 11 р. 50 к.
С 1/1 1961 г. — 1 р. 15 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного
хозяйства Управление полигра-
фической промышленности Ги-
пография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького
Ленинград, Гатчинская, 26.